

**НОВЫЙ
МИР**

1

1933

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
П Е Р В А Я
Я Н В А Р Ь

М О С К В А
4 . 9 . 3 . 3

СТАТ — формат В 5 176 × 256

Учоди Главл. В—48092 Об'ем 171½ печ. лист. по 64.000 знак Техн ред В Белокоп' Заг 645

Тип им тоз И И Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

1. А. А. ТОЛСТОЙ и А. СТАРЧАКОВ: — Патент № 119, пьеса. 5
2. М. ЧУМАНДРИН. — Германия. 37
3. Н. НЕЗЛОБИН. — Из книги «Москва», стихотворение 55
4. Георгий НИКИФОРОВ. — Единство, роман. 56
5. Леонид ГРОССМАН. — Бархатный диктатор, повесть. 75
6. Иван ЕВДОКИМОВ. — Архангельск. 114
7. А. ВОРОНСКИЙ. — Бурса. 127
8. А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — Барух Спиноза и буржуазия. 167

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Вл. ВАСИЛЕНКО — Металлическое цветение. 182
10. В. ЗАРЗАР.—Гражданская авиация капитализма—резерв войны. 197

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ:

11. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Цусимой рожденный (Об А. С. Новикове-Прибое) 211

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

12. А. СЕЛИВАНОВСКИЙ.—Тысяча девятьсот тридцать второй. 230
13. А. ВИНОГРАДОВ. — Стендаль и искусство 261

Патент № 119

(Пьеса в четырех действиях, 5 картинах)

А.А. ТОЛСТОЙ и А. СТАРЧАКОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 КОНРАД БЛЕХ — 47 лет | 12 ГИРКО — его помощник |
| 2 АННИ БЛЕХ — его дочь | 13 ПЕТЬКА БЕСПРИЗОРНЫЙ — журналист |
| 3 РУДОЛЬФ ЗЕЙДЕЛЬ, 27 лет, — инженер-конструктор | 14 ЗЕЛЕНЫЙ |
| 4. ЛУКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 25 лет, — председатель конструкторского бюро | 15 ГЛУШКОВ |
| 5 ТОРОПОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 45 лет, — директор завода | 16 НИКИТИНА |
| 6 ОЛЬГА ЗАХАРОВА — 25 лет | 17 ДЯДЯ ЯША |
| 7 КОРЕНЕВ | 18 НОСОВ |
| 8 МИХАЙЛОВ | 19 ПЕРВОВ |
| 9 ЧИКИН | 20 СКОБАРЕВ |
| 10 ЗАБАВНЫЙ | 21 МЮЛЛЕР |
| 11. БУРОВОЙ — директор степного совхоза | 22 БРИЦКЕ |
| | 23 БЕККЕР. |
| | 24 ЛИПКЕ |
| | 25 ЖЕНЩИНА-ВРАЧ |

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ ЕВРОПА

(Внутренность виллы в стиле Карбузье. Кабинет и музыкальный салон, разделенные аркой. Сбоку в кабинете — дверь. Из салона лестница наверх — на площадку. Одна из задних стен — стеклянная, опускающаяся. За ней — фабричный пейзаж.)

В кабинете у окна стоит Рудольф. Папка с чертежами и шляпа валяются на полу. В музыкальном салоне Анни играет на виолончели.)

РУДОЛЬФ. Да... Ноябрь... Ветер-то как подхватил мерзлые листья!.. Ужас, холодно... Эге, бегут, дуют на руки... То-то, жить-то надо... Вы не хотите отвечать, фрейлейн Блех... Ну, что ж, — уйди, Рудольф, уйди. Надежды нет. Изумительно придумана эта стеклянная стена, — теплый воздух, запах цветов. Запах ваших рук, ваших волос... Волшебный замок... А, здравствуйте, здравствуйте...

АННИ *(играя)*. Кому — это?

РУДОЛЬФ. Вороне, моей единственной собеседнице, села на ветку, кла-

няется. Холодно, черненькая? Что хочешь мне передать из того мира? Плохо? Земля умирает? Ну, — лети, лети.

АННИ *(играя)*. Слушайте, там — кофе на курительном столике...

РУДОЛЬФ. То, что и нужно, — после бессонной ночи — мокка... *(Пьет.)* Я работал всю ночь, — мне чудилась мировая слава... И — вы, фрейлейн Анни... В этом шерстяном платье, холодная, пахнущая цветами... Не буду, не буду больше... *(Поднимает с пола папку с чертежами, кладет на стол.)* Передайте отцу чертежи кончены... Все, кроме воздушного охлаждения... Не для моей головы конечно, — для нашего мотора... не смешно, — правда? *(Берет шляпу.)* Ухожу, вслед за вороной. До свиданья.

АННИ. До свиданья, Рудольф.

РУДОЛЬФ. Если понадобится Блеху, я буду в мастерских... *(Уходит.)*

БЛЕХ *(спускается сверху, держит книжку)*. Не звонили, нет?

АННИ. Нет, папа, никто не звонил.

БЛЕХ. В сорок семь лет принужден изучать, как мальчишка, русский язык. Он вгоняет меня в неврастению: весь скользкий, весь зыбкий, весь веролом-

ный,—течет, как адская жидкость между извилинами моего мозга... Я понимаю, почему у русских нет твердой морали. Это—язык большевиков. Язык нашей эпохи... Умоляю тебя, брось играть...

АННИ (*кладет виолончель.*) Только что был Рудольф, принес чертежи...

БЛЕХ. А! Великолечно... Очень, очень кстати...

АННИ. Станный, весь на кончиках нервов... Болтает чушь... Опять объяснялся в чувствах...

БЛЕХ. Вот как?... Это очень, очень кстати... Ты что ему ответила?

АННИ. Ну, что я ему отвечу...

БЛЕХ. Слушай, Анни. В двадцать четыре года девушке нужно быть замужем!

АННИ Я была замужем, папа!

(Пауза.)

БЛЕХ. Ты шутишь? Когда, Анни?

АННИ. У меня был любовник. В семнадцать лет, когда кончала гимназию.

БЛЕХ. Ну, дорогая моя... Новость...

АННИ. Я не обязана была посвящать тебя в эти мелочи. Я нашла это удовольствие слишком простым... Тот человек, повидимому, был другого мнения, но...

БЛЕХ. Кто это—тот человек?

АННИ. Ты его не знаешь. Забавы любви меня не слишком развлекали. Я нашла это удовольствие деревенским.

БЛЕХ (*упавшим голосом*). Деревенское удовольствие!..

АННИ. Не пред являй прав отца, не будь моралистом, папа... Ты такой современный, такой элегантный... Улыбнись... Папа...

БЛЕХ. Ах, я еще должен улыбаться..

АННИ. Но ведь это было (*свистнула*)... бог знает когда...

БЛЕХ. Да, все-таки, наше поколение не посвистывало. (*Пауза.*) Тебе нравится Рудольф?

АННИ. Право, никогда не задумывалась.

БЛЕХ. Дитя мое... (*Кладет ей руку на голову, она отстраняется.*)

АННИ. Лучше без «дитя мое».

БЛЕХ. В голове у Рудольфа капитал в миллиард долларов. И самое важное—

капитал в идеях, в единственной ценности, не подверженной инфляции! Что ты на это скажешь?

АННИ. Быть любовницей Рудольфа Зейделя?

БЛЕХ. Женой! С умр сойти!..

АННИ (*обхватила колено, раздумывает*). Папочка, привлекательны в конце концов какие-то острые эмоции... Ну, Рудольф... Он похож на немца из добродетельного романа... Шиллеровский темперамент, чувствительное сердце,—все, как полагается. Ты утверждаешь—он гениален. У него нет чего-то... Понимаешь,—как человек, не умеющий носить фрака.

БЛЕХ. А! Какие теперь фрак! Чего ты хочешь,—я же вытаскил его из нищеты.

АННИ. Он никогда не говорит о своем прошлом.

БЛЕХ. Ничего предосудительного... Отец, кажется,—школьный учитель, из Вестфалии... Во время войны, разумеется, потерял сбережения... Рудольф все же умудрился окончить дрезденский политехникум.. Работал у Круппа. И вылетел из-за глупейшей истории... Вот—вся его биография.

АННИ. А что за история? Политика?

БЛЕХ. Проповедывал какой-то слащавый вздор в стиле Жан-Жака Руссо. Мальчишка. Я встретил его в пивной,—карманы набиты чертежами, голова—фантастическими планами. Э, при чем тут происхождение!.. Хотел бы я иметь такого сына все-таки... Я не принуждаю, Анни, я слишком тебя люблю, бедная моя мышь...

АННИ. Не знаю, папа... Тебя, быть может, устррит, если я соглашусь, а с формальностями не будем торопиться?

БЛЕХ. Да, да... Умница! Спасибо, дочка, ты — единственное, что меня привязывает к жизни. Сегодня мне особенно нужна помощь, нужна помощь. Сегодняшний день нужно перейти в брод по шею...

АННИ. Что случилось? Опять затруднения?

БЛЕХ. Случилось то, что самая реальнейшая реальность — разум — ста-

вится под вопрос. Все разумное летит к чорту... (*Стучит кулаком в стену.*) Я построил этот дом... Может быть, этих стен нет?.. Эти стены—цемент, сталь, стекло — существуют или — только мираж?..

АННИ. Бедный, бедный отец... Тебе нужно просто отдохнуть...

БЛЕХ. Я любил работать—пропал вкус к труду... Накопался! Какая чепуха!.. Чтобы в одно вот такое гнусное утро все благополучие разлетелось вдребезги...

АННИ (*наливает ему кофе*). Вчера в городе только и слышно: плохо, плохо. В магазинах—никого нет, кино—пустые...

БЛЕХ. Неужели, действительно, не звонили?

АННИ. Ты ждешь этих двоих, русских?

БЛЕХ. Да. В половине двенадцатого. Конечно опоздают, как все русские.

АННИ. Они предлагают что-нибудь беальное?

БЛЕХ. Да.

АННИ. Почему ты не хочешь посвятить меня в дела?

БЛЕХ. Ребенок! Собери я всех наших знаменитейших экономистов, социологов, государственных мужей, профессоров и тайных советников, что они скажут путного? Кризис—мировая загадка. Эту потрясающую новость сообщит любой журналистшка за кружку пива... Вооружитесь-ка терпением еще годика на три, добрейший господин Блех. Законсервируйте завод и займитесь игрой на корнет-а-пистоне. Вот что посоветуют мне самые умные люди в Европе...

АННИ. Так очень плохи дела?

БЛЕХ. Остается чудо... Найдет ли возможным какой-нибудь архангел сделать так, чтобы бухгалтер Мюллер принес сегодня денег с биржи...

АННИ (*хрустнув пальцами*). О, боже, скучно... Вся жизнь сморщивается, как кожа на яблоке...

(*Входит Рудольф, взволнован.*)

РУДОЛЬФ. Что у нас делается? Что произошло?..

БЛЕХ. Доброе утро, Рудольф.

РУДОЛЬФ. Простите, я не в состоянии быть вежливым. Доброе утро. Мне

сообщили невероятные вещи... Завод—под ударом?..

БЛЕХ. Это зависит от курса сегодняшней биржи.

РУДОЛЬФ. Так ставить дел нельзя, господин Блех... Так работать невыносимо!.. Простите, фрейлейн Блех... Я успокоюсь...

АННИ (*снимает с него шляпу*). Снимем пальто, сядем, закурим...

РУДОЛЬФ. Простите, простите. (*Блеху, довольенно.*) Агрегаты остановлены. Кочегарки потушены... Заморожена сталь... Рабочие собираются у конторы... Кто-то пустил слух, что сегодня расчет всем...

БЛЕХ. Не хочу вас огорчать... Но, боюсь, придется предпринять кое-что решительное...

РУДОЛЬФ. Закрыть завод? (*Блех пожимает плечами.*) Не верю... Мировое качество наших моторов! Наши секреты, наши патенты? Завод гениальных дерзновенней. Нет выхода? Безумие!..

БЛЕХ. Гениальное на заводе, пожалуй, только—ваша голова, Рудольф. Но даже ваши выдумки никому сейчас не нужны, старина.

РУДОЛЬФ. Не верю!..

БЛЕХ. Индустрия воткнулась в горло человечеству, как рыбная кость... Американские пасторы кричат, что в машине засел дьявол! Скоро мы все будем рекламировать ручной труд. Человек или машина—кто кого?!

АННИ. Я видела снимок с мадемуазель Ротшильд за прялкой. Мадемуазель Ротшильд сообщает, что появится в платье, сотканном ее руками.

БЛЕХ. Ну, это немножко переувачено... Человечество, не рассчитав сил, прыгнуло слишком далеко вперед. Оно не в состоянии переварить всей продукции. Стало быть, немного назад, немножко к ручному труду, немножко прикосновения к матери-природе... (*Указывая на стеклянную стену.*) Мы отгородились стеклянной стеной от этих веточек, простертых к небу, от этих птичек, поющих богу...

РУДОЛЬФ. Бред, бред! Отказываюсь понимать!

БЛЕХ. Мой мальчик, кризис! Неотвратимый, как стихия, непонятный, как начало вещей...

РУДОЛЬФ. Завод закрыт... Самоубивство! Господин Блех, у меня осталась только проверка воздушного охлаждения... Мотор весь готов... Ночью я закончил последние чертежи... Это будет грандиознейший переворот в сельском хозяйстве...

БЛЕХ. И мы сядем с этим мотором, как дураки... Он никому не нужен. Сельское хозяйство сейчас мечтает о плуге, запряженном добрыми старыми волами... Голубчик, мы построили слишком много фабрик и распустили пролетариев вдвое больше, чем нужно...

РУДОЛЬФ. Значит, всех—на улицу, на панель?.. Что же вы предлагаете нашим рабочим?.. Голод? Что вы предлагаете человечеству? Назад? В пещеры? К животному состоянию?..

БЛЕХ. Человечеству я предложил бы: из двух миллиардов голов один изять. Уверю вас, будет просторнее...

АННИ. Все-таки жестоко так говорить...

БЛЕХ. Да, жестоко. Мировая какая-нибудь язва. Чума вместе с хорошенькой войной была бы не глупой штукой. Довольно слащавости... Честно, ровно половину отдаю за одну такую годову, как ваша, Рудольф...

РУДОЛЬФ. Благодарю вас, позволите отказать.

БЛЕХ. Мой мальчик, сердце мое ожесточено, не обращайтесь. Вся моя забота сейчас спасти ее (на Анни) и спасти вас, спасти ваш гений...

АННИ. Спасти вас, Рудольф, спасти ваш гений...

РУДОЛЬФ. Вы слишком добры, фрейлейн Блех...

БЛЕХ. Э, голубчик, зовите ее просто — Анни... Я вас понимаю, старина... Вы — человек большой совести... И вы конечно, предпочли бы разделить участь тех, кто завтра поднимет воротник у биржи безработных.

РУДОЛЬФ. Да, предпочту... Чем мне теперь жить? Зачем?

БЛЕХ. Долг, долг, Рудольф, — долг прежде всего...

РУДОЛЬФ. Кому я должен? Отчеству? Нации? А! Мы заплатили все долги на тысячу лет вперед... (Берет

шляпу.) Итак, господин Блех, я свободен с этой минуты?..

АННИ. Рудольф, вы должны тем, кто вас любит, кому вы дороги...

РУДОЛЬФ. Я дорог? Разве вон той вороне... Оставим это, фрейлейн Анни (идет к двери)...

АННИ. Рудольф... (Он останавливается.) Не нужно сердиться на меня...

РУДОЛЬФ. На вас сердиться? Анни!..

АННИ. Все утро дуется на меня... Я так старалась, — сама приготовила вам кофе...

РУДОЛЬФ. Пойдите, пойдите.. (Кладет шляпу.) Кофе было приготовлено для меня?

АННИ. Конечно... Играла—для вас... Вы предпочли разговаривать с воронами...

РУДОЛЬФ (стучит ногтем в барометр). Здесь немного жарко... Парник, настоящий парник... (Анни). Что случилось? Не понимаю...

АННИ. Зачем быть всегда таким настороженным... Вы мнительны... Лучше верить...

РУДОЛЬФ. Чему? (Заглядывает ей в глаза, она опускает голову.) А — если?..

АННИ. Нет, лучше верить...

БЛЕХ. Дети, вы поворкуете вечером Минуты считаны... Рудольф, судьба Анни гвоздем засела мне в сердце... Завтра, быть может, мы с вами окажемся с поднятыми воротниками. И надолго, повидимому,—года на три... Я готов продавать спички на улице... Но Анни?.. Мы с вами, как мужчины, должны сделать все, — дать ей возможность прожить покойно это страшное время.. Что?

РУДОЛЬФ. Я слушаю.

БЛЕХ. На случай окончательной катастрофы мы должны подготовить отступление... У меня есть одна лазейка... Но все это сейчас зависит от вас, Рудольф... (Роется в столе.) От имени Анни я буду просить у вас жертвы...

АННИ. Анни должна присутствовать? Может быть, ее можно избавить от унижения?.. (Идет на лестницу, на верхнюю площадку.)

БЛЕХ (*Рудольфу*). Видели—гордость!.. Ее особенно нужно оберегать!.. (*Достает бумагу*.) Мой мальчик, я вас нашел, я вас открыл, дал возможность подняться...

РУДОЛЬФ. Я всегда помнил это, господин Блех.

БЛЕХ. Вы хорошо помните наш договор?

АННИ. О чем ты спрашиваешь... Рудольф — романтик.

РУДОЛЬФ. Я никогда ни на минуту не забывал о договоре.

БЛЕХ. Вы получаете 300 марок в месяц, премии за каждое изобретение и полпроцента от заказов. За это вы обязуетесь передавать все ваши изобретения мне, директору завода, на мое усмотрение.

РУДОЛЬФ. Да!

БЛЕХ. Превосходно! Пункт восьмой гласит: в случае патентования любого из ваших изобретений патент берется на имя Конрада Блеха. Имя Рудольфа Зейделя в патентах не упоминается. Этот пункт, кажется, наиболее тяжел для вас?..

РУДОЛЬФ. Да!

БЛЕХ. Что подлаешь! Уничтожая свою личность, вы подняли завод на колоссальную высоту. Как незаметный солдат, серый герой... Но не думайте, Рудольф, что и мне не тяжела моя миссия,—носить на себе чужую славу...

АННИ. Рудольф!.. Примирение и понимание... (*Бросает ему цветок*.)

БЛЕХ (*поднимает цветок, подает Рудольфу*). Дама—странствующему рыцарю...

РУДОЛЬФ (*берет цветок, глядит на Анни*). Примирение и понимание...

БЛЕХ. Так вот: сто восемнадцать патентов Конрада Блеха—это сто восемнадцать гениальных изобретений Зейделя. Не мое, его имя должно греметь по всему свету. И я это сделаю. Я к этому иду!

АННИ. Bravo, папа, ты всегда был элегантным человеком!

БЛЕХ. Срок договора истекает сегодня. Я предлагаю продлить его еще на три года, на тех же основаниях...

РУДОЛЬФ. Еще на три года?

БЛЕХ. Как-раз кризисное время... Голубчик, вне завода и без меня вы

будете продавать спички на улице... Вам никто не поверит, что вы—автор патентов Блеха.

РУДОЛЬФ. Еще три года продавать самого себя?

БЛЕХ. Дитя мое, все—товар! И гениальность—товар!

РУДОЛЬФ. Позвольте мне подумать...

АННИ (*начала свистеть наверху, на площадке*).

БЛЕХ. Я принужден быть жестоким, мой дорогой мальчик. Вы сами поблагодарите меня когда-нибудь. Подпишите-ка.

АННИ. Господа, кончайте эту тяжелую сцену!..

РУДОЛЬФ. Хорошо!.. (*Берет перо*.)

БЛЕХ. Внимательно прочтите приписку к договору!

РУДОЛЬФ (*читает. Анни свистит наверху. Тихо*). Я не могу подписать

БЛЕХ. К ста восемнадцати патентам вы прибавляете еще только один... В чем дело?

РУДОЛЬФ. Этого патента я не могу отдать, господин Блех. Ничего более вдохновенного я не создам... Пусть нищество, голодная смерть... Сам надену петлю на шею, но понимаете—покуда не высунется язык, хочу повторять: «Это—я, я, не призрак, не аноним, целиком—я...» Пусть это выссокомерная глупость; в такой глупости—тоже вдохновение... Я больше чем нищий, я презренный нищий;—связал самого себя, забил рот тряпкой... Ах, не деньги, не слава!.. Но хотя бы ощущение большой жизни! Хотя бы призрак свободы!

АННИ. Какие тяжелые дни...

БЛЕХ. Голубчик, вы все воспринимаете слишком болезненно... Тяжелые времена. Выпьем кофейку... А? Пусто?.. Анни,—горяченького. (*Анни спускается по лестнице. Звонит телефон. Блех бросается к трубке*.) Биржа?.. (*Анни спустившись, заваривает кофе в электрическом кофейнике, потом достает из стенного шкафа бутылочку ликёру*.)

АННИ. Мне хочется кричать от боли... От боли и беспомощности.

БЛЕХ (*в телефон*). Берите машину. Мюллер, я говорю,—немедленно берите машину... Я жду. (*Кладет трубку*.) Надежды, кажется, никакой...

АННИ. Это—с биржи?

БЛЕХ. Да, общее падение...

(Входят Липке и двое служащих.)

ЛИПКЕ. Доброе утро, господин Блех...

БЛЕХ. Депутация?

ЛИПКЕ. От служащих, господин

Блех... Мы собрались в конторе...

БЛЕХ. Ну?

ЛИПКЕ. Распространился тревожный слух...

БЛЕХ. Что контора не будет платить жалования, что всех выкинут на улицу?

ЛИПКЕ. О, господин Блех, мы не позволим себе даже подумать о таком ужасе...

БЛЕХ. Пойдемте, я поговорю... Мужества, мужества, господа!! Что такое, повесили носы!.. Будьте мужчинами, чорт возьми!.. (Уходят Блех и трое служащих.)

АННИ (Рудольфу). Два слова о моем отце... Он испортился, он был лучше. Он растерян. Говорит глупости, шумит и в глубине понимает, что погиб. Мне его жалко... Мы с вами, Рудольф,—о, жизнь—вперед!.. Но папочка,—опять все сначала... Столько лет он карабкался наверх... И когда вот—свой дом, обеспеченная старость,—крах!.. Быть может, придется расстаться даже с этим домом. (Чокается.) Ну, за что же?..

РУДОЛЬФ. Простите меня, Анни... я, недостойно раскричался...

АННИ. Руку!.. (Встряхивает его руку.) Забыто... (Поправляет цветок в его петлице.) Я не хочу, чтоб вы думали обо мне вкривь и вкось...

РУДОЛЬФ (берет ее руку). Можно? (Целует.)

АННИ. Можно, конечно можно... (Кладет ему руку на плечо.) Я—беспомощная, я ничего не умею,—спорт, немножко музыки... Я—потребительница индустрии Люкс... Элегантная женщина из промелькнувшего лимузина... Правда? Ведь вы—так думаете обо мне?

РУДОЛЬФ. Бог знает, что вы говорите, Анни!..

АННИ. Когда вы еще жили на чердаке и каждое утро на свет разглядывали ваши единственные панталоны, вам чудилась подруга—честная блондинка, с

душой возвышенной, как облако, и чистой, как источник... Вы искали Маргариту и не нашли. Голубчик, их нет больше. После войны вы не заставите элегантную женщину, если она не голодна, пачкать руки и потеть во имя принципов и добродетели. Но зато мы умеем рассказывать сказки,—забудете все, лежа на подушке рядом с какой-нибудь пепельноволосяй головкой. Двадцать раз назорете паразитом такую продвнутую мордашку, бормочущую напомаженным ротиком упойтельный вздор. В двадцать первый честно сознаетесь: она вещественней ваших бредней о человечестве...

РУДОЛЬФ (встал, отошел). Издеваетесь, Анни, издеваетесь. Вы правы... Я не того еще заслуживаю.

АННИ (подходит к нему). Нет... Рудольф... Мне страшно... Мне страшно глядеть на ледяной ветер... (На окно.) Такая ничтожная защита,—стекло! Швырнут камнем... и ветер подхватит... Я знаю, я знаю, что ждет, бродить по тротуару, под фонарями... И—ветер до костей.

РУДОЛЬФ (обхватывает ее за плечи). Что? Ну—что? Украсть? Убить?

АННИ (освобождаясь). Налейте мне ликеру. (Он наливает.) Нет,—коньяку. Как глупо,—у меня истерика... (Пьет, стуча зубами о стекло.)

РУДОЛЬФ (овладев собой, холодно). Если нужна моя жизнь—возьмите...

АННИ. Его жизнь! Вы фантастическое чудовище,—понимаете это?

РУДОЛЬФ. Да, да, вы очень тонко меня поняли... Но в данном случае не улавливаю, чем я вызвал?..

АННИ. Чем? Спрашивает... Не понимает... (Заломила руки.) Пытка!

РУДОЛЬФ. Может быть, легче будет сказать прямо, что я должен слезать?

АННИ. Женщина валяется у его ног. Приговор—жизни или смерти—от его согласия.

РУДОЛЬФ. Согласия—на что?

АННИ. Почему я знаю... Отец сказал, если Рудольф согласится и подпишет,—мы спасены.

РУДОЛЬФ (холодно). Вы, Анни, будете спасены.

АННИ. Все, что могу предложить взамен мировой славы,—возьмите меня... (Шум голосов, крики. Торопливо входит Блех и бухгалтер Мюллер.)

БЛЕХ. Товарищи здесь? Мюллер, позвоните в заводской комитет, пусть они кончают болтать! (Зейделю.) Настроение? Слышите? Зверь на свободе... Конечно, Рудольф Зейдель, нас больше нет! Лопнули со зловонием! Мюллер, расскажите ему!

МЮЛЛЕР (от телефона). Повалился фунт...

БЛЕХ (поднял палец). Фунт стерлингов! Абсолютная истина зашаталась...

МЮЛЛЕР. В двадцать две минуты двенадцатого биржа была закрыта... Господин Зейдель, все ценности покатались вниз... Боже мой, если бы вы видели, что творилось!

БЛЕХ (Мюллеру). Звоните. (Тот звонит.) Я потерял все! Завод закрыт. Касса пуста! Больше я не желаю бороться! (Быстро открывает ящик стола. Анни слегка вскрикивает, кидается к отцу, силой закрывает ящик.)

АННИ. Рудольф согласен!

БЛЕХ. Что?

АННИ. Подписать!

БЛЕХ. Пусти... Я достану сигару! (Вынимает из ящика сигару, закуривает.)

МЮЛЛЕР. Члены заводского комитета сейчас будут, господин Блех.

БЛЕХ (идет к Зейделю). Согласен?

РУДОЛЬФ (глядя на Анни). Согласен...

БЛЕХ. Сын мой, мальчик мой!.. Закончи... Подпиши... Приедут русские, я хочу говорить с договором в кармане...

РУДОЛЬФ (идет к столу, берет перо). День какой?

БЛЕХ. Понедельник. (Рудольф выглядывает на Анни, подписывает. Анни берет его руку, целует.)

РУДОЛЬФ. Анни!.. (За окнами шум голосов, в окно видно, как полиция отгесняет рабочих.)

МЮЛЛЕР (у окна). Депутация от рабочих, господин Блех.

БЛЕХ (сквозь зубы). Я не разговариваю с-неорганизованными массами... Пошли их к чорту!..

МЮЛЛЕР. Боже мой.. Боже мой, снова ноябрьские дни... (Уходит.)

БЛЕХ. Рудольф, вам они верят... Скажите им, что мне осталось — пусть пулю в лоб... Все, что угодно... Во всяком случае — пусть они только не бьют окон... (Указывает.) Это стоит две тысячи марок... (Рудольф уходит.) Анни, дом переведен на твое имя. Я оформил. (Ищет документ.) У меня подагра, дрожат руки: вот, спрячь. Да, еще... (Вынимает из стола пачку денег.) Пересчитай, спрячь, лучше вне дома... Все. (Прячет договор в карман.) Теперь, — пожалуйста, господа товарищи! (Стук в дверь.) Да... Войдите! (Входят члены заводского комитета, социал-демократы Брицке и Беккер.)

БРИЦКЕ. Добрый день!

БЕККЕР. Добрый день!

БЛЕХ. Добрый день, товарищ Брицке! Добрый день, товарищ Беккер! Как дела? Как варит желудок? Как поживает фрау Брицке?

БРИЦКЕ. Благодарю вас, господин Блех!

БЛЕХ. Итак, что же предлагает заводской комитет?

БЕККЕР. Мы пришли решительно поговорить. Вы читали сегодняшнюю статью в коммунистической газетке? (Показывает Блеху газету.) Эти каторжники утверждают, что вы ни пфеннига не заплатите нашим рабочим.

БРИЦКЕ. Мы не хотим гражданской войны, мы не хотим крови... Но настроение угрожающее, господин Блех. Нужно платить!..

БЛЕХ (бросает газету). Если я стану проповедывать убийство всех блондинов, меня посадят в сумасшедший дом!.. Газета приповедует поголовное истребление всей буржуазии, — ее называют центральным органом коммунистической партии... К чорту!.. Стране нужна железная рука — сдавить горло этой сволочи. Благодарите бога, товарищи, что кто-то еще руководит производством, что мы даем вам жрать!..

БРИЦКЕ. Не нужно так волноваться, господин Блех. В кризисе много успокаивающих симптомов!

БЛЕХ. Ну-с, так что же вы, товарищи успокоители, мне предлагаете?

БЕККЕР. Мы будем настаивать!

БЛЕХ. Настаивать?

БЕККЕР. Семейным рабочим предоставить жилища, с отсрочкой квартирной платы.

БРИЦКЕ. Многие работали на заводе по двадцати пяти, по тридцати лет...

БЕККЕР. Старым рабочим, семейным, состоящим в профсоюзе, уплатить полностью.

БЛЕХ. Полностью? *(Гремит в кармане штанов медяками.)* Квартиры—пожалуйста. Но—ни отопления, ни освещения. Завод консервируется! Заработная плата? *(Выхватывает из кармана горсть мелочи, бросает на стол.)* Получайте! Мало? *(Выхватывает из другого кармана мелочь, бросает.)* Штаны прикажете снять? Плачу пфенниг за марку, а там—делите! *(Близко за окнами шум, возня, удары. Брицке спешит к окну, Беккер встает.)*

БРИЦКЕ. Эх! Ударил полицейского!

БЕККЕР. Это Шиман—первый крикун и скандалист!

(За стеклом на секунду появляется рабочий с окровавленным лицом. Злобно приближается к стеклу. Блех лезет в карман за револьвером. Полицейские, набежав, оттесняют рабочего от окна.)

БЕККЕР. Ваше контрпредложение чересчур тяжелое...

БЛЕХ. Что вы топчетеесь! Идите к ним! Успокойте зверей..

БРИЦКЕ. Скандала не допустим, будьте покойны! *(Уходят.)*

БЛЕХ *(бросается в кресло, ударяет локтями в стол, обхватывает голову, раскачивается.)*

АННИ *(садится напротив него, растерянно глядит на отца.)*

БЛЕХ. Боже, боже, боже..

АННИ. А наш автомобиль?

БЛЕХ *(не открывая лица)*. К черту автомобиль!

АННИ. Что угодно, я не могу без машины. Я не умею—пешком

БЛЕХ. Автомобиль продан!

АННИ. Папа, кому?

БЛЕХ. Русским!

АННИ. Что же теперь будет?

БЛЕХ. Казенная машина!

АННИ. Казенная? Где?

БЛЕХ. В России!

АННИ. Мы поедем туда?

БЛЕХ. Да!

РУДОЛЬФ *(входит, решительно жестикулирует)*. С нашими рабочими я требую честно расплатиться!

БЛЕХ *(отнимая руки от лица)*. Честно, да?

РУДОЛЬФ. Честно, да!

БЛЕХ. Вы — щенок!

РУДОЛЬФ *(после паузы, — спокойно, *почти с любопытством)*. Блех, что с вами?

АННИ. Мы такие же нищие, как ваши драгоценные рабочие.

РУДОЛЬФ. Анни, совесть я еще не продавал Блеху.

БЛЕХ. Все продано, голубчик, все. Бросьте корчить невинность... Найдите-ка мужество — взглянуть несчастью в железные глаза... Кстати, — приведите свои дела в порядок, отдайте выстирать грязное белье... Мы можем совершенно неожиданно выехать!

РУДОЛЬФ. Куда?

БЛЕХ. В Россию! На три года, сын мой... Будете там каждый день есть мясо...

РУДОЛЬФ. Послушайте, Блех... Вы же сами говорили: в России жить нельзя...

БЛЕХ. Почему? Вздор... Живут и в джунглях, с людоедами...

РУДОЛЬФ. Да, но не там, где человеческая личность раздавлена, где средневековое рабство... Это—ваши слова.. Вы ссылаете меня в эту страну без надежного равенства, чтобы обезличить до нуля!..

БЛЕХ. Сегодня там платят деньги..

АННИ. Рудольф, мы должны вместе дружно, мужественно пережить тяжелые годы.

(Гудок автомобиля.)

БЛЕХ *(торопливо)*. Приехали... Анни, может быть,—бутылочку рейнвейну... В конце концов, что мы знаем о России? Может быть, не так уж там и страшно. Рудольф, мой мальчик, будьте милосердны. Видите, у меня трясутся руки. *(Входят русские, Торопов и Лукин. Рослые, серьезные, одетые в новое. Несколько связаны.)*

БЛЕХ. Добрый, день, господин.. товарищ Торопов, добрый день товарищ Лукин... Да, застаете у нас тяжелую кар-

тину... Все-таки тридцать лет жизни вложено в этот завод... Морально тяжело... Любил дело... На днях даже отказался от прекрасного предложения в Америку...

ТОРОПОВ. Мы не намерены воспользоваться вашим тяжелым положением. Наши условия остаются те же...

БЛЕХ. Прекрасно... Я вам не упоминал о моем секретаре. Рудольф, пожалуйста, познакомьтесь... Его жалованье—триста марок—придется ввести дополнительным пунктом в договор...

ЛУКИН (Торопову). Секретаря и у нас можно найти... Хотя бы Ольгу Захарову...

БЛЕХ. Что говорит товарищ?

ТОРОПОВ (Лукину), Мелочи. Нужно будет, возьмем и его секретаря. (Блеху.) Хорошо, поговорим.

БЛЕХ. Должен предупредить, господа: без Рудольфа Зейделя я не еду... Без него, как без моей записной книжки... Талантливый инженер, прекраснейший исполнитель.

РУДОЛЬФ (усмехается).

БЛЕХ. Моя дочь, Анна... Мечтает о России...

ТОРОПОВ. Очень приятно.

АННИ. Я хотела спросить: что нужно брать в Россию? Там очень холодно? Женщины там носят шляпы?..

ТОРОПОВ (Лукину). Иван Михайлович, носят у нас шляпы женщины, не помню.

ЛУКИН. Носят.

ТОРОПОВ (Анни). Как же—носят, все носят. Пойдемте, Конрад Карлович...

БЛЕХ. Прошу. (Лукин, Торопов и Блех уходят.)

АННИ. О чем, Рудольф? Мне не нравится—смех...

РУДОЛЬФ. Может быть, хозяин продемонстрирует мои зубы, мои мускулы? Я умею еще прыгать через стулья. (Садится на ступеньку внизу лестницы.)

АННИ. Злой... Вы—жестокый... Ах, Рудольф, мы спасем наш дом.. Когда вернемся, будем в тысячу раз острее воспринимать снова обретенную красоту...

РУДОЛЬФ. Дивный дом. Волшебный замок... Нужно последить, чтобы его не затянуло паутиной в эти годы. Ай-ай-ай, вороны тоже, видно, покидают

эти места. Адьё!.. Скакнула бочком на ветке, полетела... Ветер, дура, крылья обламашь. Уедем. Потянутся долгие годы унылого труда. Вы будете глядеть на снежные равнины, и глаза ваши поблекнут от ожидания... А потом—старость. Потом—смерть. Все очень просто... Вы не находите, Анни, теоретически должна где-то существовать иная жизнь?..

АННИ (плача). Я поняла: до самой смерти вы будете мне мстить, Рудольф...

РУДОЛЬФ (подходит, целует ее волосы). Мстить—этой пепельноволосой головке, этой продувной заплаканной мордашке?.. За что? Правда ведь... как будто—не за что?..

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ СССР

Картина первая

(Застекленный павильон на заводе. Три двери: входная, к директору и в чертежную. Столы. Телефон. В углу — модель трактора.)

У одного из столов Ольга Захарова разбирает корреспонденцию. У другого стола—Лукин и конструктор—Коренев и Михайлов. За стеклянной стеной, в цеху, проходят, возбужденно разговаривая, несколько человек рабочих. Стоящие в павильоне на минуту оборачиваются туда. Затем продолжают разговор.)

КОРЕНЕВ (Лукину). Тогда же мы тебе и написали: возвращайся вместе с директором...

ЛУКИН. Понимаю.

КОРЕНЕВ. Теперь поздно: план утвержден, смета прошла.

ОЛЬГА. Ты где был, Иван?

ЛУКИН. У Круппа. У Сименса в Берлине... Привез чертежи...

КОРЕНЕВ. Смета конструкторского бюро вся провалена. Денег дали насмех

МИХАЙЛОВ. На бумагу, на кнопки, а уж на карандашники и нехватает...

КОРЕНЕВ. Погоди, Вася... Институту электросварки смета урезана почти наполовину... Основание: слишком широко развернули опытную часть...

МИХАЙЛОВ. А этого чиновники

хуже всего бояться: опыт—штука темная...

КОРЕНЕВ. Погоди, Вася... И теперь—главное: утвержден выпуск старой модели, — тридцать пять тысяч тракторов.

МИХАЙЛОВ (указывая на модель). На ней воду возить в деревне—еще туда сюда...

ЛУКИН. Кто этот план провел?

КОРЕНЕВ. Торопов. Все наши хозяйственники.

ЛУКИН. Чорт его знает!.. Он совсем о другом говорил за границей.

КОРЕНЕВ. Когда мы ему представили, что для новой модели станки наши не годятся, перепугался,—станки год назад получены из Америки... Значит,—о чем управление думало, почему не предвидело?.. Струсил... Чем бороться, кинулся проторенной дорожкой: все творческое под спуд, и—формальное выполнение плана... Вот—твой Торопов.

ЛУКИН. Позволь, позволь... Конрада Блеха он все же взял на завод.

КОРЕНЕВ. Для технической помощи. Блехом он козырять будет.

МИХАЙЛОВ. Немец у нас заскушает.

ОЛЬГА. Иван, их трое приехало?

ЛУКИН. Дочь, секретарь...

ОЛЬГА. Представляешь—безобразия: сейчас послали за ними на вокзал. А куда их привезут? В квартире лопнула труба центрального отопления...

МИХАЙЛОВ. Где-нибудь переночуют,—не обидим...

КОРЕНЕВ. Ольгу поставили в газету, как видишь... Что ж, будем драться. Оля, почитай-ка, что пишут с мест.

ОЛЬГА (бросая на стол пачку писем). Сплошь ругань.

КОРЕНЕВ. Отсюда требование: укрупненному хозяйству дать мощный трактор с воздушным охлаждением и на универсальном горючем.

ОЛЬГА (читает одно из писем). «О чем думаете, товарищи?.. У нас в Средней Азии вода на вес золота... Воздушное охлаждение решает дальнейший рост хозяйства...»

КОРЕНЕВ. Мы начали как-раз интереснейшие опыты (на Михайлова),—его идея... Совершенно новый принцип... Пришлось приостановить...

МИХАЙЛОВ. Я, Иван Михайлович, чуть-чуть не запил...

ЛУКИН. Да, напустили вы мраку, товарищи... Ольга, а ты как думаешь начет этих дел?

ОЛЬГА. Досадно тратить силы и время — штурмовать бумажные крепости.

ЛУКИН. А личные как дела?

ОЛЬГА. Кончила. Инженер второй месяц...

ЛУКИН (всем). Я чрезвычайно рассчитываю на приезд немцев. Блех—мировая величина по моторостроению. Не будет же он у нас ходить, покуривать. Видишь, в чем дело: при подписании договора он намекал, что везет с собой чертежи, его последний патент сто девятнадцатый... Это, кажется, то самое, что нам нужно.

МИХАЙЛОВ. А умен немец?

ЛУКИН. У-у.

КОРЕНЕВ. Надо, чтобы он сразу в нашей каше разобрался. Надо бы Ольгу к нему приставить. Она по-немецки—лучше немца, так и жжет.

МИХАЙЛОВ. Способная девочка.

ОЛЬГА (Лукину). Чего ты смотришь, Иван?.. (Смеется.)

ЛУКИН (вынимает из портфеля). Я тебе тут привез. (Подает.) Из Берлина...

ОЛЬГА. Что такое? Гребенка?

ЛУКИН. Да так—пустячок.

ОЛЬГА. Спасибо.

(В дверь вскакивает Петька Беспризорный.)

ПЕТЬКА. Слышали?

МИХАЙЛОВ. Слышали, слышали.

ПЕТЬКА. Мишка Зеленый нарочно остался на ночь в электросварочной. Ну конечно являются ночью этот старый-то клепщик...

МИХАЙЛОВ. Скобарев...

ПЕТЬКА. Ага.. И с ним—Первов и Мосов, литейщики. Взяли сваренную энтузиастами деталь станины и поперли под паровой молот.. Раз двадцать по ней ударили...

ЛУКИН. Вот как?.. Ну-ну...

ПЕТЬКА. Деталь выдержала, понимаешь... Ни один шов не лопнул. Литейщики, значит, —утерлись. Крик распродажи дворянских земель, ставших

тое наступление на энтузиастов вольтовой дуги, срыв электросварки?

КОРЕНЕВ. Правильно. Одно к одному...

ПЕТЬКА. Вчера Торопов пришел в электросварочную. «Да, говорит, конечно спорить нельзя, но все-таки хорошо склепанный кожух, литая станина ласкают взор, красивее сваренной»... Я ему отвечаю насчет старозаветной красоты заклепки...

ОЛЬГА. Беспризорный, вот тебе выдержки из писем...

ПЕТЬКА. Крыть хозяйственников?

КОРЕНЕВ. Без пощады.

ОЛЬГА. К завтраму — фельетон.

МИХАЙЛОВ. Чиновник смеху боится, а ругать, — он только почесывается.

КОРЕНЕВ. Да перемени ты фамилию, Беспризорный, что за подвагонная романтика...

ПЕТЬКА. Все недосуг...

МИХАЙЛОВ. Вот фамилия — Электрон. Культурно и бойко.

ПЕТЬКА. Прикидывал — не подходит: я и так маленький... *(Разбирает письма.)*

ЛУКИН. Давайте соберемся в два часа в чертежной.

КОРЕНЕВ. Да, если бы немца заинтересовать...

МИХАЙЛОВ. Пускай нас и поругает, ничего... А то мы, как мужи осенью.

(Идут к двери чертежной. Из кабинета в то же время выходят несколько человек с портфелями.)

МИХАЙЛОВ *(Лукину)*. Чиновнички. *(Коренев и Михайлов уходят.)*

ТОРОПОВ *(в дверях кабинета)*.

Ольга Васильевна, сейчас должны приехать немцы. Слышали конечно — неприятность с отоплением. Пока их сюда, что ли, провести... Вы побудьте с ними... Всякие там вопросы, — объясните, покажите...

ОЛЬГА. Хорошо.

ТОРОПОВ. Иван Михайлович, тебе бы докладик прочесть о заграничных впечатлениях...

ЛУКИН. Не о заграничных, о здешних делах говорить нужно, Семен Семенович... Ты что тут натворил?

ТОРОПОВ. Ах, ты сразу — в драку... Ну, ладно... *(Взглянул в окно.)* Ольга

Васильевна, подехали... Встретьте. *(Ольга уходит.)* Знаешь, что я застал, когда вернулся? На заводе — сумасшедший дом... Твои конструктора двенадцать тысяч ухлопали на опыты... И ничего не сделано... Требуют переоборудования всех цехов. Станки им, видите ли, не подходят, — первокласснейшее американское оборудование!.. Твой Михайлов, — доморощенный гений, — чушь какую-то порет... Видел я его чертежи воздушного охлаждения, — над этим еще десять лет работать... Германские заводы: порядок, часовой механизм... А у нас — нечесано, растрепано, грязища, гении бегают...

ЛУКИН. Легко ты решил задачу: жизнь — под сукно, творчество — по шапке.

ТОРОПОВ *(указывая на стол, где Ольга перебирала письма)*. Ты этих писем, что ли, начитался? У наших степнячков распухшее воображение. Пусть они на местах сначала научатся не ломать этот трактор. Вчера на водах пахали, — подай им воздушное охлаждение!.. Если так гоняться за каждым требованием, ничего нельзя делать, немыслима никакая культура... Мы не можем поставить завод на колеса, скакать за жизнью...

ЛУКИН. Устал ты, Семен Семенович... Диалектики испугался.

ТОРОПОВ. За эту самую диалектику в девятнадцатом году генерал Шкуро мне из спины ремни резал... А вот где ты был тогда?.. Диалектика!..

ПЕТЬКА. Никто не оспаривает ваших прежних заслуг, товарищ директор

ТОРОПОВ. Пожалуйста... Кройте.. Тридцать пять тысяч этих машин будут выпущены к четвертому кварталу.

(Идет в кабинет. За стеклянной стеной — взволнованные голоса.)

ПЕТЬКА. Наши энтузиасты волокут литейщиков к директору.

(Входят с небольшими чемоданчиками, в шубах Блех, Анни и Рудольф. За ними — Ольга. Немцы изумленно оглядываются на приближающийся шум голов.)

БЛЕХ *(Ольге)*. Что-нибудь серьезное случилось на заводе?

ОЛЬГА. Спор между старыми и молодыми...

БЛЕХ. Гм... У вас позволяется так шуметь?

АННИ. Папа, я хочу в гостиницу.

ТОРОПОВ. С приездом, с приездом... (Здоровается. Лукин кланяется издали.) Через полчаса квартира ваша будет в порядке... Неожиданно мороз проклятый—лопнули трубы..

БЛЕХ. Все можно предусмотреть, и мороз можно предусмотреть..

ТОРОПОВ. Научимся, Конрад Карлович. Хорошо бы вам чайку с дороги, вот черт.. уборщица ушла в местком на заседание... Да вы разденьтесь.

АННИ. Папа, в гостиницу..

ТОРОПОВ. Строим, строим... Первокласснейшую гостиницу... Все, все будет, фрейлейн... Разбиваем парк. Весной открываем Дом культуры

РУДОЛЬФ (изумленно). Дом культуры?

ОЛЬГА (Рудольфу). У нас восемнадцать тысяч рабочих. Культурные требования огромные. Будут театр, библиотека, спортивные залы, кино.

ТОРОПОВ (спешит к дверям). Товарищи, в чем дело?

(Входят семь человек: старик, дядя Яша, молодые—Глушков, Зеленый, Никитина, это—электросварщики, они несут измятую под молотом деталь. За ними—трое пожилых: Носов, Скобарев и Первов, это—литейщики и клепщики)

НИКИТИНА. Директору на стол, поставить ее на стол!

НОСОВ. Не мы это делали, нечего нам и отвечать...

НИКИТИНА. Врете, товарищ Носов!

СКОБАРЕВ. Не шуми, девка,—молода еще

НИКИТИНА. Именно—молода. Товарищ директор, литейщики и клепщики перешли в бешеное наступление против нас. Энтузиасты вольтовой дуги квалифицируют это как поход против культуры. На общем собрании мы будем требовать—выместить вместе с их допотопными горнами и клепальными молотками весь дух закостенелой деревенщины и шкурничества...

ПЕРВОВ. Ух ты, говорит—прямо пулемет..

НОСОВ. Да не мы это..

РУДОЛЬФ (Ольге). Что они говорят? (Ольга шопотом переводит ему.)

СКОБАРЕВ. Да хоть бы и мы. Не о том речь. Разве к такому делу можно детей подпускать? Электросварка—дело новое, ее надо сперва хорошо проверить. Может, она металл пережигает?

НОСОВ. Пережигает—это верно...

НИКИТИНА. Бешеная ложь!

АННИ. Она голодная, почему она кричит?

БЛЕХ. Да, нравы, я посмотрю.

СКОБАРЕВ. Дело темное—электросварка... Выпускаем продукцию для всего Союза. Шутите. А уж клепка—дело испытанное. Мы за эту продукцию отвечаем.

ТОРОПОВ. Давайте успокоимся, товарищи. Обещаю все это дело разобрать.

НИКИТИНА. Товарищи, директор предлагает успокоиться.

ДЯДЯ ЯША. Подожди, девочка, я им скажу. (Скобареву.) Я, дружок, старей тебя: сорок пять лет на клепке. Оглух. А я первый пошел в энтузиасты-то.

СКОБАРЕВ. Чего с тебя и спрашивать..

ДЯДЯ ЯША. Клепка. Эх вы, глухарь.. Одну заклепку пять человек бьют. Первый подтягивает, другой* поддает, третий упор держит, четвертый бьет, а пятый возле покуривает. Пока вы пятеро стучите—я один наработаю без шума..

ЗЕЛЕНый. В литейном у них то раковины в чугуна, то осадка. Полон двор завалили браком.. Архаизм

СКОБАРЕВ (зло). Чаво?

ГЛУШКОВ. Так и скажите,—быть у нас электросварке? Быть у нас культуре? Или работать—день да ночь, сутки прочь. Большой вопрос поднят

НИКИТИНА. Смерть литью и клепке!

АННИ. Папа, я боюсь

БЛЕХ. Нас не тронут, детка

СКОБАРЕВ. Вот то-то, что кричать вы все здоровы, молодые...

НИКИТИНА. Несите к директору на стол. Запротоколируем, составим акт. Фотографические снимки—в Москву

ПЕРВОВ. Дело их темное, вог и кричат—голосом подсобляют.

(Сварщики, клепщики и литейщики уходят в кабинет)

ТОРОПОВ Через парочку дней привыкните, Конрад Карлович У нас все на страсти, все на последнем градусе. (Уходит в кабинет.)

БЛЕХ Но, как они с директором разговаривают? Изумляюсь

ЛУКИН (Петьке). Вот для тебя материал, Петька Борьба за темпы.

ПЕТЬКА. Простенографирую (Берет бумагу, убегает в кабинет.)

РУДОЛЬФ (Ольге). Вы говорите, это — идейная борьба?

ОЛЬГА Какая же другая борьба возможна?

РУДОЛЬФ. Во имя счастья, во имя человечества,—вы это хотите сказать?

ОЛЬГА Ну, это немного туманно. Наша задача в данный отрезок времени—построить все, что намечено планом.

РУДОЛЬФ Скажите, эти все люди—свободны?

ОЛЬГА Я не понимаю

РУДОЛЬФ. Свобода Ну, как это вам объяснить.. (Ольга с усмешкой глядит на него.) У нас на Западе Гм

БЛЕХ (Ольге). Скажите, неужели вы, русские, не наговорились за четырнадцать лет? Работать нужно, поменьше спорить. Спорят пусть хозяева

ОЛЬГА Рабочие—хозяева завода Как же не спорить и не волноваться, когда у нас—прорыв...

БЛЕХ Позвольте, позвольте, — как рабочие хозяева? Завод государственный.

ОЛЬГА Рабочие и есть государство
БЛЕХ. Рудольф, вы что-нибудь понимаете в этом?

РУДОЛЬФ Это необходимо понять

БЛЕХ Ну, дай вам бог (Смеется)

ЛУКИН (тихо) Оля, я тут набросал. (Подает бумажку) Сам-то я затрудняюсь по-немецки Ты ему объясни всю картину Завод гибнет Отрыв от жизни. Нужен новый объект производства. Вся наша молодежь, как звери, будем работать Пусть только Понимаешь?

АННИ (Рудольфу). Вам нравится эта женщина?

РУДОЛЬФ. Мне нравится то, что она говорит

АННИ. Первый раз вижу вас таким Каким-то вз'ерошенным.

(Из кабинета директора выходят Петька и семь рабочих)

ТОРОПОВ (в дверях). Инцидент исчерпан Принципиально вопрос мы поднимем конечно..

НОСОВ. Уплатим за порчу, чего шуметь-то.

СКОБАРЕВ Маленькое дело, плевка не стоит.

НИКИТИНА. Огромное, всесоюзное дело Решение директора для нас менее всего авторитетно. (Рабочие уходят.)

ПЕТЬКА (Ольге). Решение сволочное,—компромисс.

ОЛЬГА. А ты чего ждал?

ПЕТЬКА. Шестьдесят копеек дай, не жрал сегодня. Фельетончик будет мирового значения (Уходит.)

ТОРОПОВ (подходя к модели трактора). Вот, Конрад Карлович, — объект нашего производства Красивая машина?

БЛЕХ. Гм... Бывают и хуже, бывают и лучше

ТОРОПОВ. Рост сельского хозяйства заставляет прислушиваться к новым требованиям. Кое-что тут нужно улучшить, добавить Не меняя однако общего принципа Это мы и поручим вашему вниманию...

БЛЕХ Забавно.

ЛУКИН (подходит к трактору) Пять лет тому назад крестьянскую лошадь едва не объявили контрреволюцией. А это (хлопает ладонью по кожуху) это и есть контрреволюция

РУДОЛЬФ Что? Что он говорит?

Картина вторая

(Там же. Месяц спустя. Рудольф (один) сидит на столе, рассматривает чертеж. Нахмурен. Из чертежной острожно выходит Михайлов Деликатно приближается к Рудольфу)

МИХАЙЛОВ (выражается больше жестами, чем словами). Мое, Рудольф Адамович (Указывает на чертеж)

РУДОЛЬФ (не поднимая глаз, хмуро кивает)

МИХАЙЛОВ Идейка-то конечно. Да, сыро еще

РУДОЛЬФ (с раздражением тыча в чертеж). Это вот что? Это?

МИХАЙЛОВ (быстро). А это, дорогой мой, у меня идет всасывание. Автоматически. И тут должен получиться вакуум.

РУДОЛЬФ Вакуума тут быть не может.

МИХАЙЛОВ. Чего это? (Беспомято оглядывается, но никого нет, чтобы перевести.) Вот ведь чорт, сдхнешь неграмотным по-немецки. Слышь, расстреливайте меня, а вакуум тут будет, и будет охлаждение до нуля.

РУДОЛЬФ (бросает чертеж на стол Заложив руки в карманы, ходит)

МИХАЙЛОВ. С другими ласков Что такое? Так его уважаем, готовы уже, не знаю, что.. Сердится

ПЕТЬКА (вбегает, роется в бумагах).

МИХАЙЛОВ. Петька.

ПЕТЬКА Да, некогда.

МИХАЙЛОВ Переведи ты ему, немец меня не понимает

ПЕТЬКА А ты бы сам лучше по-немецки учился.

МИХАЙЛОВ Начал Дорогой мой, ведь в двадцать втором году я еще грамоте не знал Физику, математику изучаю. Европу я догоняю или нет? А уж чересчур нажимать—и голова треснет

ПЕТЬКА Фельетон про энтузиастов вольтовой дуги перепечатан в «Известиях» Завтра у директора заседание о пересмотре сметы электросварочного института Понятно? (Бежит к двери Входит Ольга в парусиновом балахоне.) Ольга, сейчас еду в город, в Академию наук.

ОЛЬГА Зачем?

ПЕТЬКА Нужны теоретические данные (Уходит.)

РУДОЛЬФ. Где вы пропали, Ольга?

ОЛЬГА В электросварочной. Пробовали переменный ток,—оказалось, как я и думала: металл ведет себя совершенно по-другому в этом случае.. (Снимает балахон, берет полотенце и мыло) Вы

что, не можете сговориться? Сейчас приду (Уходит)

РУДОЛЬФ (берет обе руки Михайлова). Я вас уважаю. Но вы причиняете мне боль. Когда-нибудь я вам расскажу

МИХАЙЛОВ Вижу. Все понимаю, Рудольф Адамыч Тяжело тебе у нас РУДОЛЬФ Простите?

МИХАЙЛОВ Ты еще после Европы не очухался. А ты влезь хорошенько в нашу кашу да пойми нас Мы только с виду неказистые Мы ничего не боимся: ни науки, ни работы, ни смерти не боимся Отчаянные советские-то, страсть..

РУДОЛЬФ О да, советские знают, зачем они живут

МИХАЙЛОВ Чего это? Я говорю то-то

РУДОЛЬФ О, да.

МИХАЙЛОВ А насчет вакуума, он ведь будет

РУДОЛЬФ Вакуум? Да, будет

МИХАЙЛОВ А ты хитришь, парень

РУДОЛЬФ Что?

МИХАЙЛОВ (берет чертеж) Я ведь сам понимаю, что это — сыро Для порядка хотел показать (Рудольф просождает его до двери чертежной Михайлов уходит)

БЛЕХ (выходит из кабинета) Рудольф

РУДОЛЬФ (очнувшись). Да.

БЛЕХ Эти товарищи из конструкторского бюро обрабатывают вас, как мальчишку Вы должны понять, вся их задача — выудить у вас тайну патента сто девятнадцатого.

РУДОЛЬФ Неправда

БЛЕХ У меня есть глаза и уши Эти проныры набивают вам голову социалистическими бреднями и подсовывают чертежики Я видел, как этот Михайлов

РУДОЛЬФ Неправда Михайлов показал мне такую шгуку, за которую вы заплатили бы полмиллиона долларов Он и сам еще до конца не понимает, что изобрел.

БЛЕХ Э. Вздор, вздор! Не верю в слесарей-самородков, в гениев из пастиухов. Что вас дергает за язык — вы-

балтывать наши секреты? Говорите им какие-нибудь глупости.

РУДОЛЬФ. Я не могу, я не хочу обманывать людей, которые.

БЛЕХ. Что которые?

РУДОЛЬФ. Все силы отдают переустройству нашего сомнительного мира..

БЛЕХ (свистнул). Поздравляю. (Резко.) Одним словом, я желаю охранить патент сто девятнадцатый в девственной чистоте. Я желаю продать его и выгодно. Не Торопову, другим. В Москве. Это — мое право. Я запрещаю вам давать советы и разъяснения из этой области. Вот.. (Указывает на трактор.) Возитесь с этим хламом. И, советую, — покрепче постарайтесь забыть, кто вы.

РУДОЛЬФ (с иронией). Вы запрещаете мне мыслить?

БЛЕХ. Запрещаю.

РУДОЛЬФ (с поклоном). Дышать?

БЛЕХ. Продам патент, — получите свои два процента. Дышите и мыслите. Так-то, старина. Бросим сердиться. Когда-нибудь скажете спасибо, что вовремя попридержали ваш темперамент.

ОЛЬГА (входит. Рудольф и Блех, стоящие около модели трактора, замолкают. Ольга занимается корреспонденцией).

БЛЕХ (похлопывая рукой по кобурке). Свободно было только первобытное человеческое стадо. Чем выше поднимается человек, тем туже натягивалась узда на его страстях. Напрасно думать, что путь культуры — путь к свободе. Человек обречен на все большие ограничения. История — суровый хозяин. Бунт, мятеж — это всегда только рев обезьяны. Вырвавшись из объятий природы, человек дорогою ценой купил восхождение.

РУДОЛЬФ (засмеялся). Блестяще!

БЛЕХ (руки в карманах, со сдержанным смехом — к Ольге). Вы тоже что-то хотели сказать, Ольга Васильевна?

ОЛЬГА. На заводе, Конрад Карлович, сейчас напряженная борьба. Мы потребовали пересмотра смет и плана. Завтра это решается. За нас — все ударные бригады, вся молодежь... Ру-

дольф Адамович вам скажет: мы правы. Если бы вы могли нам помочь...

БЛЕХ. В борьбе? Ни за что на свете. В чужие драки носа не сую, нет, нет, нет.. Ольга Васильевна.

ОЛЬГА. Мы и не рассчитывали на бескорыстную помощь..

РУДОЛЬФ (подойдя к диаграмме на стене, руки в карманах). Большевики не просят. Предлагают, затем — требуют, наконец — берут.

БЛЕХ (глядит на Рудольфа, рассматривающего диаграмму). Ну-с, так в чем же дело?

ОЛЬГА. Мы мечтаем о вашем патенте сто девятнадцатом.

БЛЕХ (хохотнул). Ну, еще бы! (С акцентом.) Губа не дура, так, кажется? Ваши конструктора знают, о чем мечтать (Серьезно.) Это будет стоить заводу не дешево.

ОЛЬГА. Ах, разве деньги имеют какое-нибудь значение!

БЛЕХ (хохотнул). О, большое значение, весьма большое. Вы когда-нибудь видели во сне, как вы кушаете призрачный суп, призрачной ложкой, и во рту — пусто? Без денег наши желания — только сон. Мираж. Деньги овеществляют воображение. Без денег нет уверенности, что мир мне не снится.

РУДОЛЬФ. Да. К сожалению.

БЛЕХ. Что — к сожалению, мой мальчик?

РУДОЛЬФ. Нельзя торговать миражами. Если бы за миражи платили деньги, вы были бы самым богатым человеком, Блех.

БЛЕХ (тихо). Это что? Бунт?

РУДОЛЬФ. Нет. Желание проснуться.

БЛЕХ. Я хочу вам напомнить о дисциплине, Рудольф. Будет лучше, если вы не с такой быстротой начнете разлагаться в этой стране.

(Входят Торопов и Лукин.)

ЛУКИН (Торопову). Ты думаешь, — гони продукцию в хвост и в приву, поднимай цифры выпуска, — это темпы? ТОРОПОВ. Ну хорошо, хорошо, отвяжись.

ЛУКИН. Темпы — это гворчество, импровизация, риск. Темпы — это но-

вая психология Освоить темпы значит ввести творчество в самый организм завода

ТОРОПОВ Черным по белому, — чего вы все хотите от меня?

ЛУКИН Пересмотра сметы

ТОРОПОВ Пересматривается

ЛУКИН Отказаться от выпуска этого трупа. (На трактор.) Смеяться нечему, это — именно чернильный труп Стране он обойдется дорого.

ТОРОПОВ Без поэзии, короче Что мы должны выпускать?

ЛУКИН Машину, отвечающую требованиям сегодняшнего, завтрашнего дня Модель, поддающуюся непрерывному развитию

ТОРОПОВ Где такая модель?

ЛУКИН Мы ее создадим

ТОРОПОВ А завод пока что будет стоять и ждать?

ЛУКИН Возможно еще решение

ТОРОПОВ Какое?

ЛУКИН Спроси у Блеха

ТОРОПОВ Конрад Карлович, возможно, не останавливая завода, на ходу, внести существенные улучшения в эту штуку? Не поверите, во сне стал снится проклятый трактор: лезет на кровать, подмигивает фонарями. На грани фантастики (Сменяются Торопов угодает папиросами)

БЛЕХ (на трактор). Вообще говоря, это — очень плохая машина

ЛУКИН (Торопову). Вот тебе ответ

ТОРОПОВ Дай же высказаться Нервы, товарищи.. Эх.

БЛЕХ Но сделать кое-что возможно Несколько увеличить мощность, — на две, даже на три лошадиных силы

ТОРОПОВ (Лукину). Видишь

БЛЕХ Перевести его на универсальное горючее? Гм Стоит ли? Впрочем как желаете Попытаемся Любопытно, как опыт

ТОРОПОВ. Опыт, ага.

ЛУКИН Конрад Карлович, ваш патент сто девятнадцатый

БЛЕХ Да, Семен Семенович знает о нем но, мне кажется, Семен Семено-

БЛЕХ Хотя, насколько я понимаю, мой проект — то, что вам нужно

ЛУКИН Взглянуть бы на чертежи.

БЛЕХ Чертежи у меня дома

РУДОЛЬФ Чертежей у вас нет

БЛЕХ Мой мальчик, вы забываете, я привез чертежи

РУДОЛЬФ Ну и прекрасно (Опять разглядывает диаграммы.)

БЛЕХ К сожалению, кое-какие детали я побоялся вести через границу. Те именно, что и составляют секрет патента, — воздушное охлаждение Но Рудольф быстро все это восстановит по моим указаниям

РУДОЛЬФ. Вы уверены в этом?

БЛЕХ Рудольф, я совершенно уверен, абсолютно уверен

РУДОЛЬФ Ну и прекрасно

ТОРОПОВ Что ж, пойдемте, побеседуем (Жестом предлагает войти в кабинет Блех и Лукин уходят Торопов проверяет стенные часы по своим на руке) Опять, черт их взял, позади. (Ольге) Бросьте, слушайте Бросьте. Покуда жив, не допущу, чтобы завод превратился в сумасшедший дом для ваших опытов (Уходит в кабинет.)

ОЛЬГА Рудольф Адамович, сколько примерно пришлось бы нам заплатить за патент?

РУДОЛЬФ Блеху за патент? Ни одной копейки

ОЛЬГА Не поймешь, когда вы шутите Я уверена, мы добьемся своего, мы получим деньги..

РУДОЛЬФ Что вам нужно? Рабочие чертежи? У Блеха чертежей нет и никогда не будет (С яростью) И никогда не будет!

ОЛЬГА Не понимаю Конрад Карлович — мировой спец

РУДОЛЬФ Конрад Карлович — мировой спец по бандитизму

ОЛЬГА (торопливо сует бумаги в портфель) Поговорим, когда вы будете в порядке

РУДОЛЬФ Блех намерен заставить меня сделать чертежи. Я не хочу Видите, на диаграмме сбоку изображен че-

Блех не предусмотрел этого, тут-то я и прорвался на свободу, — посвистывать.

ОЛЬГА Знаете, о чем у нас говорят? Блех никогда сам не отвечает на технические вопросы. Рабочие заметили: если вас нет, он посылает за вами. И всегда отвечаете вы. Вас так и зовут — справочник Блеха.

РУДОЛЬФ. Это колоссально и пирамидально смешно. Ольга, я хочу понять, что такое свобода? Куча денег? Так думает Блех. В школе мне говорили: свобода — высший дар небес. В таком случае почему небо так немилостиво? Ольга, ваши большевистские глаза отвечают: Рудольф, свобода — это понятая необходимость. Блестяще! Мне необходимо кушать, необходимо разгружать мозг от избытка, необходимо переждать хаос, куда Европа в'ехала кверху колесами. И необходимость засовывает меня под могильную плиту. Я продал душу дьяволу. Как Фауст? — вы думаете Нет. Мы низко падаем, мы дешево стоим, потомки великих бюргеров. Фаусту было о чем подумать, — власть над миром. Я продал себя за триста марок. И Маргарита моя сгнильцой. Ольга, вы, русские, горды и надменны. Мне больно быть среди вас.

ОЛЬГА Все это не верно. Все оттого, что вы — одиночка, обкошенный куст. И дело ваше одинокое. Идите к нам. Рудольф.

РУДОЛЬФ Не могу. Я завален могильной плитой. И на ней даже нет надписи. Неизвестный.

(Входит Анни в шубе, запорошенной снегом.)

АННИ О чем так страстно, Рудольф? (Здоровается.) Здравствуйтесь. Папа здесь? Едем обедать. Слушайте, снег, ветер, вьюга. Роскошно! Два раза машину загоняла в сугроб. Заказала столик в новом ресторане, — цветы, музыка, оказывается, очень мило. (Стучит согнутым пальцем в дверь.)

ОЛЬГА. Входите, там они одни.

АННИ Может быть, и вы поедете с нами в ресторан?

ОЛЬГА. Мне неудобно, фрейлейн Блех.

АННИ Какой вздор! Какая чушь! (Уходит в кабинет.)

ОЛЬГА Мы вас полюбили, Рудольф, все. Немного вы чудакватый. Мне кажется, в Европе все талантливые люди — чудаки.

РУДОЛЬФ (хватает ее за руки) Почему, почему?

(Звонок телефона.)

ОЛЬГА Как почему? Сами сказали — под могильной плитой.

РУДОЛЬФ Чудаки — вы, русские. Чудаки! Взались наводить порядок на земном шаре. (Опять сжал руки Ольги.) Мировые чудаки (Ольга смеется.)

(Звонок телефона. Из кабинета быстро выходит Лукин.)

ЛУКИН Рудольф Адамович, на минутку, вас просят. (Рудольф идет в кабинет, Лукин берет трубку.) Да. Директор еще здесь. Хорошо. Передам. (Кладет трубку.)

ОЛЬГА Ну, что?

ЛУКИН А! Торопов вертится, как выползень. С одной стороны и с другой стороны. Да и Блех, видимо, крепенький. Готовится заломить цифру. (Гудок завода. Лукин и Ольга взглядывают на часы.) Ну, ладно. Шабаш. Не пойду туда. (Сует бумаги в портфель.) Еще сорвешься. Оля, пойдем обедать в столовую.

ОЛЬГА Нет, я — домой.

ЛУКИН Секунды нет свободной. Поговорить нам нужно.

ОЛЬГА Может быть, не стоит?

ЛУКИН То-есть, как это — не стоит? То тебе некогда, то тебя никогда дома нет. Вижу, Оля, все вижу.

ОЛЬГА Это кто звонил сейчас?

ЛУКИН Товарищи из совхоза, Гирко и Буровой.

ОЛЬГА Есть письмо от них. Серьезные товарищи.

ЛУКИН Оля, что случилось? Завела, что ли, кого-нибудь себе?

ОЛЬГА (коротко). Нет.

ЛУКИН (радостно) Ну? Что за чепуха у нас? Была как будто жена. Приезжаю, и — нет. Ты думаешь, я в Берлине — с бабами? Ну их к черту! Честно говоря, не ты, так никого.

ОЛЬГА Слушай, бросим это...

ЛУКИН. То-есть что бросим? Ты яснее скажи.

ОЛЬГА. Обойдись.

ЛУКИН. То-есть как обойдись? Ты в уме, Ольга?

ОЛЬГА Видишь, два слова, и — крик. Иди, обед пропустишь..

ЛУКИН. Ну вот, еще подсыпали, — психологическую нагрузку.

ОЛЬГА (смеется). Ванечка, тут уж я ничего не могу поделывать...

ЛУКИН. И чем лучше баба, — тем с ней мудренее..

(Из кабинета выходят Блех, Рудольф, Анни и Торопов.)

ТОРОПОВ. Все это очень соблазнительно, Конрад Карлович. Но без Москвы решить конечно невозможно.

(Все идет к шубам.)

БЛЕХ. Я вас понимаю, я вас понимаю...

ТОРОПОВ. Все-таки, ориентировочно, на какую цифру мы должны рассчитывать?

БЛЕХ. Об этом — после, я думаю... Едем с нами обедать, Семен Семенович?

ЛУКИН (Торопову). Звонили сейчас Гирко и Буровой. Идут сюда.

ТОРОПОВ. Кто?

ЛУКИН. Товарищи из Казакстана, наши подшефники.

ТОРОПОВ. Конрад Карлович, минуточку задержигесь. Я вам покажу наших покупателей. Степняки, представители совхоза в двести тысяч га...

ЛУКИН (уходя). Конрад Карлович, они как-раз по поводу нашего трактора приехали ругаться..

БЛЕХ. А! Любопытно.. Взглянуть на покупателей. (Лукин уходит.)

АННИ. Папа... Рудольф, едем же, — я голодна..

БЛЕХ Присядь, деточка..

ТОРОПОВ (на стеклянную дверь). Плывут степнячки-хозяйева.

(Входят Гирко и Буровой, рослые и широкие. Буровой — в черкесске с пуштыми газырями, на медном лице — шрам от сабельного удара. Гирко — помоложе, в европейском платье, плохо сидящем на сильном теле.)

ТОРОПОВ. Здравствуйте, товарищи подшефники. Что скажете хорошего?

ГИРКО. Мало скажем хорошего.

БУРОВОЙ. Короче говоря, матери его чорт, о двух головах вы, товарищи, я вижу..

ТОРОПОВ (знакома их с Блехом). Товарищ Буровой, известный партизан, директор совхоза в отвоеванных им степях. Товарищ Гирко...

БУРОВОЙ (Блеху). Много наслышаны..

ГИРКО. Много на вас надеемся, товарищ Блех.

БЛЕХ (Торопову). Может быть, пригласим их обедать? Богатые покупатели...

ГИРКО Мы ругаться приехали.

БУРОВОЙ. Жизни вы не видите, товарищи. Через полтора месяца начинать пахать. Ждем стальных коней. А вы каких нам коней посылаете? .

БЛЕХ (Торопову). Клиенты довольны?

ТОРОПОВ. Нет, просто громко говорят, — степняки...

БУРОВОЙ. Короче говоря, матери его чорт, я расскажу, как мы на ваш трактор мужика посадили...

ГИРКО. В прошлый год как раз в страстную субботу.

БУРОВОЙ. Степь электричеством осветили, выехали запахивать колхозное поле. Мужики, бабы, ребята бросили заутренню стоять, прибежали. Светло, как днем. А мы шпашем под духовой оркестр... Вот тут-то вы нас и удружили. Часу не пропахали, — у одного трактора пальцем пробил цилиндр, у другого подшипники, матери его чорт, сплавлись, у третьего — трескотня, вонь — ни с места... Хохот. Мужики смеются. В станице на колокольне поп в колокол ударил. Поташил я тракторы назад на волах.

ГИРКО. Перед всем кулачеством нас лицом в грязь бросили...

ТОРОПОВ. Исправим, исправим, все ошибки исправим...

БУРОВОЙ. Его исправлять не стоит. Для наших степей эта машина — немошь.

ГИРКО У нас протяжение — триста верст — степь... Он и половину не пройдет.

БУРОВОЙ. А где я в степу воду найду? Вот это главное..

БЛЕХ (с акцентом, по-русски). Товарищи уважаемые покупатели, вам нужен мощный трактор с воздушным охлаждением

БУРОВОЙ. Вот В самую точку, гражданин.

ГИРКО. На что мы тогда большевики, если к весенней пахоте не будет у нас трактора.

БУРОВОЙ. Чтоб на нем гулять, как хочешь.

ГИРКО. Нам степь приказывала — без реконструкции шэфного завода назад не вертаться..

ТОРОПОВ. Пойдемте, товарищи, поговорим... Конрад Карлович, отложите обед на полчаса..

(Торопов, Гирко, Буровой и за ними Ольга идут в кабинет.)

ТОРОПОВ, Ольга Васильевна?

ОЛЬГА. Я за материалом для газеты.

ТОРОПОВ. Пожалуйста.. (Уходят.)

БЛЕХ (Анни и Рудольфу). Детки, поезжайте в ресторан, за мной пришлите машину.. Рудольф, бросим нервничать. Дело наше, видимо, разворачивается, можно взять деньги..

РУДОЛЬФ. А я тут при чем?

АННИ. Вы, слушайте, — совершенно непереносимый человек.. Подменили вас, не понимаю... Фу!

РУДОЛЬФ. Но как же быть, Анни. Биология моя протестует. Я — несуществующая личность. Человек-аноним. Я даже рюмки водки не смогу проглотить..

АННИ. Иногда кажется, вы — просто сумасшедший.

РУДОЛЬФ. Очень тонкое наблюдение..

АННИ. Ну, едем же... Надоело...

РУДОЛЬФ. Куда едем?

АННИ. Я заказала селянку по-московски. Боже мой!.. Вы влюблены, что ли, в кого-то..

РУДОЛЬФ. У меня больше нет сердца, у меня нет желудка. Сегодня запрещено дышать и мыслить. Вы требуете, чтобы я ел селянку. Блех требует от меня головоломных чертежей..

БЛЕХ. Зейдель, вы приметесь за них сегодня же ночью.

РУДОЛЬФ. Я достаточно ясно формулировал мою мысль относительно работы над патентом сто девятнадцатым..

БЛЕХ. Вот что, господин... Вы — не советский, вы — подданный страны, где есть порядочный суд и законы, охраняющие право собственности. Если ваши новые друзья посоветуют вам не выполнять нашего договора, вы будете посажены в тюрьму..

РУДОЛЬФ. Так..

БЛЕХ. Понятно?

АННИ. Боже, до чего все злы!.. Омерзительная жизнь! Ну и черт с вами!.. Еду одна.. (Идет к двери. Рудольф мрачно берет пальто и шляпу.)

БЛЕХ. Надеюсь, вы будете благодарны?

РУДОЛЬФ. Посмотрим.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

(Комната Рудольфа. Дверь в спальню и входная дверь. На столе — электрический чайник, посуда, еда, трубки чертежист.)

У стола — в клубах дыма — Рудольф, Корнев, Чикин, Забавный (конструктора) и Михайлов. Говорят вполголоса.)

РУДОЛЬФ (поднимается, отходит от стола). Это необыкновенно. Это необыкновенно!

МИХАЙЛОВ (глядя на Рудольфа, Корнев). Нравится ему? Одобрил?

ЗАБАВНЫЙ. Ай да Михайлов!..

РУДОЛЬФ. Это совершенно новая точка зрения. Очень замечательно! (Мнет пустую коробку от папирос, идет в спальню.)

ЧИКИН (хлопает Михайлова). Немца перекрыл.

ЗАБАВНЫЙ. Вот тебе и мочальная борода.

МИХАЙЛОВ. Бабенки бороду мою одобряют, зря не хай. У нас лоску нет, ребята. А мысли есть кое-какие.. Сыро еще конечно..

ЗАБАВНЫЙ. Будет ломаться, дьявол.

КОРЕНЕВ. Шесть часов, пойдемте.

(Все встают. Одеваются.)

ЧИКИН. Торопов сейчас должен приехать.

КОРЕНЕВ. А ведь верно..

ЗАБАВНЫЙ. Да. Подсобили нам стечнички.

ЧИКИН. Торопов — упрямым-упрям, а когда надо маневрировать, умеет.

КОРЕНЕВ. Если он валюту достал, теперь же получим блеховский проект. Январь—февраль на подготовку... В конце марта выпустим первый пробный..

ЧИКИН. Придется повозиться с воздушным охлаждением... Рудольф говорил, у Блеха в этой части не все удовлетворительно.

КОРЕНЕВ. Идею Михайлова возьмем, его радиатор и присобачим к блеховскому мотору.

ЗАБАВНЫЙ *(Михайлову)*. Вот прославился на весь мир..

МИХАЙЛОВ. Я страсть падкий до славы-то. Кепку себе новую куплю. Пойду гулять..

ЗАБАВНЫЙ *(смеется)*. Вот чудило!..

ЧИКИН. Куда Блеху все-таки такие деньги?.. Скучно, по-моему, когда много денег-то очень. Чего ни захотел, — моментально. Галоши — галоши. Велосипед — велосипед..

РУДОЛЬФ *(выходит из спальни с коробкой папирос)*. Уходите, друзья?.. Мы хорошо поработали... Я изумлен. В ваших предложениях я узнал много своих идей. И кое-в-чем вы идете дальше..

МИХАЙЛОВ. Сыро еще, Рудольф Адамович.

ЗАБАВНЫЙ. Погоди, не о тебе речь..

РУДОЛЬФ. В проекте Блеха воздушное охлаждение — самое слабое место.. Для Средней Азии оно окончательно непригодно: температура воздуха — семьдесят градусов! Получим неминуемое перегревание. Наилучший выход, все-таки — идея Михайлова..

КОРЕНЕВ. Мы так и решили: взять его проект, ударно разработать.

РУДОЛЬФ. То-есть как — взять? Это — его собственность... Он должен

его патентовать. Такой патент за границей стоит десятки тысяч долларов..

МИХАЙЛОВ. Чего это?

ЗАБАВНЫЙ. Говорит: можешь получить сто тысяч долларов.

МИХАЙЛОВ. Очень приятно. Нам валюта нужна.

ЗАБАВНЫЙ. Славой, говоришь, не захочешь с нами делиться.

МИХАЙЛОВ. Как не захочу? Мы вместе работаем. Нет, Рудольф Адамович, если одобряете мой проект, берите, только возьмите. Для одного дела стараемся.

ЗАБАВНЫЙ. Он и не спорит, чудило-то наш..

РУДОЛЬФ. Объясните ему: любой изобретатель на револьверный выстрел которого бы не подпустил к такой идее. Можно отдать все, последнюю рубашку.. Но — гений, гений!.. Или я плохо понимаю, друзья мои... Гений — единственное сокровище, единственное мое..

МИХАЙЛОВ. Рудольф Адамович я в бане люблю париться... *(Забавный и Чикин засмеялись.)* Вот бы мне пожертвовали воз вееников, спасибо.. А то, куда я буду патент выправлять, то да се, за границу его продавать, дело-то наше стоять будет... А тут час дорог берите, говорю, только берите... Вот, изобрету на досуге чего-нибудь неподходящее, тогда патентую, продам, загуляю, — пол-литровки, да еще пол-литровки. *(Забавный и Чикин смеются.)* Рудольф Адамович, мы, как дерево: вершина — в небе, а корни — в земле. Корнями с людьми и с делом нашим связаны..

ЧИКИН. Ну, пойдем, пойдем *(Тащит к двери.)*

МИХАЙЛОВ. Ты мне пиджак не порви, у меня один..

КОРЕНЕВ *(Рудольфу)*. Вы с Конрадом Карловичем половчей поговорите. Пускай он все наши изобретения, поправки берет, — спорить не станем..

МИХАЙЛОВ. До свиданьяца, Рудольф Адамович, благодарим вас.

(Михайлов, Коренев, Чикин и Забавный уходят. Рудольф один.)

РУДОЛЬФ (*наклоняется над чертежом Михайлова*). Так просто. Неожиданно и просто. Блех нажил бы на этом деньги...

ОЛЬГА (*входит в свитере, в лыжной шапке*). Опоздала, простите.

РУДОЛЬФ. Свежая, как роза утром.

ОЛЬГА. Сделано тридцать километров на лыжах.

РУДОЛЬФ. Состязание?

ОЛЬГА (*снимая колпак, встряхивает волосами*). Нас побили.

РУДОЛЬФ (*басом, в трубку чертежа*). Позор...

ОЛЬГА. Слушайте, у вас — чай?.. (*Подходит к столу.*) Можно?

РУДОЛЬФ (*бросается к столу, смахивает бумажки, мусор*). Проклятая холостая жизнь...

ОЛЬГА (*садится*). Катались с гор. Что было! Крутая, крутая гора, страшно взглянуть.. Оттолкнешься и — вниз... Начинаешь визжать...

РУДОЛЬФ. Зачем?

ОЛЬГА. Визжать необходимо... Снежная пыль, ветер, вихрь, и в конце непременно лыжи вот так, и — летишь кверху ногами... Слушайте, масла можно?

РУДОЛЬФ. Я могу приготовить шницель из самого себя на сливочном масле...

ОЛЬГА (*свистит*). Ну...

РУДОЛЬФ. Вы не позволяете выражать мою нежность.

ОЛЬГА. Говорите по-русски... Урок начался... Попытайтесь составить приличную фразу...

РУДОЛЬФ (*ломано, по-русски*). Я вас ушапно лубду... Я говорю вас...

ОЛЬГА. Дательный падеж: «говорю вам»...

РУДОЛЬФ. Я говорю вам ушапно серьезно...

ОЛЬГА. «Ушапно» — не «ш», а «ж» ..

РУДОЛЬФ. Хорошо... Мне доставляет удовольствие говорить вам в глаза, что я вас ушапно лубду...

ОЛЬГА. Сегодня сто раз повторите: «щи», «щетка» и «щепка».

РУДОЛЬФ. Хорошо. Ваши милые, очень дорогие глаза напоминают синее

небо, где я хотел летать свободно, как орель...

ОЛЬГА (*взглядывает на него, хохочет*).

РУДОЛЬФ. Конечно я — ужасный турак ..

ОЛЬГА (*поставив чашку*). Давайте — серьезно... Расскажите, что вы держите в руке.

РУДОЛЬФ. Это есть чертеж.. Это чертеж товарища Михайлова... Этот чертеж есть мой окончательный приговор... (*Пауза. Ольга с внимательным удивлением взглядывает на Рудольфа.*) Позвольте по-немецки... (*Вскакивает, затем — ходит, жестикулирует.*) Только-что я беседовал с нашими конструкторами. Мне хотелось кричать от отчаяния. Очевидно мой мозг исгощен. Они смелее меня в идеях. Они легко решают невозможные задачи. Михайлов десять лет тому назад не знал еще грамоте. Десять лет тому назад я считал себя гением, новым Фаустом. Сегодня Михайлов и я сошлись за этим столом, из двух миров пришли и взглянули в глаза друг другу... Приговор! (*Взмахивает чертежом.*) Ему сказали: отдай это. Смеясь, ответил: возьми... Он богаче меня. Он не знает волчьих спазм в челюстях, когда посягают на твою ответственность.. Он свободен, ему не поставлено границ творчеству, у чего одна пара сапог, пиджак и кепка. Он свободен от власти вещей.. А я не знаю, для чего ложусь в кровать и снова начинаю день: чтоб каждый месяц записать в шкатулочку триста марок, пометать с Ашши Блех о нашем будущем гнездышке? Волочить, как дохлую кошку на веревке, свою личность, набитую трухой столетий?.. Ужасно!.. Я несу жалкую чушь.. Я всегда был молчалив и сосредоточен... Но, как же мне не кричать, когда даже ваши глаза так далеки, так осуждающи.. Что мне делать? Ольга...

ОЛЬГА. Невозможно.. Так сразу и ответить... У меня еще в глазах — снег, ветер. Лицо горит, как-то глупо...

РУДОЛЬФ Ольга, в вас сейчас — ответ для всей моей жизни... И в нем, в Михайлове, — ответ... Но то, другое... Вы, как полный звук..

ОЛЬГА (*шопотом*). Понимаю...

РУДОЛЬФ. Я хочу быть с вами... Но меня что-то еще отделяет... Во что-то еще главное нужно поверить...

ОЛЬГА. Нужно верить, что в миллионах людей, — пусть они еще угрюмые и сутулые от тысячелетнего рабства, — скрыты неисчерпаемые творческие силы... Мы построим справедливую жизнь... В дождь, в мороз, в будни, какой бы ни дул ураган, кладем камень за камнем.. Поэтому мы так бездумны о себе и так многодумны о большем..

РУДОЛЬФ (*берет ее руки*). Спрятать лицо в ваши руки, в ваши колени... Ольга, немножко вы жалуете меня?

ОЛЬГА. Жалеют грудного, беспомощного, когда он тащит в рот ногу.. Вас я еще недостаточно люблю, Рудольф.. Вы — еще чужой...

РУДОЛЬФ (*ломано, по-русски*). Когда никто не любит — очень печально жить. Когда любит, хочется высоко подпрыгивать

ОЛЬГА. Берете меня на пушку, Рудольф, не по-товарищески.

РУДОЛЬФ. Мне не нужно даже банного веника. Мне ничего не нужно... (*Стук в дверь. Он встает, смотрит на дверь.*) Это — Анни... (*Сморщился.*) Мы еще займемся по-русски, мне нужно сто раз сказать: «щи», «щетка», «щепка»... (*Указывая на дверь спальни.*) На две минутки, пожалуйста. (*Ольга колеблется.*) У нас очень маленький разговор с Анни, пожалуйста...

ОЛЬГА (*берет с полки книгу*). Ладно. (*Уходит в спальню.*)

РУДОЛЬФ (*запер за ней дверь, взъерошивает волосы с выражением юмора и страдания. В дверь нетерпеливый стук.*) Да, да, войдите... (*Бросается к входной двери, отворяет.*) Анни, простите, я спал...

АННИ (*входит в кимоно, в домашних туфельках*). У нас испортился чайник. Можно взять ваш чайник?

РУДОЛЬФ (*суетливо*). Я отнесу сам.. Надо было позвонить по телефону. В коридоре — ледяные сквозняки, вы так легко одеты.

АННИ. Зачем вы лжете?

РУДОЛЬФ. Это ужасно сложно объяснить.

АННИ. Вы уже кончили заниматься по-русски?

РУДОЛЬФ. Только-что.

АННИ. Она ушла?

РУДОЛЬФ (*глядит сначала на одну дверь, потом на другую*). Она прилегла у меня на постели.

АННИ. Вот как?

РУДОЛЬФ. Пришла на урок после лыжного пробега в тридцать километров. Села все мои конфеты.

АННИ. Какая удивительная женщина. Надо за вами внимательнее приглядывать. Надеюсь, вы с ней еще не спите?

РУДОЛЬФ. Вас бы это огорчило. Анни?

АННИ. Не думаю. Молодой мужчина не может без конца вздыхать у юбки своей невесты... Здоровая самка, — прежде всего гигиенично. Но конечно я должна знать женщину, которая передаст мне вас из рук в руки...

РУДОЛЬФ. Да, вдруг возьмет и не захочет отдать? Так бывает, особенно во времена революций: плюют на правое собственности.

АННИ. Вы, голубчик, с невероятной быстротой катитесь вниз (*движение к двери спальни.*) Я хочу с ней поговорить.

РУДОЛЬФ. Сейчас, при мне?

АННИ. Да, да, друг мой, при вас...

РУДОЛЬФ. Как хозяйка этой комнаты, включая и меня?

АННИ. Я — ваша невеста, Зейдель.

РУДОЛЬФ. Это также охраняется законами, судом и тюрьмой?

АННИ. Что?

РУДОЛЬФ. Ваши права на меня.

АННИ. Мои права охраняет ваша честь... Если у вас не осталось ни капли чувства...

РУДОЛЬФ. Анни, вы сами губите все дело... О какой чести можно говорить с мужицким сыном? Кстати, Блех вам наврал, папаша мой никогда не был учителем. Взгляните на руки, — стопроцентная черная кость... Что мне — честь? Я — наемник. Так же и в качестве жениха...

АННИ (глядит на него. У нее брызнули слезы). Повидимому, вам доставляет садическое наслаждение хлестать женщину по сердцу...

РУДОЛЬФ (безнадежно махнул рукой, отошел). Сдаюсь, сдаюсь...

АННИ. За что? Я так уважала вас, так высоко ставила ваш гений. Поехала за вами, как собачонка, в эту ужасную страну... Ни одного культурного лица, одни слесаря... Целые дни одна, молчу, молчу... Разве не вижу, что вы — чужой, равнодушный...

РУДОЛЬФ (бормочет). В этих случаях что-то говорится, конечно что-то говорится...

АННИ. Вы ничего не отрицаете, не пытаетесь даже солгать? Боже, какой мрак!

ОЛЬГА (выходит из спальни). Все-таки мучить женщину стыдно, Зейдель.

АННИ. Что она сказала?

ОЛЬГА. Сказала, что винить ему некого, сам во всем виноват...

АННИ. Хотелось бы мне знать, — вы тут при чем с вашим судейским тоном?

ОЛЬГА. Вы хотели со мной говорить, я пришла.

АННИ Из спальни?.. (Глаза, как звезды.) Уж не знаю, в какой другой стране возможна такая откровенная грязь...

ОЛЬГА. По-бабьи начать разговаривать — по-моему, ни вам, ни мне не стоит снижаться... Спросите просто, в лоб, что вас интересует: мое отношение к Зейделю? люблю я его? живу с ним?.. Называйте все своими словами.

АННИ (медленно поворачивается к Рудольфу). За такие минуты женщины мстят до смерти. (Идет к двери.) О, вы будете сожалеть. Вы будете сожалеть. (Ушла.)

ОЛЬГА. Стыдно и некрасиво... Да уж, Зейдель...

РУДОЛЬФ (срываясь). Она забыла чайник! (Хватает чайник, убегает.)

ОЛЬГА (надевает пальто, трогает волосы). Гребеночка?.. (Оглядывается. Входит Лукин.)

ЛУКИН. Оля. А где наши?

ОЛЬГА. Только-что передо мной ушли.

ЛУКИН. Торопов из Москвы приехал. Сейчас будет здесь, у Блеха.

ОЛЬГА (радостно). Что ты? Вышло?

ЛУКИН. Да, видел его мельком. (Идет к телефону.) Надо ребятам позвонить.

ОЛЬГА. Вот чорт, гребеночка.. (Идет в спальню.)

ЛУКИН (глядит ей вслед. На лице — изумление, страдание).

ОЛЬГА (из спальни). Торопов две недели просидел в Москве, значит, валюту достал. (Выходит.) А вид у него какой? Веселый? Чего же не звонишь?

ЛУКИН (звонит). Кто это? Чего? (Кричит.) Передай,—Михайлов или еще кто, чтоб шли в общежитие к немцам. (Вешает трубку.) Да, значит, вот как... (Идет и осторожно затворяет дверь спальни.) Конечно это — твое личное дело... Ты и не отвечай... Я и не спрашиваю..

ОЛЬГА (смеется). Да уж спроси все-таки...

ЛУКИН. Смеяться нечему, Оля.. Знаю, это все — мурá. Житейские мелочи... Я — не самец... Ну, бросила.. Ну, разлюбила, что ли... В твою жизнь не вторгаюсь... Но почему? Вполне, Оля, вполне теоретически мучает вопрос, — какие были основания? На мужчин не кидаешься, фантазия у тебя на это дело не заострена. Поехал за границу, вполне был спокоен. Иду по Бердину, в окне — гребеночка. И так ласково о тебе вспомнил

ОЛЬГА (вынимает из волос гребеночку, с улыбкой разглядывает, снова всовывает в волосы). Спасибо.

ЛУКИН. Приезжаю, и ты — чужая. Это в общем и целом — мелочи..

ОЛЬГА. Ну, не совсем...

ЛУКИН. Глупо конечно... Мешает... Сидит в голове заноза.. Вчера на совещании, в самую неподходящую минуту, так и кольнет. В Мацесіу, что ли, поехать недели на три.

ОЛЬГА. Так вот, Ванечка, я давно решила — уйти от тебя, еще до твоего отъезда. Как-никак я — женщина, мы эти дела чувствуем по-иному. За тебя горло перегрызу, друг твой верный. Но не хочу физиологии... У нас с тобой это

было между прочим А между прочим — мало привлекательно.

ЛУКИН. Не понимаю, не понимаю тебя.

ОЛЬГА. Помню, когда еще была в фабзавуче, — дура!.. В веснушках... Ты меня и не замечал... Вот я в тебя влюбилась!.. Ночью полущубок на голову натащу и реву... Прошло семь лет... А какой путь!.. Решила с тобой порвать. И, когда решила, будто силы прибавилось от одной мысли, что лягу в постель и встану на заре, свежая, не облапанная, так-таки — ничья...

ЛУКИН. В прежнее время такие в монашки шли...

ОЛЬГА. Мимо, Ванечка... Мы еще вчера были дикими, а захотели многого. На многое и сил нужно много... А быть еще и женой,—в бабью лямку влезть.. не хочу... А я не зарекаюсь: свалит меня страсть... Ну что ж... Так то — страсть, праздник...

ЛУКИН. Этой мысли ты не должна была высказывать. Все зачеркнула!..

(Входит Рудольф с чайником.)

РУДОЛЬФ *(глядит на обоих)*. Я помешал?

ОЛЬГА. Приехал Торопов, знаете?

РУДОЛЬФ *(ставит чайник)*. Чайник полетел мне в голову. *(Лукину.)* Торопов сидит у Блеха.

ОЛЬГА. Достал деньги?

РУДОЛЬФ. Меня интересует шишка на моей голове...

ЛУКИН *(резко)*. Товарищ Зейдель, решается вопрос: достал директор валюту, покупаем мы патент?

РУДОЛЬФ. Обойдемся и без валюты...

ЛУКИН. То-есть как обойдемся? Блех заломил пятьдесят тысяч долларов...

ОЛЬГА. Ужас, ужас!.. Рудольф, сходите, узнайте...

РУДОЛЬФ. О, нет, Блех сам придет ко мне... *(Берет телефонную трубку.)* Кажется, я слишком тороплюсь с переоценкой всех ценностей... Слишком большая легкость опасна... Человека может унести сквозняком.. *(В трубку.)* Коммутатор. Квартира Блеха. *(Ольге.)* Диалог через дверь после того, как мне в

голову запустили чайником... За дверью: «Вы—предатель...» Я: «Анни, блестяще распутан психологический клубок, все разрешилось шишкой на голове». За дверью: «Очень сожалею, что у меня не было револьвера...» *(В трубку.)* Господин Блех, не могли бы вы сейчас зайти ко мне. Мне пришла колоссальная идея.. Что произошло с Анни? Маленькая ссора из-за чайника... *(Вешает трубку.)* Иван Михайлович, хотите хорошую сигару?

ЛУКИН *(подозрительно)*. Почему вы мне предлагаете?

РУДОЛЬФ. Хотелось.. что-нибудь приятное. Вы сердитесь на меня?

ЛУКИН. С какой стати..

ОЛЬГА. Вас хорошо не знать, в самом деле подумаешь — не все дома.

РУДОЛЬФ *(нюхая сигары)*. Я дав но не был счастлив.

(Входит Коренев и Михайлов.)

КОРЕНЕВ. Торопов здесь? Ну что? МИХАЙЛОВ. Мы сюда — бегом. через сугробы...

РУДОЛЬФ. Садитесь, друзья мои. Хотите хороших немецких сигар?

КОРЕНЕВ. Значит, начинаем работу?

МИХАЙЛОВ. Ее с какого конца курить, Рудольф Адамович?

РУДОЛЬФ *(обрезая сигару)*. Эти сигары я получил ко дню рождения от Конрада Карловича. Он умеет делать подарки. *(Давая закурить.)* Хорошенько тяните.

МИХАЙЛОВ *(закашлялся)*. Духовитая штука. Я, Рудольф Адамович, не курящий. Я ее лучше спрячу, — у меня один приятель есть, тот — любитель.

РУДОЛЬФ. Я счастлив, что вы — со мной... Вспоминаю одну детскую книжку... Я расскажу по-русски... *(Ломано.)* Был один человек, у него была скрипка и собака, пудель. Он ходил и играл, и собака плясал... Потом он приходил в незнакомую страну. И там он заболел и собака его жалел, ложился ему на грудь и его спасал... *(Смеется. Входят Торопов и Блех.)*

ТОРОПОВ. Здравствуйте, товарищи... Вижу, вам — не терпится... Я только-что говорил с Конрадом Карлови-

чем, старался его убедить... Валюты в Москве не дают на покупку патента *(Вынимает из портфеля бумагу.)* Резолюция «отказать»... *(Молчание.)*

ЛУКИН Ты у кого был в Москве?

ТОРОПОВ. Был у кого надо. Сделал все возможное.

ЛУКИН. Завалил дело!

ТОРОПОВ *(горячо, обиженно)* Я подал докладную записку.. Ходил, убеждал. Что еще нужно? Белугой реветь?

ЛУКИН. Драться надо было... Если бы ты хоть одно горячее слово сказал — тебе бы валюту дали... А какой черт тебе даст, когда ты в дело не веришь. За резолюцией поехал!..

ТОРОПОВ. Нет, Иван Михайлович.. Я в наше дело верю, высоко ставлю проект Конрада Карловича. Но мотор надо еще построить, а в творческие возможности нашего конструкторского бюро, простите, товарищи, пока не верю...

КОРЕНЕВ. Говорить больше не о чем.

ТОРОПОВ. Энтузиазм, соревнование, творчество масс.. Преклоняюсь. Но порывом, напряжением всех сил нельзя работать изо дня в день. Кишка лопнет... Настоящая культура — многолетняя, без судорог и осечек... Культурные навыки накапливаются исподволь.. У Европы нам еще нужно поучиться многому... А сейчас — в наших условиях — экспериментировать — безумие. Вот — Конрад Карлович, спросите, как он смотрит на дело.

МИХАЙЛОВ. Что ж, кабы немец нам дал чертежи, мы бы, пожалуй, справились. Оля, скажи немцу, — ты умеешь..

ОЛЬГА *(Блеху)*. Конрад Карлович, произошла ошибка. Директор не мог или не хотел.. Мы все, восемнадцать тысяч человек, будем ходатайствовать перед Москвой, чтобы вам заплатили... Нам нужно немедленно начать работу... Одно ваше слово сейчас даст стране неизмеримые богатства.. Конрад Карлович, благодарность рабочего стоит очень дорого. Мы не забываем добра, у нас длинная память... Конрад Карлович,

вы можете отдать нам чертежи мотора бесплатно?

(Пауза)

БЛЕХ Нет

(Пауза)

КОРЕНЕВ. За такое бы «нет» в девятнадцатом году..

ТОРОПОВ. Ну, что, видите?. В конце концов он не обязан заниматься благотворительностью.

МИХАЙЛОВ. На нет и суда нет... Будем справляться самосильно.

БЛЕХ. Все основания моему отказу я высказал директору *(Идет к двери.)*

РУДОЛЬФ. Минуту внимания.. Чертежи патента сто девятнадцатого, — все вплоть до секретных, — конструкторское бюро получит бесплатно.. Сегодня же

ЛУКИН *(Ольге)*. Что это значит?

ОЛЬГА. Подожди, подожди, я как и думала...

БЛЕХ *(возвращаясь от двери)*. Прибавьте к этому подарку луну и звезды и всех ворон на обоих полушариях.

РУДОЛЬФ. Конрад Карлович, вы не имеете голоса на совещании, вы — здесь лишний...

БЛЕХ *(багровея, не громко)*. Молчать! Молчать, я вам приказываю.

РУДОЛЬФ. Пускай Блех грозит мне всеми тюрьмами Европы, я расторгаю с ним договор..

(Пауза.)

ЛУКИН *(Ольге)*. Какой договор?

ОЛЬГА. Слушай, слушай дальше...

РУДОЛЬФ. Я — хозяин самого себя... Ваши руки обрублены. Я рву договор в клочки..

БЛЕХ *(громко — Торопову)*. Меня волнует его душевное состояние..

ТОРОПОВ. Странно, странно...

РУДОЛЬФ *(всем)*. Блех — не инженер, не конструктор, не изобретатель.. Все его сто девятнадцать патентов созданы мной.. Он купил мой мозг, он приставил себе мою голову.. Единственное его гениальное изобретение — наш договор... Блех, Блех, здесь ты ошибся. То, что ты купил, с ужасающей быстротой превратилось в дым, в тень, — мираж... Дарю его тебе... Блех, есть другой путь к раскрытию себя.. Един-

ственный путь свободы. Спроси у Михайлова..

МИХАЙЛОВ. Опять — у Михайлова... Ну, что ты с ним будешь...

РУДОЛЬФ. Но здесь договор наш не действителен... *(Пауза. Он глядит на всех.)* Не верите мне? Ах, нужны доказательства?... Я его обвиняю!.. Задайте ему любой технический вопрос... Проверьте... Всему заводу известно, на вопросы отвечаю я... *(Пауза.)*

БЛЕХ. Предлагаю всем оставить эту комнату... Я давно предполагал и с болью вижу, психическая неуравновешенность Рудольфа Зейделя требует немедленного вмешательства врача.

(Смятение.)

ОЛЬГА Неправда!

РУДОЛЬФ Что? Я — сумасшедший?

БЛЕХ. Этого никто не говорит, мой мальчик... Но вам немедленно нужен покой.

ТОРОПОВ. Товарищи, идите, идите отсюда...

РУДОЛЬФ. Я — сумасшедший? Блех, ты блестящ! Ты неоценен... За чем ты здесь? поезжай в Европу!.

ТОРОПОВ. Конрад Карлович, вам бы тоже лучше удалиться

БЛЕХ. Да, да, да, я видимо, его чем-то раздражаю... *(Идет к двери.)*

ТОРОПОВ. Товарищу, как не понимаете, ему нужен сейчас покой. Покой. *(Толкает всех к двери.)* Идите, идите... Товарищ Захарова, побудьте с ним. Я позвоню врачу.

РУДОЛЬФ. Друзья, уходите?..

ТОРОПОВ. Т-сс... У нас маленькое совещание..

МИХАЙЛОВ. Семен Семенович, он — не сумасшедший..

ТОРОПОВ. Тихо! *(Выталкивает всех. Торопов, Блех, Михайлов, Лукин и Коренев уходят.)*

РУДОЛЬФ. *(Ходит. Останавливается перед Ольгой.)* Ну?

ОЛЬГА *(глядит на него)*. Верю..

РУДОЛЬФ. Какого же я сваяла друга!.. У меня нет на руках доказательства. Копии договора нет. Единственный экземпляр — у Блеха... Мне никто

не поверит... Сумасшедший!. *(Бросаясь к двери.)* Я его возьму

ОЛЬГА. Рудольф...

РУДОЛЬФ. Выплюну в лицо ему всю мою ненависть..

ОЛЬГА. Рудольф... Это все — мелочи. Это все — призраки. и Блех, и его договор. Вы — с нами. Поймите, в эту минуту миллионы людей будут драться за вас, за вашу свободу, за ваше творчество...

РУДОЛЬФ *(берет ее голову в руки)*. Ольга, Ольга, над моей жизнью — неведомое солнце!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

(Комната Блеха. Входная дверь — в общий коридор, дверь в комнату Анни и дверь на кухню. Письменный стол, диван, телефон. За окнами — февральская вьюга. Блех перед зеркалом снимает галстук и воротничок, надевает байковую куртку. Анни, сидя, мрачно смотрит на отца.)

АННИ. Для чего этот маскарад?

БЛЕХ. Маскарад? Я одеваюсь, как все...

АННИ. Все знают, что ты носишь воротнички, меховую шубу...

БЛЕХ. В служебное время моя шуба и мои белоснежные воротнички увеличивают мой авторитет, — трость, перчатки, сигары, мои башмаки внушают этим дикарям священное благоговение. Но, когда я иду на общее собрание, я должен казаться «парнем в доску». Выражение непереводаемо. Что поделаешь, — психология толпы. Русские к тому же болезненно самолюбивы.

АННИ. Нужно потерять всякую гордость, — позволить каким-то слесарям копать в твоих, папа, в твоих личных делах.. Европейцу итти на суд к русским!..

БЛЕХ. Ты резка, Анни, у тебя стал портиться характер...

АННИ. Какое тебе дело до общего собрания?

БЛЕХ. Не скажи, у них это очень серьезно... Если общее собрание постановит снять Рудольфа Зейделя с работы, никакая власть не пойдет против та-

кого решения... Общее собрание — капризная штука... У Рудольфа много друзей... А ты представляешь, если ему удастся доказать?

АННИ. Ему ничего не удастся доказать... *(Хрустнула пальцами.)* Негодяй!.. Негодяй!..

БЛЕХ. Позволь, куда я сунул договор? *(Ощупывает карман.)*

АННИ. Папа, умоляю тебя, не бери с собой.

БЛЕХ. Да, ты права.

АННИ. Дай сюда... *(Блех дает ей договор, она кладет на стол.)* Спрячь к себе, будет надежнее.

БЛЕХ. Врачебная экспертиза пришла у Рудольфа сильное нервное расстройство. Я не возражаю. *(Смеется.)* У мальчишки свихнулись мозги, я недостаточно учел его шиллеровский темперамент... *(Кончая одеваться.)* Основная задача всей европейской политики — это выбить из немецких голов мечту о социальном рае. Ну, вот, чем я не «парень в доску»? Я буду говорить без переводчика. Русские всегда приходят в благодушное настроение, когда начинаешь ломаться на их собачьем языке. Я их немножко посмешу сегодня...

АННИ. Как ты думаешь, Рудольф будет выслан на родину и там предан суду?

БЛЕХ. Вероятно...

АННИ. Что он получит?

БЛЕХ. За нарушение контракта — пени в размере причиненного мне убытка, за шантаж — тюрьму.

АННИ. Тюрьму. Хорошо. Пусть приклеит аптекарские коробочки для пользы человечества..

БЛЕХ. *(берет за подбородок.)* Злючка...

АННИ. Он — наш враг. Я всегда ненавидела его руки, жилистые, красные, руки голодного хама. О, я давно чувствовала: именно эти руки поведут его к преступлению. Ненавижу...

ТОРОПОВ *(входит)*. Можно? Я за вами, Конрад Карлович... Пора.

БЛЕХ *(тревожно)*. А что?

ТОРОПОВ. Нет, все в порядке. Делагогов мы слегка ущемили. Общее собрание настроено скорее в вашу пользу... Но вам необходимо показаться,

бросить несколько слов, резолюцию проведем почти единогласно..

БЛЕХ. Какова может быть резолюция?

ТОРОПОВ. Душевная ненормальность Рудольфа Адамовича, на этой почве — склочничество, недостойные выпады против вас, необоснованное признание авторства...

БЛЕХ. Превосходно.

ТОРОПОВ. Один щекотливый пункт есть конечно — договорчик его с вами

БЛЕХ. Какой договор? С ума сойти!.. Еще раз повторяю — расписки. Расписки Рудольфа Зейделя в получении жалованья... *(Показывает из бумажника.)* Триста... Вот опять триста.. Договор, именно это — его пункт помешательства...

ТОРОПОВ. Что мне-то говорить. Это крикуны наши не верят. Ну, пойдемте, пойдемте.

БЛЕХ *(Анни)*. Главное, не волнуйся, деточка... Вернусь, поедем ужинать. Вот ведь — виолончель забыли взять. *(Торопову.)* Скучает она здесь у вас...

ТОРОПОВ. Да, насчет развлечений...

АННИ. Холодно, Семен Семенович.. Такой ветер, снег. Даже сердцу холодно.

ТОРОПОВ. Да, русская зима — это не фунт дыму.

АННИ *(оглядываясь на окно, где ветер взмел снег)*. Страшно! Я вас провожу. *(Торопов и Блех идут вперед. Анни накидывает шаль. Зовет в боковую дверь.)* Марфуша... Уберите чайную посуду.

ГОЛОС МАРФУШИ. Ладно...

АННИ. Дверь закройте. *(Уходит.)*

МАРФУША *(появляется)*. Ладно. *(Ставит посуду на поднос.)* Уберу и дверь запру, Анна Конрадовна.. *(Звонит телефон. Она ставит поднос, берет телефонную трубку.)* Откедова? *(Пауза.)* Откедова?.. *(Входит Зейдель.)* Откедова? *(Зейделю.)* Спрашивают, не разберу, Задова, что ли...

РУДОЛЬФ. Зейделя, может быть, Рудольфа Зейделя?

МАРФУША. А мне — ни к чему...

РУДОЛЬФ. Вы у них недавно?

МАРФУША. Второй день...

РУДОЛЬФ. Пойдите по коридору, седьмая дверь направо, квартира Зейделя. Постучите. Если его нет, поищите в столовой...

МАРФУША. Ладно, запомню. (Уходит.)

РУДОЛЬФ (берет трубку). Ольга? Я сейчас вернусь... Мне нужно взять кое-какие данные... Через две минуты.. Понимаю, что важно... (Вешает трубку, идет к боковой двери.) Анни?! (Возвращается к столу, глядит на ящик, выдвигает, морщится.) Да, все-таки противно... (Вдруг замечает на столе договор. Берет, разворачивает. Быстро, стоя, пишет, диктуя себе вполголоса) Я взял договор... Я покажу его на общем собрании, чтобы снять с себя все обвинения и все подозрения... После верну, он мне не нужен... Он тоже один из ваших миражей... (Зачеркивает.)

АННИ (появляется во входной двери. Видит Рудольфа. Осторожно и быстро вынимает из шубы отца, висящей у двери, револьвер. Подходит к Рудольфу). Вор!.

РУДОЛЬФ (вздрагнул, обернулся. Пауза). Мы объяснимся позже Я вернусь.

АННИ (задыхаясь). Положите, пожалуйста, где это лежало.

РУДОЛЬФ. Вернусь и возвращу

АННИ (протянув руку). Дайте.

РУДОЛЬФ. Анни... Я борюсь за жизнь...

АННИ. Дайте!

РУДОЛЬФ. К сожалению, нет иного доказательства, что я не лгун и не сумасшедший.

АННИ. Дайте!!

РУДОЛЬФ. Чорт возьми, мне же не нужна эта бумажка, можете повесить ее в золотой рамке, когда вернетесь в ваш волшебный замок...

АННИ. Отдайте... И убирайтесь к своей девке..

РУДОЛЬФ. Уверяю вас, Блех все равно будет разоблачен. Обещаю сделать это сегодня в самой мягкой форме. (Идет к двери.)

АННИ (бросаясь между дверью и Рудольфом). Вы не уйдете..

РУДОЛЬФ (косясь на револьвер). Выстрелите вы в меня из этой штуки

или позвольте сделать несколько шагов до двери, — я кончил работать на Блеха.. Оценивайте это как угодно...

АННИ. Предатель!.

РУДОЛЬФ. Блех грозил мне тюрьмой, на родину я не вернусь. Каждый развлекается по-своему, правда? Я остаюсь здесь. Помните, вы сами сказали: вы — элегантная женщина из промелькнувшего лимузина. Ну вот, и я снимаю шляпу вслед: прощай, чудесное видение. За минуты очарования — благодарю.

АННИ (тихо). Мерзавец...

РУДОЛЬФ. Я никогда не обольщался, Анни, даже в день катастрофы, когда вы были испуганы и несчастны, и у меня закружилась голова от ваших духов... Я и тогда понимал, что меня водят за нос... Анни, вы не собираетесь мстить... У вас есть юмор... Немножко горечи и немножко юмору, и мы легко расстались.

АННИ. Омерзительное зрелище: так шлепнуться в грязь... И это за полгода.. Ну, давайте...

РУДОЛЬФ. Плохо, Анни, плохо, когда хозяин грозит оружием,—раб перестает бояться.

АННИ. Что куплено, то куплено, хотя бы ваша жизнь...

(Рудольф делает движение к двери. Анни поднимает револьвер.)

РУДОЛЬФ (болезненно тихо). Анни, не делайте этого...

АННИ (опускает оружие. Лицо его дрожит). Ты завтра поедешь со мной к пастору. Заставлю тебя надеть перчатки, — не видеть твоих рук, не обманывать бога, когда буду венчаться с тобой. Думаешь — отряхнулся, как мокрая собака, от всех обязательств?.. От меня не так легко отряхнуться... Будешь всю жизнь спать со мной, всю жизнь работать на меня..

РУДОЛЬФ. Чорт! Стреляйте, меня ждут.

ОЛЬГА (в дверях). Зейдель, вас ждут. Почему вы ушли с собрания? Блех вас топтит...

РУДОЛЬФ (торопливо). Ольга, спугайте, я — сейчас... Я догоню...

АННИ (расширенными глазами — на Ольгу). Сообщница?

РУДОЛЬФ. Ольга ничего не знала... Я один, один...

ОЛЬГА (входя). Что вы тут за глузости устраиваете, Зейдель?

РУДОЛЬФ (Анни). Возьмите это ради бога, и помолитесь о моей заблудшей душе... (Протягивает ей договор. Анни, не замечая, глядит на Ольгу.) Можно лопнуть от хохота... Пришел взять «право на жизнь»... Получился сквернейший анекдот... (Бросает договор на пол.)

АННИ (Ольге). Вы ошиблись, моя милая... Этот дом — не место для вашей профессиональной деятельности..

ОЛЬГА (нахмурившись). Зейдель, идите на собрание.

АННИ. Мой жених останется здесь... А вы — дверь. Вон!.. (Дрожит, сдерживаясь.)

ОЛЬГА. Слушайте, успокойтесь, барышня.

АННИ. Проститутка!

ОЛЬГА (ослабевшим голосом). Ах!..

РУДОЛЬФ. Нельзя так, нельзя, вы — женщина, Анни...

АННИ. Тварь!..

ОЛЬГА. Постойте, — не так страшно. Вы меня не оскорбите, вы на другом берегу... Оружием бросьте грозить, здесь — не колония...

АННИ. Самая паршивая колония лучше вашей России. Бандиты, публичные девки — ваша страна... Зараза, чува!..

ОЛЬГА. Замолчите!..

АННИ. Вас всех за решетку. В вас нужно стрелять! В вас нужно плевать!

ОЛЬГА. Замолчите. (Делает резкое движение протеста. Рудольф бросается к ней, загораживая от Анни. Анни стреляет. Пауза. Рудольф идет к дивану. Ложится. Анни роняет револьвер. За стеной по лестнице испуганный топот ног.)

ОЛЬГА (подбегает к Зейделю). Ранены?

РУДОЛЬФ. Кажется.

АННИ (трясет кистью правой руки... Кричит). А!.. (Зажимает рот, опускается в кресло.)

ОЛЬГА (кидается к телефону.) Ну, ну же... Госпиталь.

(В комнату вскакивает Петька.)

ПЕТЬКА (повел носом). Стреляли здесь? Здорово! (Выскакивает за дверь. Гул голосов.)

ОЛЬГА (в трубку). Дежурный врач? Как можно скорее. Раненый. Не знаю. В сознании. (Подходит к Зейделю. Опускается перед диваном.) Рудольф!

РУДОЛЬФ. Что, мое солнце?

ОЛЬГА (осматривая). Куда? Здесь? Сюда? Нужно все снять.

РУДОЛЬФ. Чего-нибудь острого. На шатырю. Я не хочу терять сознания.

ОЛЬГА. Сейчас, сейчас. Я осторожно (Снимает с него воротник, расстегивает жилет. Обернувшись.) Нашатырю.

АННИ (поднимается, идет, шатаясь, как во сне). Где-то, помнится, был пузырек с нашатырем...

РУДОЛЬФ. Анни, не шатайтесь, у меня кружится голова.

АННИ. Я постараюсь не шататься Рудольф. (Открывает шкаф, ищет.) Кто-нибудь видел, как это произошло? Я ничего не понимаю... (Всклипывает.) Вот — нашатырь... (Не поворачиваясь от шкафа, протягивает руку. Ольга берет пузырек.)

ОЛЬГА (Рудольфу). Нашатырь.

РУДОЛЬФ (нюхая). Хорошо. Спасибо... Анни, это все чорт знает как логично. Не нужно плакать...

ОЛЬГА (раскрыв ему рубашку, гневно обернулась к Анни). Взгляните.

АННИ (обеими руками закрыла рот).

(Входят Петька, Блех и Торопов.)

ПЕТЬКА. Я бегу по коридору, — как тарарахнет!.. Я — в дверь... Они — как чумные...

ТОРОПОВ (запыхавшись). В чем дело? Жив?..

БЛЕХ. Рудольф? Самоубийство? Бедняга!..

ПЕТЬКА (поднимая с полу револьвер.) Самоубийство не установлено. Чей револьвер?..

БЛЕХ. Анни!..

ТОРОПОВ. Ведь только-что она была с нами. Еще говорила, — все зябко ей...

БЛЕХ. Анни, случайно?.. (Анни *моргает головой*.) Он вынудил тебя? Ты защищалась? Бог мой, этого нужно было ожидать...

(Входит Лукин.)

ТОРОПОВ. Ребята, дверь-то закройте... (Высовывается в коридор.) Говоришь, ничего особенного. Лучше не толпитесь. Все живы. (Запирает дверь.)

ПЕТЬКА (поднимает с пола договор). Улика...

ТОРОПОВ. Накачали историю... Конрад Карлович, придется составить акт.

БЛЕХ. Анни, кто открывал ящик? Кто здесь рылся?

ПЕТЬКА (Лукину, показывая бумагу). Вот этот самый договор... На полу валяется.

ЛУКИН. Покажи...

БЛЕХ (повышенно). Здесь был грабеж! Ящик стола взломан. Моя дочь защищала свою жизнь... Рудольф Зендель, я обвиняю вас...

ОЛЬГА. Тише, он теряет сознание.

(Пауза. Все, кроме Анни, подходят к Рудольфу.)

БЛЕХ (хватает Петьку за руку). Это мое...

ПЕТЬКА. Извиняюсь, не рвите из рук. Прочтем — отдадим...

БЛЕХ. Не смей! Это — моя личная ганна...

ПЕТЬКА. Гражданин, бросьте психовать, — здесь дело общественное...

БЛЕХ. Я не позволю вторгаться... Самоуправство!.. Я буду жаловаться в Москву...

ТОРОПОВ. Оставьте, ребята, в самом деле неудобно...

ЛУКИН. Ты прочти, что здесь написано... Волосы встанут дыбом... Неудобно!..

ПЕТЬКА. На голосование: могу я взять эту бумажонку — зачитать на общем собрании?..

ТОРОПОВ. Покажи... (Берет у него договор).

БЛЕХ. Семен Семенович, я не для того приехал в Россию, чтобы выворачивать мои внутренности перед массами. Вы — варвары, голубчик, варвары, впервые взявшие ланцет и микроскоп...

Вам бы вскрыть мне череп... Проникнуть в мой мозг... Посмотреть, в какой там извилине прячется моя совесть. Прочь руки! Крыша над моим жильем под охраной цивилизации... Я не желаю быть просвеченным... Потемки — мои потемки.

ТОРОПОВ (читая). «Патент стодевятнадцатый на тех же основаниях выдается на имя Конрада Блеха...» Это что же такое? (Озирается.)

ПЕТЬКА (Торопову). А мы о чем кричали? Эх, покуда голову не оторвут, он и рта не разинет! (Хватает у него бумагу, убегает.)

БЛЕХ. Требую самыми решительными мерами прекратить беззаконность... (Идет к телефону.) Я звоню прокурору...

ТОРОПОВ. Ах, вы — так? Ладно, звоните. (Лукину). Да он — никакой не изобретатель! Обманул! Весь свет обманул... Я-то за него только-что распинался!.. Из-за границы привез!

ЛУКИН. Серьезно влип, Семен Семенович...

ТОРОПОВ. Влип, влип... Где у меня глаза были? (Блеху.) Вы — шантажист! Это — факт. Ваша дочь стреляла в человека, это — факт!.. Обоих вас передаю коменданту...

РУДОЛЬФ (приподнимаясь). Анни выстрелила случайно... Ольга Васильевна может подтвердить.

ОЛЬГА. Я подтверждаю, выстрел был нечаянный...

БЛЕХ (запирая ящики стола). Вы ответите также за превышение власти, господин Торопов...

АННИ. Я арестована?

ТОРОПОВ. Пройдем в комендатуру, составим акт. А уж там — их дело... Анна Конрадовна, итти через двор — наденьте шубку.

АННИ (вырывает у него шубу, накидывает. Подходит к Ольге). Я беру все свои слова... Я бы хотела меньше страдать...

РУДОЛЬФ. Дочка, не страдайте, страдание уродливо. Поезжайте домой, я вам пришлю свою фотографическую карточку.

АННИ. Рудольф, Рудольф...

БЛЕХ (надевая шубу). Мне плохо. (Опирается на Торопова.) Волнения за-
прещены моему сердцу. Мне очень пло-
хо.

АННИ. Папа!.. (Кидается к нему.)
ТОРОПОВ (испуганно, Лукину).
Звоните в госпиталь...

БЛЕХ. Прошу отвезти меня к наше-
му консулу. Боюсь, это — конец... Я
хочу умереть на клочке родной земли.

ТОРОПОВ. Хорошо, — к консулу,
к консулу... Конрад Карлович, можете
дойти до машины?

БЛЕХ. Анни, ближе ко мне...

(Торопов, Блех и Анни уходят.)

ЛУКИН. Вывернулся, артист.

ОЛЬГА (Лукину). Пульс больше
ста. Весь горит.

РУДОЛЬФ. Это — от счастья.

ЛУКИН. Хорошенькое счастье — в
грудь навывлет. Ты не отходи от него,
Оля... Его бы надо к тебе перенести...
(Глядит в окно.) Да, это — дело ре-
шенное... (Стучит ногтями в стекло.)
Снегу нанесет за ночь...

(Входит женщина-доктор.)

ДОКТОР. Ага... Жив еще? (Дует на
руки.) Когда это произошло?.. Ну-те...
Покажите-ка...

ОЛЬГА. Крови буквально несколь-
ко капель...

(Доктор осматривает Рудольфа. В
дверь врывается Петька.)

ПЕТЬКА. Решение общего собрания...

ДОКТОР. Помолчите-ка... (Ольге.)
Приподнимите его под лопатки.

ОЛЬГА (Рудольфу). Так не боль-
но?

РУДОЛЬФ. Нет, так не больно.

ДОКТОР (Рудольфу). Обнимите ее
за шею, приподнимитеесь...

РУДОЛЬФ (обнимая Ольгу за шею,
приподнимаясь). Так мне совсем не
больно...

ПЕТЬКА. Общее собрание единоглас-
но...

ДОКТОР. Помолчите-ка... (Осмати-
вая Рудольфа.) Так, так... Потерпите
минутку... Очень хорошо. На полсанти-
метра левее, — были бы наповал, голуб-
чик... Разве можно?..

ОЛЬГА. Доктор, доктор?..

ЛУКИН. Да, ловко...

ДОКТОР. Где у вас чернила, перо?
Пошлете в аптеку. (Пишет.) Немедленно
позвоните скорую помощь... (Лукин зво-
нит.)

РУДОЛЬФ. Что постановило обще-
е собрание?

ПЕТЬКА. Единогласно Блеха снять.
Техническим экспертом с передачей всего
жалованья назначить Рудольфа Адамо-
вича. Немедленно приступить к работе
над патентом сто девятнадцатым. Ру-
дольфу Адамовичу предоставить все
возможности для творческой работы:
кредиты, лабораторию, инженеров...
Дальше там столько наворочено в резо-
люции, забыл.

РУДОЛЬФ. Вы не обманываете ме-
ня?.. Слушайте, я ведь останусь жив...

ПЕТЬКА. Да холера меня, если... Сей-
час принесу...

РУДОЛЬФ. Я хочу видеть Михайло-
ва...

МИХАЙЛОВ (просовывая голову во
входную дверь). Я здесь, Рудольф Ада-
мович...

ОЛЬГА (навстречу входящим). Тише,
тише, нельзя всем...

(Входят Михайлов, Коренев, Чикин,
Забавный.)

КОРЕНЕВ. Оля, опасно?

ОЛЬГА. Обойдется, может быть...

ДОКТОР (пишет). Заштопаем, за-
штопаем, починим...

РУДОЛЬФ. Друзья мои, победили?

КОРЕНЕВ. На собрании — буря. На-
силу ребят успокоили.

РУДОЛЬФ. Я прорвался на ваш бе-
рег... Отделался капелькой крови, —
новый договор с новой жизнью подпи-
сан... (Подняв палец, декламирует.)
«Решись, решишь и каплей крови подпи-
шись...»

ЧИКИН. Я вот тоже в девятнадцатом
году четыре пули получил. В сырой день
может, действительно, а так не беспо-
коит...

ЗАБАВНЫЙ. Рудольф Адамович, в
польскую войну меня улан угостил
шашкой. Я — брык под коня и оттуда
штыком его достал все-таки. А у са-

мого голова от уха до уха разворочена. Вот какие раны-то были...

МИХАЙЛОВ. Вы у нас так уж и оставайтесь, Рудольф Адамович. Таких ребят настойчивых и дела такого большого вы нигде не найдете... За границей я, действительно, еще не был... Хвалиться не хочу... Сыро еще у нас... погоди, Забавный, дай сказать... Но мы вот какие изобретатели: боролись за машину, а завоевали человека... Вот за что патент-то брать...

ДОКТОР (*сердито, вставая от стола*). Товарищи, сознательные вы или бессознательные?..

МИХАЙЛОВ. Уходим, уходим, мамаша... Не сердчай... Иные слова — лучше лекарства.

РУДОЛЬФ (*обхватив Ольгу за плечи, приподнявшись, глядит на уходящих*). Я буду очень много шутить с вами... Покуда я не вырос, я был очень веселый... Мы будем весело делать чаше дело...

Германия

М. ЧУМАНДРИН

«Разруха все идет, угрожая голодом, безработицей и общим разорением, при чем полицейскими мерами против революции думают разрешить козьяйственный кризис. Такова воля контрреволюции. Слепые, Не видят, что без революционных мер против буржуазии невозможно спасти страну от развала».

И. Сталин — «Победа контрреволюции» («Правда» в июльские дни 1917 года).

«Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям в ней нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они целый мир».

К. Маркс и Ф. Энгельс. — «Коммунистический манифест».

В ПРИХОЖЕЙ ЕВРОПЫ

Поп Модерн

В вагон Москва — Бигосово — Рига. С границы он идет полупустым. В моем купе — поп. Он сел на границе, и как только поезд тронулся, непрерывно роется в своем самодельном баульчике, шуршит вощенной бумагой, роняет под ноги яичную скорлупу и колбасную шкурку.

Попу, пожалуй, лет сорок, он невысокого роста, но плотен, нос у него нежно-розового оттенка, пухлые руки. И на всем его обличьи лежит печать Запада: у него не борода, но узенькая испанская бородка. Не просто шевелюра, но некое сияние из тончайших, легких, золотистых волос. На среднем пальце перстень, украшенный черепом, с изумрудными камешками на месте глазниц.

Коричневая муаровая ряса перетянута веленым лакированным поясом, на баульчике — путаная монограмма. Не то русские, не то латинские буквы.

Поп ласков и общителен. Через пятнадцать минут он уже начал со мной разговор. Ничего похожего на наших

допотопных, окающих, дубовых «отцов». Он рассуждает, точно комиссионер хорошего магазина.

«Не правда ли?», «Разве не так?», «Поверьте моей совести»... — таковы его любимые обороты.

У него есть излюбленные жесты. Вот один из них: его рука на вашем колене, другая как бы что-то расстилает в воздухе. Иногда он берет вас за руки, легонько встряхивает их и произносит: «Глядя вам в лицо своими растроганными глазками».

— Дорогой мой, поверьте, я знаю Россию. Я там прожил тридцать три года...

Это он вставляет и кстати, и некстати. Например шел разговор о делах. Поп жаловался, что теперь времена стали не те. Раньше он на экспорт продавал в год до сорока штук свиной.

— У меня свинарники были оборудованы несравнимо лучше, нежели даже моя собственная палестина, т.-е. дом.. А теперь приходится искусственно сокращать приплод. Мы изо дня в день только и едим, что свинину. Поверьте моей совести. — берет он меня за

руки. — Например мы до самого покрова, весь пост, поросенка с кашей употребляли. Можно сказать, без хлеба, безо всего. Помилуйте, это же считалось грехом. Конечно у вас в России не воят, ну а мы...

Я не успеваю возразить, как он энергично заявляет:

— Да уж поверьте, я знаю Россию. там прожил тридцать три года...

Родом он откуда-то из-под Двинска, до революции жил долгое время в Петербурге.

— В обществе потребителей «В единении — сила» главным бухгалтером был, даже состоял эсером. Постригся в восемнадцатом году при немцах. Все — легче...

Жандармы заглядывают в окна вагонов и, когда подходят сюда, козыряют моему собеседнику. Он приветливо отвечает им, с таким видом, как будто говорит:

— Ну вот я и приехал.

На некоторых станциях он выходит на перрон, прогуливается под жидкими лучами фонарей, отвечает на приветствия жандармов и офицеров. У самых стен станционных зданий стоят крестьяне, тихие мужики в серых, колоссальных размеров солдатских ботинках, в обмотках, покрытых грязью, в домотканых штанах. Прямо на камнях сидят дети, скрестив ноги.

Газетчики на трех языках выкрикивают названия периодической и всякой иной бульварщины, которой нигде я не видел столько, как здесь, в этой прихотливой Европе.

Щеголеватые молодчики в светлых шляпах, в ярчайших галстуках, независимые и домашние, завлекают тебя порнографическими открытками. На перроне — почти никого из пассажиров.

— Какая станция была!.. — с сокрушением говорит поп, возвращаясь в вагон. — Раньше здесь, бывало, свиней грузили. По тридцать вагонов стояло на запасных путях. И что за свиньи, поверьте чести, по четыреста, по пятисот килограммов брутто!

В Ригу приезжаем вечером. Моего спутника подхватывает некий тип в клетчатом пальто, в котелке Поп без разгово-

воров передает ему баульчик, поправляет шляпу, проверяет какие-то документы, сует бумажник за пазуху, — начинается беседа. Я не понимаю ни слова, потому что говорят по-еврейски.

Вагон Бигосово — Рига.

Дешевая распродажа

На углах, вдоль панелей, — длиннейшие вереницы такси. Шоферы, угодливо снимая фуражки, открывают дверцы, приглашают войти, — и все время только и слышишь глухие удары дверей такси: они открываются впереди меня, захлопываются сзади. Прохожих же поразительно мало. Редко-редко прошуршат по каменным плитам три-четыре человека.

Раз в полчаса пройдет молочного цвета автобус, покачивая нескольких скачущих пассажиров и кондуктора, безразлично глядящего в окно.

Среди мостовых, дирижируя движением, величественно стоят полицейские, воткнув ноги в стеклянные ящики, освещенные даже днем. Понурые извозчицьи лошади покорно останавливаются на перекрестках, опустив головы перед поднятою дланью городского в форме, слегка напоминающей прежнюю российскую форму полиции. Только эта, рижская, щедро изукрашена медными пуговицами.

На козлах горбятся извозчики в торжественных крылатках и мрачных цилиндрах.

Советскому глазу странно видеть например и такие картинки. Идет солдат, он разговаривает с женщиной, изредка берет ее за руку, подталкивает ее, шутит, — ну, что тут удивительного: молодой, веселый парень. Вдруг куда девается этот веселый, молодой парень. Он замедляет шаг, неодобно поворачивает голову и, далеко отставляя локоть, прикладывает кончики вытянутых пальцев к околышу картуза, окантованному начищенной медью. Там, на той стороне, прохаживается офицер, сияя каким-нибудь голубым или зеленым, или желтым околышем и великолепием многочисленных пуговиц.

У окон больших магазинов стоят нищие совсем особого вида. Наши всегда

являют собою нарочитую убогость, бьющую в глаза, вызывающую отвращение и — чтобы отвязаться от них — подачку. В этом — вековая квалификация целого ряда поколений люмпенов и паразитов. Здесь же — это всего лишь спутник кризиса. Вот стоит юноша, на нем трижды штопаный, но чистенький пиджак, воротничок скрывает тонкую, смуглую шею, выгодно выделяя галстучек в виде бабочки. На дне опрокинутой гимназической фуражки лежат несколько одиноких монеток.

Вот музыкант. Его музыка уже не останавливает ничего внимания. Скрипка стоит, прислоненная к вигрине. В футляре — кусок хлеба, на клочке газет — колбасный довесок и тоже две-три монетки. У старика энергичное лицо. Чуки, сложенные вместе, лежат на набалдашнике трости. Старик молчит, тихонько покачивается на месте, ветерок шевелит полу его сюртука.

Или вот женщина. В детской коляске она разложила спички, мыльный порошок, какую-то диетическую муку в изящных жестяных коробочках, связки английских булавок, стопку носовых платков. Торговля — непривычное для нее дело. Это видно по тому, как часто она достает свой крохотный портмоне и тонкими пальцами в который раз пересчитывает деньги. Их вряд ли более лата.

Такие фигуры — на каждом углу, и более всего их в Старом городе.

Старый город расположился у самой Двины, великолепной, многоводной реки, она в бездельи разлеглась на прибалтийских песках и ничего уже больше не ждет. На приколе стоят два заглохших, покрытых ржавчиной и грязью парохода, в клюзах позвякивают ржавые цепи.

На гранитной набережной — спокойные, выжидающие фигуры грузчиков. Они напоминают серые картины наших «передвижников». Ломовая лошадь трясет головой, задевая мордой пустую кормушку, подвешенную к оглобле. Возчик, громко и монотонно насвистывая, стоит во весь свой великолепный рост. Голуби толкуются у его ног.

В Старом городе — непрерывный, блестящий парад торговой роскоши. Об-

разцы товаров заливают витрины. В окнах спадают кровавые, бирюзовые, черные, желтые, золотые, голубые ткани. Вызывающе, презрительно шурясь на прохожих, глядят манекены. Приказчики униженно упрашивают прохожих осчастливить магазин своим посещением.

Они расстилаются перед тобой, точно дым перед лицом ветра, они забегают вперед и вносят тревогу в заполненные просторы обдуманных, прилаженных магазинов. И вот уже из-за прилавка вам улыбаются миловидные девушки, они смущенно клонят головы и выступают навстречу покупателю совершенно так, как это описывается в великосветских романах.

Старые этикетки переkreшены жирной чертой, на кусочках цветного картона уже новые цены. И все-таки редко-редко кто зайдет под светлые своды магазина и тем более купит что-либо.

«Дешевая распродажа»...

«Сдается»...

«Дешевый аукцион! Торопитесь! Вы можете упустить свое счастье».

Так написано на трех языках.

Рига

Заметки вскользь

На всем протяжении от советской границы до столицы Латвии — на станциях крестьяне в опорках, подвязанных мочалою, железнодорожные рабочие в донельях изношенных брезентовых хламидках, беременные женщины с тяжеленными мешками на плечах, суровые, бледные дети. По перронам прогуливаются различные чины самых разнообразных ведомств.

Чорт побери, сколько же на них блеска, начищенной меди, лазоревых, желтых и прочих околышей, погонов, петлиц!

Помните у Гоголя, льстец Янкель из «Тараса Бульбы» расхваливает польского гайдука. Гайдук был великолепен, на нем было предостаточно всяких побрякушек, но он выглядел бы скромным нищим рядом с латышским воином нашего времени. У офицеров здесь на одном хлястике по пяти громаднейших медных

пуговиц. По лакированному козырьку фуражки идет широкий, надраенный медный обод.

На бульваре Свободы — огненная реклама

«Всякий верующий в Него не умрет, но получит жизнь вечную».

Надпись сменяется следующей.

«Приходите на собрание в храм Спасения»...

Здесь рекламируется бог, на следующем углу — чулки, дальше — папиросы «Рига», где-то — патентованное средство для домашнего лечения сифилиса («Высылка препарата дискретная» — заботливо сообщает реклама).

Блеск, шум, яркость — вся назойливая красота капиталистического предумысливания.

Блещат магазины. Максимальное их количество в Старом городе. Это — чудесный уголок: паутина уездных улочек, отличная старая готика, сплошная средневековая лирика. Здесь — лучшие магазины города.

И всюду поразительная пустота. В громадном обувном магазине я простоял двадцать шесть минут. И хоть бы кто зашел, а ведь это было самое торговое время: во-первых, суббота, во-вторых, два часа дня.

На что пивные. Когда в одной из наиболее популярных, «Риге», я заказал себе, кроме обычной бутылки пива, еще и баранью котлету, ко мне разом бросились и официанты, и сам хозяин, — профессорского вида, чисто выбритый старик, — и даже судомойка, одетая, точно акушерка.

За Двиной, где существует основная масса рабочего населения, — масса начатых и недостроенных домов. Заколоченные, убогие лавчонки. Идут одинокие прохожие, и только, подобно иллюминации, горят полицейские пуговицы.

Кризис.

Правда, можно еще наблюдать такие вещи: группа студентов-корпорантов. Пухлые поросычьи физиономии, шапочки лихо сбиты набок, оловянные глаза, в руках — папиры. Это — снимок, где, помимо прочего, зафиксирована и громадная пивная бочка с каким-то сложным

насосом. Буржуайские поросята приветственно держат колоссальные пивные кружки.

Но такая безмятежная картинка, по моему, относится все-таки к прошлому

Поросята вероятно вместе с отцами готовятся к защите фамильных карманов.

А дело идет к тому, что им не сдобровать. Хотя буржуазные газеты и утверждают, что деятельность коммунистических ячеек в Латвии парализована, однако седьмого ноября за товарной станцией у ипподрома безработные устроили митинг.

Около одиннадцати часов дня из группы безработных (их было около двухсот человек) вышел один, внешне мало заметный товарищ, поднялся на камешек и произнес короткую, энергичную речь.

Само собою, как-то совершенно стыхийно, толпа запела «Интернационал» Это было замечательно: отличная погода, теплый ветерок, довольно много прохожих. Я чувствовал себя, точно на площади Урицкого. Это ничего, что пела, в сущности, небольшая кучка

Однако вскоре появились полицейские и неизбежные люди в черных котелках. Безработные разбежались по полю. Фараоны кого трясали за грудки кого просто методически постукивали дубинками, но ничего не вышло: так им пришлось уйти ни с чем. Оратор не был найден.

Я простоял в отдалении еще около часа. Несколько шпииков и полицейских точно колониальные надсмотрщики, еще похаживали между группами безработных.

Даже на легальных митингах, создаваемых социал-фашистами, рабочие выступают очень недвусмысленно.

«Рабочие сумели свергнуть царское правительство, рабочие сумеют защитить и свои требования. Лучше пасть на улице, чем дома умереть от голода...»

Этих слов безработных на митинг третьего ноября не может замолчать даже социал-демократическая печать «Трудовая мысль» (орган русского отдела латвийской социал-демократии) пружуждена играть в оппозицию. из опасе-

вия растерять остатки своего влияния на массы.

Для своей демагогии социал-фашисты прибегают к евангельским текстам, дешевой лирике и прочей дребедени. Хотя, так сказать, «напугать» буржуазию. Однако в передовицах нагло и цинично пишут:

«...Анархичность бунта — веревка на шее рабочего, не того, который бунтует (тот может сухим из воды вылезти), а рабочего-строителя, рабочего, который верит и знает, что цепи рабства, цепи капиталистического ярма будут разбиты, когда творческая сила пролетариата сумеет воспользоваться, с одной стороны, провалом (?) капиталистического строя, с другой — хозяйственным фундаментом».

А пока рабочие будут ждать «провала» капитализма, полицейские, ничтоже сумняшся, проламывают головы безработным.

Безработные ходят по дворам и ищут себе еды в чистеньких, аккуратно выкрашенных мусорных ящиках. Да, так прямо и ходят с газетой, разостланной на ладони или с эмалированной кастрюлей.

Когда я подошел к одному такому (на углу Елизаветинской и Церковной), он быстро захлопнул крышку помойки и начал за что-то униженно благодарить меня, непрерывно поправляя при этом галстук.

Вообще здесь запрещается нищете выглядеть несолидно.

Все газеты пестрят объявлениями с предложениями труда. Очень часто можно прочесть:

«Мастер-токарь предлагает свои услуги в качестве банщика, сторожа или кого угодно.

Спросить там-то...»

Да что токарь, мечтающий стать банщиком. Вот, что я вырезал из номера белогвардейской газеты «Сегодня» (такие объявления печатаются ежедневно):

«Желаю познакомиться с молодой интеллигентной барышней, русской, которая находится в трудных материальных обстоятельствах. Брак не исключен. Предложения под № 8101 в контору газеты «Сегодня».

«2 девицы, шатенка и брюнетка, со средним образованием (26 л.), желают познакомиться с порядочным господином с высшим образованием. Прямые симпатии брак не исключен. Пр. п. 8104 в к. «Сег.».

«Для своей родственницы, скромной образованной 27-летней девушки, интеллигентной труженицы, ищущей интеллигентного, честного господина, обеспечивающего хотя бы службою. Цель — брак. Пр. 8100 в к. газ. «Сегодня».

«Желаю познакомиться с молодой интеллигентной барышней, которая находится в трудном материальном положении. Предпочтительно полька из Польши. Брак не исключен. Желательно с предложением получить фотографию. Предложение на русском или французском яз. под. К. № 275457 в контору «Сегодня».

Главное — как деловито: этот прохвост предпочитает полек

Нет, куда нам тянуться за «приличными домами».

Здесь даже мыльный порошок продается под знаком кризиса: «Сейчас — кризис, новое белье покупать невыгодно, сохраняйте старое».

Плохонькая комната — в месяц 25—30 лат. Обед в столовой (я нарочно говорю об очень дешевой, принадлежащей Народному дому) — один лат. Значит, если одинокий рабочий ест только два жды в день, ему надо больше 50 лат в месяц.

Трамвай, папиросы, обувь, одежда, газеты, профсоюзные взносы, налог, лечение, — что останется ему от его 80—90 лат (30—32 рубля) месячного заработка? Да что там останется, — хватит ли на полуголодную жизнь?

А сейчас и этот заработок для двух третей рабочего класса Латвии — недосыгаемая мечта.

Вот вам и поразительная дешевка, вот вам и «всего много».

Лавочник на Альбертовской ул., д. 23 по соседству с нашим торгпредством, с восхищением говорил мне:

— За две недели я не продал ни одного апельсина, и вот вы, господин молодой человек, купили целых пять

Так себе, мелкий, мельчайший буржуа. И у него трещит хребет.

Массы нищают, голодают, наливаются отчаянием, злобой, готовностью к борьбе наконец.

В это время социал-фашисты не находят лучшего, как организовывать развлечение для безработных, детские утренники, питать рабочий класс лирикой в роде:

Дождливо, грязно,
Ветер осенний
Глушит призыв безответный.
Глохнет призыв, умирая,
Ветер мчитса, заглушая. и т. д.

(«Трудовая мысль», 8/ХІ)

Но ведь общеизвестно, что «рабочие сумели свергнуть царское правительство, рабочие сумеют защитить и свои требования».

«Лучше пасть на улице, чем дома умереть от голода».

Так вырастает формула классового недовольства, программа борьбы, план победы.

Рига.

Примечание: Автор знает, что этот очерк написан гораздо хуже, чем вся книга. Когда он находился в работе, автор еще глупо учился видеть конкретные противоречия капитализма, и сплошь да рядом факты буржуазной действительности проходили только через посторонний глаз, через газеты и книги

ГЕРМАНИЯ

Напрасно звонил гонг...

От Эйджунена идет немецкий поезд. Крохотные купе на восемь человек каждое. Сидишь и, если напротив тебя есть кто-либо, упираешься коленями в его колени. Несмотря на то, что страшная джукота, вагон пуст. Регуляторы с надписями «Тепло», «Холодно», не меняют положения.

Во всех купе занято не более пятой части мест. Временами по коридору мимо стеклянных дверей промчится кельнер из вагона-ресторана или проводник. Кельнеры — загнанные, затасканные существа. Они ухитряются балансировать со своими подносами куда бойчее любого канатоходца. Проводники же выглядят генералами в своих темносиних ки-

телях, с лакированными красными ремнями через плечо.

В двенадцать дня по коридорам проносится самый молодой из кельнеров — отчаянно барабанит в гонг, — это начинается обед. Но предобеденная паника оказывается напрасной, — в ресторане всего лишь четверо: почтенный старик, который тщательно размешивает кофе, предпочитая обходиться вовсе без сахара; кричаще наряженная дама с крохотной девочкой (она смотрит на мать, точно умная собачка: преданно и не без испуга); высокий студент с подвешенной на бинте левой рукой, с ногой, отставленной в проход между столиками так далеко, что официант каждый раз задевает ее; наконец колоссальная тушавитиснутая в сиреневый костюм. На столе лежит зеленая коробка папирос «Австрия», засыпанная пеплом.

В два часа — в смысле безлюдья картина та же. Только на месте дамы — старуха, на коленях у нее — кошка; где сидел старик — теперь красивая девушка в малиновой с золотом шляпке, намазывает маслом хлеб и всецело поглощена этим делом; бурш заснул, еще дальше протянув свои невероятные ноги. Лишь багровая туша сидит, начав вторую порцию «Австрии».

В четыре часа ресторан вообще пуст, старший кельнер что-то записывает в большую книгу, двое остальных молча смотрят в окно. За окном — уже вечер, мимо летят железнодорожные крытые красной черепицей будки, освещаемые яркими фонарями, летят телеграфные столбы, редкие деревца...

Вагон Эйджунен — Берлин

Как обманывает внешность

Берлинские трамваи поют вкрадчиво, точно гавайская гитара. К полночи движение сокращается, сейчас почти каждый вечер выпадает небольшой, теплый дождь, после него очень неплохо пройтись по улицам. Иду по всем этим парадным улицам буржуазного Запада: Мотц, Бюлов, Потсдаммерштрассе, наконец вхожу на Потсдаммерплац. Он тих и неприятен, как неприятны впрочем и все

площади этого уродливого города. Слева высится громадное здание гостиницы. В ней — более ста двадцати номеров. Если, допустим, занять там приличную комнату, если там завтракать, обедать, ужинать, пользоваться парикмахерской и разного рода мелкими услугами, надо платить в сутки около сорока марок, т. е. более, чем месячный бюджет немецкого безработного. А ведь это — гостиница средней руки.

Сейчас окна отеля черны, и лишь в некоторых из них, пробиваясь за тяжелые шторы, горит свет. В подезде излучает блеск тяжелая доска с золотой надписью:

Palast-Hotel.

Перехожу на другую сторону, иду мимо сквера, который расположен уже на Лейпцигерплац, откуда начинается бойкая днем, шумная, торговая улица — Лейпцигерштрассе. Около решеток сквера — кучки мусора, старой бумаги, папиросные коробки. Впереди горит ярко освещенный люк подземки.

И у самой подземки, на тротуаре, — инвалид. Он в затрепанной, трижды лагтанной форме пехотинца империалистической войны, в бескозырке, приплюснутой спереди. Он сидит на камне, случайно оказавшемся тут же, опираясь локтем на ящик со спичками, упершись обрубок левой ноги в панель, блестящую от дождя. Справа — костыли, подмышники их потерты, и кожа давно уже нуждается в смене. Из правого кармана торчит газета. Левая штанина аккуратно подвернута и подколота английскими булавками. Лицо давно небрито, и жесткая, медная щетина сбегает к подбородку.

— Дорогой приятель. . . — говорит он, лоблескивая единственным глазом. — Прошу, не найдете ли вы у себя крошки табаку?..

Он протягивает ко мне коротенькую, черную трубку-носогрейку. Я вижу, что на его кисти недостает трех пальцев

Панель идет мимо Вертхайма, его витрины кроваво освещены, и они будут освещены всю ночь. Они тянутся целых четверть километра.

Сзади торопится человек. Он высок, хорошо одет, его шаги уверенны и легки, через руку перекинут макинтош, в другой — шляпа и трость. Он нагоняет меня и что-то говорит, чего я сначала не могу расслышать.

— Голоден. . . — вдруг улавливаю я. Тогда я не могу не повернуться в его сторону. Я вижу его острый подбородок, крупные черты лица, глубокие впадины глаз и, главное, блестящие глаза со слезинками, дрожащими на ресницах. Если судить по описанию, получается мело драматично, не правда ли? Однако именно так обстояло дело.

— Голоден, немного помощи... — повторяет он прежним бесстрастным тоном, вздрагивая подбородком и не глядя в мою сторону.

Я вижу его руку протянутой. Я сую ему монету, его пальцы задерживают мои, потом он отрывается, резко взмахивает рукой, перекидывает макинтош на другую руку и удаляется, четко постукивая тростью по каменным плитам тротуара.

Потом я много видел таких людей — не только ночью, и не только на улицах, безлюдных в данный момент.

Но это первое знакомство было самым впечатляющим.

Берлин

Ночная улица

Пройдя мост через Шпрее, направляясь к Штеттинскому вокзалу, резко заметишь, какая перемена произошла с обликом улицы. На левой стороне последним напоминанием стоит «Германия» — высокая, крепкая гостиница: золоченые швейцары у входа, они молча и неприязненно посматривают на каждого, кто проходит мимо.

Из широченных окон ресторана «Германия», плотно затянутых черной потьерой, несется ставшая модной идилическая «Песенка Христья». У окон, опираясь на медные поручни, стоят женщины, глядя тебе прямо в лицо. Это — старухи, девочки, безобразно толстые, болезненно худые, покрашенные и бесхитростные женщины.

Инвалиды стоят со своими желтыми повязками, за темными своими очками

скрыв глаза, судорожно сжимая натянутые ремни, на которых беспокойно вертятся дрессированные псы.

Временами около пивных ты заметишь группу рабочих,—два-три человека. Они громко и ожесточенно спорят, по своему немецкому обычаю не умея говорить сдержанно и сплюкочно. И вот уже тут как тут — молчаливая парочка в лакированных касках, в синих плащах, в черных крагах.

— Пожалуйста... — пошевеливая плечами, говорит тот, что постарше.—Прощу, несколько тише...

Они оба поворачиваются спинами к спорящим, все же вполоборота поглядывая на них. Рабочие медленно остывают, гасят свои трубки и направляют кто куда.

Мимо, почти задевая колесами панель, плывет автомобиль, в открытом кузове которого — дюжина полицейских с винтовками, поставленными между ног, с прожектором, закутанным в брезентовый чехол. Полицейский офицер — рядом с шофером. Впереди, мягко подметая блестящий лак брусчатой мостовой, стелется голубой свет фар. Изредка в его полосу попадают редкие прохожие, перебегающие улицу под безжалостным берлинским дождем.

По той стороне, отчетливо и сухо рассыпая дробь подков, рысит полицейский же патруль.

Из раструбов громкоговорителей—а их тысячи над дверями пивных, кафе, ресторанчиков, кино — идут важные речи, где неисчислимое количество раз повторяются слова «Weinacht», «Winterhilfe», «Allgemeine Gleichheit» и т. д. (рождество, зимняя помощь, всеобщее равенство...).

Запоздалые прохожие, что обгоняют тебя или попадают навстречу, чем дальше от Шпрее, тем однообразнее и скуднее одеты. Редко-редко на ком из них — пальто или ватная куртка. Чаще всего человек ежится в тоненьком пиджаке, и под ним не всегда имеется свитер. На темных перекрестках, около громадных, несуразных тележек, медленно покачиваются фонари. По их стеклам стекают крупные капли дождя. На тележках корчатся сухие сосиски, стоят

стаканчики с простоквашей, лежат крохотные трехфенниговые булочки. Из под крышек никелированных кастрюль выбивается пар,—остывает кипяток, в который тебе могут опустить сосиски ежели ты их купишь.

Запоздалый газетчик со своим товаром, приколотым булавками к груди, в спине, всюду, прохаживается вдоль тротуара, оглашая осеннее молчание позднего вечера своими резкими, монотонными выкриками.

Опять идут шудманы, поглядывая по сторонам. Опять слышны приближающиеся звуки полицейских подков, то в дело проносятся молчаливые авто, сквозь задние стекла которых видны подвешенные внутри куклы: то это негр, то турок то рождественский дед, то просто Гретхен в голубеньком платице. Машины блестят своими лакированными бортами, заставляя полицейских молодецки выправлять свои плечи и вежливо кашлять в кулак. Редко-редко пропоет порожний трамвай. После того, как пройдет блюстители порядка, откуда-то из подворотен и под'ездов появляются осторожные фигуры людей с цитрой или скрипкой или восьмиугольной гармоникой подмышкой. Тогда раздаются тоненькие, точные пение комара над озером, безрадостные звуки вынужденной песенки.

Временами внимание прохожего привлекает яркое пятно на щите, где обычно расклеивается реклама. Цветная бумага крупный портрет, под ним громадными буквами написано, что полиция разыскивает такого-то, такого-то убийцу или такого-то, такого-то грабителя, или такого-то политического террориста. Объявляется премия тому, кто задержит или хотя бы укажет разыскиваемого. Большие премии—одна, три, пять, и больше тысяч марок.

Пожалуй, они привлекают внимание одиноких прохожих больше, чем все остальное. В самом деле, с такими деньгами можно не бояться зимы и рождественских праздников. Но... ведь не всякий сумеет заработать эти деньги, а главное—не всякий может.

Чем дальше, тем темнее. Вот уже прошли Зеештрассе, которая решительно пересекает Норд на-двое: с юга-запада—

на северо-восток. Вот уже идут пустыри, уже начинаются лаубен-колони. Они темны, точно кладбища, и лишь временами оттуда, из-за проволочной ограды, послышится визг захудалого пса.

Берлин.

Мастерской удар

Полутемная Пирнайнштрассе медленно источала сырой холодок, окна домов были черны, глухие стояли ворота, — точно забронированные крепостные входы, — кое-где в под'ездах жались парочки, лишённые более удобного и уютного прибежища.

Рудольф шел и шел, куда глядели глаза, пока шум, донесшийся с площади, что лежала за углом, не привлек его внимания. Он шел от Ратхауса, вернее — из подвальчика с яркоосвещенным входом, и хоть этим отчасти смягчавшим мрачный и неприветливый его вид. Здание ратуши возвышалось, подобно огромному катафалку, брошенному на пустынной площади. И вот, повторяю, яркоосвещенный вход, злые и яростные крики оттуда, песня, которая перебивала на мгновение шум, — все это как-то оживляло мрак площади.

Полицейский стоял, раскачиваясь на пятках, помахивая за спиной своей дубинкой. Очередь такси аккуратно выстроилась по обочине мостовой, следуя указаниям тротуара.

Из подвальчика попрежнему несли смешанный гул: джазбанд, пьяная песня, звон каких-то металлических предметов и, похоже, крики избиваемых. В плотно завешенные окна ничего не было видно, ни капли света не проникало сюда, и торопливый, бешеный гул рвался оттуда, точно буря, которую посадили на цепь.

По тротуару прохаживались несколько женских фигур, одна из них бросилась было навстречу Рудольфу, но, увидев, что сюда смотрит полицейский, нерешительно постояла на месте и повернула обратно. Со ступенек ратуши шли тихие звуки скрипки. «Скоро придет веселый сочельник», — кажется, так называлась эта песенка. Она была совсем не веселой. Инвалид, который играл ее, вероятно не имел оснований для настоящей радости.

В момент, когда уже Рудольф готовился оставить эту площадь, легко лягнула дверь, на улицу с удесятеренной злобой вырвался рев кабачка и на тротуар мягко и тяжело упало человеческое тело. Около него остановились двое в белом, и тот, что повыше, начал кричать, точно это его самого выбросили. Он размахивал руками и, как если бы видел вокруг себя оживленную толпу, рассказывал о том, что произошло.

Обычная история: некто пришел в кабачок, заказал кружку пива и ростбрат с луком, скромненько посидел часок в уголку, а когда пришло время платить, — не мог пред'явить ничего, кроме затертой книжки, на которой уже два года с исключительной аккуратностью, один за другим, точно пятна проказы, появлялись все новые и новые штемпеля биржи труда.

Помилуйте, у него нечем платить. Но у него нахальства хватит на десятерых, притти сюда, пьянствовать, обжираться, глазеть на девок, слушать музыку, — нечем платить! Господин полицейский, проще всего будет, если показать ему, что это значит, притти, пьянствовать, обжираться...

Выброшенный совсем не производил впечатления мерзавца. Он потихоньку встал, отряхнул пыль с локтей и колен и, поправив смятый, вытянувшийся галстук, направился итти своим путем, но зверский удар человека в белом снова поверг его на тротуар.

Рудольф бросился было к кельнеру, но полицейский строго поднял палец. Безработный снова поднялся, но опять мастерской удар вернул его на камень панели.

— На ваших глазах избивают, — тихо, нагнувшись к самому лицу шущмана, дрожа от возбуждения, пробормотал Рудольф. — Я сообщу об этом...

Полицейский легонько оттолкнул Рудольфа и шевельнул лежащего ногою. Обутою в тяжелый, шнурованный сапог.

— Я люблюсь твоим видом. Не правда ли?

Он засмеялся коротким, хриплым смешком.

Наверху лестницы стоит, освещенный матовым светом, сам хозяин в бруснич-

ном, спортивном костюме. Он швыряет на мостовую помятую, истоптанную, черную шляпу.

— Поверьте, дело не в двух марках...

— Да, но принцип собственности... — крепко держа за локоть свою жертву, крипит полицейский.

— Именно... — говорит хозяин и спрашивает швейцара. — Кстати, почему вы пропустили его, Майер?

— Господин Фуш, поверьте...

— Безразлично, у вас удержат четыре марки.

Дрезден.

Проходя по улицам

Карманный фонарик освещает дверь полуподвала. На двери написано крупным и зловещим почерком:

«Polizeilick ferboten».

(Запрещено полицией.)

И дальше подробно объясняется, почему запрещено входить в это помещение и тем более проживать здесь. Впрочем это ясно и так: фонарь прорывается сквозь пыльные стекла единственного окна и отчетливо обозначает обвисший потолок; пол, зияющий черными провалами; стену с вывалившимися кирпичами.

Дверь замкнута снаружи, и замок опечатан. И все же это не помешало кому-то пробраться в сарай и обосноваться в нем. Свет застиг неизвестного в его углу. На длинном опрокинутом ящике расположилась постель; на полу около стоит кружка, накрытая куском хлеба; на стене над постелью висит старый раскрытый зонт.

Человек сначала корчится на своем ложе, потом приподнимается и вызывающе смотрит навстречу свету, опираясь плечом о стену. Свет слепит его, человек еще не стар, чисто выбрит, лицо его опухшее, он так и спал в своей шляпе, в пестром пальто, видимо, знавшем когда-то лучшие времена.

— Кто тут? — негромко и тревожно говорит он. Вероятно ему кажется, что это полиция.

Свет гаснет, люди отходят от окна, им слышны беспокойные вздохи ночлежника, слабая возня в сарае.

— Художник... Он проходит через со-

седнее помещение, где еще живут люди, очень хороший художник, но только он пропадает окончательно. Кризис... — говорит провожатый.

/ Во многих дворах узкие висячие коридоры, доступные дождю и всяческой непогоде, несколькими ярусами лепятся к стенам дома. В полутьме по ним пробегают черные фигуры, слышится детский смех, ребята ухитряются устраивать игры на этих висячих тропинках. Кое-откуда выплескивают прямо наземь помой, воду, бросают разный сор, через весь двор громко переговариваются о своих делах.

Можно войти в низкую дверь в углу двора и по зыбким, деревянным лестницам подниматься все выше и выше. Мокрое белье задевает тебя по лицу. Под ногами набросаны щепки, уголь, тряпье, стоит какая-то бросовая посуда. Сыро, воздух, словно в старой прачечной.

В каждый коридор выходит по нескольку дверей, некоторые распахнуты настежь, и ты иногда заметишь в комнате полусвященный стол, за ним ужинает семья, услышишь однотонный плач детей, ругательство отца, нервные реплики женщины.

В некоторые двери видно, как за столом работают, собравшись в тесный, невольный кружок. Вот например семья грузчика с Главного вокзала. Отец без работы уже с февраля двадцать девятого года. Он громаден и силен. Его кулаки лежат на столе, подобные гилям, брошенным после гимнастики.

Странно видеть, чем сейчас принуждены заниматься эти великолепные руки и руки его семьи.

Как всем известно, в Германии — кризис. Крупнейшая фабрика по выделке разной галантерейной мелочи — пуговицы, кнопки и т. д. — «Вальдес и К^о» решила отказаться от машинного производства. При теперешней безработице легче и прибыльнее довериться силе простых человеческих рук, нежели пускать дорогие станки, иметь квалифицированных рабочих, содержать в порядке оборудованные цеха.

И вот «Вальдес и К^о» начали раздавать работу на дом. Приходит безработ-

ный на склад, получает по точному счету крохотные, напоминающие божьих коровок бельевые кнопки, несколько сот ярких картонок с надписью «Вальдес Кохиноор», с фабричной маркой, — яркочерный эллипс, и в нем голова женщины: смазливая физиономия, короткая улыбочка.

Но самое главное начинается вслед за этим: например наш безработный получает пособие. Он будет немедленно лишен его, как только узнают, что он «работает». Стало быть, работу у «Вальдес и Ко» берут потихоньку, нелегально. Значит, безработный боится. Так можно ли церемониться с человеком, который боится? Нет, боязнь его служит порукой, что никто никуда не пожалуется.

Так вот и получается, что этот самый грузчик, его жена, старуха-мать (кстати сказать, все трое — коммунисты), семнадцатилетняя его сестра, дочь всеми и другая шести лет — все они заняты кнопками. Заполнив шестьсот карточек, го-есть вставив более двадцати тысяч кнопок, вся семья получает марку. О д н у е д и н с т в е н н у ю м а р к у.

На столе стоит керосиновая копчушка. Она еле освещает узкий квадрат стола, на нем двумя кучками насыпаны половинки кнопок, отдельно — чистые карточки, еще отдельно — готовые. Каждый берет в левую руку чистую. Ему улыбаются свежее личико рекламной красавицы. Он продвигает снизу часть кнопки со шпешком и накрывает его другой половинкой. Так надо проделать два движения на каждую кнопку плюс движение на каждые тридцать шесть (это когда берешь карточку) да еще движение (это когда откладываешь заполненную в сторону). Итого, стало быть, почти сорок пять тысяч движений за одну единственную нищенскую марку.

В комнате — полутьма. Неясно выступают очертания старой мебели, на стене смутно сереет портрет Ленина, по углам, на потолке с трудом можно рассмотреть грубо нарисованные пятиконечные красные звезды. Вместо фриза по всей стене идет крупная надпись: «Д а в а с т в у е т С С С Р».

Мелкая работа доводит до того, что

каждые десять минут кто-либо встает из-за стола, идет в угол комнаты, приподнимает тарелку, которой прикрыта большая миска с водой (водопровода здесь нет, и ее носят с улицы), обмакивает кончики пальцев и легонько смачивает глаза водой. Глаза красны, а у младшей девочки непрерывно слезятся.

— Как будто помогает... — говорит, покашливая, грузчик. — Впрочем, кажется, они у меня разболются тоже.

— Да, проклятая работа... — говорит жена.

— Могут отнять и эту, — прикрикивает старуха, в свою очередь вставая и идя к миске.

За все это — марка. За труд целой семьи, — так не бывает даже в Китае.

На улице — легкий гул, который обычно начинается к полуночи и быстро сходит на-нет, уступая место настоящему ночному покою.

В подворотне расположились комод, поставленный стоймя, пружинный матрац, стол, пара стульев, на столе чемодан. На стуле сидит мужчина, положив голову на край стола, обхватив чемодан руками. Вдоль тротуара прохаживается с грудным ребенком высокая, прямая женщина.

Полицейские, призванные смотреть за порядком, не любят показываться в бездонных пролетарских кварталах. Жандармы же и шпики не обращают внимания на безработных, выброшенных из квартир, — это слишком мелко и не такая уж редкость в стране порядка и демократии.

Дрезден

Имени Карла Маркса

В Нейкельне, на юго-востоке Берлина, есть большая школа имени Карла Маркса. Ею руководят социал-демократы. Казалось бы, странно наблюдать такое явление в Германии: режим чрезвычайных декретов, разнузданная реакция, и вдруг... Карл Маркс. Оказывается, это так и есть. Впрочем, удивляться особенно нечему, так как имя Маркса ни к чему особенно не обязывает достопочтенных руководителей школы.

Она организована и оборудована образцово. Мало того, что школа обучает детей, начиная с азов, — при ней еще имеются и воскресная школа для взрослых, и вечерние ремесленные группы, и нечто в роде техникума. В основном здесь учатся дети высокооплачиваемых рабочих, профбюрократов, социал-фашистских партаппаратчиков. Естественно, что бюджет школы не так уж мал. Министерство народного образования заинтересовано в таком рассаднике политического и всяческого благочестия и само оказывает ему значительную материальную поддержку. Становится понятным, почему школа применяет новейшие методы обучения, организует заграничные экскурсии учащихся, устраивает свои выставки, музеи и пр.

Каждый год довольно значительные группы учеников под руководством отборнейших, благонаравнейших педагогов едут в Англию, Швейцарию, Францию, Австрию, Италию, Чехо-Словакию, Скандинавию, Голландию и т. д. Потом, по возвращении, устраиваются отчетные выставки.

Мне пришлось побывать на одной такой выставке. Впрочем, сначала о том, что предшествовало ее осмотру.

Внушительное здание, мрачный подъезд, дверь, которая еле-еле подается под нажимом твоей руки. Тишина, точно в первоклассной привилегированной больнице. Изредка пройдут парочками несколько учеников, — тихие, образцовые подростки.

Поднимаемся в кабинет директора, социал-демократа Карсена. Навстречу нам встает не полный, но и не худощавый, не торопливый, но и не медлительный, приветливый без приторности, но и сдержанный без излишней официальности господин. Он закладывает правую руку за борт светлошоколадного пиджака.

— Господин из Советского Союза? О, директор очень рад приветствовать господина из Советского Союза в стенах школы, которой директор руководит вот уже сколько лет и под скромным руководством которого школа выпускает, так сказать, на берега жизни подготовленных к житейским бурям

бойцов. Впрочем, это не его, Карсена, заслуга. Он всего лишь смотрит за тем, чтобы воспитание вверенного ему юношества шло в соответствии с принципами великого учителя Карла Маркса... Директор Карсен рад показать русскому господину все, что только можно показать...

Директор нажимает кнопку звонка, пожмает нам руки, и мы идем к дверям, где нас уже поджидает провожатый.

Внизу, в двух небольших комнатах, — работы по географии, статистике, физике, искусству и так далее. На стенах, перевязанные шелковыми ленточками, припшплены тетрадки. Каждая из них посвящена своей теме. Например «Лондон». Описываются улицы, метрополитен, освещение, музеи, скульптура, парки, скверы. Перелистываем, перелистываем, — ни слова о людях, о тех, кто эксплуатирует, кто эксплуатируется. Сплошной музей прекрасных и удобных вещей.

Или вот «Африка». Характеристики зверей, средняя суточная температура, количество осадков, переводы негритянских песен, зарисовки украшений, — все, что угодно, кроме людей, кроме тех, кто поработает колонии, кто влачит в них рабскую жизнь.

И так все. Есть просто анекдоты, хотя и далеко не безобидные. Впрочем, в них-то, пожалуй, ярче всего и проявилась сущность «марксистского» воспитания по Карсену.

Чистенькая тетрадка, на обложке ее нарисован громадный яркий зонт с фантастическими узорами на нем. «Китай». Эта работа посвящена нынешнему, революционному, в значительной части советскому Китаю. Это — работа ученика старшей группы.

«Китай — большая восточная страна, за влияние в которой борются три крупнейших империалистических государства: САСШ, Япония и СССР».

СССР — империалистическая страна! Впрочем, это не выпадает из социал-фашистского стилия, ведь для них мы — красные империалисты. Так выдумываю тся империали-

сты затем, чтобы трудящиеся забыли об империалистах настоящих.

Походили, посмотрели, — нет, не этого можно было ожидать: как-никак все-таки «имени Карла Маркса». Опять поднимаюсь наверх, опять к господину директору.

— Разрешите пройти по классам.

Карсен расстроено пожимает плечами. Он бы рад, но министерство... Ах, как это обидно!..

— Неужели без министерства нельзя?..

Господин Карсен все понимает, но таков порядок. Страшно жаль, но министерство — вот кто настоящий хозяин школы. Да это и понятно, государство отвечает за все, оно знает, что без твердых порядков...

— Помилуйте, ведь сущие пустяки, вы, всего лишь пройду по классам.

— Да, директор все понимает, и ему жаль огорчить русского гостя, тем более, что у вас, русских, очень развито такое настоящее, славянское гостеприимство. Но, — повторяет господин директор, — что он может сделать? Вы знаете, каковы строгости...

— Странно, у нас в СССР несколько иначе...

Господин директор все понимает, но что поделаете: такие уж теперь времена.

Получасовой разговор не привел ни к чему.

Так окончилось мое коротенькое знакомство с «марксистской» школой.

Жажда реванша одолевает их

«... Памятник варварства, символ грубого насилия и ложной славы, утверждение милитаризма, отрицание международного права, постоянное издевательство победителей над побежденными...»

Декрет Парижской Коммуны от 12 апреля 1871 года.

Идя по Унтер-ден-Линден, уже миная университет слева и приземистое сооружение Государственной оперы справа, не сразу обратишь внимание на здание, о котором будет речь впереди.

«Новый мир», кн № 1.

Оно из тяжелого камня, и портик поддерживают два ряда обрубков-колонн. Под фронтоном — барельефы Победы, на самом фронтоне — какая-то аллегорическая безвкусица. В глубине входа, за колоннами, — черный провал распавшихся дверей, откуда несет кладбищенским холодком.

Это — «Новая стража», памятник жертвам империалистической войны.

Свет в помещение падает только из круглого отверстия в крыше, метра в полтора диаметром, оно приходится как-раз над подобием жертвенника — прямоугольным куском черного, отлично отполированного камня. На нем, освещаемый трепетным светом факелов, сдержанно поблескивая, лежит колоссальный дубовый венок. Отчетливо видны листья и жолуди, вставленные в специальные подставки у стены, противоположной от входа. Желтое пламя факелов колеблется и мигает от движения воздуха.

Венок состоит из двухсот тридцати пяти листиков, на его изготовление пошло около двухсот килограммов серебра, общая стоимость его примерно пятьдесят тысяч марок, т.е. десятилетний бюджет ста человек безработных. Поистине, разве не беспредельна благодарность немецкого народа жертвам капиталистической бойни.

Вокруг камня — сотни мелких венков, живых и искусственных, с голубыми и зелеными, малиновыми и черными, белыми и пурпурными, роскошными и совсем простыми лентами.

У подножия черного — камень поменьше. Простой, серый кусок с надписью:

1914—1918.

Но на лентах нет уже этой многозначительной сдержанности. Авантюристы опять поднимают голову. «Побежденная» немецкая буржуазия не хочет отставать от своих «победивших» собратьев.

«Немецкая молодежь, ты опять завоюешь место под солнцем для нашего славного немецкого орла».

«Наша бравая молодежь опять поведет тяжелый свой шаг по пути непрерывных побед. Вечная память тем, кто погиб. Вечные победы тем, кто подымает мужественный меч».

«Я крепко держу эфес мой боевой шпаги».

«Мы никогда не забудем вас, годы германских побед. Мы не забудем и вас, годы национального позора».

Много и других надписей. Весь пол устлан цветами. Вдоль стен, то там, то здесь, стоят бодрые старики, опираясь на свои трости, прямо держа свои плечи, словно принимая парад. Обмахиваясь шляпами, как бы в нетерпении ожидая начала, переминаются с ноги на ногу крепкие, багроволицые, тяжелодышащие люди, на момент задержавшие там, за входом, свои «Шевроле», «Паккарды», «Бьюики», «Рольс-Ройсы»...

Изредка сюда забредет от нечего делать безработный, он сдернет свою спортивную, суконную шапку, оглядится кругом, покосится на соседа — хлыща в серо-коричневой униформе, с крохотной свастикой на клапане левого кармана, или на полицейского майора, задумчиво и мстительно покусывающего свои вильгельмовские усы, — и пойдет прочь.

Выходишь на воздух. Прямо плоский навес над под'ездом Дома оперы. По блестящему асфальту мчатся автомобили, особенно запоминаются такси темнозеленой окраски с шахматным пояском вокруг кузова. Двухэтажные автобусы мягко и тяжело плывут по мостовой, опоясанные лентой реклам, идущей по второму этажу.

Сзади «Стражи» — памятники генералам Блюхеру, Йорку и Гнейзенау, — бездарные, казенные чучела, с навсегда заштампованными, парадными позами. Вокруг каждого из них — решетки, похожие скорее на частокол штыков. И эта парадная деталь окончательно уничтожает памятники.

В киоске, который разместился под самым портиком, щеголеватый служи-

тель предложит тебе изящно изданную брошюру, выдержанную в траурных строгих тонах. На особом листе, в самом начале, написано словами надежды и угрозы:

«Новая стража» создана поколением, которое принесло за свою свободу тяжелейшие жертвы. Поэтому она является достойным памятником жертвам мировой войны. Она для нас, в новом образе, — не только место печали, но и правдивый свидетель жизненных сил и жизненных прав немецкого народа.

Гренер

Министр рейхсвера»

Полерк министра решителен и резок

Что может быть проще: приюты для детей жертв капиталистической войны нуждаются в средствах. Сами знаете, — кризис. Надо собрать эти средства, чтобы поддержать бедных сирот. Вот зачем и устроена эта верденская выставка. Что может быть проще?

Не угодно ли взглянуть, вот снимки: шеренга скромненьких девочек и благонамеренных, с вытянутыми по швам рукавами мальчиков.

Или вот например господин рейхс-президент, господин фельдмаршал Гинденбург в своем «Паккарде» № IA 8555 приветствует в Ремхильде детей из приюта. Господин президент сидит между двумя красивыми офицерами, в стоячих воротничках, шитых серебром, и благосклобно козыряет детишкам. А они накормленные сегодня компотом, тихонько переминаются с ноги на ногу и оглядываются на рослых солдат, которые стоят сзади, окружая детей плотным полукольцом.

Или вот премилая инсценировка: детишки играют. Правда, это уже в Виттлихе, но все равно, очаровательные сиротки, просто удивление! Хоровод на лужайке, рослая фрау и усатый герр директор — превосходная жанровая сценка.

По гулкой лестнице люди подымаются наверх, берут билеты и бродят по

просторной квартире, где расположилась верденская выставка. Модели фортов, диапозитивы, передающие наиболее яркие моменты из жизни храброго немецкого солдата и героизм многострадального отечества; статистика, показывающая безумие и расточительность врагов: смотрите, какие бешеные миллиарды золота, миллионы жертв!..

Рядом со мной бродит кривоногий человек, со складчатым подбородком, свисающим на грудь. Человек одет в зеленую курточку, он в коротких барчатных штанишках, в охотничьей шляпе с красным пером сзади, — так сказать, альпийский стрелок. Временами он открывает фляжку, висящую с левого бока, наливает немного пива в крышку стаканчика и беззвучно схлебывает. Потом, не глядя, завинчивает флягу и продолжает идти дальше.

— Совершенно правильно, — временами говорит он. — Именно так..

Он несомненно «переживает». Потом он подходит к модели, которая показывает расположение противников в феврале 1916 года. Нажимает кнопки, — загорается лампочка. Форт «Холодная земля» — написано здесь. «Высота 304» — дальше... «Святой Михаил»...

— Очень правильно... — отдувается «стрелок», опять прикладываясь к стаканчику.

Потом он идет к высокому, вытянутому в струнку, с заложенными за спину руками господину. Это — дежурный по выставке. Человек с пером благосклонно трясет его руку и легонько похлопывает ладшкой его локоть. Распорядитель заученно щелкает каблуками и склоняет свой лакированный пробор.

Кривоногий еще раз нажимает кнопку на «Кальтэ эрде» (Холодная земля) и направляется к столику у входа, где лежит толстая памятная книга. Он что-то долго обдумывает, достает перочинный ножичек, старательно чинит карандаш, потом пишет и в заключение процедуры достает из кармана печатку и ставит ее внизу страницы.

Потом он в дверях обочивается, вытягивается и медленно подымает руку, согнутую в локте. Рука тянется к

виску. Кривоногий козыряет и потом протискивается в дверь. Вот он хлопнул следующей дверью, и звуки ее разносятся по всей лестнице.

Теперь подойдем к столику и мы. Перелистаем страницы этого злопамятного гроссбуха. Там — десятки записей. Почти все они начинаются словами: «Я, бывший лейтенант такого-то полка, такой-то дивизии, на таком-то фронте...» или: «Мы, ферейн бывших военных фабрикантов такого-то района...»

В записях — непременно напоминание о прошлой славе имперских знамен и обязывающем величии прусского орла. Неизбежное на каждой странице обращение к немецкой молодежи, которая-де обязана не посрамить земли прусской.

Многие из записей снабжены печатями и печатками. Прусский орел или фашистская свастика, — отличия только в этом.

На последней, еще не просохшей странице можно прочесть написанное круглым, почти детским почерком:

«Мы не напрасно платим за эту выставку и кормим детей наших солдат, которые погибли под Верденом и на прочих фронтах. Я сам воевал четыре года, мои виноградники потоптали и выжгли французские свиньи. Я принес в жертву все. В таком же положении вся Германия. Пусть в сиротских военных домах вырастет поколение, которое отомстит за своих храбрых отцов и за наши мучения. Да здравствует Адольф!»

Неразборчивая подпись и печатка, на которой только всего и есть, что инициалы «LBB» и свастика.

Перед самым моим уходом на выставку заявляется группа учеников. Это — розовые, упитанные подростки, в тяжелых бутцах, с заплечными сумками, с цейсами через плечо. Их сопровождает худощавый старик, сизая, жилистая шея которого отчетливо выделяется из воротника.

Ученики гуськом проходят мимо кассы, молниеносно выстраиваются перед бюстом Гинденбурга, и тишину выставки потрясает звонкий, отчетливый

возглас, поддержанный и коротким баском сопровождающего старика:

— Хайль, кайзер!

Потом так же быстро, как и вошли, ребята исчезают из зала. Распорядитель задерживает в дверях длиннеего старика и признательно жмет ему руку.

Берлин.

Приличная жизнь

Пауль живет на Севере, на Оффенштрассе, неподалеку от самого Ратхауса (правда, в той части улицы, что примыкает к пустырю. Это один из тех пустырей, которых все больше становится в городах благоустроенной Германии. Когда-то вот здесь стоял большой каменный сарай, но он и после войны остался заколоченным, а потом его по кирпичику растащили жители близлежащих лаубен-колоний — кому для очага, кому для чего. Здесь остался лишь фундамент, он зарос травой, его занесло пылью).

Окна комнаты, где живет Вайнинггер, выходят как-раз на пустырь. Сейчас здесь играют дети. Они кричат, словно воробьи в пыли. Они швыряются камешками, щепками, пучками травы. Они припадают к земле, изображают солдат, которые отбиваются от врага, вскакивают, делают перебежки по всем правилам позиционного боя, снова припадают к земле, — и все это продлеваются, ни на секунду не прекращая своего веселого шума.

На одиноком камне в сторонке сидит высокий старик. Он внимательно посасывает трубку и искоса наблюдает за детворой. Он разут, тут же рядом стоят его башмаки, сверху на них лежат шерстяные, крестьянской работы — красные с черным — чулки.

Вот что видно из окна Пауля Вайнингера. В самой квартире оживления куда меньше. Комната чиста и, хоть невелика, все же заставлена всякой всячиной: пара кресел с высокими кожаными спинками; диван, занимающий весь угол; пианино в простенке между окнами; две широчайших кровати светло-го цвета. Кровати поверх одеял накрыты кружевными покрывалами, штук

десять подушек, сложенных уютной пирамидкой; то там, то здесь по одеялу в сознательном беспорядке раскиданы всякие безделушки: красивая коробочка из-под духов, оранжевая шелковая салфеточка, мешочек с рукодельными принадлежностями, плюшевая собачка с громадными пуговицами-глазами.

В подсвечниках на пианино воткнуты две зеленых, еще необожженных свечи. На подставочке развернуты ноты. Это «Песенка Христль», мотив, обошедший всю Германию сразу же после того, как третьесортная киноактриса спела ее в роли императорской любовницы.

— Кто из вас занимается музыкой?

— Мы оба не умеем... — охотно отвечает курчавая Эрна, жена Пауля.

— Зачем же тогда это?..

— Позволь, мы же должны жить прилично!

В углу, около дивана, — подержанный патефон, и на столике рядом, точно блины, лежит стопка пластинок: «Старый товарищ», «Братья, к свободе, к солнцу», «Эй, ужем», кое-что Шопена, кое-что из русской белогвардейской музыки.

Стены — не стены, а целая фото-выставка. Возьмем наудачу: Пауль и Эрна держатся за руки, глядя друг другу в глаза. Пауль — в купальном халате, Эрна — в пижаме с кошкой на плече.

Вторая: он в тирольском костюме, слегка приподняв над головой шляпу с пером, улыбается навстречу объективу. Через плечо у Пауля — дорожная сумка, альпеншток в свободной руке, чувство довольства разлито на его добродушной физиономии.

Третья: Эрна лежит у самой воды, на песке, около, на салфетке, — бутылка вина, корзиночка с яблоками, на тарелке нечто в роде цыпленка. Из воды выглядывает Пауль с высоко занесенной рукой он готовится что-то бросить сюда, тоже навстречу объективу.

Четвертая: Эрна и Пауль. Она — в белом платье, в шляпке с вуалью, с букетом цветов в левой руке, в то время как правая лежит на локте Пауля. Он же, невозмутимый и торжествен-

ный, сидит, положив шляпу на колени, скрестив на груди руки. Этот снимок относится к двадцать четвертому году, когда Пауль еще был женихом Эрны, когда ему едва-едва исполнилось тридцать лет.

Пятая: Пауль, коленопреклоненный, стоит у могилы. На ней донышком кверху лежит его цилиндр и пара хризантем на нем. В сторонке смущенная Эрна молитвенно, ладонями вместе, сложила руки. На карточке написано печатными буквами: «Моя мать».

Шестая: Пауль в группе товарищей провозглашает прозит, победно глядя вперед, полуобнявшись с соседом и глядя опять-таки в объектив

Нет никакой возможности описать все.

Сегодня воскресенье, и Пауль с утра ходит уже в новеньком, шоколадного цвета, спортивном костюме, мягкие шаровары картинно спадают на яркие полосатые гетры; отчетливо блестят лакированные носки туфель; малиновая феска легко лежит на крупной голове Пауля с льняными волосами, красиво зачесанными назад.

Пока Эрна возится на кухне, звякая посудой, Пауль расхаживает по комнате, время от времени останавливаясь у зеркала, приглаживая свои седеющие виски и не переставая напевать под нос:

Это должен быть хоть краешек неба...

— Пауль, ты готов?

— Да, но осталось еще семнадцать минут, — вразумительно отвечает он, не прекращая своей прогулки, ограниченной четырьмя стенами.

— Семнадцать? Ну тогда конечно...

— «Это должен быть хоть краешек неба...»

— Семнадцать. Ну тогда конечно...

Пауль строго выдерживает этикет. Он ходит и ходит по комнате, искусно лавируя по ее забаррикадированному пространству, изредка подходя к окну и с неодобрением следя за оживлением, происходящим на пустыре.

Через пятнадцать минут он выходит на кухню.

— Не следует ли сегодня пригласить к столу и отца? — неопределенным тоном

спрашивает жена, заглядывая в кастрюлю, где бурлит и пенится бульон.

— Но этого еще никогда не случилось ранее...

— Я подумала: сегодня воскресенье...

— Оно сегодня не впервые, если ты вспомнишь... — и Пауль меняет тему. — Пора уже подавать.

Потом он возвращается в комнату, распахивает окно и кричит:

— Алло!

Старик поднимает голову, молча кивает и начинает обуваться.

На столе уже дымится миска, стоят наготове два прибора и вазочка с цветами перенесена с пианино на стол. Пауль заводит патефон, и вот по уютной комнатке разносится его добросовестная музыка.

Старик, — это отец Эрны, — кашляя и вздыхая, моет на кухне руки, потом гремит посудой и наконец появляется в дверях. Он держит в руках алюминиевую тарелку, обдергивает сюртук и желает доброго аппетита.

— Вы наливайте суп, а потом можете взять немного курицы. Сегодня же воскресенье, — пожимая его руку, говорит Пауль и закрывает за стариком дверь.

Эрна и Пауль остаются одни. Она в кокетливом кухонном наряде (типичная кельнерша с плаката), наполняет тарелки, глядит в глаза Паулю и спрашивает:

— По-моему, сегодня бульон удачен?

— Как всегда... — голос мужанисходителен, и это для Эрны хороший знак.

— И, возможно, мы сегодня пойдем в Лунпарк? — тихонько улыбается Эрна, склоняясь над тарелкой.

— Я думаю, да, — авторитетно-неопределенным тоном заключает он.

Дальше обед продолжается в полном молчании, не перебиваемый ничем. Только в самом конце его опять в дверь просовывается голова отца.

— Я опять иду туда.

— Пожалуйста, только прошу, не снимайте башмаки, — вдруг багровеет зять. — Вы думаете, очень приятная картина — ваши голые ноги?

— Да, разумеется...

Дверь тихо закрывается. Пауль встает, снимает пиджак и вешает его в шкаф. Из жестяной коробочки, что на столике, он достает папиросу и, закурив и закрыв глаза, тихо ложится на диван, а когда подходит к нему с подушкой в руке Эрна, он говорит уже засыпающим голосом:

— «Эй, ухнем...»

Эрна молниеносно снимает передник, белый чепец и меняет пластинку.

Пауль уже всхрапывает, Эрна стоит над ним, точно ангел-хранитель с почтовой открытки.

Образцовая тишина воцаряется в комнате.

Эрна садится у окна со своим вяньем. На часах половина третьего.

Под вечер слышен стук в дверь. Эрна с кем-то говорит в передней, потом идет к Паулю, он уже проснулся и чигает «Темпо» — центральный орган берлинских бульваров.

— Там пришли из МОПР'а.

— Меня могло не быть дома, — после короткого молчания, заспанный и недовольный, возражает муж.

— Я знаю, но...

Она помогает Паулю надеть пиджак и опять садится на свой стул у окна: жена не должна вмешиваться в политическую жизнь своего мужа.

В передней двое безработных. Один с кружкой, другой с подписным листком. Тот, что постарше, встает при появлении Пауля, он обращается к нему на «вы», молодой остается сидеть.

Пауль внимательно читает фамилии на листке. Кто записал пятнадцать пфеннигов, кто тридцать, кто пять, кто сколько.

Он дает больше всех, — сорок. На очередной строке пишет:

«X — 40».

— Почему ты так пишешь? Ведь МОПР легален, — улыбается молодой.

— Да, пока еще легален... — вразумительно говорит Пауль Вайнингер.

— Так почему же — «X»?

— Вы в праве требовать от меня помощи, я — рабочий, и я понимаю это... — продолжает Вайнингер. — Но, может быть, я обязан писать свое имя? Особенно, если этим может заинтересоваться полиция? — пытается он иронизировать.

— Да, но МОПР легален.

— Может быть, ты поручишься за завтра? Не правда ли?

— Да, это верно: завтра тебя тоже могут выбросить с фабрики... — неопределенно отвечает молодой.

— Меня? Выбросить?.. — пренебрежительно улыбается Пауль.

Пауль торопливо выпроваживает посетителей и потом запирает дверь на все замки. Через глазок он долго смотрит вслед безработным и только тогда возвращается в комнату.

— Меня могло не быть здесь... — повышенным голосом напоминает он.

— Это в воскресенье?.. В два часа?..

Эрна поражена: что бы он, Пауль Вайнингер, в два часа дня, в праздник, — и вдруг где-то, не дома?!

Пауль торопится прилечь на диван, но тотчас же вскакивает, не замечая, что коробка с папиросами летит на пол.

— Выбросить меня с фабрики? — вдруг раздражается он, закашливаясь и безрезультатно нащупывая на стуле, под газетой, папиросы. — Кто это может сделать?..

— Это сказали они? — показывая глазами на дверь, спрашивает Эрна.

— Меня могло не быть дома... — закрывая глаза, снова ложась на диван, заключает Пауль, давая знать, что дальше можно и не продолжать.

Так сущим пустяком перебивается воскресный отдых Пауля Вайнингера, одного из лучших монтеров на фабрике Беркмана, того самого Пауля, который глубоко убежден, что он никогда не останется без работы.

Берлин

(Продолжение следует)

Из книги „Москва“

Н. НЕЗЛОБИН

Вся в синих вспышках, как гроза,
ты надвигаешься, сжимая
с змеиным шипом тормоза, —
бульварная и кольцевая!

Тебе о чем-то шепчет вслед
губами черными из бронзы
большой, как колокол, поэт
в морском плаще и в позе ксёндза.

Тебе колдуют с высоты
зубчатых башен заповедных,
ощерив розовые рты,
Страстного каменные ведьмы.

И руки в небе распластав,
калеки, втоптаные в камень,
грозятся идолами глав
с восьмиконечными крестами.

Но ты не видишь, ты идешь
от стихотворца и святыни
в мудреный рельсовый чертеж
пересекающихся линий.

Тебе неведомы теперь
на кольцевом твоём зигзаге
ни козни ведьм, ни ржавь цепей,
ни стук царевой колымаги.

Когда над запертым Кремлем
качались, бедствия пророча,
проклеванные вороньем
на черных виселицах ночи.

И за глухим его шатром,
за каждой башней каждый выступ
струпел протравленным тавром
чумы, пожара и убийства.

Но тот пожар отпыхал
с последним взмахом царской плети,
и облетела шелуха
минувших лет и лихолетий.

Худые вымыслы калек
покрыты плесенью и гнилью,
и новый город в новый век
вступает огненную былью.

И смотрит сумрачный поэт
поверх огней, крестов и кровель,
и прячет руку за жилет,
и хмурит бронзовые брови.

А ты стальным колокольцом
ему без-умолку бряцаешь
и ясным рельсовым кольцом
машину с музой обручаешь...



Единство

Роман

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Идет первая глава романа, живые люди еще безлики и недействительны, они в неисследованной глубине замысла — точно водоросли на дне темного озера, неопределенны и нелепы их движения, непонятны желания, ненависть тупа, любовь бесстрастна. И совсем не знаешь, в какой обстановке и в какое время появятся те, кому надлежит потом действовать, выполнять какую-то, очень нужную и ответственную работу, волноваться, мучиться за каждый промах, любить до самозабвения, ненавидеть до иступления.

Я гляжу в окно, где стекла вымыты до небесной пустоты, и я угадываю за окном широкий праздник весны. Мне хорошо оттого, что откуда-то надвигается ласковая опасность умереть от счастья. Непомерная жадность заполнила извилины мозга, жадность ко всему, что поет и стрекочет, движется и растет. В груди живет одно большое сердце, вытеснившее все.

По улице длинным шагом прошел рабочий. (Конечно это прошел я!) Вот уже и заводские гудки: вытянув длинные шеи горячего пара, отчаянно болтая всклокоченной головой, они разногласят, сливаясь в потрясающий рев...

Надвигаются тучи, гремит гром, а на западе светит еще солнце. Кричат далекие петухи, и падают первые капли дождя. Пахнет разомлевшей землей. По-

том тучи начали разбредаться, и люди предались печали: «Нынче тоже дождя не будет» — говорили они.

Обессиленное солнце чуть грело. На вечеру установилась припевающая тишина. На одном конце села заиграла гармоника, с другого въезжала карета — чудотворной иконой.

— Вот мы к нему, — сказал поэт Дионисий, и оплывший жиром палец его остановился на богатом доме свиньевода Остапа Кулебякина.

Толпа богомольцев в две тысячи голов вздохнула. Две тысячи голов думали о родственниках и знакомых, где можно будет переночевать.

Солнце прилипло теперь небольшими красным ломтиком к широкому полотну сизого облака. Богомольцы, отыскавшие родственников и знакомых, хлебали чай и пили молоко. Калеки и бесприютные валились на ночлег около плетней. Смерки запахло полынью и созревшими портянками, хорошо трещали полевые сверчки, возвращая взрослую человеческую мысль к далеким сказкам детства.

Лицо длинного старика-богомольца в густой бороде, будто в закатном солнце; рассказывает старик ленивым пропойным голосом:

— ... И увидел я архиерея, на архиерея облачение — звездное сияние, в митра в камнях, и камни те разноцветные, глазам слепко. Было мне должно, годов шесть, думал я — сам господь бог идет, закрестился на архи...

ерея, а мыслей плохих не могу одолеть, вот тебе и на! Обняло меня холодом, обробел я... Было мне, должно, годов шесть. Слышите вы?..

— У нашего попа Дионисия дочь, — говорит запасной солдат, — это же сплошная красота! Я даже молитвы позабыл... И вот еще помню, в тысяча девятьсот десятом году капитан Бугульминского полка женился, старый чорт, на пятнадцатилетней...

Накрывает землю ночь, душная, с очищенной луной, полевые сверчки трещат особенно громко. Стоят за плетнем притихшие липы, разбросав в удивлении косматые руки. После, когда отбило двенадцать, луна попадает в плотный облачный узел, становится совсем темно, и оттого как будто смирнее на земле.

Утро пришло жаркое, солнце колосилось, точно репейник, и присасывалось к телу. Две тысячи богомольцев обильно смазали головы деревянным маслом, томясь, ожидали благовеста.

Широкая карета с иконой была завезена под липы на задний двор. Поп Дионисий сидел в одном белье внутри кареты, пересчитывал деньги, потели у попа ладони. Поп местного прихода Нафанаил Полещук поставил на подножку кареты погребец, добыл из погребка посудину и, полюбовавшись на свет лимонным настоем, предложил употребить.

— Полезай в карету, от глаза подалше, — сказал Дионисий.

И поп полез.

В открытые окна кареты бил тонким хвостом ветерок, и жгучий настой лимонки пили вольготней, а головы, пьяные, не тяжелели и любую мысль принимали легко и смело. Попы сидели друг против друга, упершись коленями в колени. На половине выпитой бутылки поп Дионисий взял чудотворную икону, обернул ее ликом вниз и положил на колени. Нафанаил улыбнулся догадке друга, разложил закуску, потом наполнил стаканы.

— Подыдем, отец Дионисий!

— Подыдем, отец Нафанаил!

В отдалении, под тенью лип, копо-

шился диакон Иннокентий Гунява, перебирая приношения богомольцев. Тут были холсты, полотенца и расписные платки. Гунява, закончив работу, поднялся, заглянул в окно кареты. Красное лицо Нафанаила уперлось в глаза диакона.

— Взалкал? — прохрипел Нафанаил.

— Истинно так, — ответил диакон. В окно просунулась рука со стаканом лимонки.

Диакону сразу раз'ело губу; потоптавшись вокруг кареты, он пошел на село добывать водки, а попы пили.

Разливая остатки лимонки по стаканам, Нафанаил возгорел завистью в Дионисию.

— Ты, батя, загребаешь непомерно от пречистой.

— Не пожелай жены ближнего твоего, — невпопад забормотал Дионисий.

— Жены у тебя нет, — распаялся завистью возразил Нафанаил, — не коль скоро жена твоя — доходная богородица и дочь красоты блистающей то на кой тебе ляд злато и серебро?

Дионисий испуганно закатил глаза. Решив, что завистливый поп намеревается ограбить его, он двинул Нафанаила по сусалам. Слабосильный Нафанаил, защищаясь, поднял икону перед лицом своим. Кулак Дионисия при повторном ударе сокрушил позолоченный венчик иконы; Нафанаил, стукнувшись затылком о дверцу кареты, вывалился наружу, держа икону на груди, молясь о спасении.

Диакон Иннокентий Гунява возвращался в сопровождении хозяина, свиховода Кулебякина; диакон услышал победный клич Дионисия издали.

— Неподобное дело, — сказал Гунява. — Не во благовремений питье Молебствие придется отложить до вытрезвления.

— И усохнет рука нечестивца! — завопил поп Нафанаил, высунув голову из-под иконы. — Расшиб, окаянный. Я меня, и пречистую.

— Ну, это — дело весьма несерьезное, — заметил Остап Кулебякин, при-

няв из рук Нафанаила икону, исправляя погнутый венчик. — Рад приютить под своей кровлей дорогих гостей...

— Ниспосланных тебе самим господом богом, — подал голос Дионисий и, отдуваясь, стал одеваться.

— Так, — подтвердил Гунява, помогая попу.

— Чему сердечно радуюсь и благодарю счастливый случай, — поклонился Кулебякин.

— Не случай благодари, нечестивец, присноблаженную богородицу, — поправил Нафанаил, подымаясь и отряхивая рясу.

Погом все идут к дому. По дороге диакон жалуется Кулебякину:

— И вот каждое святохождение наше по селам сопряжено с большим изнурением и утробным истощением. Теряет дух противодействие бесу, который сеет раздор промежду господних служителей.

— Бес посрамлен и отступи, — отывается Дионисий, услышав жалобы диакона.

Миролюбиво кладет Дионисий руку на плечо Нафанаила, поднимаясь вместе с ним на широкую террасу, где длинный стол так щедр и обилен закусками и винами, что оба попа в радости лобызают хозяина.

Пьют и едят деловито. Кулебякин любезен неисчерпаемо: он угощает Дионисия, следит за каждым его движением, угадывает его желания, глядит в глаза ему с покорностью.

Дионисий мычит.

— Мм... ммм... Настенька стоит того. Чую тебя, пса! Познаешь дочь — и кончатся дни моего блаженства, отвернешься тогда от меня, аки бес лицемерный.

Высосав несчитанную рюмку и запив квасом, говорил еще разудалым голосом простого мирянина:

— Чорт с тобой, владей, Фаддей, моей Марьей, только вскочит тебе это тело в копеечку. Устраивай музыку для меня, сам пляши, на брюхе ползай, — сто сот — моя Настенька!

Кулебякин Остап толкал попа Нафанаила под бок, совал ему в руку де-

сятирублевик и приказывал красноречивыми глазами.

Нафанаил ощупывал в ладони золотой, откашливался и принимался гнусаво расхваливать свиновода, его силу, богатство и власть. Под конец столованья диакон Гунява играл на гармошке и гудел романсы, не раскрывая рта

Над селом пылал жаркий день, истлевала в душном цветении липа. За далеким плетнем, через огороды, около оврага стояла Дроська Прокудина, четырнадцатилетняя девица, любовница свиновода Кулебякина. Она разговаривала с отцом, печалилась ему. Сначала говорила тихо, со слезой:

— Изнахратил, надругался... Куда мне метнуться со свету здешнего — не знаю.

Потом Дроська перешла в заглушенный накрик, шмурыгала носом от обильной слезы, растрепала космы, разодрала кофту.

Отец сидел под плетнем. В пьяном удовольствии своего сердца нюхал он полынку да крутил головой.

— Погляди, пес, грудь моя синь-синём, места живого нет... Неужли твоя кровная дочь за полста на истерзанье отдана? Эх ты, злыдень! Богу молюсь, помереть не могу...

Отец улыбочиво поглядывал вверх через плетень, мимо дочери, часто помигивая, выжидал, когда кончит дочь, и, дождавшись, гундосил:

— Все прощу, поругание твое прощу для души моей, — горит моя душа! На селе праздник, год икону ждали, водки теперь выпито — батюшки мои! Горит моя душа, Дросида! При последнем терпении нахожусь, кричать буду! Дай, Дросида, рупь, неделю не приду. Эй, Дросида!

Она уходит. Отец нюхает полынку, оглядывает небо, долго сидит, согнув колени. Потом возвращается Дросида, швыряет через плетень бумажный рублевик отцу и недопитую бутылку водки

Капала в саду махровыми слезинками перезревшая липа, одна слезинка упала на голову Фомы Прокудина, про-

давшего свою дочь свиноводу Кулебякину за полста рублей. Был счастлив Фома Прокудин, сидя под липою, а дочь Дросида шла к дому и, услышав, как пьяный диакон гудел романсы, остановилась, подумала немного ни о чем, потом свернула к сеновалу — пошлать.

Так было в селе Малодеры, где жители занимались огородничеством и еще выращивали клубнику. Близость города избаловала жителей, они тащили в город все, что можно было прожрать, приобретая взамен навыки городских окраин. Девки румянили щеки, красили губы и постепенно становились модницами, парни шли на легкий заработок и угождали в фабрично-заводскую кабалу. Сначала они жадно бросались к дешевым удовольствиям города, удивлялись податливости женщин, хвастались собственной удачей, мужскими способностями и болезнями, а дальше, остепенившись, женились, производили на свет золотушных детей, старились и, старея, молились, выпрашивая у бога счастья и благополучия.

В полуденный час земля изнывала в духоте, небо поднялось высоко-высоко, оголив солнце. Чадила зноем пыль, и шелушились камни.

Дросида, выплакавшись, открыла вдруг, что она совсем одна. Легла над миром тишина, которую не всколыхнуть истошным криком, не потревожить рыданиями. Дросида вздохнула и перестала точить слезы. Она вышла на улицу, оглядела на дремавших в тени деревьев в и плетней богомольцев, и стало госкливо на сердце от безлюдья. Между тем диакон Иннокентий Гунява пел теперь свои романсы во всю ширь глотки, но голос его плыл где-то за плотной тишиной, не касаясь земли.

От города через село проскочила дорога, всегда ленивая. Шагала по дороге к городу отец Дросиды, Фома Прокудин, в большой веселости, имея в кармане рублевку, а в сердце — желание пропить ее с приятелями.

Сорок лет ходит Прокудин по знакомой дороге в город. В первый раз (когда был десятилетним) дорога открывалась

в ту самую сказку, которую рассказывал дед, сапожник; во второй раз шел с гордым сердцем «добра молодца», которому ничего не стоило завоевать город; в третий — пылил по дороге потерянный человек, стареющий и пьяненький раб.

Непонятная дорога крутит между тоскливых рощиц, обегает дождевые промоины, ныряет в ложбины, — только пьяному и ходить по такой дороге хмельной человек держит в сердце своем надежду, что дорога приведет его в хорошее место, где много друзей и жизнь легка, и вообще-то ничего нет страшного, да к тому же всё кончится когда-нибудь, и, значит, не о чем заботиться.

У Фомы Прокудина нынче неплохой выдался день: он хорошо выпил в селе с богомольцами, потом еще угостила дочь Дросида, и, кроме того, у него имеется про запас рубль. Вот завтра будет хуже: завтра будет разламываться с похмелья голова, и придется сидеть у верстака в мастерской хозяина, латать чей-нибудь истасканный сапог, — это уже большая неприятность. Потом встретится другое несчастье, может, такое, что через несчастье и не перелезешь.

Прокудин остановился у спуска в ложбину и, подчинившись посторонней мысли, свернул к мелкому березняку сел на морщинистую кочку. В одном кармане у Прокудина оказались печеное яйцо и кусок хлеба, в другом — бутылка с недопитой водкой. Старый сапожник улыбнулся, допил водку и съел яйцо с хлебом. Смахнув крошки с бороды, он подумал, что любое несчастье пройдет, и нет такого несчастья, в котором действительно можно завязнуть на всю жизнь; в конце концов дело — во времени, а время минет — будешь смеяться и с легкостью вспоминать даже самое тяжелое.

Опять пылит дорога под ногами Фомы Прокудина, и город в виду. Просви стал паровоз, волоча за собой вереница пассажирских вагонов; из вагонов поглядывали в окна веселые люди

«А хорошо бы, конечное дело, иметь к старости такое место, куда можно бы

ло бы уехать!—думает Фома. — Уехать и потихоньку жить, наблюдая, как шевелится около весь мир...»

Паровозный гудок разбудил другие гудки, они заголосили хрипло и тоскливо, в улицах городской окраины забегали растрепанные, прокопченные дымом мастеровые.

Прокудин ощупал рубль, отыскивая анаемое лицо. Так шел он, уверенный в счастливой встрече.

От харчевен тянуло горьким запахом пригорелого масла, в трактире играл орган, лагошники громко расхваливали свой товар, и те, кто с разбегу натыкался на них, покупали горячий рубец, куски печонки и пирожки с начинкой, ели на ходу и бежали, бежали, чтобы успеть закусить и отдохнуть в обеденный перерыв. Заводы и фабрики сипели паром, чадили дымом и пахли нефтяными отбросами. Дремали извозчицьи лошади, оставленные пьяными хозяевами, над лошадьми кружились жирные сизобрюхие мухи.

Прокудин Фома любовался суетой жизни, разжигая в сердце аппетит к ней. Купил он на пятак кусок густо посоленной печонки, на две копейки десяток рябых огурцов и направился к казенке. Все было хорошо, и никакого огорчения не ждал Прокудин Фома. По пути повстречал он батрака из села Малодеры, Карымова Муртазу, порадовался счастливой встрече, и хотя Карымов Муртаза неплохо изъяснялся по-русски Фома все же считал нужным встретить его на родном Карымову языке, а по-татарски знал он не больше десятка слов, из которых восемь матершинных и два слова обиходных.

— Кайна бараон¹⁾,—спросил Фома и тут же добавил:—Так лытаешь или дело пытаешь?

— Теперь всякому делу каюк, Фома Ильич. Теперь все хорошо пойдет.

— А я что говорю? — согласился Фома. — Ясное дело, хорошо. Вот он! — похвастался Прокудин, показывая рублевик. — На две бутылки с закуской.

— Пойди купи! — ухмыльнулся Муртаза. — Новый закон пришел, новый

время нашел, каюк вину. Гуляем в обжорку, квас пьем, щи хлебаем, черезъ бываем.

Фома ничего не понял. Он выпил у торговки хлебного квасу на копейку две кружки, отрыгнул, чувствуя прояснение в голове.

— Что ты говоришь, Муртаза?

— Мой язык не говорит, закон говорит, скандал говорит, казенку разбирает народ.

— Городи! — не поверил Фома.

— Чего — городи! Слышал гудки? Гудят в который раз. Война пришла облегчение господам будет, народ меньше будет, оттого народ шумит. Немцы войну на всю Россию поднял, шумят кругом, гудки гудят, мастеровой бежит в разный сторона, городской бьет, как зак тоже бьет, собираться на войну велит.

Фома все время недоверчиво щерится но шаги его уже торопливы, и Муртаза еле поспевает за ним. Наконец они — около казенки.

Гам, визг и свист. Заводские и фабричные густо столпились поодаль, грузчики и базарная толпа вышибают бревном двери, выламывают решетки и лезут в окна, орут:

— Перед смертынькой!

— На прощанице!

— За нашу лихоту!

Горит на солнце пыль, пахнет сургучом и выплеснутым на горячие камни де натуратом.

Из ближайшего переулочка вымахнул сотня казаков; они деловито помахиывают нагайками, рассыпаются полукольцом завистливо поглядывая на разгром казенки. Грузчики вооружаются камнями приседают за ларьками, повизгивают торговки, мастеровые жмутся ближе к стенам фабрики. Разговор такой:

— Нестоящее дело! Перебьются, дураки...

— Ежели начинать, так уж по-настоящему...

От ларьков навстречу казакам летят камни, лошади приплясывают, отыскивая дорогу, нагайки злобно свистят.

Мимо пронесится лихач с двумя седоками. Благообразная личность с ласковой бородой говорит своей даме:

¹⁾ Куда идешь?

— Гнев народа — гнев божий. Они лики, но правда на их стороне.

Прислонившись к фонарному столбу, молодой казак отирает разбитый камнем рот; он часто плюет, сопровождая каждый плевком громоздкой матершиной.

Казачьи свирепеют и очертело лезут на ларьки, размахивая не нагайками, а клинками. Грузчики отступают.

По дороге с упавшими на землю штанами бежит пьяный грузчик и кричит на весь базар:

— Братцы, за вас страдаем!

Молодой казак с разбитым ртом нагоняет его и со всего размаху бьет клинком плашмя по спине. Человек валится и остается недвижим. На солнце поблескивает потная грудь упавшего грузчика с тонкой струйкой черных волос посредине. Толпа заводских покрывается возмущенным гулом, разговоры меняются, и тот, кто осуждал буйствующую толпу, безучастно поглядывая на разгром казенки, сейчас заволновался, как будто бы распростертый на мостовой человек приходился ему родным братом. Толпа мастеровых хлынула от стен на площадь.

— Круши казару, наших бьют!

Казачьи, не ожидая нападения со стороны мастеровых, рассыпались по переулкам, грозя оттуда обнаженными клинками.

Торговка печонкой и пирожками, голстая и вся просаленная, уронив локоток, вопила истощенным голосом:

— Антихристы! Погубители! Пропали на вас нету!

Она ругала всех и, всхлиывая, отирая пот и мокрый нос, собирала рассыпанные пирожки, обдувая с них пыль. Она ничего не хотела слышать о войне, ничего не понимала, никого не видела, — она собирала свой товар, торопливые ноги рабочих топтали ее пирожки, жирные пирожки с печонкой.

Фома Прокудин тащил от водокачки ведро с холодной водой, он выплеснул его на обморочного грузчика. Грузчик, всхлипнув, дернул головой, открыл глаза и торопливо стал натягивать упавшие штаны, закрывая срамоту.

Фома, удовлетворенный собственной добротой, поставил ведро и с размяг-

ченным сердцем пошел бродить опять изредка ощупывая в кармане бумажный рублевик, не пропитый по вине начальства и беспокойного немца, который затеял войну в такое благодатное лето. Прокудина взяло уныние. Вдруг в одном из базарных закоулков он обнаружил за грудой пустых ящиков Муртазу. Батрак сидел в холодке и степеннопил из горлышка бутылки водку, пил полными редкими глотками, процеживая влагу сквозь зубы; подстриженные усы Муртазы источали водочную каплю.

— Казак нагайкой людей бил, — сказал Муртаза, отерев усы, — а мы в сторона ходил, вина кушать. Много вина зря народ проливал, бутылки в ящики бросал, замечательный вина! Пей, Фома, вдосталь.

Прокудин пьет, бутылка быстро усыхает. Солнце с хрустом перебирает пустые чайные ящики, затем останавливается в прогале, жжет лысеющую голову Фомы, голова потеет и медленно вслухает, мысли в голове воздушные, сквозные, точно кисея. Фома пьяно бормочет, что у него еще имеется про запас рубль и что распоряжение насчет запрета водки может переброситься на всю Россию, тогда некуда девать рубля. Муртаза соглашается.

Солнце еще высоко. Фома смотрит на рассоловевшего Муртазу, он кричит ему в лицо:

— Эй, Муртаза, бежим в село, там небось, казенка ничего не знает. Эй слышь, что ли?

Полусонный Муртаза выпячивает нижнюю губу, сдувая мух, жадно липнувших к пахучему рту.

За городом кривится все та же ленивая дорога, пыль совсем поседела от зноя. Фома Прокудин идет, поматываясь слегка из стороны в сторону, — похоже, вьет ногами бесконечную веревку. В голове легко, и кажется Фоме, что несется он, будто «перекати-поле», прыжками в сажень, а солнце все время тянет мужика за волосы вверх. У Фомы поет сердце, прыгает весело по всей груди. Сапожник переходит на резвую рысь, мягкая пыль приятно щекощет босяе ноги, и кажется, что под ногами все

время играют резиновые мячики, оттого Фома и не может идти по одному краю дороги, мечется по-заячьи под частый стукоток сердца: трук-тук, трук-тук...

С одного пригорка завиднелось село, совсем близко, каких-нибудь шесть-семь верст. Фома скачет по дороге...

А по селу Малодеры бродит запасной солдат Кондрат Шабалин, ныряет он из-под ветелки под ветелку, хоронясь от солнца в тени. Военной видимости у Шабалина — одна заплатанная гимнастерка. Лицо у Шабалина сухое и печальное, как будто шел человек к исповеди, перебирая в памяти грехи. Миновал солдат улицу и повернул на зады. Плутая далекими огородами (в огородах между гряд — подсолнухи и мальвы, у плетней — дикая конопля), пришел Шабалин к сельской школе.

Подоткнув юбку, баба-сторожиха мыла крыльцо. Кусали комары бабьи голые икры, баба расчесала икры в кровь, грязь шла ровными полосами, и видно было в полосах белое тело во всю длину икр, с кровавыми цапинами. Сторожиха молодо покосилась на Кондрата, шмякнула мокрой тряпкой на приступку.

— Ты чего тут? Мы не подаем. Видишь, казенная учирждения.

Кондрат гмыкнул, но в ту же минуту сделал печальное лицо, еще печальней обычного.

— Аль тут не люди?

— А что тебе люди? — сердито отозвалась сторожиха. — Знамо, люди! Только ты проходи знай! Фонаперло вас с иконой тыщи, гляди за вами да поглядывай.

Шабалин подумал немножко, потом заговорил, как нашел нужным говорить:

— Можя, я совсем не за куском, а вообще, как полагается, к образованным людям за советом. Покличь, кто поумней тебя, — Моисей Платоныча. Чего ты больно немилостива, баба?.. Ище совсем молодая, а сердитая.

«Ище совсем молодая» — сторожихе понравилось; она конфузливо одернула юбку, оправила на лбу взмокшие космы.

— Пройди (шмыгнула носом). Моисей Платоныч науку читает в своей горнице.

Шабалин Кондрат прошел через прохладные сенцы в коридор, вымытые полы желтели праздничными пятнами на солнце.

Моисей Платоныч Сухотин, заведующий школой, заслышав шаги, высунул голову в двери. Очки, играя заячьими лапками, обыскали Кондратово лицо.

— Ах, чорт! Какого же ты чорта? — миролюбиво выбранился Сухотин. — Четвертый день тебя жду.

Шабалин огляделся, потом проскользнул в дверь и тут заговорил, как говорил с теми, кого знал.

— Не горячись, Платоныч, и еще бы неделю прождал. Дело мое строгое, на лихаче в открытую не прискачешь. Икона выручила — с богомольцами пришел.

Шабалин отстегнул ремень.

— Ох, будь они прокляты, эти идиоты. Тысячами шрут за иконой...

— Ты, значит, играл роль идиота?

— А что поделаешь? Ну, да, играл, — согласился Шабалин. — Изучаю, брат, «хрестьянскую» душу.

Он машет отстегнутым ремнем, потом осторожно вытаскивает из-под рубахи пачки прокламаций, расправляет загнутшиеся края листиков и продолжает говорить:

— Четвертый год изучаю. Теперь — конец. Теперь они сами себя изучать будут.

— Что так?

— А так, имею свежие новости: объявлена срочная мобилизация. Не слышал разве? Германия вступила в пределы России.

Кладет на стул рядом пачки прокламаций, тонких, аккуратных листиков — сотни две. Говорит еще:

— Устарела литературка, отстает, брат, от времени.

— Так чего ж ты молчал, чорт перелесовый! — волнуется Сухотин.

— Наши в городе прозевали, а сейчас бы самый гон, на заводах — гарам. Веселые, брат, времена идут! Помню я, в Бугульминском полку...

— Убирайся ты к дьяволу с Бугульминским полком! — свирепеет Сухотин.

Шабалин хохочет.

— Привычка, друг. В деревнях я, чуть чего, так сейчас же в историю Бугульминского полка пускаюсь. Да, такая у меня, друг, партийная вакансия. Ну вот... А заглянул я к тебе по большому делу, для учета наличных сил. По-ял?

— Угу... Еще бы не понять! Контр-мобилизация значит? — догадался Сухотин. — Не знаю, у кого как, а у меня человек пяток найдется. Маловато конечно, зато ребята — орлы. Один Корней чего стоит!

— Это кузнец, что ли?

— Он.

— Знаю. Самостоятельно с ним познакомился, — сообщил Шабалин.

— Горячий парень, ругает нас за медлительность, — смеется Сухотин. — «Нешто, говорит, так свободу образуют? Довольно, говорит, на ухо друг другу про царя шептать! Собираться надо».

— То-есть как?

— У него это просто выходит. Он предлагал собрать человек пятьдесят отчаянных и сразу в один день отправить всех министров вместе с царем к праотцам.

— Идея...

— Идея-то, положим, никудышная, — продолжает Сухотин, — а все-таки. Корней уверен, что после такого героического поступка по всей России суматоха подымется, тут, значит, и нужно начинать революцию.

— С головой парень! Только малость анархизмом отдает идея-ка-то.

Удостоверив это, Шабалин чешет вспотевшую под толстой гимнастеркой грудь, внимательно разглядывает листочки устаревших прокламаций и не знает, что с ними делать. Помолчав, он говорит:

— Прибереги, Моисей Платоныч. Без голку таскать их. Сочини-ка ты новое послание, а я тем временем высплусь. Прохлада у тебя...

Растянувшись на кушетке, он, уже засыпая, сказал:

— Собери своих орлов, поговорим о согласованности действий.

Тут он заснул, а Сухотин вышел во

двор, похвалил сторожиху за чистоту запер двери на замок, зевнул, посмотрев на небо...

Поп Дионисий после попойки и сытной закуски пил огуречный рассол, слушал сообщение Нафанаила о мобилизации «христоролюбивого» воинства. Дьякон Гунява, чувствуя с похмелья смуту в голове, предложил вместо хождения по селу отслужить молебен на победу и одоление супостата, что и было принято.

— Мысль, преподанная диаконом весьма подходящая к настоящему моменту, — поддержал Гунява Кулебякин.

— И zelo послужит для поднятия патриотического духа у православных, — дополнил свою мысль Гунява.

— Помолчи ты для ради прилику! — строго сказал Дионисий. — Без тебя знаем.

Так было всё согласованно, и через час сельская церковь, подобно улью, наполнилась через трое широко раскрытых дверей народом, который, выслушав слово попа Дионисия, слезно молил «пречистую» о поражении неведомого врага, о ниспослании на его голову всяких бед, мора и язвы. «Пречистая» слепо уперлась мертвыми глазами в огонек лампы; покривившийся венчик на ее голове, сорвавшийся со штифтика от пощелуев богомольцев, потихоньку сползал к левому плечу. После молебна поп Дионисий, усевшись в карету, прибил венчик гвоздиком с медной шляпкой и, перекрестившись, велел кучеру трогать, направляясь к месту постоянного пребывания иконы, в уездный городок.

Богомольцы, покорные обету, беспорядочной толпой последовали за иконой, вздыхая, крестьяне и отирая обильный пот. На село улеглась ленивая полусонь, уличная пустота стала глубокой и прозрачной, как мертвое озеро.

Внизу, за селом лежал горбатый овраг, по дну его расписался искристым ручейком желтый песок, мелкий кустарник разбрелся по обрыву, и оступилась с кручи одинокая береза. Вышел моло-

дой кузнец Корней Чугаев из «кузни», поглядел на солнце и, определив, что пора уже шабашить, пошел под ручкой умыть. Умывшись, он закурил, потом раздумался о том, о сем, прихватил подмышку гармонику «с рояльным строем» и поплелся на зад, к оврагу. Сел Корней на край обрыва, пробежал сухими пальцами по ладам.

Недвижное, чистое небо обнимало землю, дымилась за оврагом в густой пыли дорога под ногами уходивших богомольцев. Потом, когда скрылись богомольцы за увалом, затарахтел тарангас свиновода Остапа Кулебякина: ехал мужик девицу в жены брать, попову дочь, ехал не торопясь, уверенный, что добро не уйдет от него, и оттого на щеках Кулебякина шевелилась улыбка, как у человека, нагулявшего аппетит, которого ждал сытный обед с обязательным преддверием, то-есть с выпивкой.

Гармонист перебирал гармонные лады. Где его невеста — неизвестно: может быть, тут, в селе, может, в незнакомом городе или за степной синью. Жметса к сердцу тоска, не знает гармонист своей невесты. Почему не откликнется невеста? Ведь и ей так же госкливо, а голосу не подает. Нет, что ни говори, женщины молчаливей и в любви своей, и в скорби.

Потрескивает трава под солнцем, береза уронила ветви, загудела тоскливо заблудившаяся пчела... Не видел своей невесты кузнец Корней, только и живет одна печаль с ним. Хорошо бы повстречаться с милой, — легче станет на свеге жить.

Пробежались пальцы по ладам, ветер выгорхнул из кустарника, встряхнулась береза, разлилась по оврагу песня...

Вышла из села Дросида, в руках — узелок, в кармане — сбереженных на черный день тридцать рублей, не поглядела на кулебякинский дом. Услышала Дросида гармонные переборы и подумала, что песню гармонист сложил обязательно про девицу бездольную жизнь, махнула рукой, чтобы не расстраиваться. Догнал Дросиду ветер, выползла за спиной туча, разбросала лохмотья. Ветер задул сильнее, пыль

на дороге заиграла гривой, и закрапал дождь. Потом дождь загудел и пошел лывами по дорогам и оврагам. Дросида притулилась за косорогом в прикрытой кустами ямке и все крестилась часто-часто, по три креста за сверканье молнии да еще по три креста за каждый удар грома.

В этот час грозы Остап Кулебякин, как-раз в пору, заехал во двор к попу Дионисию отгащивать (про себя думал: «осматривать товар»). Бросил Кулебякин лошадь во дворе, работник увел ее под навес, распряг и задал корму. Кулебякин тем временем взбежал в сени, на пыльном пиджаке его первые дождинки проборождали полосы.

— Благодать господня! — сказал он, войдя в прихожую, обнимая попу, целуясь с ним.

— Молитва, — кратко ответил Дионисий и повел гостя в столовую.

В столовой ходил вдоль окон диакон Иннокентий Гунява, и ему так же, как и попу, сказал Кулебякин:

— Благодать! Обильный дождичек, надо быть, пройдет.

— У нас всё пойдет, — самоуверенно подтвердил диакон.

— Помолчи ты для ради прилику! — укоризненно заметил Дионисий. — Без тебя знаем.

Дождь между тем, ополоснув землю, отошел на восток, черная туча, сверкая острым пламенем молний, бухнула в последний раз широким ударом грома. В чистом небе, как за промытым стеклом, показалось щетинистое солнце. Залопотали вперевой воробы.

Настя, попова дочь, распахнула створки окна в палисадник. На подоконник, серебрясь, упали крупные дождевые капли с ветвей липы, обильное цветение, осыпаясь, прилипало к стеклам, запах липы был тонок и печален.

Попов дом стоял на горе, а внизу легла степь, и заблудилась в степи речушка, выбежав из далекого синееющего леса.

Глаза Насты ушли в степь судьбу девицу искать. Опершись на подоконник, чувствовала Настя, как билось под ру-

кой сердце, и не слышала она говора собравшихся в столовой, — думала медлительно, и никто не перебивал медлительных дум.

Где Настин жених, тот милый, который приходил в обнадеживающих снах? Может, он тут живет, в тихом городке, или там, за степной синью, — неизвестно. Стонет Настино сердце, почему не откликнется жених...

В столовую вошла баба, босая, ноги в свежей, теплой грязи. Баба внесла ведерный самовар красной меди, будто золотой самовар. Потом стала подавать пироги, антоновских моченых яблок, плотных и сочных. Поп Дионисий поставил большой графин вишневой настойки, диакон Гунява крикнул, Дионисий снисходительно улыбнулся в плотную бороду. Оглядев стол, крикнул, чуть приоткрыв дверь в дочернину комнату!

— Хозяйничай, Настюша, угощай гостей!

Настя режет пироги, садится около самовара, разливает чай.

— Что же ты молчишь, Настя? — говорит поп. — Занимай гостей беседой: чай, слава богу, умеешь разговоры разговаривать, гимназию окончила...

— Гимназию! — вторит Гунява басом и поднимает палец высоко над головой. — О! Гимназию!

Настя молчит. Тогда поп наливает в рюмки вишневку, чтобы оживить умы. Кулебякин выпивает свою рюмку последним, выпивает степенно, без жадности. Настя пододвигает ему тарелку с яблоками, пальцы у Насти восковые и кажутся прозрачными, ладонь совсем крохотная.

«Ладно! — думает свиновод Кулебякин. — Мне не для хозяйства жену — для забавы».

На поповой дочери воздушная кофточка, за открытым воротом чуть заметны молодые груди, они удивительной чистоты и теплой ласковости. Кулебякин пьет с попом вишневую наливку и любит ее искоса ослепительной грудью девицы. Приходит жадность к водке и к

распадаются под хищными зубами. В эту минуту Кулебякин вспоминает, как ядерной осенью он самолично колот поросят, поросята трепетали под рукой, а кровь, яркая и необычайно быстрая, обжигала пальцы...

За окнами плывет в голубизне степь, дрожащие струи испарений играют над землей, далекий лес кажется застывшей морской волной, а там, за этой волной, шумит огромный город. Лучи заходящего солнца секут высокие крыши, лучи постепенно сползают, крыши тускнеют, проходит полчаса — и наступает вечер. Улицы заполняются неопределенным светом тяжело передвигающихся теней, базарная площадь пустеет, на площади валяются битая водочная посуда, растоптанные пирожки с печонкой. Люди разошлись, а потом вновь сошлись на площадях и кричали под звуки гимна «ура», грозили «немчуре» и всему свету, обещали поразить врагов, уничтожить начисто...

Еще не успел умолкнуть гимн, как из улиц рванулись на площадь звуки марша «Под двуглавым орлом». Учебная команда Бугульминского полка чеканным шагом вступила на площадь. Солдаты шли на вокзал. Капитан Казарин шагал впереди команды, придерживая шашку, глядел осоловелыми от бессонницы глазами. «Началось, началось!» — думал он и всё никак не мог определить, что началось. В кармане у Казарина лежала записка, в которой предлагали Казарину встретиться с рядовым первой роты Кондратом Шабалиным и переговорить.

Казарину хочется спать. Первая рота должна быть в Смоленске через неделю, а где будет капитан Сергей Казарин — неизвестно. Справа — браунинг, слева болтается шашка, тесные сапоги давят пальцы. Казарин отчетливо ставит ногу и хочет проснуться, остро чувствуя, как пахнет разомлевшей после дождя землей. Пройдя три квартала под музыку, Казарин начинает замечать, что ноги его движутся сами по себе, не подчиняясь воле, и это открытие удивляет его. В это

бсно отчетливо слышны шаги, тяжелые сапоги выбивают: ррах-ррах, ррах-ррах...

Фельдфебель Филипп Тузук командует:

— Ать-два, три-четыре!

Ррах-ррах, ррах-ррах...

И опять:

— Ать-два, три-четыре...

Тузук, не оборачиваясь, поднимает руку.

И-эх, в Таганроге... В Таганроге
Салучилася беда..

Ноги идут сами собой, и кажется— земля невидимо ускользает из-под ног. Так учебная команда Бугульминского полка пришла к месту посадки.

— Команда, стой!

Капитан Казарин остановился, поглядел на недвижные фигуры солдат, к ногам прилила тяжесть, заныли мозоли. Стукнув каблуками, замер в трех шагах фельдфебель Тузук.

— Так что прикажете размещаться по вагонам, ваше высокоблагородие? — Локоть наравне с плечом, ладонь у козырька.

— Да, да, размещайтесь, — сказал капитан и подумал о фельдфебеле: «Устал он или не устал?» Повторил: — Да, да, размещайтесь.

Тузук повернулся налево кругом, шагнул и только тогда принял руку от козырька.

У себя в вагоне, раздевшись и уже в полусне, еще раз вспомнил капитан Казарин фельдфебеля: «Ведь вот умрет он и, пожалуй, не выкажет страха, то есть умрет не по-человечески, а как-то, должно быть, особенно, по-казенному...»

В полночь поезд, погромыхая, вьется по рельсам; длинный и тонкий, он ныряет в выемку, как черная река в ущелье.

За перегородкой в углу теплушки, щурясь на свет стеаринового огарка, фельдфебель Тузук сочиняет письмо к родителям.

«Доглядывайте, как без меня будет существовать на свете супруга наша Еросиния. Отправляюсь на боевой

дем и с сокрытой тоской, как будто предвижу смертный час от злодейской пули врага. Креплюсь, сомкнув зубы, чтоб не обронить слезу, которая щекочет мою кровь страхом и ужасом до последней потери чувства.

Дорога наша неизвестная, поезд гремит, и паровоз гудит, грудь моя болит от натуги. Ночь темная, а паровоз гудит, как вся бессловесная судьба наша».

Поезд режет темный лес, сморщенное облако пронеслось, гонимое ветром. Появилась зябкая заря и побежала за хвостом поезда. В лесу стали видны осклизлые тропинки.

Кроме всего, есть еще жизнь, которая начинается, продолжается и кончается незаметно.

Однажды купец Евстигней Силыч Бабури, перекрестившись у дверей своей лавки, подмигнув жаркому августовскому дню, сказал соседу своему Тюрину:

— Выпили вчера по случаю победного наступления доблестных воинов наших. Посылаю я за тобой, Ипполит Никитич. Малый сказал, будто ты сыном озабочен и не можешь притти.

— Сыном озабочен, это правда, — отвечает Тюрин, — и еще навернулись прочие дела. С сыном успокоился. Дела мои тоже ладно утвердил.

— Хы! Вот оно как! — ухмыляется Бабури. — Войничка-то, прости, господи, грехи наши тяжкие, ко времени оказалась. Какие твои мысли на этот предмет будут, Ипполит Никитич?

И Тюрин не удержал улыбки, оправил волосы на голове, блеснув золотым перстнем.

— Мысли у меня, Евстигней Силыч... подобающего слова не найду... весьма сытые. Я говорю сыну моему Киру: «Держись около меня, сукин кот. Времена в торговле бойкие наступают, прямо, говорю, мериканские времена. Учись дело повертывать, деньгу в крутой круг пущать».

— Хорошо! — одобрил Бабури. — А вот мне сказать некому: жена телосложения слабого, а дочери всего девят-

— Да-а... — выразил свое сочувствие Тюрин.

И купцы разошлись каждый за свой прилавок.

День засуетился в улицах, где-то взвизгнула собачонка, подбитая ради забавы камнем, мальчишки, бывшие на побегушках, разносили в больших медных чайниках кипяток.

Через площадь прошагал нищий, больной, грязный и трезвый необыкновенно. Нищий задержался на одну минуту перед лавкой Бабурина, заметил за конторкой хозяина и, как можно было заключить по лицу нищего, остался доволен тем, что Бабурин орудует в лавке самолично. Нищий попробовал улыбнуться, но, перекусив рот, показал только прокуренные зубы, — улыбки у него не получилось, хотя в глазах расцвело явное удовольствие. Он спустился вниз по косогору, заспешил, идя краем бульвара, потом свернул в тупичок, нырнул в ворота и, пройдя длинный двор, очутился на соседней улице, очень уютной и тихой.

— Ваня Бибаша! — закричали ребята. — Ваня Бибаша!

Няни и старушки, вышедшие на солнышек, заметив нищего, сказали тоже:

— Вон он, Бибаша. Ишь ты ведь, трезвый! Вот и гляди ты на него...

Все, кто находился на улице, посмотрели на нищего. Был он необыкновенен трезвостью и торопливой походкой.

Нищий остановился около дома купца Бабурина; так он стоял молчаливый, не желавший, видимо, просить привычной подачки. Потом в окне показалось костистое лицо с большими глазами в глубоких впадинах, глаза были сини и очень праздничны.

Скоро отворили калитку.

— Войди, Иван Степаныч.

Квадратный дворик, чисто выметенный. По всему двору тонкой желтой пенкой лежит разметенный песок. Двор перегорожен деревянной оградой, за оградой — сад, и всё это как будто в горстке и кажется очень далеким от всего, что за двором.

Нищий идет за хозяйкой в сад, они садятся в дальнем углу на скамью около

каменной стены соседнего дома, тут пахнет вялой травой и плесенью.

— Ну что, Татьяна Самсоновна? — спрашивает нищий.

— Господи ты боже мой, или ты не видишь, какая моя жизнь! — выкрикнула женщина.

— «Находясь в состоянии невменяемости, тот или иной субъект легко может совершить уголовное преступление».

— А?

Нищий объясняет:

— Так сказано в судебной медицине. Помню, я по этому пункту оправдал однажды подсудимого. Громкое было дело.

— Ты никак опять выпил, Иван Степаныч? Или так смущаешь?

— Не пью с самого начала войны, — крутит головой нищий. — Пьяницам оставлен денатурат, однако я еще хочу жить, поглядеть, чем кончится эта военная авантюра. Что же касается смущения, так надо вам сказать, Татьяна Самсоновна, я далек от подобного измерения. Единственно, что имею в виду, — наше тревожное время. Сейчас, смею полагать, любое преступление останется безнаказанным.

— Вот и выходит, смущаешь.

— Воздержитесь от подозрения, Татьяна Самсоновна. Я не смущаю, повторяю вам, я угадываю перспективы.

— Что же это такое, Иван Степаныч? В роде ты мне притчу задаешь. Или я умом ослабела?

— Перспектива есть научное предвосхищение грядущего, — поясняет нищий. — Я, Иван Степанов Навалихин, беру на себя смелость утверждать, что настоящая война обновит человечество кровью невинных жертв.

— Может, мне переждать, Иван Степаныч? Ежели ты говоришь так, может, и наша женская судьба решится в хорошую сторону.

— Пережди, Татьяна Самсоновна, русская женщина вынослива. Но, — Навалихин поднялся, потрясая руками, — уважающая себя женщина обязана протестовать!

Татьяна Самсоновна, не понимая, уже радуется, лицо ее порозовело, движения не естали быть вялыми. Ей жаль девоч-

ку, девятилетнюю Риту, больше как будто ничего не удерживает. Заплесневелый сад, двор, усыпанный праздничным песком, тихие комнаты в доме она готова променять за одно непонятное слово «перспективы». Татьяна Самсоновна, жена купца Бабурина, войдя в дом, глядит украдкой на иконы и молится: она благодарит бога за войну, которая открывает «перспективы».

Нищий Бибаша, он же Иван Степанович Навалихин, потерянный человек, бывший юрист с громким именем, получает от купеческой жены Бабуриной щедрое вознаграждение.

— Торговля теперь удачливее всех годов, — говорит Татьяна Самсоновна, передавая Навалихину сторублевую бумажку, — сам-то не успевает барыши считать, мне препоручает. Возьми, Иван Степанович, дай тебе бог всякого добра, ежели не пропьешь. А за перспективы низкий поклон!..

Нищий шел теперь к центру города, к магазинам. Сорок пять рублей, истраченные им, преобразили его в прилично одетого, степенного гражданина, пятьдесят копеек, уплаченные парикмахеру, превратили в молодого человека тридцати лет. Он купил еще трость и хороших папирос. Ему недоставало пенсне, чтобы выглядеть профессором. Нищий Бибаша умер. На улицах города появился присяжный поверенный Иван Степанович Навалихин. Улицы были необычайно оживленны и веселы. Непеша, немножко сторонясь людей, Навалихин, улыбаясь возникающим случайно мыслям, остановился на том, что человек строит свое благополучие на несчастье другого: истину эту, давно известную, он расширил, пробегая газетные сообщения о миллионах солдат, отправленных на фронт под ураганный огонь неприятельской артиллерии; наконец и себя причислил он к тем удачливым, которые вгудили свое счастье в бедствии миллионов. Пожалуй, он, подобно купцу Бабурину, готов был признать войну явлением далеко не вредным, но мысли такой устыдился и не высказал вслух. Он

откуда успешнее начать поворот в новую жизнь. Между прочим вспомнил он о благодетели Татьяны Самсоновны и понастоящему захотел помочь ей избавиться от ненавистного мужа, — больше никаких мыслей насчет угнетенной женщины у него не было. Он остановился перед рестораном, где под легкую музыку неплохо кормили посетителей, на одну минуту задержался у входа. В отдалении пронеслись харчевни, обжорки, ночлежные дома... Навалихин, повернувшись к дверям ресторана, улыбнулся. Харчевни, обжорки, ночлежные дома исчезли.

Широкую спину Навалихина заметил рядовой первой роты Бугульминского полка Кондрат Шабалин. Он стоял перед широкими окнами ресторана, прислушиваясь к нежному пению скрипок.

«Веселятся, чорт их возьми! Долго ли еще будут веселиться?»

В зеркальном сиянии стекол он увидел молодого человека в сером прекрасно сшитом костюме. На голове молодого человека была фетровая шляпа под цвет костюма, на руке висело летнее пальто, искрясь шелковой подкладкой. Шабалин узнал в отражении себя, вспомнил, зачем очутился тут, и не торопясь прошел в ресторан. Швейцар, стоявший у вешалки, с величайшей деликатностью принял из рук Шабалина шляпу и пальто. На пол из-под пальто упал пакет, завернутый в цветную бумагу.

— Оставьте? — спросил швейцар, поспешно поднимая пакет.

— Нет, он мне понадобится, — ответил Шабалин и обменял пакет на рубль, незаметно сунув монету в руку швейцара.

В большом, высоком зале, заставленном столиками, Шабалин отыскал человека, сидевшего в углу под оркестром; серебряные капитанские погоны поблескивали между широких лап пальмы.

— Сергей Андреевич?

— Я! — по-военному поспешно откликнулся Казарин.

Подошедшему официанту он заказал обед на двоих, потом весело стал рассказывать о своей командировке из Смоленска в Москву.

За окнами ресторана медлительно уходил полнотелый день, струнный оркестр провожал его веселой музыкой. За столиками появлялись сытые люди с голодными женщинами. Женщины умело капризничали над картой кушаний, курили, облизывая влажные губы.

Капитан Казарин, рассказывая, развертывал пакет, переданный ему Шабалиным. Официант подал вино (ресторан тем и славился, что в нем было разрешено торговать вином). Капитан засмеялся, разглядывая содержимое пакета; хлебнув глоток вина, одобрительно гмыкнул.

— Это и есть послание?

— Да. Сухотин — мастер своего дела, — ответил Шабалин.

— Я его тоже одобряю, — сказал капитан, засовывая пакет в портфель.

Пообедав, они выходят на улицу. Шеголеватый офицер (конечно же штабист, — в руках туго набитый портфель, лаковые сапоги со шпорами) берет под руку своего приятеля. Идя, они разговаривают о пустяках и пересмеиваются. Навалихин следует за ними и завидует им.

«Весело живут люди, — думает он, — знают свое место в жизни».

За поворотом улицы он потерял их, занявшись мыслью об освобождении Татьяны Самсоновны от нелюбимого мужа.

Густая синь вечера текла с площадей в улицы. Казарина остановила молоденькая сестра милосердия, лукавые губы дрожали в улыбке.

— Жертвам войны, господин капитан!

Она протянула кружку, угол косынки вспорхнул на плечо сестры.

— Первым жертвам войны, — повторила девушка.

— Жертвам войны от жертвы войны жертвую пять рублей, — козырнул Казарин.

Сестра поклонилась, теплые глаза блеснули веселой скорбью.

— Благодарю вас!

Угол косынки упал на высокую грудь, тонкая струйка духов пролилась и растаяла в вечерней синеве.

— Тут мы, пожалуй, расстанемся, — предложил Шабалин.

— Расстанемся... Ты очень осторожен, Кондрат.

— Не хочу быть преждевременной жертвой чужой войны, Сергей.

Расстаются около городской думы. На кремлевской башне трепещет крыльями золотой орел. Шабалин идет, широко развернув грудь. Пройдя Кремль, он садится в трамвай и едет на Павелецкий вокзал. Почтовый поезд отходит на Саратов в девять двадцать. Шабалин берет билет до станции Нижнекурье.

Нижнекуровцы — народ мастеровой, они оттеснили жителей села за реку Курью. Крестьяне без обиды перебрались ближе к лесу, подняли удобную целину и обосновали свое существование, поддерживая трудовую жизнь чем бог послал.

Осенние дни — как немытая холстина, над селом серо, в лесу темно, по дорогам вязко. Крестьяне курят самогон; мастеровые, работающие на оборону, готовят для самогонных аппаратов змеевки, через Курью протянули мост, начали друг к другу в гости ходить, потом породнились.

Ночью усаживается на высокие сосны месяц, и на землю ложится стынь, и светят высоко звезды.

Табельщик Кондрат Шабалин живет на квартире у машиниста Крайнина Афиногена Степановича. Жизнь скучная. Вечерами Шабалин сидит в своей каморке за перегородкой, подсчитывает табель, потом идет к хозяину пить чай.

Ставни домика закрыты наглухо, над столом — лампа-молния, в комнате тихо и тепло, по полу расплзлись половики.

С улицы доносятся звуки гармонного перебора.

Последний н-ночный денечек
Гуляю сы-вами я, друзья..

— Все-таки как это дальше произойдут события, Кондрат Антоныч, — спрашивает машинист, — ежели рассуждать исторически? Говорили — три месяца, между прочим людей набили теперь за целый год.

— События будут ясными, когда людей набьют за пять лет.

— То-есть, выходит, когда народ об-
разуется и между прочим сделает по-
ворот на революцию?

— Мысли твои правильно развивают-
ся, Афиноген Степанович, — одобряет
Шабалин. — Именно: когда народ об-
разуется и объявит войну самодержав-
нию.

— Понял больше половины...

Они беседуют, все время прислушива-
ясь к улице, и, когда улица замолкает
и не слышно в улице ничего, кроме тос-
кливого завывания собак, когда месяц
исчезает, провалившись в лесную чащу,
Шабалин с Крайниным уходят из дому
в ночную глухомань. Переходят речку
Курью, продираются через осинник, где
густо пахнет прелью. Впереди все вре-
мя беспокойно крикает утка, выдерживая
минутные паузы.

Крайнин считает:

— Раз-два, раз-два. Хм! Прямо, как
игровой селезень... Костя!

— Эй! — откликнулся селезень.

— Ну что?

— А ты один?

— Зачем один? Чай, знаешь — с
кем.

— Ну, тогда, значит, девяносто семь
будет, — подсчитывает Костя.

Он попросил спичку, закурил; дым из
его ноздрей был виден даже в темноте.
— Сам прошел, — сообщил Костя,
пряча огонек папиросы в согнутой ла-
дони. — Ей-богу, я же вот так вот ви-
дел его.

— Чорт его знает, ежели рассуждать
исторически.

— Я с Бредихиным знаком по москов-
ской работе, — сказал Шабалин. — Ты
чего, товарищ Раздоров?

Костя крикнул уткой четыре очеред-
ных раза, огонек папиросы обжег ему
ладонь.

— Мне чудно, больно уж слаботе-
лый он. Кокнет его когда-нибудь папа-
ша по голове — и всё, и вся политика
тогда из него пых-ых... Интеллиген-
ция!

Сын директора завода, студент Ки-
рилл Бредихин, кружил около заброшен-
ных кирпичных сараев, искал дорогу
через овраги и не мог найти. Он невнят-

но говорил что-то, должно быть, припо-
минал дорогу, и очень обрадовался,
столкнувшись с Шабалиным.

— Здравствуйте, Кондрат! Заблудил-
ся, боялся опоздать. Ужасающая темень!
Досадно, что позабыл очки.

— Да, без очков затруднительно, —
совершенно серьезно посочувствовал Ша-
балин. Взял Бредихина под руку. —
Ну, пойдете.

Они пошли, не переставая разговари-
вать. У Бредихина был радостный и воз-
бужденный голос.

Машинист Крайнин бормотал за их
спинами:

— Теперь, ежели рассуждать истори-
чески, рабочий класс по всему ходу раз-
вития не должен отвергать интеллиген-
цию...

В огромном сарае между развалив-
шихся печей люди — как черные мыши.
Лимонный свет двух керосиновых ламп
широко распахнул тени. Подмигивал
огоньки папирос, осыпался щебень из-
под ног, под лампами плескался табач-
ный дым.

— Кто будет говорить? — спрашива-
ют из темноты.

Шабалин устраивается под лампой,
кладет на грудь кирпичей газеты, поду-
мав, снимает кепку и бросает на газеты.

К Бредихину пододвигаются рабочие;
каждый по-разному хочет показать свое
безразличие к тому, что молодой сту-
дент, сын директора завода, с ними.
Прикуривают от его папиросы, загова-
ривают. Бредихин с готовностью отвеча-
ет, улыбается по-приятельски, суетливо
шарит по карманам, отыскивая спички.

Шабалин говорит о связи с запасны-
ми солдатами, сообщает о забастовках, о
революционном брожении в армии, при-
зывает сплотиться в единую социал-де-
мократическую рабочую партию больше-
виков. Говорит он полтора часа.

Машинист Крайнин раздает прокла-
мации для распространения среди проез-
жающих на фронт запасных.

Под лампами рабочие читают газеты.
За кирпичными сараями продолжает
крякать утка.

В осиннике зашевелился ветер. Раз-
доров слушает, как лопочут листья.

Раздорову холодно. Он топчется среди пеньков, скучает и, надувая щеки, крикает в кулак...

— Нет, это совсем не то, совсем не то!

Люди зашевелились, бросили недокуренные папиросы, сгрудились теснее, — все хотели видеть оратора, наблюдать за игрой его лица.

Студент Кирилл Бредихин говорил. Сын директора завода в гневе потрясал кулаками, а кулаки были крохотные, и сам студент, из тонких костей и скудного тела, извивался, точно спиральная пружина.

— ... Совсем не то! — кричал он. — Вы слишком спокойны и самонадеянны. К чорту! Так не делают революцию. Революция — огонь, взмет, разлив! Предыдущий оратор не говорил. Он рассуждал, как рассуждают в канцелярии, как будто пролетариат уже победил, и осталось только планировать. Смешно слышать о победе пролетариата в крестьянской стране, в стране стихий. Наша революция начнется с бунта. Пролетариат сыграет роль поджигателя, крестьянство утвердит революцию...

— Сейчас заговорит о бомбах.

— Помолчи, Раздоров, ты пришел последним.

— Знаю... Интеллигенция!

В это время Шабалин поднимается на гряду кирпичей, — потом терпеливо ждет минут десять. Говорит он насмешливо и снисходительно, длинные руки его, поднимаясь, падают в большом размахе, как будто человек разбрасывает камни во все углы, где затаились враги.

— Ведущая роль — пролетариату как активной и наиболее сознательной силе. Кто же этого не понимает? Сумасбродные головы, политические младенцы!

— Вот и всё! — говорит Раздоров, выходя из сарая. — Кондрат кому хочешь мозги прифугует.

За сараем предутренный ветер сбивает листья осинника. Листья, точно подброшенные в орлянке пятаки, стрекочут в плотном воздухе.

Поезд номер двадцать четвертый скорый дал прибытие тремя короткими свистками.

Полусонная, с припухшими чуть-чуть губами семнадцатилетняя дочь положила голову на широкую грудь отца, высокого инженера в строгой форменной фуражке.

— Поезд опоздал, папа, на целых два часа. Эшелоны, эшелоны, без конца эшелоны!.. Ты очень скучал, папа? Понимаешь, чистое безобразие, на сто двадцать верст два часа опоздания!.. Ну, вот я приехала. Я не очень изменилась?

— Нет, не очень.

— И не подурнела?

— Напротив!

— Господи, как я тебя люблю, папа! Мы не видались целую вечность! Город прекрасен, папа!

— Очень может быть, моя девочка.

— Ах, девочка! Но город ужасен, папа, когда девочка, одинокая и бесприютная, погибает на улице.

Среди чемоданов и картонок стоит Дросида, кисти рук багровы, щеки сини, на бровях изморось.

— Я подобрала девочку, папа, на улице... Нет, она очень порядочная и очень понятлива... Бери, Сида, картонки, носильщик понесет чемоданы... Правда, папа, девочка хорошая, я тебя уверяю! Идем, Сида, и не бойся, папа мой — добрый...

Утро тускло сочится сквозь низкие облака, обер дает отправление. Начальник станции козыряет инженеру Бредихину и почтительно кланяется его дочери Ольге.

В четырехместной коляске, указывая в спину Дросиды, сидящей рядом с кучером, Ольга рассказывает:

— Милый папочка, мы должны быть милосердными... Ах, кстати, я позабыла тебе сообщить; я работала там в лазарете баронессы Герберг... О чем я хотела рассказать тебе, папочка?

— Ты говорила о милосердии, моя девочка.

— Тысячи солдат, и все стонут, папочка, и у меня на голове белая-белая косынка, концы вот так закрывают плечи...

Ольга поспешно вынимает носовой платок из сумочки и кладет его на плечо. Знойная струйка духов цикламена Дорсай сильно бьет по лицу инженера.

— Баронесса всегда говорила, что я — самая изящная среди всех сестер и самая добрая, папочка. И у меня был самый крупный кружечный сбор в пользу жертв войны. «Жертвам войны от жертвы войны жертвую пять рублей...»

— Что?

— Так сказал офицер, папочка... И вдруг я встречаю Сиду. Ее отца привезли к нам в лазарет. Это очень ужасно, папочка, — опухший, синий человек, погибающий от алкоголя! Когда его увезли в мертвецкую, я подхожу и говорю ей: «Не плачь, девочка. Теперь война, и мы все должны жалеть друг друга». Она сказала, что ее зовут Дросида. Ты слышал, папочка, когда-нибудь такое имя? Отец был пьяница, но плакала Дросида ужасно! Тогда я взяла ее к себе, — пусть девочка будет счастлива. Ты не будешь сердиться, папочка?

Коляска останавливается около каменного особняка. Изябшая Дросида долго носит картонки и чемоданы, из комнат доносятся звуки рояля. Дросида сидит на чемоданах в прихожей и не слушает.

Проходит час. Жена повара уводит ее на кухню отогреваться.

Взвыли гудки первой смены. Машинное отделение стонало, точно ревматическая старуха, стальные части машин тускнели, как полированные кости, покрытые потом.

«Чорт с ним! Хотя и жаль, что я не сумел разбить этого начетчика, — думал Кирилл Бредихин, припоминая речь Шабалина. — Вообще же я тут не у настоящего дела. Он давно их сатирировал, ну и ладно! В конце концов поговорим после революции».

Кирилл увидел коляску, гмыкнул неожиданно злобно. Постоял, раздумывая, и, заслышав шум приближающегося поезда, направился к станции. На ходу он заглянул в бумажник, потом побежал, чтобы не опоздать.

Инженер Бредихин Никита Семенович заметил спину ухотившего сына. Инженер слушал шестую рапсодию Листа и глядел в окно.

Пятьдесят шесть лет жизни, мешки под глазами, чахоточная жена, красавица дочь и блудный сын, имя известно инженеру, сто тысяч на текущем счету — всё это у одного человека. Как однако тоскливо воют гудки!.. Сто тысяч рублей, которые уже не нужны... А вдруг сын со своей революцией окажется прав, и придет расплата за все? В позапрошлом году инженер был чуточку моложе, работал в Петербурге, и казалось, что можно еще было жить. Ездил он на дачу в Царское Село и сидел на том же месте, где сидел с первой возлюбленной. В позапрошлом году была у него четвертая, самая близкая, — именно о ней тосковал он всю жизнь. Очень билось сердце, когда он через узкую спину клал свою руку под руку ей, и он ослабевал от волнения, как пассажир, которому нужно догнать отходящий поезд, и мысли бьются в страхе, что поезда уже не догнать...

Звуки рояля растут. В окнах мелькнул кусочек солнца, скрылся — и вдруг, через минуту, рассыпался по паркету. Инженер увидел в осени крошечное пятнышко весны и подошел к столу.

«Пятьдесят шесть лет, сто тысяч на текущем счету, блудный сын, красавица дочь...»

Сбился с первоначальной мысли, поймал другую, жалостливую:

«Может быть, потом простят и даже уяснят что-то. Все это можно представить себе сейчас...»

Звуки рояля сотрясают стены. Инженер Бредихин чувствует себя тридцатилетним, сильным и безумно смелым. Он тычет в грудь стволом револьвера, отчетливо чувствует боль — и стреляет. Левая рука, извиваясь, тянется к солнечным пятнам на полу, согнутые пальцы выскабливают вызолоченный солнцем паркет.

Вздохнул он глубоко и облегченно, как человек, с лица которого ветер и солнце сняли густой пот жизни. Солнце действительно разгулялось, чего уже не

видел инженер Бредихин. Воробей, сидевший за оконным наличником, встряхнулся, выглянул наружу и полетел навстречу солнцу. По улице прошла крестьянка с большим бидоном молока.

Жена повара выплеснула с крыльца помой...

Почтовый поезд вышел за семафор и, пыхтя, готовился к разбегу, чтобы перемахнуть под'ем, кочегар без разгибу бросал и бросал уголь в топку, машинист открыл сифон, толкал регулятор и глядел в окно. Ветер бил в лицо машиниста, машинист проклинал работу, главный состав вагонов, начальство и самих пассажиров, которые едут чорт знает куда и чорт знает зачем.

Вагоны, покачиваясь и скрежеща фаркопными стяжками, болтались из стороны в сторону. В пятом от паровоза сидел студент Бредихин, сидел среди народа ради народолюбия. Народ курил, дремал, жевал, сопел спросонья, каркал на пол. Чтобы не слышать, не понимать разговора, Бредихин читал газету. Покуда поезд тащился на под'ем, Бредихин успел пробежать газету начерно, теперь он перечитывал ее. После передовой он буркнул:

— Фанфароны, ввали, сволочь...

«Фу, чорт, как все-таки противно! — додумывал он невысказанное. — Одно и то же каждый день, каждый день...»

«В ночь на двадцать пятое в Безымянном тупике на Плющихе вспыхнул пожар. Огонь показался над крышей дома купца Бабурина и, быстро распространившись, охватил соседние строения. Пожарные части явились, когда море пламени бушевало во всем квартале. Восемнадцать часов свирепствовала огненная стихия, пожирая на своем пути деревянные строения. Есть человеческие жертвы. Сам купец Бабурин, спасая имущество, погиб в пламени. По собранным нами сведениям...»

— О, господи!

Огибая завод, поезд, вырвавшись на равнину, развивал скорость.

— Вот это чешет! — одобрил Константин Раздоров.

— Чорт с ним! Ты посмотри, что они делают, — Кондрат Шабалин остановился как-раз у выхода из села, — видишь, у оврага.

— Ну да, поди-ка, я не ослеп еще. Я побегу, ей-богу!

Крестьяне били конокрада-цыгана. Раз, два, три, четыре, пять. Били лениво, со скучающими лицами.

— Отойди, Петро, погодь, я его допрежь спрошу... Деньги есть, что ли?

— Есть, как нет! Дайте покурить, братцы.. Вот они, деньги.

— Волоки четвертуху самогону, Петро.

— Деньги всегда с нашим удовольствием, — радостно бормочет цыган, давась махорочным дымом, отирая кровавую пену с усов.

Петро приносит четвертную самогонки. Седобородый крестьянин наливает чайный стакан, крестится и, придерживая левой рукой бороду, пьет, медленно запрокидывая голову. Пьют и другие четверо.

— А ну, ребятушки, — говорит седобородый и, крикнув, ударяет цыгана во весь размах по скуле. Раз, два, три, четыре...

— Братцы! Православные! — стонет цыган, уткнувшись лицом в землю, круто выгнув спину. — Для ради малых детушек...

Раз, два, три... Петро, разбежавшись, прыгает на спину цыгана.

— Братцы! Православные! Для ради...

— Погодь, Петро, малость, — распоряжается седобородый.

Цыган перевертывается, широкие плечи дрожат; он садится, мотает головой из стороны в сторону, глаза его жалобно глядят из щелей багровых опухолей.

— Сволочи, сукины сыны! — хойпит цыган. — Мой самогон пьете, дьяволы!

— Не фасон, землячки, не фасон! — кричит, подбегая, Раздоров. — Что же вы пятеро на одного?

— Не воруй! — кратко изрекает седобородый.

— Деньги мой отняли, — бормочет, захлебываясь кровавой слюной, цыган, — самогон выпили...

— Нет, это мы сейчас разберем, — загоразивает Раздоров цыгана.

— Разобрали уж, — наступает Петро, — разобрали... Откуда ты такой заявился?

Подходит Кондрат Шабалин, лицо строгое, движения решительны. Думать ему некогда. Он властно отодвигает в сторону Константина Раздорова, одну секунду смотрит в разбитое лицо цыгана.

— В участок — без разговоров! Военное положение.

Мужики мнутя, озлобление прошло, они уже сочувствуют цыгану.

— Ты вот чего... — говорит седобородый. — Ты, ваша милость, отпусти его. Зачем в участок? Больно ты строго. Мы его малость помяли, ну и будя.

Шабалин, не отвечая, уходит; впереди него — цыган. Мужики долго с сожалением смотрят вслед, потом допиивают остатки самогона и потихоньку бредут к селу.

Утро зацветает, как подсолнечник, лес позади играет бронзовыми пятнами, река Курья жгуче-синяя.

Перейдя мост, Шабалин отпускает цыгана. Цыган веселой трусцой бежит в заводский поселок. В начале улицы он останавливается, снимает шапку и кричит, потряхивая длинноволосой головой:

— Спасибо, эй-ай, спасибо!..

От завода к поселку шли рабочие, они заметили Костю Раздорова, кто-то крикнул:

— Ворочайся, праздник! Главный инженер застрелился...

— Умный мужик, — похвалил машинист Крайнин. — Во-время убрался, ежели рассуждать исторически.

— А что я говорил? — торжествуя, спрашивает Раздоров. — Что я говорил? Интеллигенция!

Солнце упало в речку, в небе стало светлей, над трубами заводов, над крышами корпусов переливалась искрами утренняя изморось, а к вечеру выпал снег. Сыпал он с небольшими перебивками целую неделю.

Хоронили инженера Бредихина в метелицу. Старые люди, расходясь с кладбища, косо поглядывали на небо и опасались неурожая, потому что снег лег на сухую землю.

Ольга телеграфировала брату о смерти отца, потом написала ему дополнительно о своем намерении уехать на фронт. Кирилл, получив телеграмму, не поехал на похороны, а на письмо ответил, что берет из отцовского наследства третью часть, и просил не писать ему в виду его отъезда из Москвы.

Бредихин Кирилл в Москве очень давно, он точно не мог бы сказать — сколько. Зима действительно сменилась засушливым летом, хлеб вздорчал. Газеты писали о голоде в Поволжье и еще о чем-то страшном вообще и радостном для Кирилла Бредихина. Военские эшелоны шли теперь на фронт и с фронта в равном количестве, солдаты ходили толпами. Наконец пришло время, когда на студенческую тужурку Кирилла никто уже не обращал внимания, даже хозяйка квартиры, и на деньги, которые он имел, тоже никто не обращал внимания. Солдаты заполонили город, они везде были как хозяева — на улицах, на площадях, на вокзалах и на рынке — и все с едали. Солдаты стали появляться с женами, с отцами, с детишками, с проститутками. Солдаты запрудили бульвары и парки, садились в кружок и пели свои полевые песни. В воздухе носился запах варева, пота, карболки и хлорной извести...

(Продолжение следует)

Бархатный диктатор

Повесть

ЛЕОНИД ГРОССМАН

Заграничные газеты сравнивали Лорис-Меликова с Мазарини, который сумел управлять Францией в самое смутное время при помощи примирительной и ловкой политики.

Из некрологов 1888 года

Субалтерн-император

Все тревоги оказались тщетными. Празднество державного юбилея прошло без ожидаемых выстрелов, взрывов или бомбометания террористов. Двадцатипятилетие царствования Александра Второго расцвело слякотный Петербург мокрыми флагами, расставило за красными драпировками балюстрад алебастровые бюсты коронованной четы, упорно осыпаемые гающим снегом, и с утра наполнило проспекты и набережные батальным гулом, грохотом и звоном. Салютационные орудия гремели над снежной поляной Невы, а соединенные хоры гвардейских полков немолчно кидали в гнилостное марево февральской оттепели медные кличи маршей и кантат. С балкона над проездом ее величества царь в белом мундире Кирасирского полка кланялся из-под шатра народу и даже—небывалый случай!—обнажил голову и долго сотрясал над чугунной решеткой свою гвардейскую каску в знак полного единения венценосного вождя с благодарными сердцами верноподданных.

Правительство, жандармерия и столичные репортеры остались довольны празднеством. Ничто не нарушило установленного порядка. Целый день петербургское население с подобающим без-

молвием и угрюмостью ликовало по улицам и площадям, сжатое оградой из лошадиных морд и шлемов с конскими хвостами. Вечером зеленые шкалики протянули по карнизам и колоннадам аршинные литеры: «Боже, царя храни», а чадные плоски и газовые рожки вычертили в ночной мути зыбкие царственные вензеля, нещадно сотрясаемые порывами финского ветра. Согласно расписанию, волшебная иллюминация до самой полуночи поддерживала веселье петербургских жителей. Так и не осуществились зловещие предсказания о взрыве Исаакиевского собора во время обедни и разрушении дворцовой часовни под конец торжественного молебствия. Словом, все удалось на славу. Никто не знал, что вокруг Зимнего дворца бродил весь день до поздней ночи смуглый юноша в клетчатом пледе, с заряженным револьвером в кармане, жадно высматривая в парадной веренице выездов карету нового правителя России. Менее всего об этом догадывался сам граф Лорис-Меликов.

Нежданнный повелитель судьбами целой империи был также доволен исходом тревожного юбилейного дня. С чувством глубокого удовлетворения подвезжал он на утро после празднества к Зимнему дворцу для очередного доклада государю. Карета обогнула площадь

Вдоль одного из пилястров фасада еще змеялась по штукатурке глубокая трещина от недавнего взрыва динамита под царской столовой. Граф с умилением взглянул на этот легкий след страшного разрушения: ведь это именно событие, это зловещее «пятое февраля», взорвавшее дворцовую караульную и поколебавшее царские покои, призвало к власти его, победителя Шамяля, астремителя ветлянской чумы и харьковской крамолы, возведя его в таинственный и грозный сан главного начальника верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия. Правда, для титула немного длинно. Строгий стилист Катков даже позволил себе иронически усмехнуться в очередной передовице «Московских ведомостей»: слишком, мол, громоздкое звание для власти, долженствующей действовать быстро, энергично и метко... Впрочем, в общей разговорной речи произошло обычное сокращение тяжеловесного чина: главного начальника называли всюду одним сжатым и властным словом, напоминающим одновременно Юлия Цезаря и Муравьева-вешателя: диктатор. Да, диктатор над сердцем государя...

Царственный юбиляр принял своего «ближнего боярина» (так успели прозвать Лориса ревнивые царедворцы) совершенно запросто, в своей рабочей комнате, рядом с кабинетом. Александр, вступивший в седьмой десяток, начал сильно сдавать, осунулся, пожелтел, сгорбился. Поседевшие усы и мешки под глазами резко нарушали сходство с бравыми царскими портретами, развешенными во всех дворянских залах и волостных присутствиях империи. Скептические и зоркие вельможи уже величали вполголоса монарха коронованной развалиной. Его отставленная фаворитка графиня Гендрикова открыто возмущалась в петербургских гостининых «старым рамоликом», за что и была выслана по высочайшему повелению в двадцать четыре часа из Петербурга. Царь нервничал, метался и падал духом. Он был совершенно запуган последними покушениями. Взрыв в Зимнем двор-

це потряс его старческий мозг. Он чувствовал себя окруженным заговорщиками и затравленным невидимыми убийцами. Он считал себя обреченным. Мертвенно стыли и стеклятели его выпуклые глаза. Выцветающие густые бакенбарды не могли скрыть зловещей впалости щек. Внезапные припадки удушья прерывали его барствено не принужденный французский говор, а руки, заметно похудевшие и сморщившиеся, слегка вибрировали при жестикуляции, как у слабонервной женщины. Царь дряхлел. Бремя власти становилось для него непосильным.

— Eh bien, cher Михаил Тариелович, nous avons traversé ce perilleux dix-neuf février...

Он устало и болезненно улыбался, чуть щурясь и слегка приподымая полупогончики тужурки, словно иронизируя над этой нелепой феерией всенародного ликования, организованного губернаторами и полициймейстерами.

Диктатор приветливо и почтительно улыбался, не смея разделять иронии своего августейшего собеседника и не считая возможным лицемерно противоречить его чересчур откровенному тону. Так великий наперсник багдадского калифа, славный визирь Джаффар-Барменид отвечал безмолвной и лукавой усмешкой на смелые шутки Гарун-аль-Рашида.

— О, эти возгласы черни перед домом моим, сотрясенным от взрыва!..

Царь болезненно морщился. Вчера на балконе его упорно сверлила мысль — не раздастся ли снова выстрел на площади, как в прошлом году. Вспоминалась эта ужасная встреча в апреле, на страстной, у главного штаба, во время утренней прогулки: прямо на него, стремительно и неумолимо, шел гигантскими шагами высокий, худой, изумительно выпрямленный человек с узкими, раскосыми, хищными глазами, с угрюмым, бескровным, монгольски непроницаемым лицом под малиновым околышем чиновничьей фуражки. Сразу понял — убийца! Но едва успел отпрянуть, как длинная, сухая рука, сгибаясь шарнирой, извлекала из кармана узкий блестящий револьвер; в смертельном

страхе царь обращается вспять и бежит, спотыкаясь и путаясь в длинной шинели, описывая ломаную линию зигзагов (как полагается по пехотному уставу при беглом огне противника), а за ним один за другим раздаются гулкие, резкие, четкие выстрелы—два, три, пять раз,—и, озираясь, он видит, как огромный, неумолимый, высокий и тонкий, как жердь, непонятный чиновник с круглой кокардой на ярком бархате, хмурая свой смертный лик с глазами малайца, неумолимо несется за ним, поднимая револьвер и испуганно щелкая на бегу тяжелым затвором... Вот и смерть, никуда не уйти, этот настигнет. Бах-бах-бах... И все же бежит, юлюю, потерявши фуражку, повелитель миллионов, помазанник божий, как заяц на травле, спасаясь от гибели неминуемой, несется своими ревматическими ногами, сгибаясь и кланяясь почти до земли, в предсмертном ужасе тщательно выполняя устав полевой тактики и под огнем непрерывно меняя площадь прицела. И недаром: подоспели жандармы, свалили злодея... Но от одного воспоминания об этом беге царь начинал задыхаться.

Между тем Лорис успел развернуть свой портфель.

— Дешени губернаторов извещают, что юбилей вашего величества прошел на местах с неподдельным восторгом народа. Из Киева, Варшавы, Саратова...

Царь вяло слушал и устало смотрел неподвижными ледяными зрачками на полномочного повелителя своей страны. Справится ли с крамолой? Ведь революция неуловима и неподатлива — это похуже турков и чумы... Враг невидим, и вездесущ, регулярная осада немыслима. Это тебе не Цебельда и не Дребент! Самый храбрый генерал растеряется... А этот кавказский армеец совершенно ведь не знает Петербурга, третьего отделения, подпольных нигилистов с Васильевского острова.

Он с легким скепсисом посматривал на своего премьера.

Лорис-Меликов был некрасив и тщедушен. Худое меднокожее лицо, словно хранящее следы дагестанских загаров, дряблые, впалые щеки (подтачивала ча-

встрепанные бакенбарды на военный манер. Падающие моржевые усы, вогнутая грудь, сухощавая, долговязая фигура. Мясистый румяный нос эриванского винодела, гладкие, прилизанные виски свитского генерала. Круглые черные блестящие глазки, близко поставленные, чем-то напоминали взгляд ручного кенгуру. И только умное, тонкое, вкрадчиво-благосклонное выражение лица обличало в нем восточного краснобаю с его мягким лукавством, изящной величавостью жеста и ласковой хитростью слова. Маска азиатского дипломата с неугасимой улыбкой на устах и бдительной зоркостью в горящем взгляде. А в общем — какой же диктатор! Так, доктор, учитель, земский статистик... Но какой же боевой генерал, завоеватель, властитель, которому подчинены все ведомства, вся полиция страны, шеф жандармов и, в сущности, сам император!

Вскоре они разговорились. Диктатор развивал царю спасительные положения своей программы: ничего не меняя по существу, демонстрировать видимость реформ и, баюкая благонамеренные круги словесными преобразованиями, неумолимо душить крамолу...

— Поверят ли тебе эти развращенные безверьем и пропагандой «верноподданные»?

— Нужно создать вокруг каждого ощущение опасности. Врага склоняют на свою сторону угрозой неминуемой гибели. Чем серьезнее положение, тем необходимее создавать иллюзию своей силы и смертоносности для противника.

Из глубокого кожаного кресла взглянул на царя воитель, повелевавший армиями.

— В последнюю войну положение наше под Карсом было безнадежно. Турки заставили нас отступить от Ардагана и Баязета к нашим границам. Перед нами стал Мухтар-паша в каждом пункте в полтора раза сильнее русских, за нами расстилался Кавказ, волнующийся и тревожный: миллионное население Чечни и Дагестана в полном восстании, симпатии горцев на стороне Турции. Стоило протянуться единой руке к инте вал сских войск, хотя бы в

виде отряда кавалерчи, чтоб пожар, раздуваемый религиозным фанатизмом, вспыхнул бы с страшной силой...

Он говорил отчетливым и чистым языком администратора и военного писателя, изощрившегося в стратегических сводках, приказах и донесениях, но с легким налетом восточных наречий. Некоторые звуки произносились с энергичным и резким придыханием, другие с неожиданным музыкальным смягчением, третьи с необычной для русского слуха звонкостью. Сухая стилистика штабной реляции местами как бы вспыхивала звучными географическими терминами Закавказья, и образцовый слог корпусного командира и свитского генерала экзотически оживлялся гортанными нотами и особой пряной сгущенностью гласных, произносимых медленно и чуть нараспев.

Царь слушал внимательно. Традиционный милитаризм романовской фамилии внушал ему неподдельный интерес к воспоминаниям боевого генерала.

— Надо было во что бы то ни стало удерживать Мухтара-пашу от наступления. И я стал настойчиво и неустанно тревожить его рекогносцировками, фланговыми атаками, частичными передвижениями и фальшивыми маршами. Я поддерживал в нем ложную уверенность, что не нынче-завтра он подвергнется общему нападению русских сил. Паша колебался, рычал, но не смел рискнуть на смертный прыжок... Видимостью несуществующей опасности я задержал его, пока не подошли подкрепления—тридцать два свежих батальона! Решительно и уверенно я перешел в наступление. Мухтар был разбит на Аладже, Карс пал.

«Попросту подкупил турецкого коменданта,—вспоминал царь штабные толки о воинских подвигах Лориса,—и, кажется, сумел вызвать смуту в крепостном гарнизоне... Но одно дело—вражеский форт, другое — негодяй, идущий на тебя среди бела дня с пистолетом в руке... Сумеет ли этот хитрец предотвратить новый взрыв в Зимнем дворце?..»

Вспоминал с холодом в спине этот неглавный вечно: только вошел в фальш-

маршальский зал с князем Болгарским и Гессенским принцем, как всё сотряслось — газ потух, стекла вылетели, померкли в золоте своих лепных обрамлений Румянцевы и Паскевичи, ледяной вихрь пронесся дымящейся струей вдоль фресок помпейской галлерей, и дворец, разрываемый в темноте гулкой пальбой заходил ходуном, как от страшнейшего землетрясения... Вот-вот все обрушится на три избранных главы.. Шутка ли: шестьдесят пудов динамита, заминированных в самые стены его дома. Дальше некуда! Ведь, может быть, завтра, сегодня, сейчас этот паркет взлетит на воздух, эти своды рухнут, и будет он простерт на смертной койке, как тот ефрейтор Финляндского полка, беспомощным, безногим инвалидом — с раздробленными ногами и распоротым животом,—о, эта ужасная смесь размолотых костей, растерзанного мяса, разорванных артерий и повисших лоскутьями мускулов...

Он не мог освободиться от ужасного воспоминания о посещении гвардейского лазарета после взрыва. Высочайший обход раненых нижних чинов из дворцового караула стоил ему чудовищного напряжения нервов. Он еле выдержал свой человеколюбивый подвиг и едва дотянул до конца перевязок и операций. Эти выточенные ампутационные и резекционные инструменты хирургов, эти сплошные ожоги на лицах и спинах, исковерканные члены, обнажившиеся черепа, оторванные уши, рваные раны,—о, это было почти невыносимо: ведь сам он лишь волею случая избег такой же участи. Все эти молодые, здоровые человеческие тела, превращенные в кровавое месиво, вырастали в его сознании в неумолимую личную угрозу, в неотвратимый смертный приговор, произнесенный неизвестными инстанциями ему, неограниченному владыке над миллионами.. Почти с раздражением вспоминал он слова митрополита Исидора в Исаакиевском соборе: «Царь царствующих ангелам своим заповедал сохранить возлюбленного своего, и ангелы сохранили его...» Уж если жандармы Дренгельна не обергли, какие там анге-

— Скажи мне, Лорис, как укротить этого невидимого, вездесущего врага, как овладеть этой дьявольской организацией? Как растоптать эту гидру?

Поражавший всегда своей сухостью, несмотря на сентиментальные фразы и удивительную способность проливать по заказу слезы, Александр, состарившись, заметное ожесточился. Он давно уже испещрял доклады своих министров, жандармов и судей короткими требованиями беспощадных осуждений и немилосердных кар, не допуская никаких смягчений и даже пользуясь монаршей прерогативой для повышения наказаний и увеличения числа смертных приговоров. При этом он чрезвычайно интересовался всеми деталями казней, требуя от губернаторов телеграфного описания всех расстрелов и повешений на местах. Слабеющими руками он цепко держался за власть и, предчувствуя приближение конца, нещадно и смертоносно жалил всех заподозренных, маскируя свое ненасытное властолюбие лицемерными заявлениями о своей готовности уйти, отречься, сложить с себя бремя, навсегда удалиться с княжной Долгорукой в солнечный Каир...

— Можно ли, посудите, править империей под угрозой ежеминутной гибели? Ведь это непрестанная засада, травля, охота на красного зверя... Он me traque comme une bête fauve.

Слезные железы царя, столь легко раздражимые, пришли в полное расстройство. Вдоль густых бакенбард потекли две унылых старческих слезы.

Генерал с умиленным сочувствием взирал на своего расстроенного повелителя.

— Чтоб властвовать, государь, не худо начинать с ласки: народ — та же женщина! (И на миг изнеженностью канских сералей дохнуло от политической программы петербургского министра.) Недаром учили персидские шейхи: одаривай — и станешь владыкой над сильнейшими из мужей и прекраснейшими из жен. (Он улыбался приветливо, величаво и по-восточному.) Но в щедрости будь дальновиден: обеты да превысят даяния!.. Так и в политике, госуда в. Питая надежды благомыслящих

кругов проектами реформ, мы сумеем изолировать революцию. Мы разоружим врага миражем государственных преобразований. Посулами и зарокami мы привлечем на свою сторону всех этих малодушных говорунов. Мы удвоим их желание, мы увенчаем здание! Незыблемая самодержавная власть в основе, непоколебимая и грозная мощь всероссийского монарха, а по фасаду легкие вьющиеся украшения — словно лепные арабески по карнизу медресе — избирательные комиссии, законосовещательные комитеты...

Казалось, он медленно ткал ковер, подобно своим древним пращурам из горной Армении, вплетая в грубую холстину деловой речи цветистые шелковины своих восточных воспоминаний. В сухую терминологию государственного доклада неощутимо вплетались пестрые волокна яркой словесной пряжи, протягивающей свои нити к радужной ткани индийских песенников и арабских сказочников.

Но вся эта узорная роспись политической программы не могла утешить вспаленный мозг императора. Царь видел всюду разверзающуюся почву, негодную для стройки. Он старался подавить в себе глухую тревогу перед надвигающейся отовсюду опасностью, пытался убедить себя в возможности исхода, хотел уверовать в доводы своего советника. Но смерть, — неумолимая, насильственная, вездесущая, — казалась, заглядывала в окно, пряталась за портьерами, мелькала в огромных дворцовых зеркалах, протягивала свои невидимые руки к его царственному горлу. Неустранимо и зловеще вставали в памяти минированные подкопы под железнодорожными насыпями, гуттаперчевые подушки с черным динамитом, спирали Румкорфа в дорожных сундуках, пирооксилиновые шашки и жестянки с гремучим студнем, трубки с ртутью и гальванические батареи — вся эта дьявольская химия и физика конспиративных квартир, недавно обнаруженная полицией вместе с карандашными планами Зимнего дворца и грудой кинжалов и револьверов. А эти пилюли от ревматизма и одышки, присланные по почте из Парижа прямо на имя государя и ко-

торые едва не взорвали лейб-медика Боткина, проверявшего это новое целебное снадобье французского «доктора Сен-Жюста»... Адская изобретательность! Как уклониться от этих вездесущих смертоносных средств? Недавно в одном из подпольных листков он прочел дерзостное постановление о смертном приговоре, вынесенном ему, Александру Второму, каким-то таинственным и недосягаемым исполнительным комитетом «Народной воли». И после дворцового взрыва становилось неумолимо очевидным, что от намеченного удара ему некуда бежать, нечем обороняться, негде укрыться. Смертельная тоска заливала грудь до тошноты. Нужно было найти исход во что бы то ни стало...

— Скажи, Лорис... Наднях спирт Ридигер предлагал мне столочверчением избавить Россию от бунтовщиков. Уверял, что раскроет все их тайны, все шифры, все квартиры, все типографии... Как ты думаешь, а? Ведь спиритизм признан современной наукой...

Диктатор не без участия глядел в уставившиеся на него стеклянные глаза, словно застывшие в орбитах под действием неподвижной идеи.

— Есть, государь, вернейшие средства для раскрытия конспираций. Всех благомыслящих на службу правительству! Каждый домовладелец призывается секретно обслуживать власть под страхом конфискации всего имущества. У меня в Терской области в каждой сакле сидел свой агент. Как для факира, для меня не было тайн. Я знал обо всем до получения полицейских донесений и мог рассказать приставам в три раза больше, чем они успевали сообщить мне...

Царь с интересом вслушивался.

— И этим, ты полагаешь, возможно искоренить крамолу?

— Совокупностью средств. Приведением государственной полиции в гармонию с негласной гражданской охраной и одновременно постоянной игрою мнимых и фактических мероприятий правительства, создающих видимость обновления для вящего упрочения невыблемых основ.

«В сущности, старая игра, — думал он, — испытанная система, доведен-

ная лишь до большей отчетливости и точнее выраженная».

— Никакой открытой и провозглашенной реакции, — словно возражая на его мысль, продолжал верховный начальник, — напротив, «легкие посулы» представительного начала. Демонстрация доверия обществу. Мы сократим число ссылаемых и усилим надзор и розыски, мы отменим третье отделение и увеличим до небывалых размеров жандармерию. Мы раскинем невиданную сеть вездесущей разведки. И одновременно нещадным истреблением анархистов мы докажем силу власти и отторгнем от революции колеблющихся...

Диктатор повысил голос, но в это время речь его прервалась жестоким кашлем. Бронхи его давно были слабы. Кашлял он сухо и резко, длительными и тряскими припадками, усы утирал скромнейшим полотняным платком и по привычке невольно взглядывал, опуская в карман: нет ли кровавой прожилки в мокроте? Если было, бледнел. Не был трусом, не боялся турков, чумы, даже террористов, но весь сжимался от ужаса при мысли, что болен чахоткой.

Так два старика, хиреющие, немощные и уже далекие от жизни, пытались удержать в своих хилых руках судьбы империи.

Тяжело вздыхая, царь поднялся.

— Княжна ждет тебя к завтраку, Михаил Тариелович.

И они зашагали по лаку паркетов на половину фаворитки. Дальновидный восточный дипломат сразу взял курс на сближение с фактической царской супругой — Екатериной Долгорукой, новой хозяйкой Зимнего дворца, все еще носившей неуместное звание фрейлины ее величества. Где-то в отдаленных покоях медленно агонизировала всеми забытая, чуждая новым вельможам и политикам, давно оставленная своим мужем старая императрица. Надменная, черствая и замкнутая, она не имела друзей. Бюлетени регулярно оповещали страну о ее кашле, температуре и колебаниях аппетита, но их никто не читал. Царь давно имел здесь же, во «второй» семью. Молодые при-

дворные, не колеблясь, вступали на этот вернейший путь к монаршему благоволению. По извилистой стезе этих дворцовых успехов мягко шагал и новый правитель России. С женщинами он вполне был уверен в успехе своей дипломатии. Недаром всегда любил персидских эротических поэтов с мелодическими именами и чувственными прозвищами в роде «жертва красавиц» или «утешитель гарема»... Охотно обольщал полковых дам лукавой декламацией:

Нам говорят, что в куцах рая
Мы дивных гурий обойдем,
Себя блаженно услаждая
Чистейшим медом и вином.
О, если то самим предвечным
В святом раю разрешено,
То можно ль в мире скоротечном
Забуть красавиц и вино?

Женщины всегда легко подчинялись его влиянию, уступали его вкрадчивым манерам, покорялись магнетическому действию его огненных глаз и гортанных речей. Эти вернейшие союзницы даже не раз способствовали его быстрому возвышению. И зоркий сердцевед («армянский фокусник», по кличке придворных завистников) осторожно тешит заветные думы монарха далеким и неясным видением будущей императрицы: «Ведь и основатель династии Михаил Федорович Романов был женат на княжне Долгорукой...» И над смертным одром агонизирующей Марии Александровны, давно утратившей все признаки власти и влияния, вздымается в тончайшей словесной игре восточного мага легкий облик юной царицы, страстно любимой дряхлеющим императором. За это одно Александр всем сердцем привязался к своему сладкоречивому визирю.

По внутренней лестнице, соединяющей личные апартаменты его величества с комнатами княжны, они прошли в новую царскую столовую.

Двух многоопытных старцев в генеральских сюртуках среди цветов, плодов и заморских вин встречала молодая женщина с тонким лицом и бронзовыми волосами.

Человек в клетчатом пледе

Карета диктатора с дагестанским горцем на козлах отъезжает от Салтыковского под'езда. Два терских казака с пиками у стремени скачут у задних колес. Мимо окон кареты мелькают, уплывая, Дворцовая площадь, Морская, Невский. Выпитые бокалы токайского настраивают на созерцательный лад. Мягко укачивают рессоры экипажа. Пронесется легкой вязью воспоминания.

Сорок лет назад по этим же плитам шагал он беспечным гвардейским подпрапорщиком. Предания о Лермонтове витали в кавалерийской школе и заражали юнкеров поэтическими легендами тридцатых годов. Только-что между Машуком и Бештау пал от пушечной пули этот армейский байронист, замороженный алмазными гранями Эльбруса. Кавказец Лорис бредил его строфами.

Направя синие штаны,
Спешат ширванские полки...

Ему даже казалось, что такие стихи должны пробуждать бодрость в марширующих колоннах, как полковой оркестр или стройный хор песельников. Сам стихов не писал, но подружился с молодым литератором — безвестным и нищим — Некрасовым. Поселились на одной квартире, где-то около Грязной, на тогдашней окраине столицы... Иногда голодали, но в общем было весело: на святки как-то Некрасов убедил его отправиться ряжеными в одну чиновничью семью в Измайловский полк. В костюмерной лавочке молодой альманашик превратился в венецианского дожа, Лорис — в испанского графа, платье оставил в залог, уплата—наутро. Но карета, закуска, выпивка... И вот трагический день рождества: в нетопленной квартире они дрожат и зябнут в своих моротеньких тогах и длинных чулках... Только к вечеру выручил какой-то приятель...

Генерал ухмыляется в сивую мочалу своих бакенбард и усов. Кто мог думать тогда, что один из них станет знаменитейшим русским поэтом, а другой — всемогущим диктатором Российской

ской империи, полномощным властителем великой страны, пред кем склоняется и вежливо отступает в тень сам помазанник божий?.. Пусть ревнуют вчерашние фавориты, пусть в бессильной зависти величают его, как этот надменный Валуев, «Мишедем Первым», он сумеет тончайшей стратегией, умелыми диверсиями, искуснейшим маневрированием разрешить опасную задачу и вписать незабываемую страницу в летопись государства Российского. Он покажет себя достойным великого предка своего Мелик-Назара, получившего в шестнадцатом веке от персидского шаха Абасдарственный фирман на древний город Лори. Далекий потомок наследственных приставов Лорийской степи в составе владений грузинских царей поднялся теперь на головокружительную высоту и стал полноправным вершителем судеб величайшего в мире царства. Кажется, биография генерал-адъютанта Лорис-Меликова превзошла все чудесные судьбы арабских сказаний... Недаром подпольные листки говорили о его «воцарении» в России.

Карета несется по Большой Морской к углу Почтамтской, к дому Карамзина, где живет диктатор. По обеим сторонам экипажа скачут терские казаки, стеля лошадей по земле, взмахивая нагайками, хищно озирая снежный путь и шумным топотом пугая издали и разгоняя пешеходов.

Вот и обиталище главного начальника верховной распорядительной комиссии. Карета замедляет свой бег, легкой рысью следуют за ней конвоиры. Купе стало.

— Отложить лошадей!

Генерал это крикнул с под'езда, поднимаясь на вторую ступеньку. От'езжают казаки. Унтер-офицер, бросившийся навстречу графу, захлопывал дверцу кареты. Городовые у обеих будок вытянулись во фронт. Монументальный кучер тронул слегка лошадей.

В это время раздался гулкий револьверный выстрел.

Все на мгновение застыло — и вдруг обратилось к под'езду, где остановился, резко повернувшись вполборота, ошеломленный диктатор, от которого бы-

стро отпрянул человек в клетчатом пладе, с дымящимся пистолетом в руке.

Еще несколько секунд, и толпа прихлынула к под'езду, и Лорис-Меликов с видом боевого командира молодцевато кричит: «Пуля меня не берет!», а в десяти шагах, на мостках постройки, у самого угла Почтамтской, унтер и дворник, навалившись, безжалостно мнут человека в клетчатом пладе и, вцепившись руками в густые волосы, волочат его мешком по тротуару.

Весть о покушении на главного начальника верховной распорядительной комиссии мгновенно проносится по Петербургу...

И пока в дом Карамзина, на угол Большой Морской и Почтамтской, съезжается весь придворный, сановный и военный Петербург, сам наследник-цесаревич, великие князья, принц Болгарский и герцог Эдинбургский, все министры и посланники всех держав; пока в швейцарской подносы ломаются от непомерного груза визитных карточек всего сановного мира столицы; пока в белой гостиной диктатор с улыбочкой показывает умиленной толпе карточку, извлеченную из ватной подкладки шинели, и рваную прореху вдоль талии мундира рядом с клапаном правого кармана; пока английский посол лорд Деффери медленно и методически произносит свою не совсем удачную поздравительную остроту о том, что это первая пуля, задевшая зад графа, все прочие он встречал грудью вперед, а никак не задом к противнику; пока лейб-медик Боткин настаивает на желательности тщательной пальпации и выстукивания, а весело возбужденный граф, сравнивая себя с неуязвимым Джамполатом армянского эпоса, уверяет, что он никак не убит, — в кабинете петербургского градоначальника идет спешный допрос человека в клетчатом пладе, с бледным лицом и густыми волосами.

Он не скрывает своего имени: Ипполит Молодецкий, 24 лет, слущкий мещанин.

Следователь по особо важным делам только к вечеру закончил следствие. От показаний арестованного повеяло на него странным миром и удивительной био-

графией. Из нищеты и сумрака литовского гетто неодолимое влечение к просторам столичных аудиторий; из ешиботов и синагог неожиданное обращение к святодуховскому братству; над талмудом и библией упорные помыслы о технологическом институте; сближение с революционерами, как великое освобождение, и найденный наконец выход в большую всечеловеческую работу, ведущую к славе и подвигу. И вот стремительный и спешный бросок в эту великую будущность — револьвер, взятый в минском полицейском участке, торпливо и неудачно разряженный во все-русского диктатора.

— Не я, так другой, не другой, так третий, но Лорис-Меликов, назначенный на борьбу с революцией, будет убит.

Немедленно же по окончании следствия Ипполит Млодецкий был водворен в каземат Петропавловской крепости. Ровно в десять часов молодой и блестящий прокурор петербургской судебной палаты Вячеслав Константинович фон-Плеве, только-что начавший большую государственную карьеру своим дознанием о взрыве в Зимнем дворце, утвердил обвинительный акт и препроводил его к главному начальнику верховной комиссии.

От центрального персонажа события, от самого «объекта покушения» зависело теперь дальнейшее направление всего производства.

Петербург, 21 февраля. Сегодня, в 11 часов утра, в здании военного окружного суда начинается полевой суд над преступником Ипполитом Млодецким, покушавшимся вчера, в два часа дня, на жизнь графа Лорис-Меликова.

Полевые суды в эпоху последних Романовых преследовали единственную цель — придать произволу власти видимость законности, облечь в декорум правосудия укоренившийся правительственный обычай кровавой мести. Не

только о каком-либо беспристрастии или справедливости не могло быть и речи, но и самый разбор обстоятельств дела здесь превращался в сплошную театральщину. Суд как бы являлся личным секретарем царя, придающим окончательную форму предписанному свыше приговору. Общий приказ верховной власти о казни террористов получал здесь только юридическое выражение для данного случая; на основании такой-то статьи такого-то кодекса казнить таким-то способом тогда-то. Вне этих тесных границ никакие варианты не допускались. Обычная судебная борьба или состязание сторон не имели здесь никакого значения: все было незыблемо, predetermined, и никакие новые обстоятельства судебного следствия не могли поколебать предустановленного смертного приговора. Молниеносная быстрота процесса устраняла всякую возможность смягчения участи подсудимых. Закрытые двери избавляли от малейшей ответственности перед обществом и печатью. Приговор вступал в законную силу немедленно же по объявлении и приводился в исполнение в 24 часа. Никакие апелляции или кассации не допускались. Единственное, что еще оставалось иногда подсудимому, — это попытка обратить официальное издевательство над собой в свою последнюю антиправительственную демонстрацию. Но ни о какой защите или спасении не могло быть и речи. Разбор дела неразрывно сливался с обрядом казни и как бы открывал ее. Такой характер носил и суд над Ипполитом Млодецким, открывший свои действия в Петербурге 21 февраля 1880 года, в одиннадцать часов утра.

— Признаете ли себя виновным в покушении на жизнь главного начальника верховной распорядительной комиссии генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова?

Млодецкий в арестантском халате, окруженный конвойными, невозмутимо смотрит перед собой, не разжимая губ.

— Подсудимый, извольте встать и отвечать с должным почтением суду.

Арестованный не изменяет позы. Председатель нервно повышает голос.

— Господин поручик, распорядитесь о выводе подсудимого из зала заседания. Суд будет продолжаться в его отсутствие.

Дежурный офицер отдает распоряжения. Конвойные смыкаются вокруг арестанта. Место за перилами пустеет.

— Унтер-офицер полицейской службы Чегрухин, изложите суду, как произошло покушение.

Гигантский городской свидетельствует, что в момент выстрела он стоял рядом с будкой, отдавая честь, и смотрел прямо в лицо его превосходительству, а потому не видел преступника. Таковы же показания других очевидцев. Кучер, тронув лошадей, поворачивал выезд и, когда обернулся на раздавшийся выстрел, то из-за угла кареты увидел только графа, воскликнувшего: «Пуля меня не берет!» Конвойный казак, отехавший от экипажа в виду благополучного прибытия генерала, уже взшедшего на парадный поезд, подскокивал лишь тогда, когда преступника втаскивали в швейцарскую.

Допрос трех свидетелей продолжался ровно семь минут.

— Господин прокурор! Считаете ли вы необходимым продолжать допрос свидетелей?.. Господин защитник?..

Стороны вполне удовлетворены полученными сведениями.

— В виду совершенного разъяснения обстоятельств дела суд полагает допроса остальных шести свидетелей не производить.

Состав присутствия переходит к осмотру вещественных доказательств. Члены суда, председатель, обвинитель и назначенный защитником служащий военного ведомства тщательно ищут разгадку судебной тайны в револьвере системы «Бульдог» центрального боя и в графском мундире с рваным отверстием у клапана правого кармана.

Изучив улики, суд занимает места. Стороны обмениваются краткими речами одинакового смысла. Чувствуется, что все торопятся закончить поскорее эту комедию правосудия.

— Перед уходом суда на совещание слово для последних объяснений будет предоставлено обвиняемому. Господин

поручик, распорядитесь о приводе подсудимого.

Дежурный офицер возвращается с несколько растерянным докладом: подсудимый не идет в зал.

— Примените силу.

Место за перилами снова занято конвойными и арестантом.

Председатель громко и отчетливо прочитывает:

— Петербургский военно-окружной суд в заседании своем от 21 февраля 1880 года определил слугского мещанина Исполита Осипова Молодецкого, покусившегося в среду, 20 февраля, на жизнь главного начальника верховной распорядительной комиссии графа Лорис-Меликова, подвергнуть смертной казни через повешение.

Правительственная месть облечена в установленную предварительную форму судебного приговора.



— Ни о каком смягчении не может быть и речи, Михаил Таризолович (и выпуклые глаза стеклятели от ненависти), власть должна показать себя во всей грозе своего величия! (Он старался походить в такие минуты на своего статного и грозного отца.) Необходимо ошеломляюще ответить всем этим подпольным извергам не только на их вчерашний выстрел, но и на взрыв 5 февраля. Публичный обряд казни будет произведен в самом центре столицы. (Хриловатый голос астматика возвышался почти до крика.) Данной тебе властью ты утвердишь как начальник верховной комиссии приговор суда. Я бы охотно повысил кару на несколько степеней,—чем страшнее мука казнимого, тем вернее обращение оставшихся на путь истины.. (Голос падал, влажная поволока застилала выпуклые линзы под царскими веками.) Покойный Жуковский говаривал, что в смертной казни — великое таинство очищения и спасения заблудшей души (слеза пала на белую эмаль нашейного крестика). Никаких колебаний! Приговор привести в исполнение в двадцать четыре часа.

И, крестясь плавным жестом перед огромным образом богоматери всех

скорбящих, царь коснулся воздушным трехперстием своих наплечных вензелей.

— Завтра к этому времени виселица должна быть разобрана, и Семеновский плац примет свой обычный вид. С нами бог! Да свершится его святая воля...

Завтра — виселица

Он вспомнил горе и страдание, какое довелось ему видеть в жизни, настоящее житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в это горе.

Гаршин — «Ночь».

К вечеру весь Петербург уже знал о приговоре полевого суда.

«Завтра убьют человека, — эта мысль сверлила воспаленный мозг Всеволода Гаршина, — через пятнадцать часов молодая, отважная жизнь оборвется. (Он вспоминал, что лишь несколько месяцев прошло с казни Соловьева, стрелявшего в царя на Дворцовой площади, у главного штаба.) Неужели же снова прольется кровь?..»

Он лихорадочно кружил по тесной меблированной комнате, задевая мебель и молберты художника Малышева, своего сожителя. Тот давно уже спал, изредка лишь сквозь сон ворча на беспокойного друга. Ночь росла, сокращая краткий обрывок осужденной человеческой жизни, неумолимо приближая казнь. Вот пробило полночь, замер огромный дом, затихло движение по Большой Садовой. Только немолчно, упорно, неумолимо, мучительно-однотонно выпевают в торопливом ритме секунд две свои вечные нотки карманные часы на письменном столе. Легкий, еле слышный, едва различимый слухом вечный припев времени... О чем он твердит так неумолимо и упрямо? Вслушаться только в это легкое дребезжание и звенящее постукивание тонкого механизма, и, кажется, тайна упорной мелодии раскрыта: «Каз-нить, каз-нить, каз-нить...» Вот он, ежесекундный приговор неуклонно текущего времени. Ни пощады, ни помилования, ни отсрочки... каз-нить, каз-нить...

Сколько—десять, восемь часов осталось до публичного удушения человека? Неужели же никто не посмеет вступить за него?

Гаршин решается. Он садится к столу и быстро пишет короткое умоляющее письмо диктатору.

Он сам передаст его по назначению.

Черные улицы зимней столицы. Пустынно и холодно. Далеко до рассвета и тихо, как в склепе. Город вымер, и только не спит где-то там, в каземате, доживающий свою последнюю ночь...

Прихрамывая и сутулясь, бредет одинокая тень вдоль газовых рожков Вознесенского проспекта по талому снегу и плещущим лужам. Тонут в мгlistых завесах беспросветные громады ночных зданий. Гаршин по-своему любит Петербург с его огромными зеркальными стеклами, отражающими метель и мрак, с завыванием бури над снежной поляной Невы и заунывным перезвоном курантов. Он знал петербургские древности (собирался писать роман о Петре). Ему мерещились подчас согнанные в грязь и ветры финского побережья бесчисленные работные и мастеровые люди, положившие многотысячной толпой свои кости в основу императорской резиденции. Он знал и другой Петербург с оградами и львами, с оперенными шляпами и черными плащами, с гигантской аркой России и Фальконетовым конем, от которого в ужасе бежал по бесконечным проспектам безумный Евгений, грозивший медному истукану. Это был братский образ, близкий ему через полстолетия. Но больше всего он любил этот сегоднешний, самый подлинный,—его, гаршинский, Петербург с курсистками в маленьких меховых шапочках и студентами в клетчатых плащах, с военными в кепи и протитутками в длинных дипломатах, с художниками в крылатках и лохматыми террористами — весь этот слагающийся на его глазах текущий, изменчивый, неуловимый город протекающего мгlistого и неверного часа Российской империи.

Кутаясь и сжимаясь, до ужаса чувствуя свою затерянность и незащищенность в просторах огромной каменной пустыни, он быстро пересекает площадь.

И словно в согласии с его любимым стихом испуганно бьются перед ним «газовых рожков блестящие сердца» и отчаянно мечутся под ударами ветра, сотрясающего стеклянные колпаки плащадных канделябров.

Вокруг раскидываются чудовищные нагромождения зданий, где невидимо длится ночная лихорадочная жизнь административного центра государства. Экстренно переписываются срочные отношения, вьются на клубном сукне многозначные цифры предугранных кушей, в резервах полицейских участков, полусидя, погружаются в дремоту схваченные на ночь беспаспортные, истерически всхлипывают утомленные скрипки ночных оркестров, и где-то, в глухом ущелье далекого переулка, дописывает сквозь астму и кашель страницу своего дневника впалогрудый и бледный писатель.

С обычным больным напряжением и скрытым надрывом неслышно течет петербургская ночь накануне казни.

Вот и Почтамтская, вот и дом Карамзина. Опросы часовых, суровые отказы, подозрительные взгляды. Наконец согласие допустить к дежурному офицеру.

В просторной комнате, напоминающей штабную канцелярию, его принимает статный белокурый военный с густыми и длинными бакенбардами, почти сливающимися в окладистую бороду. Новое гвардейское поколение уже не подражало во внешности старому царю и старалось во всем походить на наследника-цесаревича.

Дежурный адъютант деловито и отрывочно, но впрочем внимательно и любезно отвечает вошедшему.

— Ни о ком не могу в этот час доложить его сиятельству.

— Но мне совершенно необходимо лично вручить это письмо...

— Граф принимает по вторникам и пятницам, от двух до трех. В это время к нему может явиться всякий, нуждающийся в нем.

— Но я сам офицер, раненный в последнюю войну. Я делал с генералом тяжесть последней кампании... Вы не верите? Я был ранен, хотите—покажу мой рубец...

— Не трудитесь. Но как бывший военный подчинитесь приказу, полученному мною от моего начальника. В настоящий час невозможен прием незнакомому графу лица.

— Но, может быть, граф меня знает...

— Вы служили под верховным командованием его сиятельства?

— Нет, не пришлось. Но я — писатель... Гаршин...

Адъютант всмотрелся в бледное лицо и опромные глаза просителя. Что-то вспомнилось ему — разговоры молодежи, фотографии, афиши.

— Гаршин?

— Да, Всеволод Гаршин, прошу вас, доложите. Это совершенно неотложно...

Офицер что-то сообразил и, видимо, догадался, в чем дело.

— Должен предварить вас, милостивый государь,— с удвоенной любезностью обратился он к просителю, — что доступ к начальнику верховной комиссии возможен в настоящую минуту лишь после предварительного осмотра одежды, белья и всего вообще посетителя.

— Обыскивать... меня?..

Предстоящий унижительный обряд ужаснул его. Но испытующе пронизывал его взглядом белокурый гвардеец, ожидая ответа. «Еще, пожалуй, решит, что я вооружен и потому уклонюсь от обыска...»

Через несколько минут в тесной соседней комнатке, два унтер-офицера под надзором самого адъютанта и жандармского ротмистра тщательно осматривали платье, белье и обувь Гаршина, пока полуголый и босой, сжимаясь от холода, сидел он, стыдясь и дрожа, на швейцарской скамейке, слабонервный и хворый литератор, беззащитный и беспомощный перед четырьмя силачами в сапогах, мундирах и с оружием у бедер.

— Осмотреть подмышками... в подколенных сгибах... — деловито распоряжался ротмистр, — под нижней губою...

И шершавые, закорюзлые пальцы хладнокровно бегали по женски чувствительной коже писателя, шарили в карманах его шубы, выворачивали носки и энергично потряхивали потертой жилеткой.

Наконец надругательство кончилось. — Будьте любезны подождать в канцелярии, — учтиво обратился военный к обысканному, — я доложу о вас графу.

Он поднялся наверх.

Несмотря на поздний час, Лорис-Меликов не спал. В тужурке и бархатных сапогах, в мягкой шитой бисером сорочке, в крохотной плисовой шапочке, он сидел над бумагами: сквозь очки просматривал протокол военно-полевого суда, доклад командующего войсками о порядке завтрашней казни, рапорт коменданта Петропавловской крепости о сделанных приготовлениях к доставке преступника на место экзекуции.

Читая бумаги, он по своей старинной кавказской привычке медленно перебирал крупные янтарные четки на крепкой и пестрой шелковинке.

— Писатель Всеволод Гаршин просит приема у вашего сиятельства...

— Писатель? Гаршин...

Дальновидный стратег сразу сообразил ситуацию. С писателями он чрезвычайно считался. Недаром был в юности другом Некрасова, знал наизусть Лермонтова, с восхищением приводил в разговоре комические афоризмы Салтыкова. Сам себя считал военным автором и отчасти историком. Опубликовал родословную кавказских правителей, написал под диктовку самого Хаджи-Мурата его необычайную биографию. Имя Гаршина помнил, — лишь за три года до того в штабных кругах зачитывались военными рассказами этого волонтера Дунайской армии. К тому же Лорис мечтал о тесной связи с печатью, о завоевании журнальных кругов.

— Вы вполне уверены, что это действительно Всеволод Гаршин?

— Ошибка невозможна, ваше сиятельство. Характернейшее лицо — глаза, борода... Личность не внушает ни тени подозрений. К тому же обыск не обнаружил никакого злоумышления.

— В таком случае приведите его сюда.

Лорис-Меликов накрыл документы о казни листом «Правительственного вестника», застенул тужурку и снял очки. Он по обыкновению обдумывал тон

предстоящей беседы: благожелательность, человечность, но одновременно стойкость и служение закону. Зашуршала портьера из темного сирийского шелка. Да, сомневаться нельзя было: перед ним стоял человек, смотривший смерти в глаза и пришедший молить об отмене смерти. Это было лицо человека, обреченного на гибель. Ужас ширил зрачки огромных лучистых глаз, и мольба о пощаде напрягала все черты, разлилась по лбу, по щекам, по губам, беспомощно полураскрытым. И вот воплем вырвалось из груди:

— Ваше сиятельство, простите преступника, стрелявшего в вас! Пощадите человеческую жизнь.

— Но вы ведь знаете, что не мне было дано судить его. Приговор военно-полевого суда произнесен.

— Вы — сила, ваше сиятельство, а сила не должна вступать в союз с насилием, действовать с ним одним оружием...

— Мы действуем именем закона и во имя спасения государства. Писатель Гаршин должен понять меня: необходимо вырвать с корнем гибельные идеи, угрожающие бытию и цельности нашей великой родины.

— Вырвать с корнем?.. Да, вырвать с корнем мировое зло... Но не виселицами и не каторгами изменяются идеи.

— Чем же вы остановите убийц? — с невозмутимым спокойствием спросил генерал, медленно перебирая свои янтарные четки.

— Только примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего вас, и вы обезоружите людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против вашей груди.

Старый генерал чуть-чуть усмехнулся не без горечи и скепсиса.

— Власть должна быть силою, друг мой, чтоб отечество продолжало существовать...

— Но не труп повешенного спасет Россию, ведь вы это понимаете, вы, человек власти и чести. Я умоляю вас — простите покусившегося на вас, умоляю ради преступника, ради вас, ради родины и всего мира...

— К сожалению, это не в моих силах. Только государю дано право помилования присужденных к смерти.

Он произнес это кратко и сухо, срезал по-военному фразу и решительно смолк. Неумолимая пауза подчеркивала категоричность и бесповоротность заявленного. Тишина стыла в огромном кабинете. Только бронзовые часы на камине короткими, четкими, ритмическими ударами выпевали в два такта немолчный припев неумолимого скорохода—времени: каз-нить, каз-нить, каз-нить..

Генерал бесстрастно и прямо смотрел пред собой. Над ним на узорном персидском ковре поблескивали ятаганы и сабли, изогнутые мавританские шпаги и остроконечные щиты, нагрудные диски янычар с золотой инкрустацией надписей и граненые конусы турецких шлемов с висячими кольчугами. Под литыми ножнами и филигранными рукоятками, на рытом бархатистом ворсе пылала восьмиугольная роза извилистого растительного орнамента, завивавшего свой длинный стебель в арабески непонятного изречения. Цветок, казалось, выступал зияющей раной из пестрой шерсти мусульманских тканей и под обнаженными лезвиями восточных доспехов, словно сочился кровью над самой головой всероссийского повелителя.

Недвижный и неумолимый, он молча смотрел в глаза посетителю. Тот, казалось, только-что понял нечто, прозрел в какую-то тайну. Лицо его озарилось догадкой. Он медленно, неслышно как-то привстал, бесшумно шагнул к столу, наклонился над гигантским бюро, задевая крылатых львов канделябра, и шопотом произнес, почти вплотную приблизившись к лицу генерала.

— А что вы скажете, граф, если я брошусь на вас и ошарапаю: у меня под каждым ногтем маленький пузырек смертельного яда, малейший укол,—и вы мертвы..

Лорис открыто и широко улыбнулся (как был наивен этот восторженный юноша со своими угрозами!). Правитель России решил произнести в назидание историческую фразу.

— Гаршин, вы были солдатом, а я

и теперь, по воле монарха,—часовой на посту, как же вам пришло в голову пугать меня смертью? Сколько раз мы смотрели ей с вами в глаза!

Налет восточного акцента придал особую выразительность этой героической фразе. Писатель медленно поднимаясь и отошел от стола. Он был тронут бесстрашным ответом старика, взволнован мелькнувшим воспоминанием войны и крови, оживившим нависшую угрозу смерти и вызвавшим в сознании простертые в небо изломанные руки виселиц. Он закрыл лицо, опустил в кресло и, не в силах сдерживаться долее, разрыдался.

Генерал сделал вид, что взволновался горем своего собеседника. Он подошел к его креслу, заговорил тоном врача, стал успокаивать общими фразами: «Ну, полноте, полноте... Ведь этак вы расхвораетесь... Поберегите себя...»

Но гость неудержимо вздрагивал от подступающих рыданий. Спазмы мешали ему говорить. Он мог лишь прерывающейся фразой повторять сквозь душившие всхлипывания, как плачущая женщина: «Пощадите... Молодецкого...»

Необходимо было решительным тоном прервать тяжелую сцену; вызвать нужным словом крутой перелом в собеседнике; с достоинством закончить томительный разговор.

И вот он встал, ласковый и мудрый, приветливый и лукавый, сладкоречивый и лживый азиатский дипломат.

— Обещаю вам сделать все, что в моих силах. Сам не имею права милловать, но буду просить государя об отмене казни.

Гаршин поднял лицо, все омоченное слезами, но сияющее:

— О, царь исполнит вашу просьбу, я в этом уверен. Он поймет, он простит—довольно крови, довольно разбитых молодых жизней... О, вы единственный слуга правды в России! Вы спасете человеческую жизнь...

Диктатор дружески жал ему руку.

— Верьте, я хочу пройти сквозь эпоху политических кризисов, не забывая о гуманности...

И он открыто смотрел ему прямо в глаза своим умным и обещающим

взглядом. Восьмиугольная роза персидского ковра светилась над ним пылающим сердцем.

Гаршин с блаженной улыбкой утешенного ребенка проходил по передней карамзинского особняка под вежливым и почтительным эскортом густобородого ад'ютанта.



А в это время на Семеновском плацу, как-раз наспротив Николаевской улицы, при мигающем и беглом свете факелов, под окрики полицейских офицеров плотники из арестантов спешными ударами топоров воздвигали эшафот и сбивали в неумолимо четкую фигуру тонкие, высокие, черные столбы с поперечной перекладиной.

В это же время на станции Вишера Николаевской железной дороги официанты торопливо и тщательно приготовляли заказанный депешью из канцелярии московского генерал-губернатора обильный и горячий мясной завтрак с водками и коньяком для неизвестных и весьма важных пассажиров, следовавших курьерским поездом из Москвы. Это знаменитый палач Фролов, который за год перед тем с успехом выполнил приговор над стрелявшим в царя Соловьевым, экстренно доставлялся теперь жандармскими ротмистрами в Петербург для предстоящей новой работы.

Допрос в равелине

В тот момент, когда Всеволод Гаршин выходил из карамзинского особняка на Большой Морской, в ворота Петропавловской крепости въезжала щегольская карета с зажженными фонарями.

Прибывший в ней молодой, но весьма важный чиновник судебного ведомства проходит в комендантом в Алексеевский равелин, в каземат, где дожидает последние часы Ипполит Млодецкий.

Это — прокурор судебной палаты Вячеслав Константинович фон-Плеве, блестяще выполнивший дознание о взрыве в Зимнем дворце и очаровавший своим точным, исчерпывающим и неумолимым докладом запуганного императора.

Это — восходящее светило петербургской администрации. У него репутация

холодного ума, железного характера, ледяного самообладания. Его прочат в директоры департамента полиции (барон Велли явно устарел и не соответствует новым требованиям крамольной эпохи).

Молодому прокурору палаты снова поручено задание высшей ответственности и первостепенной государственной важности: последний допрос террориста перед казнью.

Млодецкий не ждал этого посещения. Не зная точно, когда совершится казнь, он предполагал некоторое время после приговора провести спокойно, в полном уединении, без новых общений с обвинителями и судьями. Перед уходом из жизни он испытывал легкую отраду в воспоминаниях об иных своих жизненных встречах. Их было немного, и потому они казались особенно ценными. Два-три лица, несколько бесед, возникшие со всей своей живостью из прошлого, отвлекали его от неотступно присутствующей мысли о предстоящем конце. Он не боялся смерти, но последние мысли свои хотел отдать жизни — этой короткой и бедной своей жизни, безрадостной, пустынной и все же неотразимо милой. Юношей в каком-то могилевском захолустье он жил учителем в одной бедной еврейской семье. Патриархальный отец семейства всегда нуждался, сам побирался уроками, но писал стихи, зачитывался Гейне и Берне, увлекался воспоминаниями и надеждами, рассказывал о Палестине и Париже, даже передавал подробности о своем посещении Виктора Гюго. Так странно было представить себе поэта с мировым именем рядом с этим захолустным меламедом... В семье было много детей — и вот запомнилась навсегда девочка-подросток с большими печальными глазами и неожиданным балладным именем Генриетты. Она так внимательно и благодарно слушала его беспорядочные уроки, так благоговела перед его поверхностной ученостью. Уезжая, он думал: еще три-четыре года — и у него будет верная спутница жизни... О, великое счастье не быть одиноким в труде и борьбе! Ведь это — путь к подвигам, к страстной, великой, героической жизни...

Он очнулся от визга тяжелого замка. Перед ним в сопровождении коменданта, жандармов и солдат стоял молодой и хмурый судейский с короткими черными усиками над сочными губами. Лицо его было беспристрастно-правильно, но в своей ледяной безупречности оно казалось самоуверенным до дерзости.

Он присел к столику, не снимая перчаток и фуражки. При тусклом свете чадающей лампочки необычной и странной казалась эта лохотная и щеголеватая фигура под низкими, закопченными сводами каземата.

Спутники удалились. Снаружи у полуоткрытой двери стал часовой.

— Я буду краток,—деловито и сухо произнес судейский.—В качестве служителя закона я сосредоточу свое сообщение на правовой стороне нашего случая.

Он опустил на столик большой сафьяновый портфель с монограммой под дворянской короной.

— Пока государство еще не отняло у вас материального блага жизни, это высшее достояние может быть предметом разнообразных юридических соображений и действий. Об этом я и намерен условиться с вами.

— Никаких условий не приму и ни на какие сделки не пойду. (После первого допроса, сейчас же после покушения, Молодецкий твердо решил не вступать ни в какие разговоры с властями. Этим определилась его позиция на суде.)

— В качестве революционера и, стало быть, политического деятеля вы не можете пренебрегать беседой с противником, особенно в такой критический для вас момент. Сообщество, именующее себя русской социально-революционной партией, стало за последнее время силой, с которой правительство по-своему считается. Вероятно между вами уже распределены портфели, и, может быть, в вашем лице я вижу кандидата в министры народного просвещения или путей сообщения, или, может быть, общественных работ? (Все это говорилось без малейшей усмешки, неумолимо серьезным тоном.) Во всяком случае вы не можете предвидеть последствий и выгод от разговора со мной как для вас лично, так и

для вашего дела, для вашей партии, для ваших соучастников и соумышленников...

— Никаких соучастников у меня не было и нет. В жизни и в борьбе я был всегда одинок.

— Этика терроризма требует от вас такого ответа. Но если я скажу вам, что нам известно ваше поведение перед пятым февраля, когда вы бродили вокруг Зимнего дворца, заглядывая накануне взрыва в окна подвального помещения? А если вы сообразите к тому же, что вся обстановка взрыва указывает на существование целой группы заговорщиков, вы поймете наш интерес к тому, что вы могли бы сообщить нам...

— Вы даром тратите слова. Вы ничего от меня не услышите.

— Я не собираюсь вас уговаривать. Но мой долг служителя закона сообщить вам, что государь император обладает высокой прерогативой отменять смертную казнь даже в самую последнюю минуту, когда приговор уже публично прочитан осужденному. Я уполномочен передать вам, что в случае получения от вас достоверного и полного сообщения о лицах, пронесших динамит в царские покои и произведших взрыв в Зимнем дворце, вам будет дарована жизнь. Сообщаю вам это именем государя,—вы не можете не верить такому заявлению, которое я впрочем готов повторить в присутствии избранного вами свидетеля.

— Все это несколько не интересует меня.

— Вы словно забываете, что политика—прежде всего расчет. Для члена партии, претендующей на смену власти в стомиллионной империи, было бы непростительным ребячеством пренебречь малейшей выгодой своего дела из-за сентиментальной фразы или мелодраматического жеста. Едва ли мы проведем друг друга подобной театральщиной! (Он поглядел на него пронизательным, ироническим и зорким глазком). Но есть факты, о которых нам еще стоит потолковать. Взвесить их крупнейшее практическое значение и произвести обмен взаимными выгодами, хотя бы и ценю некоторых так называемых компро-

миссов, нам не только надлежит, но вменяется в прямую обязанность высшими интересами представляемых нами сторон. Вы нужны революции так же, как сведения, которые я жду от вас, нужны российской государственности. Ежели в вашем лице я вижу вполне зрелого политика, вы не станете возражать против целесообразности предлагаемой вам сделки. Она категорически диктуется текущим моментом, как рациональнейшая мера, от которой участник борьбы, правильно понимающий ее внутренние законы и неизбежную очередность ходов, не имеет права уклоняться. Не стану говорить о личном значении ее для вас. Напомню только, что вам всего двадцать пять лет и перед вами вся ваша будущность. Не ошиблись ли вы 20 февраля, самоотверженно бросая себя на растерзание и погибель? Не долг ли ваш исправить эту страшную ошибку, пока еще не поздно? Сообразите только, как это просто: несколько имен, написанных на этом листке, и вы не будете корчиться в петле, на площади, перед тысячной толпой, с разломанными горловыми хрящами и вывихнутым позвоночником...

— Да здравствует народная воля! — гулко пронеслось под сводами. — Вы и ваш император погибнете худшей смертью!

Прокурор палаты чуть изменил свою неподвижную позу, но тут же с полным хладнокровием уронил ядовитую реплику.

— Однако вчера, стреляя в начальника верховной комиссии, вы дали промах.

— Выстрел был верен. Лориса спасла его кольчуга под мундиром. Но смертный приговор партии неустрашим. Все правительство царя будет истреблено вместе с ним! Вы все осуждены на гибель!..

— Вы прекрасно знаете, что верховная власть равнодушна к запугиванию революционеров, — произнес прокурор после некоторой паузы. — Слуги русского монарха стоят выше личного страха. Но вы упускаете из виду, что ваша деятельность чрезмерно опасна для вашего же дела, ибо она может вызвать в русском

народе такое озлобление, пред ужасом которого побледнеет и сам революционный террор. Ведь вы по национальности еврей. Никакое крещение не вытравит из вас вашей крови... Не играйте же с огнем. Не доводите русский народ до отчаяния, не вызывайте его неуправляемых стихийных сил на антитеррористическую борьбу. Знаете ли вы, что останется от ваших затхлых местечек, от всех этих безудельных городишек и нищих кварталов, если гнев народа пройдет по ним карающим разгромом? Кровь и пух! Вы трупов своих не досчитаетесь. И вам как политику и революционеру я заявляю, что правительство применит эту меру и ответит на ваши выстрелы и подкобы массовыми избиениями вашей нации. Это входит ныне в программу власти, как слепой террор вошел в боевую программу вашего исполнительного комитета. Избиение евреев — испытанное средство для усиления государственной мощи и поражения смутьянов. Вы конечно верите, что я не просто угрожаю вам, а сообщаю вполне достоверные факты.

Он раскрыл свой портфель.

— В подтверждение моих слов могу сослаться на документы.

На столик легла довольно об'емистая папка. При тусклом свете тюремной копилки можно было различить каллиграфическую надпись писарской рукой.

Докладная записка прокурора палаты В. К. фон-Плеве о борьбе с террористами путем насильственного сокращения еврейского населения на Юге империи.

— Доклад этот удостоился одобрения его величества и вызвал особый интерес наследника-цесаревича. Верховным правительством уже принято важнейшее решение. Оно не может не интересовать вас.

И, чуть полистав свою рукопись, он стал излагать основную идею своего проекта.

Нечто странное происходило с прокурором палаты. Натянутые ли нервы следователя начали сдавать на исходе бессонной ночи, угроза ли Млодецкого за-

дела напряженное самолюбие азартного игрока, почуявшего приближение проигрыша, увлекла ли идея задуманной мести, или, может быть, опытный судейский решил прибегнуть к последнему средству эмоционального воздействия на упорствующего слушателя, но только Плеве незаметно сменил ледяной тон допроса на затаенное воодушевление обвинителя и заговорщика. Бесстрастность доводов и замороженность слова уступили место некоторой взволнованности речи и даже сдержанной патетике выводов. Казенную анкету чиновника сменило образное красноречие реформатора, увлеченного размахом и перспективами своего государственного замысла.

Он даже чуть наклонился через стол к Млодецкому как бы для более интимного сообщения.

— Без всяких указов и циркуляров мы создадим в мелкой и густой массе городских низов—всех этих приказчиков, трактирщиков, кучеров, лакеев, денщиков и дворников—неуловимое и непоколебимое убеждение, что имущество и личность еврея не пользуются охраной закона. Ничего не приказывая и официально не одобряя, мы внушим громадам уверенность, что погромы разрешены правительством и угодны царю. Мы возродим кровавые легенды и пустим возмутительные слухи. Наши губернаторы и полициймейстеры будут молчаливо и бездейственно наблюдать за событиями, правительственные органы станут одобрять их невмешательство, знаменитые иерархи в посланиях к народу оправдают его месть и заострят его ненависть к жидам. Мы пройдем по крупнейшим городам и разольем движение по целым губерниям. На ваши выстрелы в царя и его помощников мы ответим вам, господа социалисты из гетто, такой кровавой баней, о которой тысячелетия ваши летописцы и виршеплеты будут проливать потоки слез, проклятий и жалоб. На единичные случаи вашего террора мы ответим вам несслыханным потоком и разграблением. Мы покажем мощь самодержавной власти в ее верховном гневе и священной мститель-

ности. Кровью еврейских женщин и детей мы впишем такую потрясающую страницу в историю иудейского племени, пред которой побледнеют все библейские lamentации о гонениях и терзаниях избранного народа.

На бледном, выточенном лице Плеве угольками тлеи большие, чуть выпуклые глаза под лакированным козырьком судейской фуражки с литой аллегорией закона на зеленом бархате. И алчно раскрывались и шевелились под черными усиками его сочные губы, отчетливо и звучно произносившие свои отвратительные угрозы. Плевe заканчивал ответственный допрос на трудном следственном приеме застраживания и моральной пытки. Он обычно делил следователей на четыре категории—формалистов, сыщиков, инквизиторов и художников. Но следователь высшего типа должен был, по его мнению, сочетать в своем лице всю классификацию и в течение допроса маневрировать всеми методами. Этой системой считал он возможным выследить все, вплоть до биения сердца. Начав, согласно теории, с холодного допроса и казенного розыска, он заканчивал жестокими угрозами, облеченными в эмоциональную форму отталкивающего пророчания.

— Этим молчанием вы обрекаете, может быть, тысячи ваших единоверцев на мучительную смерть. По Российской империи еще пройдут такие побоища вашей вечно возбужденной, беспокойной и назойливой нации, пред которыми побледнеют запомнившиеся человечеству весьма рациональные правительственные меры Ирода и Торквемады. Я заявляю вам это как государственный деятель, взвешивающий каждое слово: если вы не разоружитесь, мы сотрем вас с лица земли.

Млодецкий с отвращением смотрел в лицо своего следователя, гневно сжав губы. Пока тот говорил, он, слушая, невольно видел перед собой столь знакомые ему с детства захолустные местечки и городишки, тонущие в литовских и белорусских грязях: тесные улочки, по которым суетливо движутся длинные черные сюртуки, порыжелые, засаленные

и потертые, мелькают согбенные спины и понурые лица, лихорадочно плещут возбужденные руки под уныло вопрошающие интонации напевного и пестрого говора. Этот странный и печальный мир, вобравший в себя изнурительный груз тысячелетних воспоминаний о скальчествах по трем материкам, весь замкнулся теперь в узкие границы между базарной площадью и молитвенным домом, словно отрекшись навсегда от новых кочевий, просторов и ожиданий. Сорок веков, Египет и Азия, Испания и Нидерланды—все дряхлые предания и надежды укрылись теперь, изнемогая и мертвее, в эти непроходимые кварталы, по которым израиль северо-западных губерний упорно и безнадежно волочил в нищете и отречениях древние запыленные сны Халдеи и Вавилона. Сын слупкого торговца ужасался этому глубокому застою мысли, ревниво отгородившей себя от бодрого шума современности и слепо хранившей окостенелые законодательства и поучения за ветхой бархатной завесой с вышитыми львами. Но, измумляясь и возражая, он все же знал, что ему никогда не оторвать сердца от этой загнанной и униженной толпы, растоптанной горем и обидами, над которой вздымал теперь ужасающий кулак громалы лощеный петербургский чиновник, призванный стоять на страже государственного порядка.

Млодецкий поднялся. Большими, решительными шагами прошелся по камере

— Ваша месть не страшнее вашей милости,—произнес он решительно и сильно, но с некоторым налетом напевных интонаций лиговского гетто.—Вы считаете себя полновластными, и вы не знаете, что над вами уже произнесен смертный приговор. О, если б вы имели уши, вы бы слышали, как роются подкопы под вашими ногами, как закладывается динамит под насыпями царских маршрутов, как замыкаются батареи под сводами дворцовых подвалов. Вы думаете задушить невинных, и вы не понимаете, что гибель уже захлестывает вас... О, не было еще в истории палачей, более жалких и обреченных!

Не теряя спокойствия, но с явным неудовольствием прокурор палаты поправил свои перчатки и продвинул подмышку портфель в знак наступления последней реплики.

— Итак, вы не намерены оставить эту нигилистическую риторику,—произнес он, брезгливо сощурившись.—В последний раз я спрашиваю вас, — прошу заметить, что в этот момент бесповоротно решается вопрос о вашей жизни и смерти,—сообщите ли вы мне имена ваших сообщников?

Млодецкий почти вплотную подошел к своему следователю. Тот даже несколько откинулся на своем табурете.

— Знаете ли, как ответил недавно на такой же вопрос шефу жандармов Сергей Нечаев, восемь лет томящийся в этой могиле? Вспоминаете? Нет? Он отвесил ему пощечину!..

Плеве порывисто встал и даже опрокинул табуретку. Он сделал два шага к дверям.

— В таком случае знайте, что завтра же утром вы будете болтаться в петле. Это—не фраза и не угроза. Вам осталось жить не больше пяти часов.

И прокурор палаты, искусно сочетавший в своем лице инквизитора, сыщика и художника, торопливым шагом оставил каземат.

Млодецкий опустил на свою койку. Известие о немедленном приведении в исполнение приговора несколько не встревожило его. Он был готов к смерти. Ему только было досадно, что последняя ночь опозорена этой отвратительной пыткой. И сквозь обиду невольно пробивалось наружу неуловимое, почти неосознанное удивление: казалось почему-то невероятным, что эти подвижные, уверенные руки, это здоровое, молодое тело, эти зоркие и пытливые глаза через несколько часов застынут и омертвеют. Инстинкт жизни почти подсознательно выбивался из-под волевого напряжения мысли.

Раздумье его было прервано тюремщиками. Последняя кружка чаю, предсмертное переодевание: грубое белье, арестантский черный армяк, уродливая бескозырка с наушниками.

На рассвете его вывели в тесный дворик рavelина. У ворот чернела высокая, нелепая, громоздкая колымага на огромных колесах, тяжелая, как дроги, с обернутым назад сидением и подвешенной узкой лесенкой.

По шатким ступенькам он твердо вошел на позорную колесницу.

Казнь Молодецкого

Царский юбилей был ознаменован виселицей. Какую едкую иллюстрацию царствования устроила судьба.

Из листка «Народной воли» 1880 г.

Всеволод Гаршин бродил до утра по пустынным улицам. Он был счастлив. Особое, ни с чем не сравнимое блаженство ласкало его воспаленный мозг: сознание совершенного большого и благого дела, спасение молодой человеческой жизни окрыляло его. Что литературная слава! Спаси своим словом хоть одного обреченного—вот величайшее счастье, выше которого нет на земле.

Уже совершенно рассвело. Улицы поутреннему оживились. Суегливо сновали дворники, молочницы, газетчики. Прошли гимназисты, чиновники. По Невскому прозвенела конка. Он по-особому воспринимал эти раздражающие бубенцы пробуждающегося города—

Общественных карет болтливые звонки..

Этот стих его друга как-то по-братски, утешительным и ласковым голосом примирял с жесткой суетой утренней столицы.

Задумавшись, он вышел к Николаевской. Откуда такая толпа народа на обоих тротуарах? Куда несет весь этот люд? «Да поторапливайся, — раздалось сбоку, — небось, вся площадь запружена, верхушки виселицы не увидишь...»

Он содрогнулся. Виселица? Быть не может! Ведь диктатор дал ему слово. Впрочем, может быть, население еще не знает об отмене казни. Ведь такое не сразу становится известным. Они еще не догадываются, все эти чуйки, тулупы, салопы, шинели, какое счастье ожидает их! Прощение осужденного, спасение

приговоренного к смерти. Не величайший ли это день в его жизни?

Гаршина вынесло с толпою из русла Николаевской улицы на главное место петербургских казней. Густые толпы заливали Семеновский плац вокруг голых, черных и страшных сооружений в самом центре площади. Испуганными глазами он окидывает поле. Высокая, узкая виселица. Черный, позорный, отточенный по форме восьмигранника столб, некрашенная деревянная платформа. На скамейке белый колпак и длинный холщевый халат. Рядом дощатый гроб, окрашенный в черную краску. С поперечной балки виселицы свешивается веревка. Он с содроганием отворачивается. Пройти бы и стать в стороне. Но толпа клоочет тугой и плотной массой, суживая свои концентрические круги к зловещему центру плаца. Ему отовсюду закрывают пути, его сжимают и неумолимо влекут, словно в узкое горло воронки, все ближе и ближе, туда, к безлюдной и голой площадке смерти.

Вот уже четко различимы все части мрачного парада.

Вокруг эшафота замкнуто каре гвардейской пехоты. За ним, ближе к виселице,—жандармский эскадрон. Впереди—хор барабанщиков. Сдержанным гулом гудит на версту кругом океан несметных человеческих лиц.

Людским потоком прихлынуло Гаршина к самой войсковой ограде. Вокруг ящики, бочки, скамейки—подножья для зрителей. Рядом, у самой военной изгороди, в малом прямоугольнике, охраняемом жандармами,—несколько штатских в нарядных бекешах, в темных перчатках. Они внимательно оглядывают местность и заносят какие-то сведения золотыми карандашиками в щегольские записные книжки. Это корреспонденты больших иностранных газет. «Фигаро», «Таймса», «Винер-прессе». Гаршина почти вплотную прибило к этой малой площадке. До него доносится беседа журналистов.

— Сложное сооружение,—говорит по-французски господин с острой седой бордой своему сухому, высокому, бледному спутнику с коротко подстриженны-

ми золотистыми усами,—ведь гильотина гораздо проще... Обрез для сигары.

— О, в Тауэре техника повешения на большой высоте,—отвечает англичанин.

— Если уж нужно непременно удешевить человека, а не отсечь ему голову,—продолжает француз,—я готов предложить на столбах «Фигаро» всем европейским правительствам испанскую гарротту.

— Это что же?

— Столб с железным кольцом. Повертывая ручку, сжимаешь винт и удавливаешь осужденного. Необыкновенно просто, чисто и быстро...

— А как производится операция?

— Связанного преступника сажают у самого столба. Накидывают на голову платок. Кольцо размыкается и схватывает шею. Несколько движений руки палача—и все кончено. Снимают платок с головы—фиолетовое лицо. Так в прошлом году казнили в Испании Оливу Монкасси, покусившегося на короля... Однако, что там за оживление?

Гаршин вслед за журналистами поворачивает голову. Размыкается передний фас гвардейского квадрата. Подъезжает карета. Судейские чиновники неторопливо поднимаются по ступенькам малой эстрады. Впереди молодой, невысокий, довольно плотный человек в ослепительно белых перчатках, с каменно-бесстрастным и строгим лицом под форменной треугольной шляпой. Седые члены магистратуры словно признают его своим начальником. С поднятой головой и нахмуренными бровями, крепко сжимающая губы под стриженными черными усиками, он твердо шагает по ступенькам платформы.

— Это—молодой Плевел, прокурор палаты,—сообщает корреспонденту-англичанину его старший коллега-француз.— Говорят, очаровал императора личным докладом о взрыве в Зимнем дворце. Скоро будет министром.

Гаршин уже слышал это имя восходящего фаворита. Жадно следит за его властным шагом. Вот он подходит к перилам. За ним — судейские, пристава, околоточные, жандармские офицеры.

«Очевидно прокурор палаты и прочтет указ об отмене казни. Жаль, что

такой суровый чиновник возвестит осужденному о прощении. Акты о помиловании должны были бы прочитываться женщинами...»

Снова передний фронт штыков перестраивается и образует проезд. Во весь опор несется извозчичья карета с городовым на козлах. Сквозь стекло виден внутри полицейский офицер. Вот он выходит у самой площадки, выводя за собой огромного, коренастого, атлетического мужчину в синей поддевке, с тупым бородатым лицом.

— Это—лучший палач в правительстве царя Александра,—сообщает соседу француз,—бывший разбойник Фролов...

— О да,—флегматично отзывается англичанин,—этот правитель стал теперь видным общественным деятелем России.

«К чему же палач, если помилование? Ведь Молодецкий прощен безусловно. Ведь слово диктатора—высший закон, перед которым склоняется сам царь... Верно, выполняют весь обряд и в последнюю минуту останавливают палача. Так, кажется, водится...»

Рассеянный гул несметного человеческого скопища возрастает и ширится. Неистощимый людской поток устремляется на площадь сплошной черной лавой, словно стиснутый высоким ущельем Николаевской улицы. «Везут, везут!»—гулко разносится по плацу.

Позорный поезд выезжает на место казни.

Зорким взглядом художника ловит Гаршин мелькающие черты картины. Мелкой рысью проезжают казачьи сотни, конвоирующие колесницу. Быстрым шагом проходит лейб-гренадерская рота. И вот медленно и скрипуче продвигается вдоль живых изгородей охраны окруженная цепью конных жандармов, несуразно высокая, промоздкая черная повозка с особым возвышением и лестницей. К железным толстым прутьям скамьи, спиною к кучеру, привязан руками бледный человек в черном арестантском халате из толстого солдатского сукна. Маленькая, круглая, приплюснутая шапочка с несуразными висячими

наушниками покрывает его голову. На груди его покачивается черная доска с белоснежной кричащей надписью: Государственный преступник.

Лицо его в черном обрамлении халата и головного убора кажется бледным. Глаза беспокойно горят и оглядывают толпу, словно в поисках затерянных друзей. Сдавленная усмешка кривит угол рта. Голова не перестает лихорадочно двигаться—единственное, на что еще остается право и возможность у осужденного.

С бесконечной любовью смотрит Гаршин на юношу в черном халате. Волна нежности поднимается горячим потоком к сердцу и заливает все его существо. Так вот он, обреченный на смерть и спасенный мучительным подъемом его воли и мысли... Им возвращенный к жизни. Перед этим мальчиком еще годы труда, радостей, может быть, славы... Не высшее ли счастье вернуть человеку его право дышать и мыслить?

За колесницей наемная карета со священником. (По новому правилу церковь сопровождает преступника на всем его скорбном пути к искупительной смерти.)

За каретой ломовик (для отвоза гроба?). Бьют барабаны, и взвизгивают флейты. Колесница въезжает в разомкнутое войско. Фронт немедленно смыкается.

Палач снимает связанного человека с колесницы. Он ставит приговоренного, как куклу, к восьмигранному позорному столбу на черном помосте. Раздается команда «на краул!». Военные чиновники поднимают руки к козырькам. Исполнитель приговора сбрасывает с осужденного его ужасающую форму. Густые черные волосы Молодцкого чуть шевелятся на ветру.

На площади глубокая тишина.

Осрамительный обряд наказания выполнен. Градоначальник с рукой у козырька приближается к прокурору судебной палаты

— Все готово для свершения последнего акта правосудия.

Плечо подходит вплотную к перилам платформы. Стиснуты брови под высту-

пом треуголки. Еле разжимаются сочные губы под черными усиками. И вот учтиво звучит обращение прокурора к поручику гвардии.

— Прошу прочесть приговор.

Молодой человек шагает вперед и читает звонким голосом бумагу.

Гаршин настроенно слушает. «Сейчас раздастся отбой и Молодцкого отвяжут от столба... Так было с Иштугиным...» Он слышал, что в некоторых случаях смертная казнь по высочайшему повелению заменяется обрядом политической смерти. Преступника приводят на эшафог и ставят под виселицу, совершая над ним все подготовительные действия, предшествующие повешению. Но в последний момент прочитывается высочайшее повеление, дарующее жизнь. Напряженным слухом Гаршин ждет формулы помилования. И вот отчетливо долетает до него последняя фраза протокола.

— «Приговор петербургского военно-окружного суда подтвержден главным начальником верховной распорядительной комиссии».

Что-то обрывается и стремительно обрушивается в сознании Гаршина. Начальником верховной распорядительной комиссии? Возможно ли? Перед ним выступает из мерцающего сумрака ласковый, благосклонный, человечный и чуткий мудрец, утешающий его в горе и открывающий перед ним великую стихию сердечности и всепрощения, пока восьмиугольная роза пылает над ним пунцовой лампадой, а бронзовые часы неумолимо отбивают свое: казнить... казнить... казнить...

Священник в эпитрахили и с серебряным крестом приближается к осужденному. Последнее равнодушное слово благоденствующего человека к человеку, обреченному на удушье. Молодцкий во все стороны раскланивается с народом. С черной плахи звучит и разносится по площади молодой, отчетливый и спокойный голос:

— Я умираю за вас...

Резкая, повышенная, учащенная дробь барабанщиков прерывает осужденного.

Пронзительно и надрывно визжат навойлывые флейты.

Смертника возводят на возвышение под виселицей. Он молчаливо становится под поперечную балку, с которой свисает веревка. Слева палач, прямо платформа с властями, справа священник с крестом. Бородатый атлет в синей поддевке неторопливо облачает приговоренного в холщевый халат—длинную белую робу висельников. На лоб надвигается белый башлык, на шею накидывается петля. Арестанты-помощники поднимают осужденного на скамейку.

Все приготовлено для удушения. Барабаны сплошной дробью отбивают отходную преступнику.

Заплечный мастер подает условный знак. Один из арестантов осторожно натягивает веревку. Ястребиным взглядом, весь изогнувшись, следит огромный Фролов за медленным натягиванием струны, ожидая единственного нужного ему мгновения... Гибкая линия между деревянной перекладиной и человеческой шеей выпрямляется...

И вот резким, решительным, отрывистым движением палач вышибает скамью из-под белой фигуры.

Дрогнула веревка, выпрямилась, натянулась, напряглась—и в воздухе закачалось человеческое тело.

Глухой, подавленный возглас прошел по морю голов...

Несколько мгновений повешенный борется со смертью. Судорожно движутся руки и ноги, словно лоя под собой отскочившую опору. Тело бунтует, и жизнь отчаянно спасает себя. Конечно, сти мечутся томительно долго—восемь, десять, двенадцать минут, слабея и все еще дергаясь. Вот пробегают по телу едва заметные судороги, медленные, волнообразные, с какой-то ужасающей выделанностью. Это было почти невыносимо наблюдать по жуткой вкрадчивости последних замирающих содроганий.

(В минуту острых тревог мозг Гаршина работал всегда с поразительной ясностью; ужас не помрачал, а прояснял до холодной прозрачности мысль и память. Спокойнее всего он был на войне, среди крови и трупов. Бесстрастно рас-

сматривал под Аясларом мертвое тело турка, подожженное казаками: черная бесформенная туша, вся в трещинах, обнажающих красное мясо, оскал белоснежных зубов на обугленных деснах, отвалившиеся ступни, оголенные кости. И как хладнокровно, с пристальной зоркостью медика или художника, в облаке едкого смрада изучал он полусожженное тело, запоминая подробности и тщателью фиксируя в сознании вид ужасающего трупа. И так всегда: перед страшнейшими язвами жизни вспоминал страницы научных книг, препараты музеев. Начетчик в ботанике и психиатрии, он наблюдал как исследователь и определял как ученый. Корчи повешенного словно распахнули перед ним анатомический атлас. Казнь была для него вдвойне ужасной.)

Расширенными зрачками следит он за метаниями тела в траурной оправе виселицы. Он видит отчетливо все, что совершается там, под мешком, в башлыке, туго затянутом бегущей петлей. Недаром дружил со студентами-медиками, ходил в лечебницы на разбор больных, зачитывался клиническими руководствами. Теперь он зорко следит за движениями умирающего и твердо знает: вот помутилось зрение казнимого, зазвенело в ушах его, острая боль пронзила глотку. Вот слух прорезан свистом, гул наполняет череп, в глазах трепыхаются молнии, ожогом пылает гортань, свинцом наливаются ноги. Вот гаснет сознание. Судорожно сокращаются мышцы лица, по сине-багровым щекам пробегают гримасы агонии. Вербка сжимает тисками горловые хрящи, зубы впились в язык, по губам протекла сукровичная пена...

... Отбивают дробь барабаны.

И вдруг бурное, яростное дерганье всего тела, кидающее повешенного в диких полуборотках слева направо, назад, вперед, словно мечущее агонизирующего в невообразимых пируэтах какой-то дьявольской пляски смерти. «Крепкая, гладкая веревка, узел на самом затылке,—вероятно разрывы сонных артерий, вывих позвоночника...» И вот сумасшедший круговорот опутанного тела, последние конвульсивные сокращения

мертвеющих мускулов—и все внезапно и резко прервано. Жизнь оборвалась под холщевым мешком. Труп наконец неподвижно повис.

— Вздернутый в одиннадцать часов восемь минут, осужденный застыл в одиннадцать двадцать, — спокойно констатировал корреспондент «Фигаро», следя за секундной стрелкой часов.

— Ровно двенадцать минут длилась агония,—заклучил молодой англичанин, методически занеся карандашиком цифру в карманную книжку.

Сильный ветер покачивал тело.

Но теперь оно болталось, как мешок, грузно и мертвенно, без малейшей внутренней дрожи. Человека не было. Трагедия закончилась. Колебался на весу закутанный труп.

Обрывается пронзительное тремоло барабанов.

Неподвижно, томительно долго, безмолвно и каменно стыннут на своих местах судебные власти, гвардия, палач, арестанты. (Согласно распорядку в течение получаса после повешения все пребывают на своих постах, и обряд казни не считается законченным.) Перед десяти тысячной толпой, меж длинных черных столов, бесконечно долго висит, покачиваясь на ветру, мертвое тело. Носки башмаков ужасающе прямолинейно вытянулись к земле.

И вот раздастся наконец приказ прокурора:

— Снять тело с виселицы!

Белую куклу опускают в дощатый гроб. Полицейский врач с кокардой и в больших голубых очках выполняет последнюю формальность: он подтверждает властям, что человек, провисевший сорок минут с петлею на шее, по состоянию его венозных артерий и положению зрачков действительно умер. Немедленно же прокурор палаты твердой поступью, с высоко поднятой головой, сходит с площадки и садится в карету. Распорядители казни оставляют площадку. Гроб заколачивается. Одноконная ломовая телега увозит тело казненного на одну из окраин.

Медленно растекалась толпа по переулкам, проспектам и улицам. Стучали топоры, сносившие эшафот (к трем часам по приказу площадь должна была принять свой обычный вид). Сутулясь и пошатываясь, брел по Николаевской улице Гаршин. Что-то болезненно надорвалось в нем, мучительно и страшно искажилось. Словно перерезали по живому. Все почему-то вокруг теряло смысл и значение, становилось как-то странно пустым, бесцельным и неважным. Люди, коляски, конки? Так какое-то бессмысленное мелькание чужого, отходящего, далекого и ненужного, звучание и плеск из другого мира. И только эта острая боль, испуг и обида, и страшный огромный, безнадежный вопрос, раскрытый, как рана... Слезы подкатывали к ресницам, что-то сжимало горло. Хотелось плакать и чему-то недоуменно смеяться. Ведь бессмыслица всегда смешна! Он шел, бормотал, разводил руками восклицал и всхлипывал. Неимоверно высокой и режущей нотой стыл в уши неотвязный визг военных флейтчиков. Брови приподымались с выражением невыносимого страдания. Губы шевелились спазматически, как у плачущего. Мальчишки по пути бежали за ним, пердразнивая его жесты и заливаясь хохотом. Прохожие угрюмо оборачивались и сокрушенно покачивали головами.

Дом погибающих

Теперь грозное время Наступают такие минуты, что только сильным духом перенесут их.

Г а р ш и н. — Письма матери

Он лежал, прочно привязанный длинными рукавами смирительной рубахи к железным прутьям нумерованной койки. Припадок медленно проходил, смутные и яростные видения отступали перед более отчетливыми представлениями. Но в этом переходном состоянии действительные и верные образы еще искажались до состояния мучительного, хотя и тихого бреда. Ему казалось, что руками тюремного халата он крепко привязан к железным прутьям позорной колесницы. Или длинными холщевыми полосами смертного савана он укреплен

к черному столбу эшафота. Длится нескончаемая публичная казнь.

— Вам не больно?—раздается над ним участливый голос.

Он раскрыл глаза. Над ним стоял человек в больших голубых очках.

— Кто это? — с испуганным недоумением спросил больной.

— Я—ваш врач. Я пришел облегчить вам ваши страдания.

— Вы хотите... Вы хотите определить по состоянию венозных артерий и положению зрачков, что я, повешенный и провисевший с петлею ровно сорок минут, действительно умер?

«Мысль приобретает отчетливость и речи возвращается точность, — подумал врач.—Воспоминание еще попрежнему фиксировано, но уже заметно проясняется. Сознание еще во власти поразившей идеи, но уже успокаивается, наступает переходное состояние. Приступ проходит. Если б вызвать перелом,—смех или слезы,—мог бы наступить светлый промежуток...»

— Напротив, я хочу освободить вас от вашего плена и вернуть вас к жизни,— весело сказал доктор.—Развяжите рукава больному,—приказал он своим невидимым спутникам.

У кровати появились два огромных человека с чужими и замкнутыми лицами. «Это палачи»—подумал больной. Но он был так слаб, что ничему уже не мог сопротивляться.

— Это—мои помощники,—сказал доктор, следя за взглядом больного.—Это—фельдшер и сторож, которому поручено заботиться о вас. Ну, вот вы и свободны. (Узкий горячечный камзол из плотной ткани освободил пленника.) Теперь наденьте туфли и халат. Вот так. Пройдитесь по комнате... Давайте побеседуем.

Он сел спиной к окну и стал внимательно следить за своим пациентом, начавшим медленно и нерешительно раскачивать по камере от своей койки к двери. Задняя стена комнаты, совершенно гладкая и белая, без окон и дверей и без всякой мебели или изображения на ней, заметно привлекала его тревожное внимание.

— Почему вы избегаете ходить в глубине комнаты? Ведь там вы в такой же безопасности, как и здесь, у окна...

Больной мягко шагнул к врачу, согнулся, притаился и, указывая таинственно в глубь комнаты, почти шопотом стал говорить ему.

— Там, за этой стеной, живет старый граф, с которым у меня будет дуэль (и кроткое лицо больного вспыхнуло ненавистью). За нарушенное слово, за погибшую жизнь он ответит мне своею кровью. Дуэль на самых тяжелых условиях, хотя бы на ятаганах,—я готов! Я не боюсь смерти...

«Состояние мании еще не вполне миновало,—отмечал мысленно врач,—и все же возбуждение уже заметно спадает».

— Вы—писатель, вы не созданы для убийств и кровавой мести,—твердо сказал он,—вы должны бороться мыслью и словом. В этом—ваше призвание...

— Однако я проливал кровь вот этими руками, я—политический преступник. На моей совести изувеченные и уничтоженные жизни... Я был добровольным убийцей, никто не вынуждал меня идти на фронт, я сам призвал себя, я думал, что на войне можно жертвовать собою, не приобщаясь к убийству. Я стрелял вихревым огнем, обойма за обоймой, сотни патронов посылались моей волей, моей зоркостью, напряжением моих мускулов в сплошную массу людей, столь же неповинных в бойне, как и я сам. От книг, от ботаники, от химии, от художественных выставок я бросился очертя голову в ложементы, чтоб стрелять в людей. Все мы—палачи, все мы забрызганы человеческой кровью, все мы связаны круговой порукой смертоубийства...

«Melancholia agitata, — думал врач,—беглость мыслей и нагнетание жалоб...»

— Вы только доблестно исполнили ваш долг гражданина, — с невозмутимым спокойствием отвечал он больному.—Во время войны, когда гибли наши братья, вы не хотели быть в безопасности, вы пошли на гибель, жертвуя собой. Теперь же вы вернетесь к вашему труду. Вы скоро совершенно оправитесь от вашего нездоровья и напишете но-

вый замечательный рассказ. Я уверен в этом Уже предвкушаю, как буду наслаждаться «Отечественными записками» с новой вещью Всеволода Гаршина.

Больной чуть улыбнулся виновато и беспомощно.

— Этого уже не будет. Я уже не могу ни служить, ни работать, ни писать... Я—полный банкрот. Во мне все остановилось. Впереди — нищета, болезнь, смерть.

— Болезни вылечиваются, работоспособность и бодрость возвращаются. (Голос врача звучал уверенной и правдивой интонацией.) Ведь вы—Всеволод Гаршин, вы слышите Всеволод Гаршин, написавший «Четыре дня»! Вы—знаменитый писатель. Россия полна вашей славой.

Речь звучала громко и властно и все же, как из другого мира, как из далекого прошлого, чуждо и безжизненно.

— Во мне сломалась пружина воли. Все напряженное, сильное, стремительное разбито во мне, распалось... я это чувствую. Остались обломки человека. Разве обломки могут творить, строить, бороться? Они могут только распасться...

— Вы должны верить в себя,—все громче и решительнее раздавался голос врача,—вот вы уже возвращаетесь к жизни и, стало быть, к творчеству. Вы увидите — мы с корнем вырвем вашу болезнь...

И он сделал энергичный жест рукою, словно вырывал цепко ушедший в почву куст плевелов.

— Вырвать с корнем?.. Да, да, вырвать с корнем губительные идеи... Вырвать с корнем из жизни источник зла—уничтожить человека, впитавшего в себя всю невинную кровь, все слезы, всю желчь человечества. Тогда все будет кончено, все спасено! Мир сразу освободится от всех виселиц, винтовок, окопов...

Он бессильно опустил на край своей койки и закрыл лицо бескровными и хрупкими, словно женскими, руками. Врач уже не возражал, не утешал, не успокаивал. «Пусть выплачется. Неподвижная идея разрешится слезами. Все, что накопилось и вызывало крайнее воз-

буждение мозга, найдет теперь выход...» И с профессиональной ласковостью психиатра он медленно гладил больного по его всклокоченным черным волосам, радуясь наступающему кризису. Периодическая мания приближалась к светлому промежутку.

Директор лечебницы для душевнобольных к каждому случаю своей практики подходил как воитель и сокрушитель страшных и губительных сил: он вступал в борьбу с наваждением, с неподвижной идеей, с темным клубком мучительных и ложных представлений, заглаживающих пораженным мозгом. Осмотрительно, осторожно, уверенно в неумолимо он сражался с этим тайным, вечно ускользающим врагом, упорно преодолевая его неуловимость и губительные влияния на ослабевшую психику.

Вот почему, как на войне, ему нужно было иметь побольше сведений о противнике; чем обильнее и полнее знание о неприятеле, тем вернее шансы на победу. Директор клиники был неутомим в установлении истории болезни. Он любил повторять изречение одного старинного медика: «Невозможно излечить помешательство, если не знаешь, отчего оно появилось». Лейденское издание знаменитой «Nosologia methodica» с перечнем главных факторов безумия нередко служило ему для раскрытия глубоких истоков душевного заболевания: опьяняющие напитки, страманий, опий, белладонна, перемежающаяся лихорадка, головная водянка, истощение от животных страстей, жестокие удары судьбы—все явления, занесенные в архаическую схему южнофранцузского факультета, учитывались петербургским психиатром.

Когда Гаршина доставили в его клинику, он сейчас же приступил к самой тщательной анкете о своем знаменитом пациенте. Он опросил родных и друзей больного о всех обстоятельствах, предшествовавших заболеванию.

Друзья писателя с горячей готовностью пришли на помощь врачу. Угрюмый и сосредоточенный Глеб Успенский («самому бы не худо было полечиться

у нас»—подумал, слушая его, психиатр) сообщил, как он встретился с Гаршиным в самый день повешения Млодецкого в небольшом собрании литераторов: охрипший, с глазами, затопляемыми слезами, он рассказывал какую-то ужасную историю, не договаривая, плакал и бегал на кухню под кран пить воду и мочить голову... «Он охрип именно от напряженной мольбы, от крика милосердия»— пояснял Успенский.

Деловитый и спокойный Эртель обстоятельно изложил доктору, что после посещения Лориса Гаршину пришлось в довершение ужаса самому, глазами своими увидеть завершительный акт политической трагедии. Он рассказал и о том, как торопливо, с каким-то трепетным чувством испуга и отчаяния, в нервическом и болезненном беспokoйстве, хватая себя за голову и словно стараясь вспомнить ускользающие и важные события, заступник осужденного террориста, беспрестанно вступая в разговор с каким-то воображаемым собеседником, покинул наконец Петербург.

Внимательному и неутомимому в своих розысках врачу удалось восстановить и ход дальнейших мытарств полубезумного Гаршина. Сам больной рассказал ему с таинственным и многозначительным видом, не договаривая и отчасти изъясняясь намеками о каких-то странных похождениях в Москве, где он будто был задержан, при чем должен был тайно выбросить свои деньги из кармана, кому-то был предъявлен... Переписка с московскими властями выяснила полностью этот смутный эпизод. Оказывается, Гаршин, все еще чувствуя потребность заявить представителю власти свой протест против казни Млодецкого, решил высказаться перед известным обер-полицеймейстером Козловым. Все более утрачивая ясность мысли, воли и поведения, он избрал для свидания с начальником полиции фантастически нелепый способ: в публичном доме целый вечер угощал он женщин, после чего отказался оплатить счет. Его доставили в участок, где он потребовал личного свидания с Козловым. Допущенный в кабинет к обер-полицеймейстеру, он заявил

ему, как в ночь на 22 февраля в карамзинском особняке на Морской, что только примерами нравственного самоотречения можно обезоружить врага

Все последующее удалось установить лишь урывками, клочками, моментами. Гаршин метался по городам и усадьбам, то выдавая себя за тайного правительства агента, то мечта об издании своих рассказов под общим заглавием «Страдания человечества». Смертельная тоска изнуряла его. В скитаниях своих он добрался до Тулы, а оттуда пешком добрал до Ясной Поляны. Розовеющие сторожевые башенки вьезда в усадьбу чем-то порадовали его. Толстой принял странника. Гаршин запомнил, что они говорили долго, сидя рядом на глубоком кожаном диване в рзбочем кабинете яснополянского дома. Он изложил знаменитому собеседнику свои планы об искоренении страдания в устройстве всемирного счастья. Не оспаривая и не противореча, Лев Толстой одобрил его мечту. И тогда, убежденный в правильности намеченной миссии, Гаршин покинул яснополянский дом, купил у первого встречного крестьянина лошадь и с географической картой в руках отправился по Тульской губернии проповедывать мужикам уничтожение зла.

Поездку эту сам больной вспоминал радостно и с увлечением. Он был преисполнен планов и замыслов, он безгранично верил в свое призвание, он нес людям великое освобождение, он чувствовал себя могущественным и счастливым. Крестьянская лошадка, покоряясь его веселым окрикам, бодро несла его полянами и перелесками, ветер освежал его воспаленный лоб, запах влажной хвоя пьянил и возбуждал, как вино. Он словно разорвал упругим ударом крыльев крепкий кокон, опутавший его коснук хризалиду, и безудержно отдавался теперь своему первому головокружительному полету. Это было как бы новым рождением, очищающим и блаженным. Его мысль и ощущения необычайно прояснились и обострились до поражающей зоркости. Казалось, весь мир покорно вступал в его власть и отдавался его на-

пряженной воле. Пространства не было для него, время словно согласовало с его мыслью свое течение, он стремительно неся вперед, вдоль оврагов и косогоров, все быстрее и быстрее, твердо зная, что он обновит жизнь и ошастливит человечество. Мысли пронеслись вихрем, поражая стремительностью своего полета и радуя своим размахом и заразительностью. Целые поэмы стройно слагались и дружно теснились в его воображении, он понимал вдохновенную ярость гениальных творцов, он чувствовал себя равным величайшим из них, он знал, что для него нет невозможного. Это было полное и глубокое, ничем не омрачаемое счастье, которое даже нельзя было оплатить теперь годами мучений, затворничества и отчаяния...

За этим ослепительным озарением последующий ход событий терялся, сплывался, обрывался. И наконец всплыла откуда-то эта скомканная записка, набросанная растерянным галолирующим по бумаге почерком. Гаршин где-то в Орле сообщал своему приятелю:

«...Теперь я не вижу иного исхода для России, как в кровавой революции, центром ее я избираю Орел, генерал Дараган на нашей стороне, и сам я иду в народ готовить восстание...»

Так из отрывочных рассказов друзей, из случайных признаний самого больного, из официальных сообщений и случайных записей выступала во всех своих темных истоках и непонятных переломах удручающая повесть об одном безумии, неожиданно получавшая такой мрачный и прерывистый отблеск от событий протекавшей политической истории.

Иногда в полутьме раздавалось короткое и странное слово:

— Тшик.

Оно звучало угрозой убийства, лязгом гильотины, скользким шелестом ножа по сонным артериям... Тшик! — и отваливается голова. Но из книг по ботанике он знал, что этим коротеньким словом в Индии называют млечный сок, вытекающий из надрезанных головок

снотворного мака. Каждый цветок дает только несколько капель тшика. Их собирают в сосуды, отстаивают, сгущают и получают опиум. Драгоценное сырье Востока, за которое велись войны могущественными империями. Эти сухие коричневые горошины дают силу рабочим возделывать безбрежные поля при самом скудном питании и неумолимо палящем солнце, они поддерживают скороходов, пробегающих сотни верст с быстротою лошади, они погружают в сладостное забвение измученное и поработанное население небесной империи, отдающее ясность мысли, силу воли, крепость мускулов, сознание и жизнь за маленькие трубки с застывшим тшиком... Безумье, самоубийства, преступления — все зарождается на сырых дыновках полумертвых лавок забвения, кишащих всеми угнетенными, нищими, замученными и раздавленными жизнью.

Этот хрупкий летучий цветок во всех его видах и колерах бы хорошо знаком ботанику Гаршину. Он тщательно расправлял в своих гербариях длинные стебли, покрытые зубчатыми листьями, и тонкие волоски гибкой цветоножки. Он с непонятной тревогой рассматривал огненные, крестообразно поставленные шелковистые лепестки с траурным черно-белым пятном у самого основания. Эти легкие, трепещущие, кровавые лоскутки цветной ткани, казалось, вобрали в себя все горести, преступления и боли, порождаемые дурманным млечным соком ядовитого стебля. Злодейства из-за угла, бичи надсмотрщиков, смертоубийственные обманы торгашей, умолимая алчность великих империй, колониальные экспедиции и гибель крейсеров, разоренные провинции и горы трупов — весь этот ужас истории, казалось, отстаивался в тончайших кровеносных венах безуханного шелковистого алого венчика...

И вот выступает из пестрых растительных узоров бархатистого ворса странная восьмиугольная роза. Зловеще распутившись махровым цветом над головой диктатора, она вбирает в себя извилистыми стеблями всю обильную кровь эшафотов и казарменных плацев.

Как она ярко тлеет и пышно распускается, разбухая и жирея на этой груде трупов. О, неужели же не найдется смельчака, чтоб сорвать, растоптать и уничтожить этот цветок-вампир, раскидывающий свои кровожадные лепестки, как некий геральдический знак, над головами властителей и палачей?..



Среди предтеч и наставников своей науки старший врач высоко ценил знаменитого Филиппа Пинеля, основателя теории о наследственном помешательстве. В основных тезисах своего врачевания петербургский невропатолог неизменно хранил завет великого француза: «Нельзя не признать наследственной мании, когда видишь целые семейства в нескольких поколениях, пораженные этой болезнью...» Этих сведений о предках писателя директор клиники ждал от его матери.

Екатерина Степановна Гаршина, переводчица, педагог и журналистка, хранила в памяти обширный запас воспоминаний, преданий и сведений о родственниках и предках своего сына по обеим линиям. Обстоятельно и последовательно, но волнуясь и прерывая поминутно свой рассказ, она сообщила врачу патологию двух родословных.

— Бабка моя — молдаванка (вероятно от нее унаследовал Всеволод горящие черные глаза и цыганскую смуглость) — считалась странной и разгульной женщиной. Дед — отважный моряк, совершивший четыре кругосветных путешествия, — не признавал своих сыновей молдаванки...

Врач внимательно слушал и методически заносил отметки в свои длинные разграфленные листы.

— Но гораздо хуже обстояло дело в роду Гаршиных. Тесть мой был крутым и властным крепостником, он нещадно порол крестьян, портил их девушек, пользовался правом первой ночи, буянил, сутяжничал, свирепствовал в своих собственных и чужих владениях, обливал кипятком фруктовые деревья соседей. В страстях был неистов; жена его, умершая 37 лет, рожала ему двадцать

два раза; под конец помешалась; в семье считалось, что именно она внесла безумье в род Гаршиных.

Листы психиатра заполняются. История одного сладострастника и безумной приводит к обширному потомству неустойчивых и слабых организаций — ревнивцев, картежников, алкоголиков, людей вспыльчивых и страстных, неудержимых в своих разгулах и маниях. Все они кончали белой горячкой, сумасшествием, самоубийством.

— А как ваша личная семья?

— Покойный муж мой был кроток и слабозлоен. Казался пришибленным и напуганным. Его даже называли Мишель Станный; нередко мутился в уме. Тогда от нежности и ласки кидался в бурный гнев; писал проекты на имя государя, ища справедливости; изобретал какую-то канатную железную дорогу...

— Это сказалось на его потомстве?

— Дети наши не все были здоровы. Сын Виктор, шестипалый, нервный, задумчивый, двадцати трех лет покончил с собой от несчастной любви к проститутке. Старший Георгий — талантливый адвокат, но сильно пьет, кутит, увлекается женщинами, славится неукротимой дерзостью; иногда говорит о самоубийстве. Всеволод же, самый кроткий и безгрешный из всех, уже вторично теряет рассудок...

— Когда впервые это произошло с ним?

— Еще в старших классах гимназии. Кто бы мог ожидать этого? Не было юноши более рассудительного, трудолюбивого, начитанного. Мечтал о медицинской академии, прекрасно играл на виолончели, зачитывался знаменитыми психиатрами. Он словно предчувствовал, что ему придется обратиться к их помощи. С детства тянулся к книгам, к растениям, все собирал, отнизывал, рукодельничал. Большими удивленными глазами смотрел на мир...

И перед нею выступает черноглазый мальчик с тонкими чертами лица и лучистыми глазами, будущий поэт или артист, излучающий на всех окружающих свет и надежду. И вот он вырос, этот сказочный отрок, и стал затворни-

ком сумасшедшего дома, отверженцем в буром халате, с растерянным и злым выражением, среди помешанных и выродков с тупыми, искаженными и бессмысленными физиономиями. Этот контраст обещающей юности и чудовищной среды желтого дома был так ужасен, что от одного этого сопоставления Екатерине Степановне перехватывало дыхание. Она чувствовала, что рыдание удушливым комком подкатывало и стыло в горле, что от своей беспомощности перед этим отчаянием она не сможет даже здесь, при врачах, овладеть своим горем и сдержать слезы... И, как сын ее на больничной койке, она закрывает лицо бледными и слабыми руками.

Директор клиники выписывает на осмысленных листках грозные латинские термины: *dementia, debilitas, suicidium, abusus in Baccho, delirium tremens...* Какое грозное наследство!

— Доктор, есть ли надежда спасти моего сына?

— Он несомненно поправляется и снова будет здоров. Текущий период затмения пройдет, не оставив заметного следа. Сын ваш будет снова работать, писать, творить. Чередование между манией и меланхолией будет надолго заполняться светлыми промежутками. Но как оберечь его мысль от кровавых впечатлений современной политики, как преодолеть и ослабить грехи, пороки, несчастья и болезни предков, подавляющие это впечатлительное сознание невыносимым грузом ушедших трагедий,—на это наша наука, к великому прискорбию ее служителей, еще не может дать утешительного ответа.



... Как тяжелы эти скитания по сумасшедшим домам! Орел, Петербург, Харьков... Методы столичных врачей, следивших за новейшими течениями медицины, еще не привились в русских провинциальных приютах умалишенных. Здесь еще господствовали жесткие принципы старинной психиатрии. Медленно изживались традиции Бедама и Отел-Дье, Бисетра и Сальпетриер — мрачных зданий-темниц с казематами и карцера-

ми, решетками и тюремными затворами где больных избивали, морили голодом держали в железных наручниках, лечили внезапным ударом ледяной воды по обнаженному черепу, применяли суровость и угрозы, как средства психотерапии. В тридцатых годах сумасшедший у Гоголя жалуется на удары палкой обливание головы холодной водой, жестокое обращение, внушающее больному мысль о мучениях великой инквизиции.

Сабурова дача — лечебница для умалишенных под Харьковом — еще жила печальными традициями прошлого. Больничная прислуга подбиралась случайно, без необходимого отбора и особой подготовки. Помещение своей мрачностью и огромностью несколько не отвечало угнетенной психике больных. «Положение Всеволода становится с каждым днем хуже, — писала Салтыкову-Щедрину, моля о помощи, мать Гаршина. — Лечебница, где он помещен, скорее может быть названа местом предупреждения и пресечения. По совершенно бессмысленной жестокости Всеволоду не дают ни бумаги, ни карандаша, ни газеты. Меня к нему не пускают, хотя я переехала на дачу рядом с ним, и только раз случайно мне удалось увидеть его в окно. О, Михаил Евграфович, если бы вы слышали его крики: «Мама, когда он увидел меня. Как он схватил через решетку мою руку своими исхудалыми руками, как горько зарыдал. И через минуту два сторожа оттащили его от окна...»

Как-то на Сабуровой даче Гаршин стоял, ожидая ванны, в мрачном углу больницы, освещенном одним окном с железной решеткой куда-то в стену. Огромная, пасмурная комната со сводами, с липким каменным полом, окрашенная темнокрасной масляной краской. Вода с монотонным плеском струилась в каменную яму среди пола. Под это длительное звучание больной стал вспоминать детство среди родных, ранние свои купанья, ласку матушки... Неясно и отрывисто блуждало в памяти:

.. И слышат, как падает струя
Из медных кранов в звучные бассейны
Широких ванн...

Вдруг сильный удар в грудь сбивает его с ног, и он падает на пол без памяти.

— За что ты меня ударил? Что я тебе сделал?

Гигант-служитель указывает на приготовленную ванну.

Не воспоминания ли о Семеновском плаце возникли в сознании больного Гаршина, как только попал он в обстановку лечебницы? Ванна с мрачными сводами, котел с целой системой медных труб и кранов, огромный угрюмый сторож, мушка на затылок... «Что это? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним...» И когда солдат грубым полотенцем, сильно нажимая, быстро сорвал мушку с затылка вместе с верхним слоем кожи, больному почудилось, что ему отрубили голову...

Медленно он приходил в себя. Возбужденность испуга и ужаса сменялась усталостью и безразличием. Гаршин, беспомощный и бессильный, бродил часами по саду или лежал, словно под тяжким свинцовым грузом, на своей больничной койке. Это было странное состояние. Казалось, под действием снотворного снадобья проносились с необыкновенной отчетливостью лица и встречи отдаленного прошлого. Словно опium воскрешал перед ним отошедших людей и отзывавшиеся слова. Ничто не было забыто. Память, напротив, проявлялась до последней степени в этом больничном одиночестве, сосредоточивалась на ушедших событиях и вычерчивала с поразительной отчетливостью все гомившее в прежние годы его мысль.

Но надо всем господствовало одно страшное ощущение: он навсегда потерял себя. Тот, другой, отошедший Всеволод Гаршин был силен, юн и прекрасен. Он писал короткие и потрясающие рассказы. И вот его нет. Есть больной № 37 в буром халате и туфлях, а иногда и в горячем камзоле. Больной, у которого нет будущего, у которого отняли навсегда время, который может только вспоминать и отчаиваться.

Неужели же это он — «любимый писатель молодежи»? Наследник Тургенева? Кумир и надежда всей читающей

России? Возможно, что это и было, но так давно, словно в какие-то доисторические времена, навсегда отодвинутые от него страшной катастрофой. Память еще хранила бледные очерки этой глубокой древности, смутной и легендарной, как младенчество. Теперь черная пелена окутывала его. Ощутимо и реально было только режущее чувство стыда и страдания, пустоты и безнадежности, подавленности и тупого отчаяния. Там, где-то идет борьба, плещет жизнь, действуют и сражаются смелые люди с решительными жестами. А вокруг него — искаженные, уродливые, измученные и бессмысленные лица. Вопли и хохот, лай и молитва, выпрениая декламация и тихий плач. И буйные драки с грохотом табуреток, стуком мисок, звоном стекла, когда испуганные санитары отступают перед расходившейся оравой восставшей палаты. О, это море голов, несхожих и страшных. Стеклянеющие глаза, коварные усмешки, перекошенные губы, тупые, полумертвые взгляды. И он, знаменитый писатель, отброшен сюда, в этот самый унылый и ужасающий мир человеческой отверженности и подавленности... «О, вы, мучимые раньше меня, вас молю, избавьте...» — шепчет обескровленными губами, опуская на смятую подушку своей нумерованной койки измученную и воспаленную голову.



И вот вкрадливо и медлительноносится из дальнего угла камеры ласкающий и шелестящий голос.

«Пибоди и Мартини... Пибоди и Мартини... № 18635... Пибоди и Маотини... Четырехлинейный калибр...»

Странные слова долго звучали. Баюкая и привлекая своей необычайной звучностью... Что это? Пибоди и Мартини... Итальянцы, певцы, акробаты? Ах, да! система ружья, его собственная тяжелая и тонкая винтовка. Спутница по Бессарабии и Турции...

Да винтовка Пибоди и Мартини № 18635 и над нею — скелет в мундире Война... Было время иллюзий, увлечений, веры в воинские подвиги. Детские впечатления: отец служит в кирасирах

Запомнилось в солнечной дымке раннего сознания огромные рыжие кони, гиганты в латах и бело-голубых колетах, покрытые касками с конскими хвостами. Разговоры и героические анекдоты о севастопольской обороне. Сборы мальчика в поход. Причитания няньки над восьмилетним новобранцем.

И вот студенческие годы. Газеты полны известий о кровавых истязаниях на Балканах. Гаршин заворужен ужасом болгарских событий. Какое значение имеют научные открытия, когда «турки перерезали 30.000 безоружных стариков, женщин и ребят...»

В начале мая рядовым из вольноопределяющихся 138-го Болховского пехотного полка Гаршин уже был в Румынии. Изнурительные переходы под палящим солнцем, желтеющие посевы кукурузы, нивы, перебегающие с холма на холм, по вечерам — зарева далеких пожаров: гурки жгут болгарские деревни. Он читает о третьем плевненском бое: «Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок...» И дифра растягивается бесконечной вереницей лежащих рядом трупов. «Если их положишь плечо с плечом, то составится дорога в восемь верст...» Рассказывают о подвигах Скобелева. Какое это имеет значение? «В этом страшном деле я помню и вижу только одно — гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории...» Груды стонущих и копошащихся окровавленных тел...

А все эти короткие, повседневные, потрясающие эпизоды! Молодой нервный доктор плачет при виде мучений солдат, вывозящих на себе вместо лошадей тяжелые артиллерийские орудия из непролазной грязи. Вывезли наконец батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит. Или вот — уборка мертвых с поля сражения: жирные трупы феллахов, раздутые от лежания на жаре, зловоние ужасное; черви копошатся миадами; и среди разложившихся мертвецов — раненый солдатик, пролежавший в кустах четыре дня... А в офицерском собрании три полковника и генерал, все лысые, отплясывают кадрили и

бешено канканируют под взглядом удивленных нижних чинов... Но пальба продолжается — надрывает душу дрящущий скрежет гранат, фонтаном брызжет земля, засыпая на несколько сажень окружность... Вот красавец-ефрейтор, голубоглазый, с белокурой бородой, только-что весело пивший воду из колодца, нелепо валится ничком, — осколки гранаты ударили ему в пах, вырвав внутренности... Вот и сам вольноопределяющийся Гаршин пытается вынести из схватки раненого солдата с бьющей волной крови из разбитого плеча — перед ним в двадцати шагах вырастает турецкая колонна. Удар, словно дубиной, в ногу, — он падает, обливаясь кровью...

Кому нужны эти трупы, эти лазаретные фуры, эти братские могилы? Кто бросил эти массы в кровавую бойню? Александр, Горчаков, Осман-паша, Дизраэли? Что за дьявольская игра политиков и королей, бросающихся миллионами жизней, как игорной ставкой... Где разгадка, в чем разрешение, где исход?..

И здесь, на больничной койке, это воспоминания о ложементях с трупами, о повозках с истекающими кровью, об оврагах разложения, о лазаретных корзинках с отрезанными конечностями — все это странно сливается с виселицами Семеновского плаца и Смоленского поля, с удушенными и расстрелянными в казематах и на кровверках. Всюду не повинные смерти, бессмысленные гибели, нелепо льющаяся кровь...

Черный восьмигранник позорного столба. Зеленый околыш прокурора. Туго натянутая струна от шеи к перекладине. Отчаянно взметнувшиеся в небо черные руки виселицы. Холм с осокотью: доктор висит на ветке, удушенный — кем? Прокурором, палачом Фроловым или, может быть, этим старым верховым военным с густыми бакенбардами и выпуклыми стеклянными глазами, проливающими обильные слезы на золотые пуговицы мундира, пока пробегают мимо царского коня, сотрясая винтовками и крича приветствия, солдаты Дунайской армии, обреченные на смерть под Плевной, Руцукром и Шипкой? Какой кровавый и необъяснимый

круговорот событий, выстрелов, взрывов, казней! Кто предводительствует этим безумным хороводом? Как задержать этот смертный вихрь?..

Через три года, вспоминая эти муки в эту утопию, он пишет короткий и гениальный, на веки неизгладимый из мировой литературы рассказ о великом безумце, решившем растоптать написанные кровью всего болящего человечества зловещие цветы алого мака, чтобы вырвать с их цепкими стеблями все неистощимое зло мира с его дворцами и окопами, судами и лазаретами, желтыми домами и черными плахами.

Морганатическая супруга

Ровно через месяц после смерти императрицы царь неожиданно сказал Долгорукой.

— Петровский пост кончается в воскресенье, на этот день я назначаю наше венчание.

Необычайный роман вступал наконец в свою завершающую фазу. Беспрецедентный адюльтер, в течение двух десятилетий привлекавший острое любопытство русских гостиных и европейских политических канцелярий, вместе с напряженной бдительностью третьего отделения и всех иностранных послов, должен был вызвать теперь взрыв возмущения в царской фамилии и ряд иронических заметок в зарубежной печати: бракосочетание шестидесятилетнего коронованного вдовца с его молодой любовницей через месяц после похорон старой царицы признавалось повсеместно небывалым династическим скандалом.

Но старый император, напуганный покушениями, торопился узаконить своих грех внебрачных детей, возведя в сан царской супруги бронзоволосую фаворитку, самодержавно владывающую над его поздними страстями.

Александр Второй принадлежал к поколению русских людей, открывших культ осенней, закатной, старческой любви. Горчаков, Вяземский, Тургенев, Тютчев — все они в разной степени и в несхожих тонах переживали жгучие и осторожные влечения догорающей чув-

ственности. Царь державно возглавлял эту плеяду влюбчивых старцев.

Быть может, ему были знакомы прозрачные и томительные строки его гениального камергера:

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность

Впрочем это началось давно, на пути земного бытия, когда вены царственного женолюбца еще играли вином полудня. И началось все это необычайно, почти сказочно. Царю шел сороковой год, княжне Долгорукой — всего девятый. Новый император лишь за год перед тем вступивший на престол, мчался на маневры в Вольну. По пути он остановился в имении своего флигель-адъютанта Михаила Долгорукого. Когда вечером, окруженный свитой, царь докуривал сигару на веранде, внезапно перед самым домом у цветущих куртин появилась прелестная маленькая девочка, шаловливо выглядывавшая гостей видимо, в нарушение полученного запрета. Александр обратил на нее внимание и задал ей шуточный вопрос «Я хочу видеть государя» — отвечала девочка. Царь, продолжая забавляться, просил «даму» показать ему сад и долго прогуливался с нею под шелестящими тополями юго-западного парка. Наивные глаза и легкие движения девочки полоснули по нервам опытного сердцеда. Это было почти невероятно, но самодержец всея Руси, вступивший в пятый десяток, безнадежно влюбился в резвящегося ребенка.

Когда через два года разорившийся Долгорукий умер от нервного потрясения, царь взял полтавское имение под императорскую опеку и отдал дочерей покойного в Смольный.

Сюда приезжал он следить за развитием красоты своей питомицы. В залах огромного и стройного здания, воздвигнутого на самой окраине столицы великим итальянским зодчим, продолжались сдержанные, наэлектризованные и уже сокровенно романтические встречи царя с подрастающей девушкой.

И вот — конец обучению. Выход из классных зал стройного здания Кванденги. Погулки с царем в Летнем саду.

в аллеях Елагина острова, в лесистых окрестностях Петергофа И наконец свидания в далеком бельведере и на прощание — рыцарский обет и державное слово «При первой возможности я жемчужку на тебе...»

Долгие годы непризнанной страсти на виду у всего мира. Собственный ключ от потайной лестницы в холостую квартиру царя — интимные комнаты Николая Первого. Совместные путешествия в летние резиденции. В Царском, в Ливадии, в Бинок-Сарае, на курортах в европейских столицах, всюду в соседних отелях и виллах рядом с царем поселяется княжна «с газельими глазами» (так запомнил ее внешность посол Франции при Николае II Морис Палеолог, представлявший в 1881 г. французскую республику на похоронах Александра Второго).

Но после тяжелой и бессмысленной турецкой кампании, когда она, фаворитка под вуалью, сопровождает царя в Бессарабию, делит с ним трудности похода, утешает в неудачах и утирает его слишком обильные слезы, спутница императора считает себя в праве уточнить свое двусмысленное положение царской любовницы. Если венчание пока неосуществимо, уже теперь вполне возможна открытая общая жизнь в Зимнем дворце. Подлинная супруга царя должна быть всегда и перед всеми рядом с ним.

Осенью 1878 года над апартаментами Александра Николаевича поселяется в Зимнем дворце Долгорукая. Больная императрица уходит глубже в свои покои догорать и умирать в одиночестве.

Но тут глухо восстают и объявляют тайную войну фаворитке великие князья. Им-то ясна игра дворцовой интриганки! Она мечтает о царской короне для себя и для своего сына... Она хочет отстранить от престола законного наследника. А от слабеющего старика, помраченного последней похотью, можно ждать величайшего безрассудства!

Завязывается скрытая, глухая, отчаянная борьба сторонников цесаревича с партией Долгорукой.

Каждый придворный обязан выбирать и решить, на чьей он стороне.

Граф Шувалов, грозный шеф третьего отделения, не пожелал променить Романовых на «эту девчонку». «Поздравляю тебя, Петр Андреевич» — сказал ему на ближайшей аудиенции царь. «Могу ли узнать, чем вызвано поздравление вашего величества?» — «Ты на значаешься моим послом в Лондон» Глава государственной полиции целой империи дрогнувшим голосом благодарит за эту замаскированную опалу.

Из всех царедворцев самый верный и ответственный путь — грозящий полным разрывом с наследником, царской семьей и всей могучей романовской партией — выбирает первый советник императора.

— «... При сем, об'емля мыслью различные случаи, которые могут встретиться при брачных союзах членов императорской фамилии и которых последствия, если не предусмотрены и не определены общим законом, сопряжены быть могут с затруднительными недоумениями, мы признаем за благо для непоколебимого сохранения достоинства и спокойствия империи нашей присовкупить к прежним постановлениям следующее дополнительное правило...»

Лорис-Меликов, читавший государю текст старинного манифеста, взглянул на царя сквозь очки. Тот слушал с напряженным вниманием.

— «Если какое лицо из императорской фамилии — продолжал свое чтение министр, — вступит в брачный союз с лицом, не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии, и рождаемые от такого союза дети не имеют права на наследование престола..»

— Когда был издан этот манифест?

— Ровно шестьдесят лет тому назад ваше величество, в момент бракосочетания его высочества Константина Павловича с княгиней Лович.

Всплыли далекие образы ранних лет. Царь помнил в детстве своего дядю — страшного, обезьяноподобного, с тяже-

лой звериной челюстью и длинными всяческими руками, почти безносого, покрытого жесткой рыжей шерстью, уroda и распутника, замешанного в какие-то кровавые романические ислории, о которых только осторожно перешептывались по ушам. Вспоминал его дикие юродства: устроил для любимой гориллы Машки из лиц своей свиты особый двор, целый штат обезьяньих гофмаршалов, шталмейстеров, обершенков. Бдительно наблюдал за исполнительностью их шутовской службы и приходил в ярость от малейшего недовольства своей лохматой любимицы. И этот страшный человек, влюбленный в обезьяну, был мужем юной польки, по нежности и очарованию превосходящей всех знаменитых красавиц Зимнего дворца. Но удивительней всего было то, что Жанетта Грудзинская, получившая при венчании титул княгини Лович, обожала своего звероподобного супруга.

— Ты не помнишь подробностей бракосочетания дяди Константина?

Лорис ждал этого вопроса и был подготовлен к нему.

— Синод разрешил развод Константина Павловича с великой княжной по силе 10-го пункта духовного регламента. Манифест о даровании графине Иоанне Грудзинской титула княгини Лович был опубликован только в Царстве Польском. Так совершился лучший из браков, государь, — брак в честь феи Морганы.

— А кто венчал?

— Сначала православный священник в церкви королевского дворца, а затем католический паптер в каплице замка. Но случай, непосредственно интересующий ваше величество, — любезно улыбнулся Лорис, — несравненно проще.

— О да, ведь она русская, из рода Рюриковичей! Благодарю тебя, Лорис, за твои разыскания, благодарю от имени княжны и от моего собственного.

Великий визирь отвешивает низкий поклон своему повелителю. Он чувствует, как крепнет под ним пьедестал власти и расстет его влияние над личностью монарха. Неожиданной матримониальной диверсией он посрамляет со-

перников и утверждает свое господство.

О, недаром еще четверть века назад хитрый наместник Кавказа «полумилорд» Воронцов любил поручать молодому ротмистру Лорис-Меликову самые сложные дипломатические дела. Писал о нем военному министру Чернышеву, как о «достойном и очень умном офицере», к которому сам головорез Хаджи-Мурат питает любовь и уважение.

Будущий диктатор уже в пору его адъютантства славится изощренной гибкостью и лукавой остротой мысли. В напряженной боевой атмосфере, среди фанатической ненависти горцев он блестяще выполнял труднейшие политические поручения, несмотря на природную склонность своих восточных контрагентов к тончайшему дипломатическому искусству.

Этот счастливый дар кавказскому генералу пришлось развернуть полностью в бурный и кровавый год его диктатуры. Облеченный властью, какую знали в России только Бирон и Аракчеев, Лорис-Меликов был окружен ненавистью революционеров и завистью высших сановников империи. В подполье его называли волком с лисьим хвостом, в верхах — «армянским фокусником». Все эти Валуевы, Маковы, Победоносцевы не могли простить ему его первенствующей роли. Всю тайну завоевания сердец и вкрадчивого подчинения людей своему невидимому влиянию кавказец должен был сосредоточить на самом императоре. Всю изощренность своего тактического дара он приложил к запутанному роману старого царя, возбуждавшему сложнейшую игру вражды и интриг в царской семье и в придворных кругах. Эту напряженную партию диктатору необходимо было разыграть с высшей полигической виртуозностью — от исхода игры зависело его пребывание у власти.

Он наметил точную линию поведения и уверенно вел ее. Пусть в придворных кругах тревожно перешептываются, а парижские хроникеры оповещают Сен-Жерменское предместье и мир о том, что царь позабыл в объятиях Долгорукой всю величественность своего сана.

Лорис-Меликов осторожно и тонко играет на царской страсти, уверенно зедя события к намеченной и необходимой развязке.



Царское село
17 июля 1880 г.

А К Т

Тысяча восемьсот восьмидесятого года, шестого июля, в три часа пополудни, в часовне Царскосельского дворца его величество император всероссийский Александр Николаевич изволил вторично вступить в законный брак с фрейлиной княжной Екатериной Михайловной Долгорукой.

Мы, нижеподписавшиеся, бывшие свидетелями их бракосочетания, составили настоящий акт и подтверждаем его нашими личными подписями.

6 июля 1880 года.

Брак в честь феи Морганы был обставлен глубокой тайной. Был выбран момент, когда все царское семейство находилось в раз'езде. Обряд происходил в большом Царскосельском дворце тайком от караульных офицеров, от камерлакеев, даже от дворцового коменданта.

В уединенном маленьком зале на столике красного дерева был устроен алтарь: свечи, кольца, чаши. Царь в черном сюртуке, Долгорукая в суконном цветном платье.

Согласно ритуалу брачующиеся опускаются на колени. Генерал-ад'ютанты Баранов и Рылеев держат венцы над их головами.

По распоряжению царя протоиерей большой церкви Зимнего дворца исключает из обряда обращение к брачующимся «облобызайтесь».

Слово, данное в Петергофском бельведере, наконец выполнено. «Не император женится, — сказал он приближенным, указывая на свой черный сюртук, — а частный человек, исправляющий старинную ошибку и восстанавливающая репутацию девушки...»

Екатерина Михайловна Долгорукая получает титул светлейшей княгини Юрьевской.

Но этот титул и это имя, сочетающее имена старинных представителей двух родов — Романовых и Долгоруких, — кажутся царю недостаточными.

Ему ведомы честолюбивые мечты своей подруги, и втайне он сочувствует им; он должен увенчать свою последнюю любовь императорской короной.



Мечты Екатерины Долгорукой о власти возникли и крепились постепенно.

С первых же лет роман фаворитки тесно переплетается с текущей международной политикой. Она становится поверенной и советницей одного из крупнейших суверенов мира. Ей открываются сокровенные источники государственных тайн и правительственных интриг от разрешения которых зависят судьбы империи и миллионы человеческих жизней. Она первая узнает коварные и убийственные планы коронованных распорядителей человечества.

В 1867 году в Париже Александр приехавший на приглашение Наполеона III любоваться всемирной выставкой освистан в судебной палате французскими адвокатами, встретившими его негодующими возгласами: «Да здравствует Польша!» Когда в одной карете с Наполеоном он возвращается с лоншанского шара, в него на всем ходу экипажа стреляет поляк Березовский. Царь вне себя от возмущения. И когда вечером в Елисейский дворец через укромную калитку с угла аллеи Мариньи и улицы Габриэль является взволнованная фаворитка утешить оскорбленного венценосца, он сообщает ей грозно бесцветными глазами, что даст в свое время урок Наполеону и оплатит сразу этому проходившему и за Крымскую кампанию, и за неумение охранять в Париже его священную особу.

И действительно, летом 1870 года в Эмсе, где рядом с Отель-де-Катр-Тур — местожительством царя — живет в укромной вилле Долгорукая, готовятся грозные события. Мечутся великие жребии, кидаются на карту судьбы государств, решаются народные кровопролития. Наступает час царской мести.

Четыре дня под ряд длительно, неотомимо и в строгом секрете за квадратный стол богатейшего апартаменты Отель де-Катр-Тур садятся четыре старика: Александр Второй, Вильгельм Прусский, Бисмарк и Горчаков. Тихий Эмс еле плещет вокруг говором отдыхающих обитателей, напевом фойтанов и отдаленным звоном венских вальсов. А за квадратным столом, наклонясь над штабными картами Европы и просматривая оперативные планы будущей кампании, где учтены все ситуации, взвешены все шансы и рассчитаны все ответные ходы противника, четыре старца бесповоротно принимают кровопролитнейшую меру: Пруссия безотлагательно нападёт на зарвавшуюся Францию и при дружественном нейтралитете России положит конец Наполеонову владычеству.

(Царь Александр ненавидит выскочку, проходимца, авантюриста на троне — Наполеона III. Ведь если бы не Крымская кампания, до сих пор Россия дремала бы под отеческой опекой монарха... Никаких реформ. Никаких освобождений! Чернь во власти просвещенного дворянства — без всяких комитетов и земств. В 1864 году царь даже мечтал устроить всенародные воинские празднества по поводу пятидесятилетия взятия Парижа. Международная демонстрация мощи русского оружия и одновременно эсенская оплеуха французскому правительству. Но Горчаков во-время отговорил. Все-таки Париж брали пятьдесят лет тому назад, а Севастополь сдали вчера... Дал понять: не следует становиться в смешное положение...)

Через месяц в том же Эмсе прусский король отказывает в приеме французскому послу. Бисмарк редактирует провокационную депешу. На другой же день парижская толпа оглашает город негодующими криками: «В Берлин! в Берлин!» Двигутся армии, падает Седан, и прусские войска вступают в Париж. В кабинете Бисмарка парижский адвокат Жюль Фавр, освиславший за три года перед тем Александра Второго, проливает бессильные слезы отчаяния,

представляя перед лицом победителя разгромленную Францию.

Царь сообщает Долгорукой свои новые тревоги: его смущает ослепительная победа пруссаков. Нет ли в этом угрозы России? И когда через пять лет императорская Германия снова готовится броситься на Францию, царь мчитя в Берлин помешать новой войне, уже грозящей его собственному могуществу. Долгорукая поселается на Унтер-ден-Линден, в отеле рядом с русским посольством.

Здесь навещает царя в своем белом кирасирском мундире князь Бисмарк.

— Ваше императорское величество! Франция становится опасной для германского народа. Она оправляется слишком быстро. Ее нужно спешно обуздать, прежде чем она восстановит свое военное могущество. Не то где гарантия, что через тридцать-сорок лет она не отторгнет от Германии Эльзас-Лотарингия вместе с Саарским бассейном и не потребует контрибуции в двадцать миллиардов?

Но царь боится участи Эльзаса для своих прибалтийских губерний. Великая Германия не вызывает сочувствия в правительствах соседних государств. Нужно во-время остановить эту грозную волю к мощи. Ошибка эмского соглашения на этот раз не повторится. Верховный вождь русской армии откидывается на спинку кресла и с холодной отчетливостью каждого слова сообщает рейхсканцлеру:

— В случае новой войны Германии с Францией Россия не станет сохранять нейтралитет.

В приемном зале русского посольства на Унтер-ден-Линден протекают безмолвно мгновения. Длится пауза. История застыла и ждет. Два человека в военных мундирах с бесстрастной враждой молча смотрят друг другу в глаза.

И вот снова голос, решаются судьбы народов, течет своим током история.

Строитель Германской империи обворожительно улыбается. С благодушием великого дипломата он любезно подносит царю примирительную реплику.

— Смею уверить ваше величество, — ласково звучат басовые тембры искуснейшего оратора, — что германский император не имел в виду объявить в данный момент войну Французской республике.

Царь встает и торжественным жестом жмет руку премьеру своего державного дядюшки. Отсрочена новая схватка европейских армий.

В тот же вечер на придворном балу Александр сообщает французскому посланнику при берлинском дворе: «Войны не будет».

Обо всех этих высших напряжениях международной политики, готовящихся взрывах, грагических усилиях, смертельных опасностях, назревающих катастрофах царь в ту же ночь сообщает Долгорукой. В течение долгих лет молчаливая, малозаметная, скрытая в тени молодая женщина с бронзовыми волосами и газельими глазами посвящается во все важнейшие государственные тайны, наблюдает за возникновением огромных полигических течений, следит за мировыми событиями в их таинственных истоках, присутствует при первых скрытых и грозных колебаниях исторических судеб. Она привыкает к дурманящей роли политической наперсницы царя. Она отвечает на его державные заботы, втягивается в эту высшую игру международных столкновений, составляет себе симпатий и мнения, невидимо влияет и неощутимо направляет волю царя.

Она ощущает себя на головокружительной высоте неизмеримого владычества. И в этой разряженной атмосфере самодержавного могущества, в этих ледяных вихрях государственных интриг все чаще и чаще охватывает ее душу гибельная отравка страшного вопроса: не она ли, спутница и советница царя, предмет его обожания и мать его любимейших детей, является подлинной русской царицей?

Вопрос этот, однажды возникнув в сознании, уже никогда не покидает его.

Свадебное путешествие в Ливадию было обставлено интимно, но не без парадности. Новобрачных сопровождали

видные сановники из личных друзей царя. Недавний начальник верховной комиссии, по собственному желанию «разжалованный» в министры внутренних дел, возглавлял царскую свиту.

Августовское солнце Тавриды смягчает сердце и расковывает язык, как сладостный сок южнобережных виноградников. Лорис ощущает себя в ласковом охвате родимого зноя: солнечный блеск, аулы и горы, магнолии и каменные чалмы на магометанских кладбищах. Небо — словно голубая мечеть в Гебризе. Уж не армянские ли нагорья, синяя, уходят вдаль скалистыми отвесами, не виноградники ли Кахетии струят свой душистый сок в его бокал? «Не порицай, мулла, к вину мое влечение» — медлительно выпевается любимая газелла, пока с блаженной улыбкой утомленный диктатор отвлекается от жандармских донесений, телеграфных сводок и газетных вырезок.

Кротость воздуха действует на всех. Царственный молодежен расположен к признаниям и задушевным беседам. На террасе дворца, лаская маленького шустрога Гогу, он роняет Лорис-Меликову в припадке старческой откровенности и жестокой обиды на своих гессен-дармштадтских сыновей, возмущенных скандальной женитьбой отца:

— Этот — настоящий русский, хоть в нем, по крайней мере, течет русская кровь.

Старый полководец мгновенно ображает всю сложную диспозицию: царь тайно замыслил перемену в порядке престолонаследия. Не задумываясь, выученик Воронцова подает свою реплику.

— Когда русский народ узнает этого сына вашего величества, он восторженно скажет: вот этот поистине наш!

Царь самодовольно улыбается в свои надушенные подусники и мечтательно устремляет вдаль стекловидный взгляд. Сквозь темные обелиски кипарисов перед ним феерически серебрится морская скатерть. Кому суждено взойти после него на российский престол?

— У нас только государыня-цесаревна, ваше величество. России нужна императрица.

— Ты думаешь?..

— Ведь Петр Первый, разведясь с царицей Евдокией, короновал Екатерину. Почему бы великому правнуку не последовать примеру великого пращура?

Царь благосклонно принимает намек и ласково глядит в оливковое лицо своего премьера.

— Но только как обставить новую коронацию?

— Необходим манифест с историческими ссылками. Нужно обследовать московские архивы и документы департамента герольдии...

— Ты прав, Лорис. Пора жене моей сидеть на придворных обедах против меня, а не в конце стола между Ольденбургскими и Лейхтенбергскими.

Вице-император склоняет голову.

Исход затеянной партии выступает перед ним с ослепительностью южного моря в траурной раме кипарисов. Никаких Александров Третьих, — новая императрица Екатерина Третья, наследник цесаревич Георгий Александрович. При них бессменный диктатор или регент — светлейший князь Лорис-Меликов.

В аллеях парка и в залах Ливадийского дворца прочно завязываются узлы нового дворцового заговора.

Через неделю генерал-адъютант Лорис-Меликов удостоивается высочайшей милости и награждается императорским орденом апостола Андрея Первозванного. Это равносильно почетнейшему подарку Востока — халату и вазе с розовой водой. Диктатор созрел для высших государственных отличий.

(Окончание следует)

Архангельск

ИВАН ЕВДОКИМОВ

Часть третья

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Несожданной и ненужной встрече предшествовали некоторые события.

Доктор Ефим Петрович Черногубов возвратился в свое Папилово. Казалось бы, возвращение его могло почитаться совершенно благополучным. Нельзя же утрату плохонького револьвера и малость тревожную выsidку в партизанской землянке признать за непоправимые несчастья! И та, и другая вызывались условиями военного времени. Собственно, произошло чуть-чуть незаурядное дорожное приключение...

Однако только ямщик Михаил Гордеич правильно понял это. Он хлестнул с ожесточением Гнедого и Огородницу, когда партизаны отпустили доктора во-свояси, но исключительно потому, что заскучал от безделья и от голода на неудобной стоянке. Лошади взяли спором и сильным рывком. Через три-четыре прыжка они уже нырнули в глубоченный овраг, за которым начинался глухой и косматый бор, с обездной дорогой вокруг него к накатанному большаку.

— Ты чего, дурак, оглядываешься! — внезапно прошипел с невиданной злобой Ефим Петрович, и его взбешенные глаза уперлись в остолбенелые глаза ямщика. — Гони скорее!

Михаил Гордеич с обидой покачал головой, отвернулся, с'ежился, словно даже армяк ему стал велик.

И так, в полнейшем молчании, проехали полдороги. Однако словоохотливый ямщик не выдержал одиночества, забыл грубое и незаслуженное слово доктора. Где-то на раскате, когда Михаил Гордеич накренился с облучка и для равновесия в ту же сторону потянулся Ефим Петрович, первый с простодушно-лукавой заигринкой неопределенно выразился:

— Хорошо, шуб не сьмают!

Ямщик выровнял сани, высек осторожную недовольную искру в прищуренном глазу и с меньшей надеждой на мир продолжил:

— Нагишами опушшают, видно, разбойники, а эт... мужики... строгоньки, а чужого не берут...

Ефим Петрович так углубился в стоячий воротник шубы и глядел оттуда такими отчужденными и мутными глазами, что Михаил Гордеич окончательно осекся. Вдруг ему представился седок настоящим несговорчивым барином, на которого не угодишь ни спереду, ни сзади. Одновременно ямщик почувствовал, что сказал, пожалуй, нескладное о мужиках-партизанах: те же обидели доктора, отняв у него пистолет. Михаил Гордеич решил тотчас исправить промах.

— Я... о лошадях говорю! — выразительно протянул ямщик и даже показал на них рваной варежкой. — Хе-хе! — легонько и заискивающе усмех-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 7—8—12 1932 г.

пулся он. — Гнедой-то да Огородница тягловые у меня... Без них ровно... спина без хребтины...

Ямщик не закончил какой-то подспудной мысли, потому что Ефим Петрович с прямым пренебрежением и резкостью подчеркнутого движения спрятался в воротник.

— Н-но же, дьяволы! — мрачно насупились и крикнул Михаил Гордеич, стегая лошадей. — Застоялись... у постоялого двора!..

Разлад случился полный. Ямщику было невдомёк, о чем раздраженно и неприязненно думал доктор. Михаил Гордеич премного бы удивился докторской блажи, которая засела седоку в голову буквально с первых минут встречи с партизанами. А Ефим Петрович, как взглянул тогда на спокойного и ничуть не потерявшегося возницу, точно тот остановился подтянуть черессидельник или пересупонить хомут, так придиричиво и объединил Михаила Гордеича воедино с партизанами, мужик к мужику, полшубок к полшубку.

Безмолвно подкатили к земской больнице. Ефим Петрович даже запомнил проститься с Михаилом Гордеичем.

Ямщик неспеша распряг у себя на дворе лошадей, втащил в избу хомут, углядев на нем некий дорожный из'ян, бережно положил хомут на лавку и начал раздеваться.

— Эт дела вышли, — задумчиво сказал Михаил Гордеич старухе, — за пазуху к красным попали. У дохтура язык отнялся. Напрочь! Одна меня выругал и... ровно язык свой с'ел! Ровнешенько. Иван-молчальник, как поп про одного святого, слышал я, в церкви рассказывал. Поди, не соврал: учили их про святых, небось, всякому-всякому...

Старуха всплеснула руками и пожалела доктора.

Ефим Петрович положительно зачудачил. Папиловская округа осиротела, Доктор бесповоротно отказался выезжать за сельскую околицу. Пригоняли напрасно лошадей, скакали без толку нарочные, попусту присылали жалобные караули-записки. Бабы трудно рожали, и привозили их в больницу с

опозданием, старики беспомощно не слезали с печей, дырявая оспа гнездилась по деревьям... Папиловская волость зароптала...

В один из зимних праздников по светлому вечернему окошку докторской квартиры какой-то обиженный человек ударил березовым поленом и засыпал мелкой стеклянной солью медвежий ковер в комнате. Мороз, как от каменки в бане, хлынул в огромную пробоину, а тем временем березовое полено под ряд выхлестало и остальные четыре рамы.

— Получай подорожное! — крикнул некий отчаянный голос.

Предсказание быстро исполнилось. От'езд Ефима Петровича состоялся через какие-нибудь полторы-две недели. Как-то с полудён в Папилове произошло неладное смятение. Сначала один за другим прискакали верховые из поля. Всадники чуть не на лошадях ворвались в английский штаб. Там они скоренко сделали свое дело и понеслись дальше. Штаб без замешки начал грузиться на санные подводы. Папилово вылезло на улицу...

Тогда-то к Михаилу Гордеичу и явилась сиделка из больницы.

— Чего? — подобно глухому, наклонил волосатое ухо ямщик к посыльному. — Ефиму Петровичу лошадку? Куды? До Архангельска? Чтой так далеко? — Михаил Гордеич язвительно рассмеялся. — Не выстоят мои кони! И... и дорожки я не знаю: давным-давно ездили! Не повезу. Так и скажи дохтуру: отвык-де Михаил Гордеич не то што бы в губернию лошадок мучить, а и по своей волости считать верстовые столбы. Да он уж знает! По-о-нят-ливый!

К вечеру вокруг Папилова зататакали пулеметы. Вместе с английским штабом, налегке, с одним-двумя сундуками — больше не взяли — Ефим Петрович покотил из нагретого угла.

Михаил Гордеич не удержался. Он впопыхах прибежал перед самым докторским от'ездом. Ефим Петрович торопливо натаскивал знакомую шубу. Ямщик снял шапку и, стоя у дверей, трудно от задышки спросил:

— Ты-то... пошто... бежишь, Ефим Петрович?

Доктор вытаращил глаза и перестал влезать в шубу. Даже растерянно отбросил рукав на сторону...

— Ой, нехорошо! Я как... друх говорю, — осмелел Михаил Горденч.

Но Ефим Петрович уже опомнился. Шуба ловко села на плечи. Ноги с невиданным громом затопали.

— Во-о-н, обормот! — громкоголосо выпалило горло. — Во-он, красная затычка! И ты... плетей захотел?! Я вот тебя сейчас сдам штабным!

Разъяренный и багровый, доктор гнался по пятам за Михаилом Горденчем.

В ту ночь, когда в избу к ямщику встали на постой веселые красноармейцы, старик глядел на них, лежа на полатях, и не понимал, почему доктор должен был бежать с англичанами.

— Это так война всё перекорректирует, дедка, — сказал красноармеец, — не всякая война, а гражданская. Война бедных с богачами. Доктор ваш — первейший беглец, прохвост и враг! Пестун от своих медвежат не бегаёт. Ты гришь, он — старичок? Ты вот не побег, а почему? А потому — свой бедному делу. Доктур — из того поля ягода. Ему со своими и сподручней. Ну, попадись, мы ево, не поглядим на старчество, выпрямим!..

Британская главная квартира не позволяла своим людям находиться в долгом бездельи: Ефим Петрович скореехонько превратился в военного врача, даже надел английскую форму.

Вот тогда на одной из окрайных архангельских улиц и произошла внезапная встреча.

Ефим Петрович следовал из лазарета с двумя знакомыми офицерами. День приближался к вечеру. Кое-где начинали зажигаться огни. Человек в грязном дубленом полушубке и шапке-уханке вышел из переулка, — четверо людей столкнулось на перекрестке. Доктор и Борис Лавдовский узнали друг друга.

— Ко-но-вал? — визгливо воскликнул Ефим Петрович и отступил к заборчику, пропуская сразу сбившегося с ноги пешехода.

Лавдовский безотчетно нахлобучил шапку, согнулся, глаза мгновенно затаились в страшной тревоге. Но они уже почему-то облюбовали тусклый свет лампы в маленьком домишке напротив. Какая-то женщина стояла спиной к окну и опраивала лампу. Фитиль медленно и лениво разгорался. Борис Лавдовский неверно и торопливо сделал несколько шагов. Его как будто притягивало через дорогу на огонь. Вдруг весь окружающий мир исчез. Лавдовский перестал видеть небо и землю, тесную и бестолковую деревянную стройку вокруг, перестал чувствовать морозный ветерок, от которого за минуту перед этим неприятно морщился и закутывал шею шарфом. Лавдовский пережил ощущение совершеннейшей своей невесомости. Грубое и тяжелое тело точно растаяло. Сознание Лавдовского направилось к единой цели, к единому зримому предмету — домишке и загорающейся лампе. Как-то случилось само собой, что Лавдовский оказался посреди дороги в выбранном им направлении. И в эти секунды он понял, что доктор уже успел открыть своим спутникам, кого они встретили.

— Стой! — рванулся позади жадный и взволнованный голос.

— Стой, — подхватил другой, словно стараясь опередить первого.

До слуха Лавдовского достиг лязг сабли, выдернутой из ножен, и шероховатый звук расстёгиваемой револьверной кобуры... Пронзительно щелкнул выстрел...

Сразу рухнуло оконное стекло в домишке напротив, взмахнула руками и метнулась в сторону женщина. Лавдовский заметил, как висячая лампа над столом от судорожного толчка убежавшей хозяйки широко закачалась на цепях. Лавдовскому показалось, что он с необычайной легкостью и стремительностью оторвался от земли, точно пролетел по воздуху несколько метров до распахнутой калитки, точно его успело всего осыпать стеклянной пылью от простреленного окна.

Обширный двор переполняли кучи грязного обледеленого снега. Почему-то перевернутая вверх тормашками соба-

чья будка как-раз валялась на узкой тропинке, ведущей к двухоконной избе вглуби. Двор был явно непроходим, кроме как по этой разгребенной дорожке. Погоня уже наступала.

Офицер Сельцов успел выпустить в бегущую мишень несколько пуль и ворвался в калитку. Лавдовский, не оглядываясь, не соображая, куда он может скрыться, наобум, чуть замешкавшись у собачьей будки, кинулся по дорожке. — А-а-а! — закричали самодовольно офицеры в предчувствии близкого торжества.

Казалось, узкая дорога упиралась в избу, и дальше, за ней, глубокий снег преграждал все возможные пути к спасению.

Лавдовский добежал и... растерянно замер на несколько роковых секунд. В тот же миг он утратил легкость и невесомость тела. Косная тяжелая оболочка связала его и лишила необходимой стремительности движения. Лавдовский увидел доктора, семенящего от калитки и кричавшего фидерам:

— Не убивайте, не убивайте! Берите, господа, живьем! Теперь он не уйдет!

Это восклицание доктора вернуло Лавдовскому сознание. Фраза Ефима Петровича больно отозвалась в сердце. Лавдовскому захотелось тут же отплатить за нее. Вдруг безоружный старик представился большим врагом, чем офицеры с наганами. Лавдовский должен был наказать старика за его предательский поступок. Лавдовский приобрел способность к защите и нападению. С полнейшим самообладанием он выхватил из кармана револьвер, сделал шаг вперед, заставил остановиться офицеров и дважды выстрелил в Ефима Петровича. Выбор мишени был так ясен, что доктор закричал во весь голос, поворотил назад и зажал уши руками.

Погоня немного опешила. Лавдовский воспользовался замешательством. Он быстро миновал избу и начал уходить на задворки. Трудно, проваливаясь в снег, преследуемый старался выбраться к огороду, за которым открывался покатым пустырь и дальше шли

полузанесенные жалкие кустарники с видимой между них дорогой. Он экономно отстреливался, хотя в кармане лежал запасной заряженный револьвер. Офицер Сельцов без толку требовал:

— Сдавайся! Лучше будет! Сдавайся!

Он тоже, аккуратно метаясь, стрелял не часто и упорно преодолевал снег. Товарищ Сельцова отставал. Он провалился в какую-то яму почти до груди, горячился, чтобы скорее выбраться и только еще сильнее погружался в снег. Выдохнувшись, он палил в Лавдовского с места.

Короткий полушубок преследуемого давал ему немаловажное преимущество. Расстояние между Лавдовским и Сельцовым увеличивалось. Лавдовский опасно усмотрел на своем плече вырванный пулей Сельцова клочок меха и с радостью догадался, что следующие пули уже не достигали. Тогда Сельцов, замучившись в неудобной шинели, остановился и торопливо сбросил ее. То же сделал, точно просветлевший от догадки, его товарищ. Сельцов кстати перезарядил наган. В мундирах офицеры пошли успешнее.

Лавдовский не прозевал и далеко оторвался от них, откуда происходила замешка с раздеванием.

На склоне покатою пустыря снег был тверже и мельче. Лавдовский проскочил двадцать-тридцать метров по крепкому насту. Но хотя офицеры временно стали безопасными, казалось, беда надвигалась с другой неожиданной стороны. По дороге за кустарниками бежали какие-то люди, размахивали руками и вопили. Другая кучка стояла поодаль и смотрела. И эта кучка точно бы поджидала Лавдовского. Выход оставался только на нее.

Глаза Лавдовского мгновенно смерили непреодоленное пространство. Он успевал выбраться на дорогу раньше бегущих ему наперерез людей. Офицеры тоже приближались, и... вот-вот они снова прозили, как и раньше. Лавдовский стиснул в обеих руках по револьверу и кинулся прямо на безмолвных и неподвижных наблюдателей. Его затравленные глаза уперлись в незнакомых

людей. Когда он почти сравнялся с ними, люди малость, с испугом отодвинулись с дороги. Но Лавдовский еще не доверял и был наготове. Однако тревога являлась напрасной.

— Беги влево, — скороговоркой сказал молодой рабочий, — там — стройка, крутись со двора на двор! В поле же вылезай!

Рабочий из предосторожности говорил, прикрывая рот рукавицей, а сосед его для большей безопасности застраивая собой товарища от офицеров.

Те наконец тоже очутились на дороге. Они с бранью и угрозами накинулись на рабочих.

— Ротозей! Почему вы его не задержали? Почему не помешали?

Офицеры мельком всмотрелись. Они заподозрили рабочих в сочувствии к беглецу.

— Может быть, нарочно? А? А это вам понятно?

Сельцов в ярости направил револьвер на рабочих.

— Да, — закричали все дружно и согласно, — схвати!.. Попробуй!.. У него два револьвера в руках. Мы голяком против оружия не можем! Мы рады, что живы остались, а не только что хватать!

Кучка рабочих двинулась вслед за ускакавшими офицерами, храня усмешку в глазах. Зато они задержали добровольных охотников, которые скоро нагнали их. Этим они просто не уступили дороги. Две кучки людей сцепились в перебранке.

— Куда вы, черти! Чего вам надо? Застрелят, ребят кто будет кормить? Мы вот в сторонку, в сторонку!

— Вы так, а мы по-своему!

— По-нашему делайте! Живы и оставайтесь. Господа офицеры так не так справятся!

— Пропускай, не мешай! Не подставляй ножку с расчетом!

Лавдовский мелькнул возле первой стройки и скрылся из глаз.

— Лови, хватай — насмешливо гаркнул один рабочий. — Кати мигом, ребята, а то опоздаете!

В то время как Сельцов с товарищем, мокрые от усталости и раздражен-

ные от неудачи, прекратили бесплодное преследование, Ефим Петрович, осторожно ступая по глубоким протоптанным следам, добрался до офицерских шинелей и принялся сторожить их.

Старик хмуро курил. Одна мысль не давала ему покоя. Ефим Петрович видел довольно много людей, которые выглядывали из-за дворов на его сторожку, но никто не подошел к нему. Один, всем открытый, на белом пустыре доктор дожидался возвращения офицеров. Окружающие люди подчеркнута не сочувствовали им. Они любопытствовали издали...

Когда Ефим Петрович замахал руками офицерам, и те пошли к нему тем же путем через кустарники, любопытствующие и вовсе исчезли. Старик неприязненно и проследил и за этим. Жители неприкровенно были в чужом стане. Они утратили всякий интерес к доктору и офицерам, едва убедились в сохранности Лавдовского.

Ефим Петрович злобствовал, но ничего не сказал офицерам о своих наблюдениях. Старик служил делу с отчетливым сознанием: он не хотел колебать ясность офицерского духа и необходимую твердость в борьбе.

— Пусто! — даже весело сказал доктор. — Жалко!.. А впрочем, черт с ним! — махнул он пренебрежительно рукой. — Все равно попадетя. Сцапает! Город Архангельск... обширность имеет ограниченную!

— Надо однако сообщить в контрразведку! — досадливо заключил Сельцов. — Зря измаялись. Дурацкий бой у этих наганов. Палят, как из пушки, а на самом деле из рогатки попадешь точнее!

Лавдовский добрался до конспиративной квартиры с большим опозданием. Замученный вид товарища не требовал объяснений.

— Шли за тобой? — тотчас спросил председатель союза транспортников Тесанов.

— Да. Везет мне, — на лице Лавдовского изобразилась боль. — Наткнулся... Проклятый... крохотный город. Мало места. Одна случайность за другой. Недавно сынишка чуть не по-

губил. Увидел меня на улице. Мать не успела задержать. Кричит: «Папа, папа!» А кругом народ. Все смотрят. Я немного растерялся, но... пересилил себя и... кинулся наутек от собственного сына, — Лавдовский уныло вздохнул, — ничего... благополучно. Мать, повидимому, энергично вмешалась, — улыбнулся одобительно он, — я не оглядывался конечно, а краешком уха слышал ее голос: «Игорь, перестань, тебе показалось!» — Лавдовский подумал и грустно добавил. — Я... превращаюсь в какого-то бегуна!

После короткого молчания Тесанов сердито бросил:

— Всем, чорт побери, трудно! А жить надо! Ну, зато ловкость разовьем в себе ай люли малина! Долго медведями ходили. Скачи лисой, рысью, — лучше будет!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

За несколько часов до собрания польщиков на конспиративной квартире, в помещении архангельской контрразведки один за другим появились английский полковник Торнхилл и француз граф Люберсак.

Это были два главных руководителя контрразведки. Предполагалось, что они совместными усилиями оберегали общие интересы союзников, хотя и представляли только свои страны — Англию и Францию. Действительно, они работали в безукоризненном согласии. Полковник Торнхилл и граф Люберсак положительно не могли видеть друг друга без самой дружественной и приятной улыбки. Полковничья рука с крепким рукопожатием трясла графскую руку и наоборот. Большевикская крамола не имела права рассчитывать на снисхождение и терпимость ни с той, ни с другой стороны. Она воистину находилась между двух огней.

Офицеры английской и французской армий, в совершенстве владевшие русским языком, — они были подготовлены долгой практикой заранее, — составляли преданную свиту. Той и другой было поровну. Торнхилл и Люберсак обладали неограниченной свободой

действия, а следовательно и неограниченной властью. Военный контроль, — то бишь контрразведка, — подобно спутанным и сросшимся корням в старом лесу, прочно расположился на земле.

Через одну-две улицы от главного архангельского дупла контрразведки помещалось здание временного правительства Северной области. Там часто и старательно заседали. Там больше тянулись к власти, чем были ею. В веселые и довольные минуты жизни граф Люберсак поддерживал честь своей живой и острословой родины. Он пренебрежительно кивал на правительство:

— Там... наша регистратура... Они... Эти... самозванцы технически неплохо подготовлены... Лучших исполнителей поискать!.. Мы работаем в добром согласии. Я не знаю, возможно ли на свете еще большее уважение, чем то, с каким наши учреждения оберегают престиж невмешательства... временного правительства... не в свое дело!

Торнхилл непрочь был поддержать приятный разговор.

— Дорогой граф, — с чувством неизменного, само собой понятного, расположения усмехался англичанин, — вы немного преувеличиваете. Мы ни больше, ни меньше, как организация, ведающая исключительно военными вопросами. Одними военными. Правда, тыл также пользуется нашими услугами, но ведь... фронт и тыл вообще трудно отделимы. Это... голова и ноги единого организма. Это — корма и нос корабля. Тем не менее я полагаю, временное правительство независимо во всех вопросах внутреннего управления.

Граф Люберсак смотрел ясным и навивным взором.

— Да, да, господин полковник, — язвительно раскрывались тонкие губы француза, — я не оспариваю. Архангельское правительство помогает нам... созидать будущее... под своей фирмой! Оно — почтовая станция... по пути к населению. Оно облекает в желательную и приемлемую форму своих государственных постановлений идеи и факты, рождаемые нами, — граф Люберсак улыбался светло и благодарно, как неискушенный и удивленный про-

стачок. — Правительство чрезвычайно послушно. Это самое невзыскательное правительство на земном шаре. Я думаю, оно не станет возражать, если бы понадобилось отправить его за решетку. Верховное управление, испытавшее эту участь, возражало слабо! Дисциплина... как на войне!

Привязанность полковника Торнхилла к графу Люберсаку и графа Люберсака к Торнхиллу — свитские, как музыканты в оркестре, следили за дирижерской палочкой — однако не мешала французскому графу преимущественно опекать французские выгоды, а полковнику — английские. Изысканное взаимное обхождение было неиссякаемо, как и умение сторожить всякий шаг противника. Владычица морей Великобритания хотела вывозить лес, пушнину, рыбу. Прекрасная Франция понимала толк в тех же товарах, обе они облюбовали незастроенные, неистощенные земли, где бы давно было пора крепко и хозяйски стать ногой человеку.

Полковник Торнхилл и граф Люберсак боялись опоздать. В контрразведке сидели два жадных бульдога, которые охраняли каждый свое место и готовы были впиться острыми клыками в мякоть соседа. Каждому хотелось больше, а не меньше.

Сегодня им делить было нечего.

— Я решительно недоволен, — сказал граф Люберсак, возбужденно меряя крупными шагами обширный кабинет.

Торнхилл сидел в кресле за письменным столом, морщился и раздраженно прислушивался к беспокойному, отчетливому и резкому стуку каблучков коллеги.

— Это чорт знает, что такое! — шумно высказывался граф. — Мы начинаем работать, как неповоротливые медведи. Мы подпадаем под влияние русских мужиков, которые так же тяжелы на подъем, как их... девственный мозг. На нас влияет безрадостная, безнадёжная, ленивая полярная ночь. Мы — в спячке.

— У вас — крутой нрав, — перебил Торнхилл, — мне неизвестны новые обстоятельства, которые заставляли

бы меня тревожиться. Разве я не так же осведомлен, как вы? — вдруг пошевелился полковник, и в голосе его почувствовались тревога и ревность.

Граф Люберсак уловил неприятные оттенки в вопросе Торнхилла, стрельнул на полковника хитрым оком и разгорячился с удвоенной силой.

— Видимо, тут дело не в объеме нашей осведомленности, — шумел Люберсак, — полагаю, она совершенно тождественна, а в отношении к ней. Моя вспычивость характеризует только мое беспокойство и мою досаду. Военный контроль обладает превосходным вышколенным штатом. Каждый из работников мог бы быть руководителем английского Скотланд-Ярда или лучшим из лучших агентов образцовой французской полиции. Мы ввели передовую европейскую технику сыска. И... результаты плачевны.

— Вы... несправедливы к себе, — льстиво вставил Торнхилл, — вы в дурном настроении. Я не вижу главной причины вашего раздражения. Мне нынче доставлены очень успокоительные сводки, свидетельствующие о наших несомненных успехах и в городе, и в деревне. Вся область находится под живительным действием наших глаз. Мы видим сквозь леса, в воде, в земле, сквозь стены и даже, даже ночью... в супружеских спальнях!..

Граф Люберсак пренебрежительно фыркнул, и дробь его каблучков усилилась.

— Дорогой полковник, — так и хлынуло от него горячкой нетерпения, — ваше спокойствие — сплошной самообман, самообман и... ошибка! Мы рассеяли своих людей, как пыль, повсюду. Нет ни одного завода, учреждения, боевой части без нашего надзора. Любое маленькое скопление народа нам известно. Платные и добровольные агенты присутствуют везде, как эти архангельские комары, как этот... скверный архангельский воздух! Осведомленность нашу мы считаем первоклассной. Настроение солдат, офицеров, рабочих, обывателей нам раскрыто, как наши собственные мысли. Мы, как выигрыши в беспроигрышной лотерее, выдергиваем

инакомыслящих. Тюрьмы, наполненные нашими зазевавшимися противниками, — памятники нашей прозорливости и патриотического долга. Но это же нас не должно успокаивать! Мы все же не нашли до сих пор большевистской организации. Н-не нашли! — высоким взвизгом огласился кабинет, и граф Люберсак устало швырнул себя в кресло напротив Торнхилла. — Да-с, дорогой полковник, мы срезаем усердно и успешно мозоли, а корни мозолей остаются. Наше умение — нуль. Месяц назад мы имели удовольствие читать первую большевистскую прокламацию на шапирографе. Мы мудро решили, что она прибыла из-за кордона. Мы немало любопытных дураков загнали, куда они заслужили, чтобы отучить от чтения недозволенной литературы. Вся наша сеть обрушилась на профессиональные союзы рабочих, нам добровольно помогали квартальные комитеты... И что же? — Граф Люберсак вдруг прервал свою речь, полез во внутренний карман френча, достал свеженький лист печатной бумаги и холодно, и ехидно спросил: — Вам известен текст новой прокламации, но... уже не на шапирографе? Не угодно ли — настоящий типографский шрифт!..

— А!.. — в крайнем неудовольствии пробормотал Торнхилл и еще более мрачно процедил. — Вы... меня опередили! Впрочем не в этом дело, — он насупил гневно брови. — Да, эти неуловимые большевики совершенно ясно наладили здесь свою типографию. Я теперь понимаю, граф, ваше негодование! Мы должны изыскать быстрые и уничтожающие меры. Это гнездо необходимо выжечь до тла. Оно, как всякое гнездо, содержит сначала яйца, потом выводки цыплят...

Граф Люберсак тонко и с хитринкой прервал:

— Птицы размножаются, вьют новые гнезда, кладут новые яйца, и... так далее! Не будем продолжать. Я получил еще более неприятные вести. Листки проникли на северодвинский и железнодорожный фронты. Военно-контрольные пункты там взяли группу солдат, распространявших эту большевист-

скую мерзость! В нескольких казармах здесь листки найдены под матрацами и подушками солдат. Арестован рабочий-столяр при нашем главном штабе. Он приходил на работу в свою столярную и таскал солдатам прокламации. Душеспасительное чтение! О заводах нет надобности говорить: там листки повсюду!

Полковник Торнхилл резко спросил: — Ваше мнение о мерах к пресечению? Вам на этот раз удалось первому получить малоприятное известие, и... я полагаю... вы уже достаточно обдумали, как быть нам?

— Да, — охотно согласился Люберсак, — мы обязаны усилить кары. На запугать население. Необходимо, чтобы каждый человек задумался, прежде чем помогать большевикам. Мы сделали оплошность. Мы расстреливали негласно, даже не опубликовывали в печати. Это — несовершенство техники. Кроме обычного террора, надо создать показательные публичные процессы. Я имею предложить готовый объект. Военно-окружной суд будет судить большевистского комиссара милиции Валявкина. Он хорошо известен всем архангельцам. Мы его после обычной процедуры признаем виновным в принадлежности к большевистской партии и присудим к смертной казни через расстреляние. Это мы сделаем предупредительный окри... Я уверен, он окупит наши старания. Это не

Полковник Торнхилл лодчий льно поддержал коллегу: При инт

— Прекрасно! Убе при льно! Новый метод! Он может принести неплохую жатву. Кроме того, — совсем оживленно увлекся полковник, — я вчера виделся с командующим русскими войсками генералом Марушевским. Он представил, с моей точки зрения, весьма полезный проект выяснить количество сочувствующих в той или иной мере большевикам...

— Что он предлагает? Как это возможно осуществить? Генерал Марушевский — не фантазер, а деловой человек. Он очень изобретателен. Я полон внимания.

Граф Люберсак от любопытства даже наклонился через стол к Торнхиллу.

— Генерал Марушевский, — продолжил полковник, — издает приказ с предложением всем желающим переехать в Советскую Россию... Ха-ха!.. Требуется только маленькая, маленькая записочка... объяснительная записочка... о мотивах переезда... Совершеннейшая свобода!.. Конечно в записочке точный адрес и... ха... ха... когда можно заставить!

— Ха-ха! — весело залился граф Люберсак. — Но неужели же вы, драгоценный коллега, допускаете — найдутся такие ослы, которые поверят всей этой... чепухе?

— Генерал Марушевский убежден в успехе. Он, может быть, лучше нас все же знает это варварское население. Я бы в качестве опыта попробовал. Не вызвать ли нам генерала? В случае удачи мы можем сразу освободиться от множества вредных и опасных людишек. Часть охотников — в тюрьму, часть действительно выпустить, часть перестреляем во время перехода через фронт. Озонация воздуха весьма-весьма нужная!

Граф Люберсак подумал, вынул часы и сказал:

— Мне сейчас необходимо съездить в главную квартиру. Я вернусь через час-полтора. Не будемте откладывать дела с генералом Марушевским. Давайте встретимся сегодня же. Распорядитесь пригласить генерала. Я в свою очередь подготовлю штаб к процессу комиссара милиции Валявкина.

Полковник Торнхилл позвонил. В кабинет вошел секретарь.

— Пригласите на семь часов вечера генерала Марушевского, — сказал Торнхилл, — сюда... без опозданий. По телефону не звоните, съездите лично. Скажите — безотлагательное дело. Приготовьте пишущую машинку. Продлить дежурство машинистки!

— Я буду точен, — сказал граф Люберсак уже в дверях, — надеюсь и... остальные.

Их искали. Полковник Торнхилл и граф Люберсак дорого бы заплатили всякому, кто указал им убогое жилище сапожного мастера Микулкина, где собрались в этот вечер главные подполь-

щики. Во всяком случае иностранцы схотно оказались бы неучтивыми в отношении генерала Марушевского, заставив его прибыть в контрразведку зря. Нечего говорить о его проекте: он конечно мог погодить! Полковник Торнхилл и граф Люберсак собственноручно конвоировали бы большевистских главарей, боясь доверить их даже своей умелой и безупречной псарне.

Три неряшливых, никогда немых окошка в «дворце трудящихся», как шутливо называл Микулкин свой уединенный на задворках флигелишко, были скудно озарены настенной керосиновой лампочкой с потемневшим от давности отражателем. Микулкин разгородил глухими перегородками на три части скособоченное свое помещение, зажег огонь в первых двух комнатках, а последнюю замуровал тяжелыми дверями от света и от людей.

На освещенной площади располагалась мастерская: верстак, лукошко с круглым вдавленным кожаными сидением, угол свежих и затасканных колодок, груда пахучих заготовок, кучи продранных сапог, ботинок, туфель без каблуков, без подошв, без передков или без задников. Подобно конскому хвосту, висел на гвоздике в простенке между окнами основательный пук дратвы. Пол усыпал мелкий деревянный гвоздь и лоскутья от разноцветных сапожных ушек.

Микулкин украсил уютную свою пещеру православной и самодержавной живописью. На каждой прокопченной табаком и пропахшей кожей стене висело по картинке. Микулкин нарочно ходил на базар за покупками.

Прямо против входных дверей, выше мотка с дратвой, преподобные Зосима и Савватий, соловецкие чудотворцы, стояли на некоем возвышении, именуемом крепостными стенами, смотрели на Белое море и распростертыми вперед дланями укрощали буйство стихии. Вдали от Соловков трепали океанские ветра судно с богомольцами. Оно шло по волнам почти дыбом, но... уже у Соловецкой обители наставала гладкая и послушная тишина, водичка скромно ли-

зала камешки, и двечочки торчали, как пуговки, по всему святому бережку. Так Микулкин, коренной архангелогородец, чтит местные святыни!

На правой переборке висела обширная в рамке олеография «Чудесное избавление венценосного помазанника божия императора Александра III у станции Борки от рук закоснелых царевубийщ».

А на левой стене в трех-четырех местах — картинки разных размеров — скакали на белых, вороных и пегих конях генералы Скобелев, Суворов и последний верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Тысячи Микулкиных махали шапками, воздымали на караул винтовки, дымом от пушек, как белой кудрявой метелью, застлало небеса и покоренные земли, Микулкины неслись вперед, не отставая от всадников, от развевающихся по ветру конских хвостов генеральских жеребцов.

Микулкин уважал и чтит старину. Окруженный святыми соловецкими печальниками о тощем мужицком и рабочем брюхе, памятливым к всевышнему чуду под Борками, горделивый от ежедневного созерцания рысистых жеребцов полководцев, Микулкин конечно подбивал каблуки и латал прохудалые подошвы с особенным под'емом.

Микулкин был лих на выдумки. Жилье его пребывало в разряде беспорочных. Неспроста светила тусклая лампешка в три неумытых окна. Сапожный заказчик не знал ни дня, ни часа. Разутый человек в любую пору побежит к Микулкину, побежит в чем попало, лишь бы обуть по-настоящему ноги! Лампешка светила в пустой мастерской. И люди приходили в полночь-за полночь. Мастерская была всегда на ходу: все разложено, все на месте, все ждет заказчика...

Микулкин чутко различал стук в дверь. Он выходил на крыльцо, ворчал, выговаривал за позднее посещение, вводил в мастерскую, заставлял стоять, чтобы скорее ушли, и сердито усаживался на лукошко.

— Мы — не фабричные, — опрызался Микулкин, — у нас машин нету, у нас вручную. А каждому следует быть в

понятии — лодчонке на веслах за парходом не угоняться? Али баба на кроснах вершок наткет, а машина в тот чуток времени сажень, а может, и все двадцать и... того более... версту! Я не обещался в эт срок! А ежели обещался, туман в разум ударил. Мыслимо ли сапог перекантовать от петуха до петуха?

Но Микулкину надо скорее выжить неугомонного заказчика, — в темной замурованной боковушке уставали не дышать, не шевелиться, — сапожник становился сговорчивым.

— Не обессудьте, — извинительно усмехался он, — я уж постараюсь нагнать жару в работу. Сапожки ваши будут готовы раньше других. Вижу, вам не в пример прочим нужны! Однава поверьте!

Флигелек сапожного мастера Микулкина, как постоялый двор: тут всегда народ. Подпольщики приходили и уходили наравне с заказчиками.

— Ребята, вы б, — шутил Микулкин, — для смеху отобрали у меня из рухляди по детскому башмачку да в кармашках и носили! Большой-то башмак неподходяще: ни в руке таскать, ни в карман не войдет! С детской починкой ко мне и ходите! Как ко двору трудящихся последние шаги делашь... башмачок в ручку!.. Бо-о-льшой отвод от глаз!

Нынче Микулкин так же отворял и затворял двери. Приходили вперемежку разные заказчики.

Лавдовский вошел в боковушку, когда там уже собрались все и каплю-сенький ночник достаточно накеросинил.

Лавдовский рассчитывал овладеть усталостью в какие-нибудь минуты, но сердце, как стальной камешек с верушки горы, убегающий равномерно и долго до подошвы, не хотело успокоиться. Лавдовский тяжело дышал и не мог справиться с собой. Надя Асенкова провела по волосам Лавдовского и подчеркнуто громко сказала:

— Да он весь мокрый! И волосы, и лоб! Дышит, как старик! Его бы уложить!..

Лавдовский через силу ответил:

— Перестань, Надя, компрометировать меня, — он запнулся, выждал не-

сколько сердечных перебоев и с большей свободой продолжил: — Она, пожалуй, предложит еще отправить Лавдовского в больницу... лечить от сердечного припадка!

— Да-а, — сказал крепко и басовито Теснанов, — там бы ему прописали на скорбном листе у кровати... историю болезни!

Сидевшие напротив Холмогорова, Георгиевский, Ян Юст и Христиансен попытались улыбнуться, и не вышло. Каждый безотчетно осудил себя за эту попытку: обстановка не соответствовала улыбкам. Наоборот, все товарищи как-то осунулись, помрачнели, и словно в боковуше стало холоднее.

— Нет ничего отвратительнее добровольного охотника, — задыхаясь, ненавистно прошептал Лавдовский, — охотника-любителя! Он за тобой действительно гонится, как за дичью! Платный агент — служащий, палач, подстерегающий жертву...

— Оба хороши, — недовольно ворчал матрос Угольский, — гада душат за то, что он гад, а не за то, что гады бывают разных пород!

Несколько матросов и рабочих с Маймаксы поддержали его.

Лавдовский так до конца собрания оставался возбужденным и перемогал сердцебиение: вторая встреча с Ефимом Петровичем могла стоить жизни!

Лавдовский невольно сбивался с продуманного и избежного пути. Покуда товарищи говорили, внутри у него происходила путаница. То он испытывал всё покоряющую радость освобождения от опасности и хотел жить, жить жадно и много жить, то с неприятным ознобом представлял себя убитым офицерами. Белый пустырь, сугробы снега, жалкий кустарник внезапно вставали перед глазами. И тогда становилось страшно. И тогда вдруг сердце с мучительной болью жалело эту бедную микулкину хату. Лавдовский оглядывал товарищей: они так же бы собрались и без него. Странно, Лавдовского бы жалели, плакали о нем, но коптилка, как и сейчас, чадила, Микулкин выходил к посетителям, выпроваживал их, товарищи продолжали начатое дело. Люди

убывают, но дело остается. Лавдовский с особым напряжением пережил бессмысленность и преждевременность встречи с Ефимом Петровичем.

В эти минуты душевной сумятицы Лавдовского уже столкнулись и неукротимо заспорили матросы со всеми остальными. Понемногу ввязался и он. Выступали дружно и согласно беломорцы Любомиров, Снятков, Первушин и Угольский.

— Мрак, осень, удушье, — говорил Первушин, — шквал на Северной Двине, ни один дьявол не осилит. Мы, моряки, знаем погоду!

— Ничего сделать нельзя путного, — свирепел Угольский, — копить силы хорошо крепкому домохозяину, а не такому, у кого угла нету.

— Посуленного три года жди, — издевался Снятков, — эта поговорочка для дураков. Она к терпению приучает, волю рабочего губит! На что надеяться?

— Архангельцы прозревают туго, — тяжело вздыхал и тяжело говорил Любомиров, точно он ворочал непосильные камни, — это у них от природы! Долго ночь, и мало солнца. А контрразведка забирает нашего брата, как треску ловит. Каждый день расстреливают в тюрьмах, ссылают. Просто куда-то заберут, и... нет человека! Вырубают лес вчистую!

Матросы наперебой торопились отстаивать свое.

— Силы не равные!

— Кружочки из рабочих заводить — пустяжи!

— Везде шпионы!

— И не говорил — говорил.

— Доносы.

— Бабе родной довериться страшно.

— Город запуган, куплен, продан, еще раз куплен, и не осталось в нем никакой совести.

— Чего мы дождемся? Стенки раньше время! Микулкин будто и в сорочке родился, а неровен час татья подойдут, и... крышка! Граф да полковник — заморские мастера; они под нас подроят!

— Надобно сказать о себе по-другому!

— Бить поодиночке!

— Из револьвера!
 — Бомбой!
 — Пожаром!
 — Взрывом!
 — Никаких других способов! А то одни разговоры. Ор-га-ни-зация! А что сделает горсточка против тысяч? Ничего. А тут на выбор. Сегодня полковник повалился, завтра граф, послезавтра генерал!.. Застать на месте все временное правительство и одним махом прикончить!

— Это будет дело! Те же моряки и рабочие воспрянут душой! В неприятельском лагере паника, трусость, оглядка на каблуки!.. Генералы да полковники сразу не рождаются!..

— Такое нам по характеру и по силам!

— В конце концов нас перебьют и переловят, но уж мы тоже насолим! Мы не бесплатно дадимся в руки. И погибнуть легко, когда знаешь: ты не дождался отдыха, а уж твои-то товарищи пользуются! Мы подготовим свободу! А при нынешнем положении мы гибнем зря!

— Сидим и смерти ждем!

— Лавдовский вон нынче попал было... Видишь — все еще бежит от прохвостов!

— Вчера взяли столяра Никиту при штабе.

— Чья дальше очередь? Надо пальнуть, оглушить, напугать: рыбы так не мало попадается в сети!

Лавдовский, Теснанов, Асенкова оспаривали, но они видели, что колебание было и у Яна Юста, и у Христиансена, и у рабочих с Маймаксы.

— Ведь это же — чистейший террор, — волновался Лавдовский. — Это же — каля в нашем деле. Удалить при случае врага неплохо. Смешно было бы отказаться от пользы, от малейшего шанса на победу, но этим не побеждают. Перебить всех желая. Найдется замена. Маленькое геройство и остается маленьким.

— Победить мы можем только организовано, — каждый раз повторяли Теснанов, Асенкова, Лавдовский, — уже вскрылась сущность белогвардейского режима. Недовольство всеобщее. Мы де-

лаемся сильнее, хотя нам становится работать труднее час от часу. Сопротивление неизбежно, как и жертвы. К нам втихомолку обращено внимание тысяч рабочих и солдат. И, если мы уйдем, то есть, после нескольких удачных террористических покушений, нас переловят и выбьют, массам будет не за кем идти. Террор, один террор, самоликвидация!

— Не согласен, — сердился Угольский.

— И мы, и мы! — подхватывали Снятков, Первушин, Любомиров.

— Товарищи, — свирепел в свою очередь Лавдовский со своей группой, — надо же понимать окружающее более углубленно. Нас были единицы. Мы сколотили организацию в несколько сот человек сочувствующих. Почему? Потому что создаются выгодные условия отрезвления масс от первоначального разброда. У нас есть типография. Наши листовки расхватывают, как расхватывают хлеб голодные. Мы же везде видим сочувствие. Помимо нас, стихийно в армии зарождаются военные заговоры против интервентов. Контрразведка расстреляла несколько десятков солдат. Разложение коснулось даже командного состава. Рабочие бурлят. Рабочие за свою доверчивость к меньшевикам и эсерам пострадали больше всех. У них отнято все, что дала им революция. Даже больше. А раз было завоевано, а потом завоевание насильственно отнято, это не забывается, это болит. Рабочий снова стал рабом. Рабство при интервентах худшее, чем было при самодержавии. Рабочий класс Архангельска — это наша небооруженная армия. Ее не надо подталкивать. Ее, наоборот, надо удерживать от преждевременных выступлений. Мы, собственно, для этого и собрались. Скоро наступает вторая годовщина Февральской революции. Массы нас подталкивают. Они рвутся на улицу. Но они безоружны. Время не наступило. Они будут разбиты. Если бы мы были в силах удержать их, надо удержать, надо спасти нашу организацию. Но в то же время нам нельзя уклониться, обособиться от масс, оставить их одних. Где выступает пролетариат, большевик не может глядеть на него со стороны. На заводах, на фабриках, в профсоюзах бу-

дут митинги, будут выступления. Предоставить это поле для упражнения в речах меньшевикам и эсерам? Масса отшатнется от нас. Ваш террор, товарищи, смехотворен! Поймите, задумайтесь хотя бы над таким фактом: интервенты не доверяют белым солдатам даже расстреливать нас! Это значит: контрразведка учитывает опасное настроение солдат. Интервенты не доверяют даже своим холоумам—офицерству. Во всех военных школах, открытых просвещенными «союзниками», в пехотной, артиллерийской, пулеметной, бомбометной, телеграфной, обучаются русские офицеры, но «хозяева» решительно не позволили ввести «русский контроль». Вывод ясен: режим гниет. Надо усилить натиск масс. Это—первостепенное!..

Комитет партии долго не находил единой и согласной речи. К сапожному мастеру Микулкину перестали приходиться заказчики: это значило—время перевалило за полночь. Микулкин и дал сигнал расходиться: сапожный мастер должен был спать, чтобы завтрашний день в его жизни был обычен, как и все предыдущие. Микулкин стерег и оберегал свое гнездо на ухоронье!

— Время есть, кончите и не сегодня, ребята,—зевнул неугомонный хозяин,—вижу, сегодня не выйдет: обождем! Я по-рабочему рассуждаю так—навалиться следовало всем, а не вразнобой! Чего кони, и те от волка табуном отбиваются, а

коровы глупые все ж таки наставляют рога стадом!

Микулкин проводил некоторых товарищей и запер крыльцо. Другие остались ночевать и разбрелись поодиночке, уже утром.

Комитет не пришел к окончательному решению, но уже главные спорщики, медленно и осторожно, поддавались.

Засыпая в своем углу, Надя Асенкова сказала Лавдовскому:

— Борис, матросня наша, кажется, трещит! Но я боюсь, она нам еще много доставит огорчений!

— Нет,—уверенно ответил Лавдовский,—хотя ребята—огонь... правда. Но они уже поняли. Только не хочется сразу передумывать...

Ян Юст тихонько засмеялся в темноте.

— Я хотя не матросня,—сквозь смех пробормотал он,—а деревообделочник, но отдам вам свой голос.

Христиансен тяжело перевернулся на полу с боку на бок.

— А ты, Христиансен? — веселя, спросил Лавдовский.

Христиансен помолчал и неожиданно сделал выговор товарищам:

— Я должен ночью спать и никаким делом больше не заниматься!

В контрразведке не спорили. Там только согласовывали, и генерал Марушевский освободился рано.

(Продолжение следует)

Бурса

А. ВОРОНСКИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«На морском берегу бесконечных миров собрались дети. Беспредельное небо неподвижно над ними, и немолчные воды охвачены бурей. На морском берегу бесконечных миров с криками и плясками собрались дети»

Строят они себе домики из песку и играют пустыми раковинами. Из листьев опавших они сплывают кораблики и, улыбаясь, пускают их по широкой пучине. Дети играют на морском берегу миров

Они не умеют плавать, они не умеют закидывать сети. Искатели жемчуга ныряют за жемчужинами, купцы плывут на своих кораблях, а дети собирают камешки и снова разбрасывают их. Они не ищут скрытых сокровищ, они не умеют закидывать сети.

Море вздымается с хохотом, и бледной улыбкой мерцает морской залив. Смертоносные волны напевают детям незатейливые песни, как поет мать, качая колыбель младенца. Море играет с детьми, и бледной улыбкой мерцает морской залив.

На морском берегу бесконечных миров собрались дети. Буря мечется в бездорожном небе, корабли бесследно тонут в пучине, смерть свирепствует, а дети играют.

На морском берегу бесконечных миров великое собрание детей»

«Гитанджали» — Рабиндранат Тагор

I. Мир

Трех с половиною лет, бегая по горнице, я ударился о печную дверцу и проломил голову; спустя несколько месяцев опрокинул на себя кружку с кипятком и обжог локоть; пометки остались на всю жизнь. Об этих случаях узнал я от старших. Не запомнил я в эти годы ни одной зимы. А вот альчики — камушки — во влажном желтом песке и как я ищу их и радуюсь им запомнились. Помню дуб в лесу за рекой Вороной, уродливый и могучий; я прижимаюсь щекой к его окаменелой коре и притворяюсь, будто хочу на него взобраться. Помню солнечные косяки в пятнах, в струйках; рядом дрожат и прыгают зайчики. Окно настезь от-

крыто. За окном — сирень, утренняя прохлада. На листьях дрожат сверкающие, крупные капли росы, готовые упасть. От подушки, от простыни — сухое, ровное тепло. Кривой, пустой рожок с резиновой соской висит у изголовья. Я хватаю рожок. От соски пахнет кисловатым, прокол по краям побелел. Держу рожок обеими руками и жадно сосу, но он скоро мне надоедает, и тогда я подтягиваю ногу и, пыхтя, сосу большой палец. Это куда вкуснее. От сосания меня долго не могли отучить.

В канаве за домом поймал я тритона, боялся его и жалел упустить; и все же упустил; тритон был холодный и скользкий. В роще напугал меня уж. С высокого, сырого пня, где лежал он

кольцом, уж блеснул темной лентой и со свистом и скрылся в траве. И страшно, и очень занято...

Солнце осыпается ослепительной, прозрачной пылью. Солнце во мне, повсюду, оно затопило леса, берег, луга. Река блещет до рези в глазах. Песок чист и горяч. Стаи рыбной мелюзги, лукавой и легкой, суетятся в прозрачной и теплой воде. Дно покрыто трепетными бликами. Как яростный мир! Сажу на корточках и не вижу, что уже успел замочить рубашку. Все, что двигается, — живое, живое — таинственно, любопытно, привлекает к себе. Живое есть радость. Я быстро погружаю в воду руку с распластанными пальцами. Раз, два! Неудача! — в руке ничего нет: мелюзга разбежалась, она играет подальше от берега. Осторожно я подвигаюсь к ней: ах, как хочется поймать! Башмаки давно в воде, рубашка намочена почти до пояса. Опять неудача! Сзади нянька Груня хватает меня подмышки, тащит на берег и шлепает. Я барахтаюсь и кричу, не от боли, а оттого, что непременно хочется поймать силявку и настоять на своем. Не припоминается ни одного размышления. Мир... Живое... Все живое... Живое влечет к себе... Ощущения свежие, отрадные.

... Открывается дверь в спальную. Спальная в сумерках. Я лежу почему-то не у себя на кровати, а на широкой постели, где спят обычно мать и отец. Темный, неизвестный человек приближается ко мне медленно, неторопливо высыпает на одеяло из кармана много гостинцев в разноцветных бумажках. Лица у него не разглядеть. Гостинцы я прячу под подушку. Утром шарю под подушкой. Гостинцев нет. Я плачу. Входит мама. Я жалуюсь: неизвестный дядя подарил мне много гостинцев, я спрятал их вот сюда; кто-то их взял у меня. Мама смеется. — Дурачок, все это тебе приснилось. — Пускай приснилось, но куда же девались мои гостинцы? — Солёные слезы попадают в рот, слюни текут на нагрудник, его не снимают с меня и по ночам: такой я слюнявый. Нагрудник прокис; я срываю его и требую моих гостинцев. Может быть, их взяла противная Груня?

... Отец в лиловой рясе, светлоробкий, и мама в широкополой соломенной шляпе усаживаются в тарантас. Сначала меня обещали взять с собой, но затем меня обманули. С ревом бегу я за тарантасом. Груня перехватывает меня на дороге, где в колеях — горячая пыль. Я визжу, кусаюсь. В кухне кухарка Анисья сует мне огрызок бублика. Я выбиваю огрызок из ее рук. За мной больше не ухаживают. Я долго кричу, кричать надоедает, и я уже только тихонько хныкаю, но, когда замечаю, что на меня обращают внимание, хнычу громче. Голос мой мне самому противен. Наконец, Анисья в сердцах говорит:

— Будя! Не бросишь кричать, вытолкну в сенцы. Там вурдалак на чердаке тебя дожидается.

О вурдалаках Анисья при мне рассказывала Груне. Вурдалаки встают из могил по ночам, проникают к сонным людям, надкусывают им шеи, пьют кровь, люди умирают. На миг я притихаю, кошусь на дверь, но вдруг неожиданно для себя раздражаюсь новым ревом. Анисья хватает меня в охапку, я отбиваюсь, но она легко справляется со мной и выбрасывает за дверь. — Родимец тебя расшиби!.. Возьми его, вурдалак! — В сенцах темно; лишь с потолка через квадратное чердачное отверстие пробивается немошный, бледно-желтый свет. На чердаке видны задки сношенных сапог, метла, угол печной трубы. Я замираю от страха и черных предчувствий, жду вурдалака. Знаю, он должен непременно появиться. И вот вурдалак появляется в чердачном отверстии. У него нечеловечья, мохнатая лапа, предлинные когти, узкое синее лицо, иссиня-темные губы. Обман зрения настолько нагляден, что я вижу, как вурдалак махает лапой, точно бросает вниз камни. От лапы на стену в просвете ложится огромная тень, она двигается, и она страшней самого вурдалака. Не сводя с него глаз, я жмусь к двери, обитой рваным войлоком, а вурдалак все машет, все машет рукой, но ко мне не спускается. Неизвестно, сколько времени всё это происходит. Груня открывает дверь, меня трясет «родимчик». Груня долго не может со мною справиться

— Ничего, милой, ничего... Примнилось... У курочки болит, у собачки болит, у коровки болит, а у Лешеньки нашего все, все заживет.

В сенцы я долго потом не решался один выходить.

... Другой обман, обман слуха, был приятен. Часто кто-то окликал меня по имени и так ясно и громко, что я быстро оглядывался и удивлялся, когда не видел никого кругом. Голос был далекий, он звучал, как музыка...

... С дивана я показываю на картину: бабушка, повязанная пестрым платком, с очками на конце пухлого, добродушного носа, вяжет чулок; рядом — кудрявый, светловолосый мальчик. Оба сидят у плетня на охапках сена. Вдали — церковь, рожь, луга

— Это кто будет?

Отец кашляет, прикрывает горсжкой рот, осторожно гладит меня по голове.

— Это твоя бабушка...

— А это кто будет?..

— А это ты будешь. Бабушка рассказывает тебе сказку.

Бабушки такой я никогда не видал. Очень также странно, что я нарисован на картине. Правда, я — кудрявый, вот они — мои кудри, и мальчик на картине кудрявый, вот они — его кудри; все же непонятно, как же это я очутился на картине. Но я верю отцу, он-для меня высшее существо. Он все знает. Никогда мне с ним не сравняться. Я верю ему вопреки очевидности.

... Но разве взрослый человек не верит сплошь и рядом вопреки очевидности?

... Взрослые все знают. Но и я иногда не ударю в прыз лицом. Старшие говорят; — Продолжайте рассказывать, он ничего не понимает, он занят своими игрушками. — Пускай так думают, а я слушаю и понимаю, и только притворяюсь, будто занят игрушками. Говорят про чужого дядю, про доктора: дядя «прохлопал» свою тетю, и она сбежала от него с купцом Миловановым. «Прохлопал» — он ее пребольно бил не то кнутом, не то палкой. Взял, да и прохлопал насковозь. От такого сбежишь!

Я — хитрый. Знание свое таю в се-

бе и чувствую свое превосходство пред взрослыми.

Взрослые — умные, они все знают. Но они в конце концов занимают меня меньше животных, насекомых, птиц, вещей. Котенок, бабочка, майский жук, божья коровка, сверчок за печью, пенал, кнут, деревянная лошадка, песок, яблоня мне ближе, занимательнее. Взрослые стоят от меня дальше. Они делают много непонятного и мне несвойственного.

... Мир мой около меня. Это то, что я вижу хорошо, могу брать, могу есть. Мир мой ярок и свеж, он точно умывает. По-своему он для меня огромен. Огромна комната с потолком, до него не дорезешь нипочем, сад тоже огромный, а за ним начинается беспредельное, неведомое и страшное. Отсюда тоска. И каждый день приходится что-нибудь узнавать и удивляться. В жизни самое хорошее — удивление. Вместе со мной рядом двигается тень, я пробую изловчиться и наступить на нее — никак не удается. Бегу от нее запыхавшись, а тень все около меня.. Удивительно... Если надавить пальцем глаз снизу вверх, все задвоится... Если долго кружиться, — комнаты, столы, стулья, пол тоже пойдут кругом... Пригаешь со стула и махаешь руками, точно птица крыльями, но полететь не удается, а птицы почему-то летают. Все это и многое другое удивительно...

... Пожалуй, самое удивительное — заводные игрушки. Они не живые, они сделанные, но они будто живые, сами двигаются, бегают. А сколько в них колесиков, винтиков, пружин и всякой мудрой всячины! Повернешь ключ, и в коняшке что-то запищит, и коняшка скачет по полу. В гостиной на столе — ящик с музыкой: ящик заводят, и он «сам» играет. Даже иногда страшно от всего этого, сделанного человеком...

... Простые игрушки, впрочем, тоже чего-нибудь да стоят. С базара мама принесла лошадку в подарок. Нимало не медля принимаюсь я за нее, и пока накрывают к обеду стол, успеваю продыривить лошадиное брюхо. Подходит мама, укоризненно качая головой, журит:

— Зачем портишь лошадку? Она такая славная!

— Кишки ищут! — Пыхтя и надувая щеки, я запускаю в дыру указательный палец.

Игрушку отнимают, но вечером, уличив досужий час, я довершаю начатое дело. Кишек нету. Плохая лошадка! У настоящей лошади, говорят, есть кишки!

... Очень хочется скорее стать «большим», до того хочется, что утрами я изо всех сил тянусь вверх: авось, подрасту. Большим можно носить очки, самому снимать штаны, садиться на горшок, засыпать, когда вздумается, не есть пресной манной каши, если не охота, не хорониться, чтобы всласть пососать палец.. Да здравствует полная свобода!.. Огорчений и обид не оберешься, до того стесняют во всем и мама, и отец, и Груня, и кому только не лень. Но горе и забывается очень легко. Дел по горло. Надо изображать пастуха, ямщика, скакать верхом на палочке,—гей, мой верный конь вороной!—надо строить шалаш, надо подразнить немного — с опаской — дворнягу Шарика! Каждое утро точно рождаешься или начинаешь жить новой жизнью. Нет ни прошлого, ни будущего, а одно настоящее, да и оно в том, чем занят сейчас, сию минуту. Быть занятым с утра и до вечера — и ничего делового, связанного с расчетом, с обманом и с ложью,—о, великая детская беспечность!

Детство — это забвение и беспечность. Забывают, чтобы лучше, свежей воспринимать. Но вот проходят годы, человек стоит с обнаженной головой пред безбрежным океаном. Кипят пучины, из недр их поднимается Левиафан вечности, с сердцем твердым, точно камень, и жестоким, как жернов... а позади многое, многое, что утомительно и беспощадно хранит память и что нужно бы по-ребячьи откинуть от себя навсегда!..

За палисадником огород, за огородом — кусты и болото. Болото тянет к себе. В нем — головастики, лягушки, жуки, пауки, козявки, гукает бучень. В болоте—тина, кочки, камыш, в камыше

неизвестность. Но в болоте есть еще что-то такое, странно-притягательное и неведомое, и я подолгу в одиночку смотрю на болото, прислушиваюсь и чего-то жду. Я не могу об этом написать лучше, чем написал когда-то Мопассан, а написал он о болоте просто и необычайно

— В болоте в часы солнечного заката есть... присутствие какой-то смутной тайны, готовой вот-вот открыться, жизни, которая, быть может, родилась когда-то из поднявшегося со дна болота на закате газового пузырька!

Самое сильное ощущение жизни связано у меня с болотом...

... Многие мелькает в тумане, и нельзя с уверенностью сказать, во сне ли то привиделось, или было то наяву.. Стою в сумерки у окна. За окном—пустырь, дальше—река в снегах, за рекою—церковь с тонким, длинным шпилем. Над шпилем в сером небе вьется галочья стая. Место незнакомое. От сумерек, от тонкой иглы, от галок, от пустыря, еще от чего-то до того грустно и тоскливо, что надо сделать усилие, чтобы не заплакать. Нет, никогда не вырваться отсюда, и податься совсем некуда.

Где, когда я видел наяву все это — не знаю.

Но о шпиле, о пустырях я неожиданно и тоскливо вспомнил, увидев в первый раз Петропавловскую крепость.

Сон в руку!!!

... В чем мое «я» теперь, когда седеют волосы и выцветают глаза?

Это — ощущения, это — страх, радости, горе, надежды. Но все больше и больше кажется мне моим «я», его ядром, мое сознание. — *Cogito, ergo sum* (мыслю, следовательно, существую), — сказано стариком. Это заметил кто-то очень верно. В детстве «я» прежде всего — в ощущениях. И потому, вероятно, многие детские ощущения сохранились с ослепительной яркостью, а свои мысли тогдашние припоминаю я хуже. Теперь же со мной происходит обратное: ощущения все тускнеют, а мысли очищаются...

... Зато какой рой вопросов обуревают ребенка позже, при пробуждении рассудка!.. Прямо податься некуда! Отчего мычит корова? Почему у петуха красный гребешок? Отчего видятся сны и где я бываю, когда сплю? Почему у собачки четыре ноги, а у меня две? Почему на небе звезды и можно ли их достать, если к ним все лезть, лезть до самого верха? Почему деревья выше человека? В каком месте кончается свет и что есть там, дальше, где свет кончается и где ничего нет? Можно ли видеть невидимых ангелов? Отчего я родился и что я делал, когда еще не родился, и что было, когда еще ничего не было? Все это требует безоговорочных и окончательных ответов. Дети — величайшие метафизики. А ответов-то и нету. Старшие все знают, но они чаще всего отделяются шутками либо ссылаются на то, что им недосуг, или говорят: — Подрастешь, — узнаешь — А может быть, и взрослые не все знают?.. И это непорядок, и неизвестно, как же быть?

... Лежу в кровати с тяжелой и горячей головой. Сохнут губы. Знойно. Хочется долго и много говорить. Закрываю глаза, и стоит мне о чем-нибудь подумать, это подуманное легко воплощается в образ... Груня... И из тумана выступает ее простое, бледное лицо, покорные серые глаза. Она что-то говорит, но я не понимаю ее слов... Довольно о Груне... Лучше о Шарике... Шарик выглядывает из конуры, — этаким хитрец, он косит глаза, а сам ждет от меня подачки, знаю я тебя, знаю!.. Именье Унковских... Вот конюшня... Ведут на водопой лошадей. Одна, каурая, взбесилась, что ли!.. Вырвалась!.. Скачет, скачет... прямо на меня несется... не надо... и нету... Как все странно... стоит подумать — и является.

— Нет, мамочка, ничего не болит, мне только жарко...

Не говорите, иногда приятно хворать, это, когда жарко, и мамина прохладная рука дотрагивается до лба, а в гостиной еле внятно отец играет на гитаре... Вот если бы и в жизни так было: подумал бы — и явилось... перестал думать — и сгнуло.

... Сумерничаем в столовой. Отец лежит на диване. Я примостился между отцом и спинкой дивана. В темноте большие, глубоко запавшие отцовские глаза влажно светятся. Нос заострен; во впалых щеках — тени. Волосы покоятся на подушке, ра сыпались. Папа мой хворый, ему надо ехать лечиться, а денег нету, приход бедный. Все это мне известно. Отец похож на бога, распятого на кресте, такой он худой и длинноволосый. Отец рассказывает тихо

— За горами, за долами, за сыпучими песками, в неизвестном царстве, в неизвестном государстве жил-был царь с царицей.

Стараюсь представить царицу. Утром на опушке леса видел я молодую Унковскую. Белая женщина сидела боком на серой лошади с хлыстом в руках, около бегали две собаки, поджарые, с острыми мордами. Должно быть, царица похожа на дочь генерала Унковского. Я спрашиваю:

— А у царицы собаки большие былы?

— Были. Не мешай рассказывать.

— .. Говорит царь сыновьям: «Возьмите по стреле, натяните тугие луки и пустите в разные стороны: на чей двор стрела упадет, там и сватайтесь». Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против девичья терема; пустил средний брат — полетела стрела к купцу на двор и пала у красного крыльца, и на том крыльце стояла душа-девица, дочь купеческая; пустил младший брат — попала стрела в грязное болото, и подхватила ее лягушка-квакушка ..

«Буду жениться—возьму тоже каленую стрелу; может, и мне на долю выпадет лягушка-квакушка... Хорошо, если она обернется Василисой премудрой, а если этого не случится?.. Сяду за обед, а лягушка-квакушка тут как тут: лезет погаными лапками в тарелку...» Сказке я верю. Меня уже приучили к мысли, что есть мир видимый и есть мир невидимый; в мире невидимом все возможно, самое необыкновенное.

Отец рассказывает неспеша, ровным голосом и все теребит курчавую и негустую бородку. А в окнах уже темно,

давно пора засветить лампу. В доме тихо, и только из кухни доносятся неясные голоса.

— ... И говорит Ивану-царевичу баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос: «Трудно, Иван-царевич, Кашея одолеть: смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кашей, как своей глаз, бережет...»

Сказку я слушаю не впервые, и все же с интересом. Однако, позавчера отец ее рассказывал по-другому: тогда Иван-царевич в чистом поле встретил серого волка, а не медведя; селезня тоже не было, а был ясный сокол.

— И все это неправдычка, — возражаю я отцу и вздыхаю. — В спальню ты говорил мне по-другому. — Я точно излагаю поправки. Отец треплет меня по плечу, улыбается.

— Это, дружок, сказка, ее можно баять по-разному.

— Нет, сказки надо рассказывать только по правде, — сурово обрезаю я отца, сердитый и разочарованный карабкаюсь через него: в кухне зажгли огонь, надо посмотреть, что там делается; пора притти со двора работнику Павлу, он обещал свить кнут, пастушинский, взаимдашный...

... Искусство не терпит ничего, что вызывает сомнения, даже в мелочах и, пожалуй, больше всего именно в них. Искусство все в этих мелочах.

На дворе у дьячка Николаича играю с сынишкой его Сергунькой, однолетком. Очередь ловить за Сергунькой. Двор невелик, заставлен телегой, санями, дрожками, в углу прет навоз. Около кухни лоханка с помоями всклянь. Колодезь с журавлем и длинным корытом для скотины. Сруб колодца старый, низкий. Я бегаю то вокруг телеги, то вокруг колодца. Сергуньке все не удается меня запятнать. От этого у него пропадает охота к игре, и, чтобы его подзадорить, я, пятясь назад, поддразниваю: «Не поймашь, не поймашь, не поймашь...» Вдруг я лишаюсь опоры, ударяюсь преобронно головой... куда-то я лечу, разверзается темный мешок... Обо всем этом

я не успеваю даже подумать и уже захлебываюсь водой. Я упал в колодезь. Вода леденит кости, внутренности, жжет кожу. Захлебываясь, бью по воде руками. Около меня плавает мертвая, всплывшая лягушка с белым брюхом; я хватаю ее руками в поисках опоры, ухажу с головой под воду, поднимаюсь на поверхность. Неожиданно пальцы находят твердое, ломаю ногти, я цепляюсь сперва одной, затем другой рукой. Из сруба выступает немного одно стропило в мокрой плесени, за него-то я и хватаюсь. Я продолжаю барахтаться, запрокидываю вверх голову и кричу ужасным, нечеловеческим голосом. Брызги кипят вокруг меня, отвратительная вода заликает рот, уши, ноздри. Темно, сыро. И высоко надо мной квадрат темносинего неба, несказанно желанного. Небо дрожит, дробится от всплесков воды. И так хочется очутиться наверху, и так остро, жадно я чувствую: там тепло, солнце, жизнь, а здесь мрак, ужас и смерть! И мне уже не холодно, а жарко, и я весь горю. Горло сжимают спазмы. Плавает мертвая лягушка белым брюхом вверх с распластанными лапками; стараюсь, чтобы вместе с водой она не попала мне в рот, и содрогаюсь от отвращения. Неизвестно, какое проходит время. Наверху показывается голова в лохах, в бороде. И голова, и плечи кажутся огромными. Я нахожу еще силы подумать: «Берендей». Берендей, держась за бадью, раскорячив ноги и упираясь ими и ручищами в углы сруба, спускается вниз ко мне.

Берендей — дьячок Николаич. Спустившись, он долго не может оторвать моих пальцев от стропила, и, когда справляется со мной, в моей руке все же остается гнилушка. Наверх нас вытягивают соседи. Еще и в избе я не выпускаю из рук той гнилушки, покудова совсем не прихожу в себя. Матери моей Сергунькин отец между прочим позже сказал:

— Дивиться можно, матушка, как это он сумел зацепиться за сруб. Я опосля осмотрел колодезь: сруб-то весь гладкий да склизкий, только в одном месте и есть, за что ухватиться, и то не взрослому... И вот, поди ж ты, это самое

место и нашел. Живуч будет мальчонка-то, право мое слово!..

Спустя несколько дней мы сумерничали с отцом. Он стал было рассказывать сказку про лягушку-квакушку. Я хмуро и решительно перебил отца:

— Про лягушку-квакушку не надо. Рассказывай про другое.

— Почему же не хочешь? Ведь это— твоя любимая сказка.

Я упрямо и кратко об'явил:

— Не надо...

Отца, по личной его просьбе, перевели в другой приход, где не было реки. Это ему не помогло, и он умирал от чахотки. Он уже почти не поднимался с дивана, и сквозь подрясник плечи его выпирали сиро и жалко, а на пальцы его я боялся смотреть: до того они высохли. Иногда отец сажал меня около себя, тихо гладил по голове, перебирал пряди волос, а я не знал, что ему сказать и что делать с собой. Ночами он, прислонясь к спинке дивана, усердно молился, читал кафизмы и акафисты, и лампадка в переднем углу теперь теплилась день и ночь. Вечером однажды я слышал: после обычных молитв отец, пристально глядя на иконы и задерживая истово на лбу трехперстие, через силу шептал

— Даруй мне, господи, скорую и легкую кончину, призри и не оставь сирот моих без попечения и милости твоея.

Я понял: отцу худо, и он нас, меня и Лялю, очень любит; в тот вечер я не отходил от отца и старался развлечь его шумными играми. Отец пытался улыбаться. В кухне мама часто плакала. Плакали и Груня, и кухарка. Глядя на них, и я плакал. Меня жалели и называли «горемышным», и мне было жалко себя.

После соборованья отец попросил привести меня и Лялю. Он полулежал, откинувшись на горку подушек. Его изнурял пот, грудь высоко и неровно вздымалась; в ней что-то застревало, свистело и шипело. Отец долго молча на нас смотрел. Я держал Лялю за руку. Мы тоже молчали. Отец, сделав

движение головой, будто ее приподнимая, еле слышно вымолил:

— Какой ты еще крохотный! Совсем мальчик с пальчик! А Ляля и того меньше. Жить вам придется без меня, дружок. Лялю не обижай, не забывай ее. Помни, одна у тебя сестрица. Сироты — вы оба. Надеяться вам не на кого...

Я с готовностью сказал:

— Нет, Лялю я не забуду. Я и тебя не забуду; когда помрешь, буду ходить к тебе на могилу. — Подумав, деловито прибавил: — Зимой, пожалуй, в могиле холодно; ты тулуп свой возьми.

Мать толкнула меня в плечо.

Отец взял наши головы, мою и Лялину, заглянул глубоко в глаза, перекрестил нас трясущимися руками, поцеловал в лоб и отвернулся к стене.

Мама прошептала:

— Иди на кухню играть в коняшки.

Я побежал на кухню и играл там в коняшки.

Ночью отец скончался.

В гостиную, где он лежал, нас не пускали, забывая во-время кормить. Мы испуганно и подавленно следили за старшими. Перед выносом мама приодела и вывела нас к панихиде. Посередине гостиной стояли два сдвинутых стола и на них — обитый черной материей длинный, безобразный ящик. В ящике лежало что-то очень изжелта-белое и неподвижное. Я понял: это — мой мертвый отец. Нос чудно и нелепо задырился кверху. От гроба и от белого отца источалась тошноватая тишина, и она не смешивалась ни с тихим и сдержанным разговором причта, родных и знакомых, ни с позвякиванием кадила, ни с плачем матери. По обеим сторонам ящика стояли подсвечники, затянутые белым ситцем, и в них желтели огоньками, свечи. Комнату убрали хвоей, и запах ее смешивался с синим и постным запахом ладана. Все это было страшно, но я не поверил смерти. Мне дали свечу. Стоя и слушая панихиду, я вспомнил, что скоро рождество христово, придут из села славить, затем уберут елку, развесят хлопушки, разные подарки, а на самой верхушке под потолком заблестит вифлеемская звезда, та самая, с какой путешествовали волхвы. Хоте-

лось, чтобы мне подарили пистолет и книгу с раскрашенными картинками.

На лбу отца что-то было наложено. Что бы это такое? Я сделал два, три робких и неполных шага туда, где в ризах служил священник. Мама потянула меня за рубашку назад. Лежавшее на лбу у отца не давало покоя, и я стал думать, как лучше и скорей мне приблизиться ко гробу. Старшие часто опускались на колени, и я стал тоже делать земные поклоны и понемногу, и незаметно стал подвигаться к причту. И опять мама за рубашку одернула меня. Я не сдавался и вновь, кланяясь, двигался вперед. Груня взяла меня на руки, и я увидел, что лоб отца обвит бумажкой и на ней золочеными буквами что-то написано. Отец лежал враждебный, до странности спокойный, сдвинув ноги пятками вместе, очень длинный Один глаз, правый, был приоткрыт, и отец будто подглядывал, что кругом делается. На него страшно было смотреть, и в то же время он притягивал к себе. Я отворачивался, но жуткое любопытство заставляло меня опять на него взглядывать. И я желал, чтобы отца скорей похоронили.

В церкви я с отвращением приложился к холодным, синим губам мертвеца, а Ляля, когда ее поднесли к нему, громко закричала, спрятала свое лицо в плечо Груни и не простилась с отцом.

Когда ящик опустили в могилу и на его крышку посыпались мерзлые комья, мама бросилась в яму, ее схватили за руку и за бархатную шубейку.

Вечером я спросил старших, что будет с отцом. Мне сказали, настанет время, и отец воскреснет.

Я нашел, что так и должно быть и иначе быть не может.

Несколько ночей я боялся засыпать без старших и спрашивал, крепко ли прибита крышка к отцовскому гробу гвоздями.

II. Дедовская Русь

Деда увидел я впервые после смерти отца. Привезли меня к нему зимним деревенским вечером. Два дня мы ехали в розвальнях. Стояли крещенские морозы, и заснеженные, завьюженные поля

терялись в нелюдимых, безымянных просторах. Колокольчик звенел дальним, бессильным и одиноким звоном. Казалось, мы навсегда завязли в синих, сыпучих сугробах и никогда не будет конца путям и перепутьям. Мы запоздали, ехали в лесу. Седобородый ямщик Никифор, низко подпоясанный широким красным кушаком, рассказывал матери о северных скитах староверов, куда доходил он в поисках работы и хлеба. Чудилась безгласная таёжная глушь, заболоченный край, неведомые тропы, смолистый бор, нетающий сумрак, и в полночь, в час страхов и баснословных былей, в час сказочных свершений, едва заметное мерцание огня в лесной глубине, островерхая ограда во мхах и в плесени, заброшенная снегом, сторожевая башня из толстых дубовых бревен с темными бойницами; там гнездятся желтоглазые филины. За оградой, внутри—кельи, закопченный потолок, яркий воск свечей, тени и мрак по углам, древние лики святых. В кельях бородачи-староверы. У них сухие, мертвенные щеки. Глаза ушли глубоко под лоб. Женщины с окаменевшими лицами ступают неслышно, и полы их черных одежд распахиваются, точно крылья ночных птиц. Они все «спасаются». Нашинского бога староверы не признают, и это очень дурно, но они не признают также ни исправников, ни урядников. Староверы — бегуны; иногда на них нападают солдаты, они уходят дальше в заповедные леса, а если им некуда податься, то сжигают себя живьем в срубах. Это жутко, но староверы — храбрые, и у меня к ним скрытое сочувствие.

— Они бунтуются? — спрашиваю я у Никифора. Никифор с облучка скашивает глаза.

— Ишь, какой вострый! Подрастешь, до всего допытаешься. — Помахав кнутом, прибавляет: — Ах, ты, сосунок махонький! все слышал. А я думал, ты спишь... Эй, поштенные!.. — И он начинает длинно и ворчливо корить лошадей.

Я глубже прячу лицо в тулуп. Он славно пахнет дубленой кожей и шерстью. Непонятно, почему рано спрашивать про староверов, бунтуются они

или нет. Правда, я еще не взрослый, но умею уже считать. Сколько мне лет? Раз, два, три, четыре, пять... А колокольчик все звенит себе и звенит. Теперь у него почему-то добрый, домашний звон. На сани осыпаются звонкие хрустальные лепестки: это звенят падающие снежинки... Да, я умею недурно считать один, два, три, девять, двенадцать, пятьсот. Динь, динь, динь!.. И вот странное и блаженное состояние, — я не сплю еще и плечами чувствую спинку саней, мать, Лялю. Сквозь закрытые, отяжелевшие веки, будто наяву, я даже вижу и снег, и лошадей, и Никифора, но меня во всем этом больше нету. Или, вернее, и снег, и сани, и лошади, и тулуп, и небо — это и есть я сам, но «я» сам стал себе посторонним, другим, и это так отлично, что мне хочется: пусть это мое чувство продлится как можно дольше. Затем все исчезает, остается одно ощущение теплоты, и тоже меня нет, и есть только теплое и уютное, и теплое это — я, и я себе — посторонний, другой... Поднимаюсь, все поднимаюсь по высокой и крутой лестнице, прямо к небу, к золоченым облакам, и чем выше, тем отраднее и легче несут крылья... я большой, огромный.. и все чудесно, и непонятно... я добрый... и все...

... Заснул я так крепко, что по приезде меня долго не могли растолкать, и мама даже перепугалась: быть может, я замерз. В тулупчике, в платках, я походил на узел. Меня раскутали, и я увидел деда. Высокий, костистый, худой, он шевелил нависшими бровями и руки держал за спиной. На нем обвисал полотняный зеленый подрясник; в белой бороде пробивалась желтизна. От деда крепко пахло нюхательным табаком. Валенки, пожалуй, были выше меня. Я ждал, что дед подойдет меня приветить, но он лишь угрюмо рассматривал меня. Я часто замигал и поправил ременный пояс.

— Здравствуй, дедушка! — прошептал я еле слышно. Дед засунул руки в карманы.

— Здравствуй, — пробормотал он небрежно, круто отвернулся и направился к выходу. Стулкая его спина заняла

двери почти во всю ширину, дед наклонил голову, чтобы не коснуться перекладки.

Я обиделся, и тогда-то у меня родилось подозрение, что дед из староверов. Строгий, угрюмый, он тоже «спасается». Заснул я с твердым решением проверить свои подозрения...

... Дед мой в то время уже находился за штатами. Свою младшую дочь Анну он выдал «со взятием», с приходом, с домом, с землей. Зять его, Николай Иванович, отделил деду и бабушке угловую комнату, но строптивый и неуживчивый дед бабушку скоро от себя выгнал, она спала в темной передней, не решаясь к деду даже заглядывать. Деду пошло уже за седьмой десяток, и с семинарской скамьи он не прекращал пить горькую. По семейным преданиям, вполне достоверным, дед отличался незаурядными способностями, и после семинарии его назначили в духовную академию, о чем за него хлопотал сам «владыко». Едва ли не в первые дни своего в ней пребывания дед упиался, и пьяный, с поленом гонялся за инспектором, изрыгая непотребные словеса и пытался изувечить начальника. Деда немедленно из академии исключили и отправили простым дячком в глухое село. Женившись и получив кое-как приход, дед продолжал запивать. Пил он угрюмо и одиноко, ни к кому из соседей не ездил, не ходил и редко кого принимал, разве только прихожан-грамотеев, да и то с большим выбором. И родных, и духовенство дед открыто презирал. Сам я был свидетелем, когда он вмешивался в разговоры старших, если речь заходила о науках и искусствах. Лохматый, хмельной, он неожиданно появлялся в дверях, громко и грубо обрывал и своих, и гостей: «Болтуны, скудоумцы!.. не дано вам, скорбные главою, помыслить об этом и... нечего зря языком трепать!..» Он круто оборачивался, хлопал дверью. Про деда говорили, что он знает древних и новых философов и творения отцов церкви.

По селу и среди нашей родни ходило также довольно рассказов о пьяных причудах деда. С николаевских времен в селе жили евреи, выходцы из черты

оседлости. Права свои они получили солдатами в турецкой войне. Около базара на задах евреи заселили целый порядок. Они ссыпали хлеб, знали ремесла. Православное купечество жаловалось на еврейское засилье: у евреев было больше смекалки, торговых связей, да и крестьян они обещивали меньше. Дед с купцами не ладил. Купцы считали его гордецом, пьянчугой, мрачным чудаком и самодуром. Чтобы досадить купечеству, дед свои обходы на рождество и на пасху начинал иногда... с евреев. В облачении он, дьякон и псаломщик истово славили Христа у Хазанова или у Конторовича. Хазановы и Конторовичи деда принимали и, подобно волхвам, не скупилась на посильные дары. На «чистую половину» дед, впрочем, к евреям не заглядывал, а скромно ограничивался кухней, где подпускал к кресту православных, кухарку и работника, хозяевам же говаривал: «Шмуль, рабов твоих и рабынь я приобрел благодати. Ты же ее не достоин, ибо обрезан и употребляешь мацу. Однако уразумей: куличи и опресноки — не вера, а жалкое суеверие». Неизвестно, что отвечали деду Шмули и Абрамы, но крещенные купцы, созерцая предосудительные обходы из окон своих домов или с крыльца, зеленели от обид и унижения. Дед это знал и, заметив на крыльце кого-нибудь из местных тузов и добродеев, совершенно наглядно показывал им преогромный кукиш и, несмотря на изрядное подпитие, твердо и во всеуслышанье через дорогу возгласил: «На-ко, выкуси, стяжатель и спесивец! Раньше четвертого дня не приду, не жди!..»

Дед пил с утра, но не гнушался пить и вечером. Богослужения сплошь да рядом приходилось отправлять ему нетрезвым, и тут на помощь обычно приходила бабушка. Дед впадал в неожиданные раздумья, в рассеянность, умолкал, забывая подать дьякону или псаломщику возглас, либо им ответить. Бабушка, стоя у правого клироса, сперва тихо, а затем и более внятно подсказывала деду. Вмешательство иногда сходило ей с рук, но нередко случалось, дед выходил из себя. Из алтаря или с

амвона он бурчал тогда на всю церковь: «Больно ты у меня умна, чортова перешница!» Да, он отнюдь не стеснялся сводить счеты с бабушкой. «Оглашеннии, изыдите!» — произносил он в царских вратах, устремляя на бабушку пронзительный взгляд, ожидал и наконец громогласно требовал: «Уходи с моих глаз, уходи, помраченная!» И бабушке, тогда еще молодой хлопотунье, пунцовою от стыда, приходилось покоряться. Не жалел дед ее и в проповедях, грозно обличая неких бесстыдниц, кои полагают, будто они могут вмешиваться в действия иереев, облеченных благодатью свыше через таинство миропомазания! Чего доброго, эти грешницы даже до того дойдут, что сами захотят справлять службы и требы. Дух гордости и иные злобы обуревают их!

... Бабушка прошла с дедом путь истине скорбный. Дед не был семьянином, хотя и прижил девятеро детей. Хозяйством он тоже не занимался. Между тем приход доходностью не отличался, к тому же дед многое и пропивал. Дети, кухня, хлебопашество, сад, огороды лежали на бабушке. Она обучала детей грамоте, помещала их в бурсу, в епархиальное училище, готовила приданое, выдавала замуж, женила, нянчила внучат, упрасивала духовное начальство не давать ходу пьяным делам деда. В мое время бабушка вся согнулася; голова, руки, ноги у нее тряслись, и в глазах, глядевших в землю, застыла вековая забота, безрадостность жизни, оставшейся позади, усталость, великая усталость до самого конца дней. Точно рубцы ран, секли ее лицо крупные и глубокие морщины, и в бескровных, поджатых, дрожащих губах таились терпение и никому не высказанная горечь. Бабушка не умела и не могла сидеть сложа руки и с самого раннего утра неутомимо пересыпала муку, перебирала картошку, сушила сухари, сажала овощи, полоскала белье, топила печь, громыхала ухватами и чугунами. Пережила она деда лет на двадцать, и в день смерти своей, хватаясь за столы, за стулья, за комоды, шаря руками по стенам, она вползла в кухню помогать младшей своей дочери. Холо-

деющими пальцами что-то пыталась она делать и только скупо пожаловалась, что вот к глазам «подступила темная вода», и ей все «причтится, словно бы в тумане». Спустя какой-нибудь час она лежала бездыханная.

Дед редко выходил из своего логова. Там, в шкафу, у него стояла заветная посуда, тарелка с черным хлебом, с грибами и кислыми огурцами. Дед шагал, скрипя половицами, шумно вздыхая и густо откашливаясь. Если шагов его долго мы не слышали, он, следовательно, читал; если хождение прекращалось ненадолго, это означало, дед «подкреплялся». В шкафу, сложенные как попало, покоились книги в кожаных старинных переплетах. Страницы у них корбились, а буквы «т» и «ш» походили друг на друга. Читал дед книги с толстыми очками на носу в железной оправе, откинувшись к спинке неуклюжего, но добротного кресла, шевеля сумрачными бровями и не выпуская из рук табакерки. Заметив, что я наблюдаю за ним в приоткрытую дверь, он неохотно поднимался, я убежал из передней в столовую, дед запирает дверь на задвижку. Я боялся, что при встрече дед за подглядывание осрамит меня или даже «поучит» за ухо, но дед меня не замечал.

... Мы поселились от деда через дорогу, в невзрачном, с большой русской печью домишке, похожем на простую избу. Мать заняла место просфорни. Место это нас, троих, еле кормило. Деда я стал видеть реже. Догадка, будто он из староверов, меня не покидала. Его одиночество, почти одичалость, загадочность подтверждали подозрения. Подозрения уводили в новые домыслы. Верил я им вполне или нет — решить трудно, но времени им я уделял довольно...

... В детстве мир раскрывается двойным бытием: он ярок и свеж, он овеян чистым и непорочным дыханием жизни; отпечаток непререкаемой подлинности, полноты, роста лежит на нем. И в то же время мир окутан выдумками, наполнен призраками, чудесным гулом незримых видений, звездным волшебством. Эти восприятия, полярные для взрослых, у

ребенка живут по-братски, не угашая друг друга. Античный мир, мир человеческого детства, прелестен именно этим наивным сочетанием вымысла и действительности. Мы переживаем это теперь лишь на пороге бытия; позже сущее и возможное (или невозможное) теряют и свою непосредственную силу, и свою наивную сопряженность...

... Мне представлялся дед уже не только старовером. По ночам он неслышно, тайно от домашних уходит на кладбище, где в голых, мерзлых ветлах страшно гудит и воет вепер, а по могилам стелется и дымится злая поземка. Дед бормочет заклятья; встают в саванах мертвецы с пустыми, черными впадинами глазниц, встают убиенные, умученные, встают нераскаянные грешники, отринутые людьми и богом. Они скрежещут зубами, стучат костями, с воплями несутся над погостом, над полями, а дед все стоит и шепчет заклинания и наговорные слова. Седые пакли волос у него растрепал ветер. Мертвецы, вурдалаки, утопленницы готовы на деда наброситься, но ничего не могут с ним поделать: дед — чернокнижник и старовер. Никто не знает о ночных странствиях деда. Знаю о них один я. Пусть взрослые считают меня маленьким, я — хранитель ужасной тайны.

Исподтишка я следил за дедом глазами, должно быть, странными, и бабушка меня спрашивала:

— И что это ты, малый, все смотришь на деда, будто на чудо-юдо или как на заморского турка.

Я скрытничал, я боялся — не догадались бы старшие о тайне...

... Родные и мать ушли однажды в гости. Я с Лялей остался на попечении бабушки. Бабушка уложила Лялю спать, дала мне растрепанную «Ниву». Сама же отправилась к черничкам на село. Я шурушал в столовой листьями и косился на дедовскую дверь. Дед — колдун; вот выйдет и схватит меня. От страха я уже не решался ни дотронуться до книги, ни даже пошевелиться...

Дед и впрямь вошел в столовую. Я замер и зажмурился.

— Скучаешь или спать захотелось? — услышал я хриплый голос.

— Нет, ничего, — пробормотал я упавшим голосом.

— А ты петь умеешь?

— Нет, я петь не умею; меня не учили. — Я поежился от холода, повел пальцем по скатерти и через силу взглянул на деда. В голосе его я не услышал обычной суровости, скорее дед ко мне был даже расположен. Он держал табакерку и, рассеянно забирая табак, задумчиво на меня глядел — Да, браток, — промолвил он и зашагал по столовой; зачем-то он трогал рукой стулья, стол, стены. Походив, дед скрылся в своей комнате и подкрепился, после чего вышел опять и опять зашагал, скрипя половицами. На стене ходил маятник, качались гири. Неожиданно неглубоким басом дед запел песню об одиноком развесистом дубе. Я слышал деда поющим в первый раз и с первых же слов освободился совсем от страха. Дед поет при мне, без взрослых; в этом увидя я к себе доверие. Слушая однообразный, старинный мотив, я пожалел деда хорошей детской жалостью. Мне тоже захотелось петь, и я неуверенно подтянул деду, выдумывая слова и удивляясь собственной смелости. Дед довел песню до конца, подошел, положил ладонь на стол, похлопал ею, негромко спросил:

— Сказки знаешь?

— Сказки я знаю.

— Какие знаешь сказки?

Одним духом я пробормотал:

— Сивка-бурка, вещая каурка, стань предо мной, как лист перед травой...

— Ладно, ладно, — похвалил дед и полез в подрысник за табакеркой. — Ты петь учишь! Человеку без песни, zapomни, нет жизни. Без песни человек звереет, душегубом делается.

— А старoverы, дедушка, тоже поют песни?

— Какие старoverы?

Потупившись, я ответил скороговоркой:

— Никифор маме рассказывал про старoverов. Они спасаются в дремучих лесах

— И старoverы поют... — молвил

рассеянно дед и стал опять шагать по комнате. Походив, он затянул песню о «Вещем Олеге». Я вторил, старательно глядя деду в рот. Иногда я сбивался с тона, дед хмурился, но все же был терпелив. Пришла бабушка, дед точно обо мне забыл, ушел к себе. Укладываясь спать, я осудил себя за ошибку: дед на погост не ходит, мертвецов не вызывает. Он не колдун и не чернокнижник, но все же он — из старoverов. Это, впрочем, не страшно.

С тех пор само собой повелось: когда взрослые уходили или уезжали в гости, дед учил меня петь. Я обнаружил себя учеником, не лишенным способностей, к сожалению, однако скромных. Дед моими успехами был доволен, хотя наглядных одобрений почти никогда не выражал. Церковных песнопений он не любил: если у бабушки собирались чернички и начинали петь духовные молитвы, дед бурчал: «Ну, заголосили!» — и плотнее прикрывал двери. Уважал дед старинные русские песни: про заросшие стежки-дорожки, про ягоду-калину, про белые снега, про горе-злосчастие, про дивные терема. Знал он веснянки, масленичные песни, егорьевские, песни семицкие, свадебные, купальные. Но не они, не эти песни поразили тогда мое воображение. Этот старик, пьянчуга-поп в истертом подрыснике, с трясущимися руками, с опухшим лицом и грязными палями седых волос, певал еще много буйных и вольных песен про лиходеев и разбойников. И так свежо вспоминаю я и по сию пору необыкновенные дедовские песни и зимние вечера с ним, будто было это не сорок с лишним лет назад, а совсем недавно и будто время не имеет никакой силы над прошлым.

.. Окна запушены снегом, покрыты толстыми кромками льда. От лампы на льдинках тусклозеленые отсветы. За окнами нетронутые сугробы, всепоглощающая ночь. Мир точно отсутствует, и мы одни повисли в черной, в слепой бездне. Вещам у деда неприютно, никак не могут они у него обжиться, да их и не много у деда деревянная кровать простой работы, без затей, облезлый шкаф, стол, кресла. В переднем углу, затканном паутиной, — Никола Мерли-

кийский, Георгий Победоносец, Сергей Радонежский Чудится, они следят за мной. Дед все ходит и ходит в огромных валенках.

— Про Кудеяра

Господу богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Нам в Соловках ее сказывал
Инок, честной Питирим
Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан
Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу,
Вождь-атаман из-под Киева,
Вывез девицу-красу

В горнице бродят тени. Крупная голова деда расплывается в полутьме. Подрясник обвис, дед рассеянно теревит бороду. Поет он негромко, вразумительно. Мой голос сплетается с его басом, подобно плющу вокруг старого, дуплистого дерева. Русь, старина, глушь, зеленая чужь... Церковный сторож медленно выбивает поздний час, удары колокола теряются в одичалых полях. Добрый очаг и ночлег всем странникам, бездомникам, всем, кто в пути, кто терпит от стужи и вьюги!.. А в расписных саях лихой разбойник мчит девицу-красу, прижав ее крепко к широкой груди. Взметая серебряные вихри, несется птица-тройка Золотом, камнями самоцветными горит при луне упряжь; сибирские меха запущены снегом. Темные девичьи косы свесились из саней... Но зачем нужна Кудеяру красавица? Говорят, добры-молодцы целуют их. Меня тоже иногда целуют, и я целую родных. Приятного в этом мало. А Кудеяру-разбойнику совсем не пристало миловаться с девицами: до них ли лихому человеку?.. Песня уводит все дальше и дальше. В ночь-полночь округ Кудеяра бродят окровавленные тени. Леса ли то брянские шумят, или то стонут души погибшие, души усопшие, отравленные, умученные, с черными зияющими ранами, с проломленными черепами, растерзанные, поруганные, молодые, старые! Много нагрешил Кудеяр!.. Много и долго надо замаливать ему злодейских дел! Уже не разбойник Кудеяр, а отшельник. Простым ножом по обету пилит он дуб

в три объхвата: не спилить ему дуба до самой кончины. Трубят в лесу рога... Пан Глуховской... Пан похвально перед Кудеяром своим богатством, привольной жизнью, дородством, пан издевается над холопьями. И Кудеяр забывает про обет... пан лежит в крови и лежит рядом с ним дуб в три объхвата.. Бог простил Кудеяра... и взял его на небо, точно пророка Илию, — мысленно прибавляю я от себя... — Хорошо бы узнать у деда про девицу-красу и зачем ее целует Кудеяр! Но что-то мешает спросить об этом...

— Дедушка, на иконах Кудеяра-разбойника пишут?

Дед перестает ходить, с удивлением на меня глядит, хмурит брови, трет грудь.

— Чего это ты, малый, мелешь? Разбойников на иконах не пишут.

— Нет, пишут, — возражаю я уверенно и лукаво гляжу на деда. — А на крестах рядом с христом — разбойники.

— Глупец, — отвечает сердито дед. — Тот разбойник богочеловеку облегчал страдания смертные и в него уверовал, когда его мучили. Дед поднимает руку и, указывая пальцем на небо в окне, вразумляет: — Ни лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойнич исповедую тя... Разумей...

Спросить или не спросить, зачем Кудеяр лобзает девицу-красу? Не поворачивается и не поворачивается язык!.. Но между прочим непонятно, почему разбойника на кресте писать можно, а Кудеяра нельзя: Кудеяр, по-моему, лучше разбойника; недаром он зарезал пана Глуховского. Когда подрасту, обязательно тоже зарежу какого-нибудь злого пана, и мне простятся все мои грехи, и я уйду в отшельники.

— Дедушка, какие бывают отшельники?

Дед стучит скрюченными от старости и водки пальцами по табакерке.

— Не дорос еще понимать такие дела... — запахнув плотнее подрясник, он опять шагает по горнице и, как бы забыв обо мне, вслух размышляет:

— Одному и свет целый мал бывает. И в столицах и по заграницам шныряет, и по морям плавает, и на горы взбирает-

ся, повсюду мыкается, а видать — ничего не видит. Мир через него, как вода через сито... От таких людей добра не жди... Обманет, продаст, надругается; такому все нипочем, потому мир для него мертвый... А другому и клочка земли премного довольно: хорошо и в лесу под сосной. Прозрение имеет, и в кусте зеленом, в звериной норе больше видит того, кто неприкаянным по миру шатается. В малом раскрывается ему такое, что сто лет пиши — не опишешь. Все ему — в радость, в утешение и в поучение. Такому по свету слоняться незачем. И злому не сделает... Жизнь чувствует... Думаешь, отшельники в одних кельях коротают сроки, да в монастырях? Повсюду они — и в городах, и в лесах, и среди нас, грешных... не лезут только наперед; мразь еще разная над ними похваляется... это бывает; на этом мир держится... мразь, она, брат, живуча, она сраму не имеет.

— Дедушка, а ты не из отшельников?

Дед жует жесткими губами, закрывает глаза, затем, странно на меня взглянув, медленно говорит:

— Какой же я отшельник?.. простым попом всю жизнь проторчал... Только и всего...

Деду будто хочется еще что-то сказать, но он воздерживается, подходит к шкафу, одним глотком опорожняет стопку, берет корку хлеба, нюхает, кладет ее обратно и вытирает рукавом рот. Я не верю деду: он — отшельник, и только со мной хитрит...

Еще поем мы песни, — поем про молодца, как загубил он жизнь свою из-за дворянской дочери, про одинокий утес Степана Разина, про удалца, которого покинула румяная и белая красавица, ушла к купцу в хоромы и лихачу-кудрявичу осталась одна дорога на каторгу в Сибирь; поем про девицу, — страшно ей выезжать из дому: за лесом сторожат разбойнички, а певень бьет крылом, предвещает беду; поем про Волгу: «Не спешит ты, красна-девица, постой, дай мне, радость, побеседовать с тобой; Волга-матушка бурлива, говорят, — под Самарою разбойнички сидят, а в Саратове дивчины хороши...» За

окном — древнерусская, ушкуйная ночь, ночь кровавых озорных дел, последних смертных счетов, поножовщины, ночь бездомовых шатунов. Может быть, вон там, в роще, в камышах, замкнули они пути-дороги, ждут запоздалых путников... Сейчас стукнут в окно, звякнут щеколдой, ударят топором в двери... а село вымерло, огней не видать, избы занесены снегом, кричи, не докричишься. Деревня грезит русскими повидками-сказками... С надеждой гляжу я на деда: он не даст в обиду... Нужно скорее вступить в шайку разбойников, тогда меня самого будут бояться. Одна беда: худо росту. Завтра смеряю себя дома у притолаки: там угольком сделана отметина. Бывает, за ночь вытягиваются на целую четверть... Бывает это... А дед один уж напевает: «Но, увы, нет дорог к невозвратному, никогда не взойдет солнце с запада...» Ах, дедушка, дедушка! Охотно подошел бы к тебе и прижался, но очень уж суровый ты такой!..

Разбойники не давали покоя. Однажды я спросил деда.

— А Христос тоже был из разбойников?

Страсти христовы, рассказанные бабушкой, поразили меня; несколько дней я о них только и думал. Я решил молиться одному распятому, возненавидел саддукеев и фарисеев, но и тут ухитрился понять все по-своему.

На вопрос мой дед опешил, долго качал головой.

— Это откуда же ты узнал об этом? Я обстоятельно ответил:

— Христос водился с блудницами блудницы все — разбойницы.

— Почему же блудниц ты считаешь разбойницами?

Слушая в церкви и дома евангелие про блудниц, я долгое время недоумевал, чем они занимаются, и решил, что они блуждают, убивают и грабят. Поэтому я сказал:

— Блудницы шатаются с оборванцами. У них у всех острые ножики. Христос с ними водился, за это его и повесили вместе с разбойниками. У него тоже была своя шайка, в нее входили мытари и апостолы.

Дед подошел ко мне вплотную, я сел; он наклонился, постучал мне в лоб небольшою костяшкой пальца.

— Дурень ты этакий, право, дурень!.. Вавакаешь, что попало.

— А что не попало? — не утерпел я свернуть словцо.

Дед отступил на шаг и погрозил мне без особой впрочем строгости.

— Не перебивай старших дурацкими вопросами. Постигай: «... и мене древом крестным просвети и спаси мя...» Означает: страданием, мукой за других, а не себялюбием, не сытой жизнью спасены будем... А ты что болтаешь?..

Сбитый с толку и разочарованный в своих догадках, я молчал.

— Иди и помолись на сон грядущий; попроси у бога прощения!

Дед подошел к шкафу.

... Я научился читать. В руках моих уже побывали: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Братья-разбойники», «Юрий Милославский», «Князь Серебряный», «Ванька-Каин», «Орлиха», «Танька-наездница», «Тарас-Черномор», «Повесть о том, как солдат спас Петра Великого», приложения к «Родине». Представлялись кремлевские стены, царь-пушка, царь-колокол, пытошные башни, лобное место — и рядом: повольщина, ушкунники, разбой... Я обладал чутьем находить нужное и даже жития святых ценил потому, что иногда в них рассказывалось о грабителях и душегубах. Мать, бабушка, дядя Николай хвалили меня, когда видели за житиями святых. Поощрения я принимал охотно, но лукаво помалкивал и уж, наверное, втихомолку посмеивался над старшими...

... Вставали крутые волжские обрывы, покрытые дубняком, соснами, по тропам и проезжим дорогам раскиданы дозоры и заставы. От ночной тьмы Волги не видно. Ударит хвостом щука, да трутся бортами боевые челны и струги, да влажно плещется и струится вода. Зловеще гукает филин. Куда взглядом ни кинь, повсюду первобытный мрак, ни огонька, ни запаха человеческого жилья. Волга!

Волга — красавица, кормилица, пои-

лица, матушка, укрывательница, пособница! В поволжских просторах раскидывались кочевья скифов, оседали сарматы, слышался гул от чугунной поступи гуннов; хозары и болгары уводили неисправных данников; от набегов половцев и печенегов тянулся смрадный, черный дым, полыхали оранжевые буйные пожарища. Татары, чувашы, черемисы, башкиры, вятчи, поляне, северяне, калмыки, карелы, мордва, вотяки, казаки, немцы шли ордами, утверждали себя в непрерывных, в кровавых побоищах, в резне, теснясь, прибывались к Волге, сбрасывали друг друга с круч в мутные, в непокорные воды, отгоняли побежденных в степи, в пески, в леса, в глухомань. Здесь собирались вольные дружины, шайки, вагаги, искатели мужицкой правды, сектанты, кабацкие завсегдатаи, бегуны от правежа, от владельцев и жалованных самодуров, от службы царской, от крепостной недоли. Гремели мятежами, восстаниями Некрасов, Булавин, Степан, Емельян, угрожая самой Москве. Волга обросла поверьями, сказаньями, преданьями; обвеяна песнями, былями. Непокорство, бунты, разгул, злоба, месть! «Сарынь на кичку!.. Гей, соколы!.. Запал трави!.. Тащи его, бородатого, сымай кафтан!.. За хрестьянство честное, за волю, за долю!..» Бей в доску — поминай лише Москву, гуляки и бражники!.. Эх, ты, правда государева, правда пытошная, под батогами; под дльниками, под линьками, подлинная правда, правда подноготная, когда вгоняют острые гвозди под самые ногти!.. Велики российские земельки, широка мать-Волга, не об'ять ковыльных степей, не пройти лесов заповедных, да коротка разбойная песня: сколь ни гуляй, ни кружись, ни вейся коршуном, а от судьбы не уйдешь, судьба же родная—она качается на перекладине либо рубит голову напроць...

... Ночь над Волгой... В рудо-желтых отсветах костров, в потаенном мерцании огней, скрытые от продажных царевых глаз, от строчил и доносителей черными уснувшими дубравами, коротают беспокойные часы отверженные «великие и малые, и белые Руси»!.. Кто примостился на бревнах, на пнях, на корягах,

кто валяется на траве, кто храпит во все носовые завертки, кто ведет тихую беседу. Смех, прибаутки, балагурство, ядреная, круто посоленная речь. Иные усталились на костер, задумались, забылись, руками подпирают головы. Чистят оружие, поют, пьют. Какая пестрота, какая смесь одежд и обличий! Сермяги, зипуны, ферязи, жупаны, овчинные полушубки с клоками шерсти, бархатные кафтаны с чужого плеча, посконные рубахи, плисовые шаровары, парча, шелк, кожухи, поддевки, синие, красные кушаки, стрелецкая одежда, обувка, лохмотья, шапки меховые, шапки запорожские набекрень, непокрытые, кудлатые головы с волосами колтуном, самоцветные камни на пальцах, закорузлых от грязи, скатной жемчуг, сафьян на ногах и — рядом стоптанные лапти, другие и совсем босиком. Топорища, пики, кривые сабли, ятаганы, ломы, самопалы, вилы, косы, кинжалы с узорчатым серебром, пистолеты, клинки, кистени, шкворни, дубины... Сброд, лиходелники, отпегие души, песельники, мрачные отступники, смутьяны, шатуны, висельники, воры, головорезы, смиренные, обиженные мужики, бродяги, дворовые людишки, кандальники, враги щепоти. Старики, молодые, пожилые, степенные... Успели отведать батогов, железных наручей, ошейников, колод, биты и перебиты... рваные ноздри, позорные клейма, обрезанные уши, головы, бритые наполовину, рубцы, раны, болячки. На бочке—поп, старик-пьянчуга с табакеркой в руках, в зеленом подрянике. Валялся он по кабакам, по базарам, а теперь правит ворулю церковный круг... Вино, мед, хмельная брага. Возы со снедью... Брешут лисицы, поднимается над лесом месяц-серебряные рога, бродит чужд...

«Знать не радость в тот век жизнь народа была, коль бежал человек из родного села...» Ни родных, ни близких сердцу... И помянет ли кто добрым словом после лихой смерти-расправы, или будут проклинать ежегодно с амвонов в церквях, да пугать детей, да думать с удивленьем, с отвращением и ужасом: бывають же вот от обыкновенных и справных отцов и матерей люди — не

люди, а изверги и изуверы, пропащие голы!!!

Забушуй же, непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка,
Ты возьми мою кручинушку,
Размечи волной по бережку!

.. Не было, понятно, в те годы у меня этих слов, но свое восприятие старой Руси, надеюсь, передаю я достоверно. Я видел разбойников во сне, думал о них — едва просыпался. Играл я то же чаще всего в разбойников...

... Вспоминаются мне также, и именно с дедовскими песнями вместе, зимние супрядки в кухне: что-то мирное, деревянное и домовитое, стародавнее, родное, простодушное... И были мне милы и убогость кругом, и неторопливость, и успокоительная скука... От старой, пре старой русской печи с лежанкой, с печурками и загнеткой идет ровное, духовиговое, хлебное тепло. Пахнет нагретой глиной, кирпичом, колбасой из свиных кишек с гречишной кашей. Дивную колбасу делала бабушка! Давным-давно, с детства, не едал я такой колбасы... Бабушка за прялкой. За прялкой и странница Наталья, а у стола замешивает тесто кухарка Татьяна. Тесто пыхтит, фыркает, как древний кухонный бог. Кухня скудно освещена; по стенам, по столу бродят тараканы, полати заняты николаевским «кавалером» Иваном. Он свесил ноги, крахтит, что-то бормочет. Наталья, в который раз, рассказывает мне сказку про Аленушку-сестрицу и про брата-Иванушку: «Горят в лесу костры горючие, кипят котлы кипучие...»; по просьбе Татьяны она повторяет материнский заговор сына от тоски в чужой стороне.

— Стала я среди леса дремучего, очертилась чертою призорочною... А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким укрыт от силы вражия, от нечистых духов, сбережен от смерти напрасныя, от горя, от беды сохранен, на воде от потопления, на земле от сгорания. А придет час твой смертный, и ты вспомни, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про нашу соль-хлебушко, обернись на родину, ударь ей челом, распростишься с родными и кровными, припа-

ди к сырой земле и засни сном сладким, непробудным...

.. Жужжат веретена, долгов зимний, деревенский вечер... Синим цветом загораются в лесу кусты папоротника, дикого хмеля. Огни вспыхивают, исчезают, вновь зажигаются, движутся, прозрачно мелькают в чащобах меж деревьями. От топких белот тянет тонкими, ядовитыми и дурманными испарениями. Серебряным звоном звенят изпод земли колокольчики. В глыбах ночи едва-едва выступают мохнатые, мшистые ветви, кто-то выглядывает дикими, озорными глазами. Все настрожилось, тревожно. Вот-вот соедится страшное, смертельное, невозможное. И в кухне бродит сказка. Гудит однообразно колесо прялки, вьется, сучится белая нить, кудель похожа на древнюю лунь. Колдует печь, рогатки, ухваты, кочерга, чугуны, таганцы, полати, загнетка. На полу, выгнув спину, серый котенок играет клубком. Ушастая, пузатая лохань, допотопное чудие, добродушно распялила хайло... Шушат за печью тараканы, охает Иван... Не то явь, не то сон, и живем мы будто не настоящей жизнью, а прошлой... И так хорошо незаметно для себя и для других уснуть. Сонного перенесут на кровать, и смутно будешь чувствовать, что тебя раздевает и накрывает одеялом заботливая мамина рука, и тогда опять придет желанное забвенье...

О, русские повидки!..

... Прошел слух, что в окрестностях гуляет Василий Чуркин. Беглый арестант из-под Богородска, Чуркин сначала орудовал в Владимирской и Московской губерниях, затем перебрался в края, смежные с нашими. По ночам дзери в доме Николая Ивановича стали на подмогу щеколдам подпирать колыями; с опаской и с предосторожностями ходили проверять скотину. Мама плотно завешивала окна и закладывала их подушками. Рассказывали, будто Чуркин вырезал больше сорока человек; полицию и сыщиков он дурачил, разбивал целые воинские отряды, менял обличье, ходил неузнанным на базарах, выглядывая очередные жертвы. Не раз лови-

ли Чуркина и сажали под крепкие запоры, но он убежал, и про разбойника говорили, что он знает наговорные слова. Признаюсь, хотя и готовился я в разбойничьи атаманы, но рассказы о Чуркине меня напугали. Я боялся оставаться один в темной комнате, уходил далеко от дома за овины и скирды, и когда, забывшись, я все же забегал дальше положенного и вспоминал тут о Чуркине, то задавал такого стрекача, что ничего не видел кругом себя, и сердце колотилось под самым горлом. Я не был правдив и честен с собой и убеждал себя, будто я боюсь Чуркина «нарочно».

За вечерним чаем дядя заметил, что Чуркину помогают крестьяне-бедняки. В деревнях у него есть соглядатаи, и даже есть они и среди полиции. Поэтому-то и неуловим Василий Чуркин. На другой день утром, перебегая дорогу, встретил я старика Питерского. Питерский, бедняк из бедняков, не имел ни лошади, ни даже коровы, жил в хате с раскрытым верхом, вместо стекол в кривые окнах торчало грязное тряпье. Питерский не сеял, не жал, держал один огород, и непонятно, как и чем он перебивался. Был он к тому же пьяница, пил почти ежедневно, и если не валялся в канавах, у плетня, то выходил на дорогу, задира л проезжих, обличал их и спуску им не давал. Кстати сказать, помер он недавно, девяносто трех лет... Расставив широко ноги, босой, в исполосованных, дырявых портках и в рубахе без пояса, успев вывалиться в грязь, Питерский поносил на этот раз «жеребьячью породу».

— Ха, — орал он на весь порядок, мотая головой и разводя руками, точно он плавал. — Ха... служители, старатели перед богом. Сады развели... в рай нас, мужиков, охота посадить. А я, может, не хочу в рай!.. Вы у меня лучше кур с нашести не таскайте да в закрома глазниц своих не запусайте. Я сам хочу драчону есть в красном углу и с полным уважением. Пастыри! На кой лях вы мне сдались? Я сам—пастырь, потому сорок пять лет пас коров и свиней! Начхать я хотел на вас, на долгогривых дьяволов! — Питерский смачно плюнул...—А Чуркина, например, не желае-

ге, не ндравится?.. А я, может, с ним за ручку! Мое почтение, Васенька! Мигну глазом, а Васенька — вот он... укоротит вам космы!..

Я старательно обошел Питерского. Ругань его, вчерашнее замечание дяди вызвали новые думы. Чуркину помогают мужики; недаром Питерский хвалится знакомством с ним. Значит, мужики — сами разбойники, либо сродни им. Чуркин за мужиков, мужики за Чуркина. Чуркин грабит богатых, делится с мужиками награбленным, а мужики его хоронят. Одна шайка. Напрасно искал я разбойников в заповедных лесах. Они здесь, около меня. Но каков есть человек разбойник? Образ двоился. Порой казалось, разбойники — простые головорезы и душегубы. Им любо мучить людей и убивать их. Но вставал смутно образ народного мстителя, беспощадного, со своей правдой. И подобно тому, как раньше вглядывался я украдкой в деда и подозревал в нем то старовера, то чернокнижника, искал я теперь в мужиках разбойных людей. И я уже не верил тому, что видел, и верил, чего никогда не видал. Село тянулось кривыми порядками и проулками. Нищие избы, полусгнившие риги, мокрые скирды, ометы, овины, ветла. Село прело и гнило в болотах и в непроходимых трясиных, в камышах, в осоке, в кочках. На-смерть в них увязала скотина, и после дождей на улицах не вытянуть было ноги из липкой и жирной грязи, а на базаре даже в июльские жары никогда не просыхали гнойные и зловонные лужи. Жизнь тоже была грязная, болотная, задремавшая на старой завалине. Известно, что будет завтра, спустя месяц, год. И ждать словно бы и нечего. Недалече погост, от него не уйдешь, как не уйдешь от земли, пашня требует к себе мужика, его досуг, его все помыслы, а радость, а счастье — где оно? За горами, за долами. Старые люди верно говорят: хорошо там, где нас нет. И говорят еще те же старые люди: не в свои сани не садись... не нами заведено, не нами и кончится... А может быть, все это и неправда? Солома — не солома, хата — не хата, и мужики — не мужики... Сосед, Иван Петров Ветелкин, хитрит,

утверждая, что порезал руку косой; взаправду же ему тяпнули по ней, когда он с товарищами грабил коробейников или прасолов. Много не видится настоящему с первого взгляда: в болоте за домом будто одна вода, кочки да камыш, а присмотришься — и утку-кубанку увидишь, и бученя, и коршун взметнется...

... Принято думать: воображение уходит от жизненной правды. Да здравствует трезвая наблюдательность, число, мера и вес! Что и говорить — превосходные, бесспорные вещи; но не надо забывать: опыт связан с воображением. Когда эта связь нарушается, опыт обескрыливается, воображение теряет почву. Истина постигается в опыте, но с помощью воображения. Однажды человек помыслил, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг солнца. Человек пришел к такому выводу, руководствуясь новым кругом наблюдений; но мог ли он притти к открытию, не обладай он творческим воображением? Нет и нет! Воображение для опыта то же, что семена для растений: без них опыт не дает ни цвета, ни плодов. Сплошь и рядом воображение предвосхищает истину, и наш опыт был бы жалким, он был бы обречен на крохоборство, если на подмогу ему не приходило бы наше могучее, беспредельное, вдохновенное воображение. Человек поднялся с четверенек, когда он нечто вообразил...

... В далеких моих детских домислах, навеянных песнями деда, рассказами, книгами, много было наивного, невероятного, и все же в них, в этих выдумках, прозревалась некая правда. Искони низовая Русь шла бунтами, мятежом, расколами, буслаевщиной. «Подлая» Русь укрывалась по сечам, по степям, по лесам и горам, по скитам и кабакам, жила в разбое, в расправах над боярами и купцами, в самозванстве, в подметных грамотах, в отложениях и восстаниях. И когда даже все казалось спокойным и холопы покорно терпели ярмо, — даже и в ту пору народная Русь жила в тихом и непрерывном бунте... И так прочно укрепились во мне детские мои вымыслы, что и потом, в возрасте бо-

лее зрелом, никогда не воспринимал я народ безропотным и смиренным. Я не верил прекрасным нашим писателям, умилявшимся мужицкой покорности, кротости, незлобью. Озорник, забудыга, пропащий бродяга, зубубенная голова были мне ближе Платона Каратаева. Смутно я чувствовал, народ живет своей сокровенной правдой и правду эту хоронит до времени, до обшего клича и вселенского набата!..

... В старой нашей церкви, у правого клироса, на низком постаменте угрюмо и зловеще темнела большая икона Черного Спаса. Толстую доску источили жуки и черви, краска потрескалась, облупилась. Икону густо покрывали вешшиеся копоть и пыль. Лик Черного Спаса, полустертый, был мрачен и грозен. Из густой, древней тьмы неясно выступала огромная голова, изборожденная гневными морщинами и обрамленная волосами с мужицким ровным пробором. Темная позолота нимба едва-едва просвечивала. Иисуса обычно изображают синеглазым, но глаза у Спаса были черны, смотрели тяжело, в них чудилась осенняя бесприютная ночь, мрак, готовый хлынуть сплошным потоком и поглотить собою. Неподвижные глаза прикипали прямо к сердцу, от них было некуда скрыться. Они не прощали ни предательства Иуды, ни моления о чаше, ни позорного креста. Брови нависали, подобно каменным сводам подземелий, таили в себе лесные чащи, таежные дебри, и лоб напоминал грозовую тучу. Ни одного намека на христианское милосердие, на жалость, на любовь, на снисхождение; только на правой щеке пролегал след, точно от высохшей, от скупой и едкой слезы, но и он лишь усиливал беспощадную решимость закаменевшего лица, когда уже все испелено, кроме воли к отмщению. То был настоящий Черный Спас, земляной мужицкий бог, бог курных изб, черствого хлеба, палатей, лучины, русской печи, бог тяжкого труда, страды, мужицкого гнева, вил и дреколя, топора и кистеня, темный бог деревни, воплотивший в себя безымянную, скрытую в глубине веков, орошенную потом и кровью историю народа русского...

... Перед иконой Черного Спаса в обедни и всенощные жарко горел густой венец свечей; горела лампада зловещего, темнозеленого цвета. Икону часто «поднимали» на поля и в избы. Со страхом глядел я на нее и взял себе за правило перед уходом из церкви к ней прикладываться; я просил Черного Спаса на меня не гневаться и помочь стать неуловимым и страшным разбойником...

... Дед скончался от удара. В первые дни болезни меня к деду не пускали, и, чтобы его увидеть, я все вертелся в прихожей, стараясь заглянуть в дверь, когда ее открывали. Наконец, бабушка сказала: надо проститься с дедом, и я, старательно обдернув рубашку, с опаской переступил порог его комнаты. Два зайчика дрожали и гонялись друг за другом на стене. Дед лежал под пестрым, стеганым одеялом, широко и безвольно раскинув ноги. Крупная его голова в желтых, разметавшихся по подушкам лохмах была откинута назад. Я увидел закрытый глаз, другой, большой и круглый, упирался в потолок. Меня дед будто не заметил, его окружало пустое, тяжелое молчание. Рот у деда перекосялся, лицо еще больше оплыло, борода стала чужой. Круглый глаз стеклянно, по-птичььи, не мигая, все смотрел в потолок, правая бровь была удивленно приподнята. Не в силах больше вынести безмолвия, тихо, с дрожью я спросил:

— Дедушка, что с тобой?

Дед остался безучастным к вопросу, точно заключенный в некую невидимую тюрьму, которая отделяла его и от солнечного зимнего дня, и от меня с бабушкой, и от всего мира. В столовой за дверью мерно и звучно ходил маятник, и его тиканье почему-то казалось страшнее и несноснее всего. Пересохшим голосом я прошептал:

— А я, дедушка, катался с горы на ледяшке. Ледяшку мне сделала Праксovia.

Дед слабо пошевелил пальцами, с мучительным усилием повернул голову, круглый глаз задержался на мне. С него точно спала тонкая пленка, он стал осмысленным. Медленная судорога иска-

зила лицо деда, отвалилась нижняя челюсть, и в открытом рту я увидел язык; лиловый, толстый, он лежал там лишним обрубком. Что-то захрипело, заклокотало в горле деда, на лбу выступила испарина от усилия, дед замычал, а язык попрежнему не двигался.

— Аля.. ля.. Аля.. ля..—выдавил дед, наконец, из себя через силу. Меня потряс этот лепет, невразумительный, нечеловечий, жалкий.

— Аля.. ля.. Аля.. ля.. Аля.. ля..—сился что-то вымолвить дед и шарил руками по одеялу, будто ими искал он нужные слова. Слова не находились, и дед упорно твердил этот единственный еще, не потерянный им звук...

Я не сводил глаз с языка... Ах, дедушка, не петь нам больше разбойных песен долгими вечерами!.. Все живое жаждет ходить, бегать, кричать, говорить. У меня есть солнце, снег, игрушки, книги. А у деда ничего этого больше нету. Он умеет теперь только мычать. И это и есть смерть. И я испытал острую радость, что я живу, и превосходство над дедом. И сейчас же мне стало за это чувство стыдно. Дед находился во власти некоей темной и беспощадной силы. Я сделал движение горлом, чтобы удержаться от плача. Дед, видимо, это заметил, он еще больше повернул ко мне голову и, повторяя свое: «Аля.. ля.. Аля.. ля.. Аля.. ля..», пристально смотрел на меня одним глазом. В этом взгляде он собрал всю свою тоску, свое страдание и свою надежду. Д е д ж д а л о т м е н я , р е б е н к а , п о м о щ и и м о л и л о п о щ а д е . Я весь содрогнулся от ужаса.

— Дедушка, ты еще будешь здоров!—пролепетал я, отвечая на его нестерпимый взгляд. Не зная, чем помочь, и жаждая помочь, я наклонился к деду, взял его за руку, теплую, рыхлую, словно лишенную костей, и трепетными губами ее поцеловал.

— Аля.. ля.. Аля.. ля..—ответил дед на своем птичьем языке...

Бабушка тронула меня за плечо и вывела из комнаты.

Дома я забрался на лежанку и долго плакал. Вечером сказал матери:

— Я никогда, мама, не помру.

— Все помирают, дурачок, придет смерть—и помрешь.

Я упрямо об'явил:

— А я никогда не могу помереть. Придет смерть, а я ей не поддамся.

... Дед скончался ночью.

На похоронах мне вдруг почудилось, что дед не умирал, а отпевают кого-то другого. Чувство это было настолько сильное, что я не мог больше с собой совладать, незаметно продвинулся ближе ко гробу и заглянул в него. Дед лежал на белой жесткой подушке с черными ноздрями. Я отодвинулся от гроба. Но опять я усомнился в смерти деда и во второй раз приблизился ко гробу, долго и упорно вглядывался в труп и, когда возвратился на место, все же не верил, что в гробу—мой дед, тот самый, с которым мы певали песни.

После похорон меня занимал вопрос, куда пойдет дед: в рай или в ад. Вышло—в рай. Дед был священником. Правда, он много пил, но он стоял за бедных, за разбойников. В каком виде, однако, дед попадет на тот «свет»: молодым, средних лет или стариком? Я спрашивал об этом старших, но им было не до меня, про себя же я решил: деду жить на том свете, примерно, тридцатилетним старикам и в раю не сладко, «маленьким» тоже часто не важно живется, попадает от старших.

Я узнал о деде много новых подробностей. Деда мужики переносили лучше, чем других попов из округа, он ни к кому не подлаживался и ни к кому не подслуживался: начальства и светского, и духовного терпеть не мог, ни разу не явился в епархию к архиерею, и был там на плохом счету не столько из-за пьянства, сколько «из-за гордыни». Помещики деда тоже не любили, считали его грубияном, строчили на него доносы и даже подозревали его в крамоле. Говорили еще родные, что быть бы деду не простым захолустным попом, а ученым, да сгубила его среда, да русское зелье. Я охотно слушал эти разговоры о деде, но удивлялся, почему его хвалят после смерти и почему осуждали его и не берегли, когда он был живым.

Могила деда находилась поблизости, за оградой в церковном саду. Весной и летом я часто заглядывал туда с Лялей. В солнечные дни от цветных окон алтаря на сочную, мягкую могильную зелень ложились кружки, синие, желтые, красные, дымчатые, веселые, живые. Я закрывал глаза, и от солнца делалось горячо векам... Я вспоминал песню деда, может быть, единственное после водки, что доставляло ему отраду. Шагах в пятнадцать, под высокой грушей, темнела чугунная плита с надписью: «Здесь покоится тело купеческого сына и степенного гражданина». Я не любил ни этой мрачной плиты, ни этой надписи и был доволен, что на могиле деда лежит простой горячий камень, едва обтесанный, и что дед не степенный. Я играл с Лялей в несложные детские игры; мы ловили божьих коровок, бабочек, жучков. Я рассказывал сестре небылицы, часто тут же их и выдумывал, пугал Лялю мертвецами. От страха у ней расширились глаза, она бледнела, и на нее глядя, и сам я пугался. Над нами плыло облако, думой-раздумьем плыл вечерний звон, голубело небо, застывшее в необъятном размахе и в взлете, такое же непреложное и верное, как и могила нашего бесцутного деда.

III. Люди

.. Ближе других мне были, понятно, родные: мать, Ляля, дедушка, бабушка, двоюродные братья и сестры, но почему-то хочется рассказать не о них, а о людях более далеких, иногда даже случайных. Может быть, это от того происходит, что писать о самых близких все-таки труднее.

.. Нянькой, другом, приятелем моим несколько лет был Алексей, дядя по отцу. В детстве Алексей угодил под телегу и на всю жизнь остался глухонемым. После смерти отца он бросил другого брата, тоже священника, и пришел к нам за триста с лишним верст, побираясь и ночуя где попало. Удивительно, как он нашел к нам дорогу. Алексей объяснил матери: он не может оставить малых сирот, меня и Лялю, без присмотра и успокоится тогда, когда Ляля выйдет замуж, а я сделаюсь важным и бо-

гатым. После этих заверений он домовито расположился у нас.

Было Алексею тогда не больше двадцати пяти лет. Темные волосы он стриг по-деревенски, под скобку, мазал их обильно коровьим маслом, штаны вправлял в высокие сапоги со множеством сборок, от сапогов несло дегтем шагов на двадцать, рубахи носил яркие, цветные, выпуская их из суконного жилета. Черты его лица, крупные и, пожалуй, красивые, и приятные, носили отпечаток замкнутой настороженности, такая встречается только у глухонемых. Алексей обладал редкой силой.

Поселившись у нас, он нимало не медля взял на себя наше хозяйство: доил корову, мыл полы, топил печь, развлекал нас и присматривал за нами, замешивал тесто и даже помогал «разделять» просфоры. Чудесные он делал сабли, самострелы, кинжалы, летучие змеи, куклы. Он всегда находил себе работу и, если у нас нечего было делать, отправлялся к Николаю Ивановичу и там пашил, косил, рубил, задавал скотине корм. Не могу объяснить, почему Алексей до страсти, до исступления и совершенно бескорыстно любил нашу семью.

Глядя на нашу нужду и нехватки, нередко он плакал, по-детски закрывая лицо обеими руками. Старших Алексей избегал и лучше всего чувствовал себя с нами. Его язык, язык жестов, мимики и нечленораздельных звуков, мы, дети, превосходно понимали. Когда я научился читать и писать, Алексей бережно охранял мои учебники и тетради, с гордостью показывал их мужикам, нищенке, кухарке дяди Николая; он стучал при этом по лбу себе пальцем, качал головой, выражая удивление моим способностям. Он объяснял, что меня скоро отвезут в большой город, там я надену очки, буду вот таким, до меня рукой не достанешь, и он, Алексей, это уже само собой ясно, пойдет ко мне в заглавные кучера, — тут он показывал, как молодецки станет он натягивать вожжи и перебирать ими. Тройка вороных, — на меньшем он не помирится. Будущее мое Алексей определял по-разному: если недавно он видел доктора — я делался доктором; встречался Алексей

с помещиком—и я превращался в помещика; иногда выходило — быть мне военным в чине генерала, с орденами и с большой звездой на груди; после проезда через наше село викарного архiereя Алексей решил, что я надену митру и буду всех благословлять. Утвердившись в предположениях, кем мне стать, Алексей никаких возражений уже не терпел. Презирал, ненавидел, жалел, любил он от всей души и от всего сердца. К выводам и заключениям Алексея приходил странными и не рассудочными путями. Он мало и редко думал о себе, целиком отдаваясь привязанностям и заботам о близких, не дорожил ни своим джугом, ни здоровьем. Лишь иногда в черных, с напряженным блеском его глазах ворочалась тяжелая, глухая тоска. Что просилось наружу из его замкнутого мира, лишённого звуков? На лице Алексея лежало обычно нечто строгое и схимническое, запечатлелась важная дума, но как бы не до конца ясная и не решенная. Прост он был и непорочен. Алексей покрывался густою краской, когда говорили в шутку, что ему пора жениться. В ответ он отрицательно качал головой: нет, глухонемые не женятся, они не нужны девушкам, кто на убогих позарится? Таким грешно жениться. Ему, Алексею, суждено скоротать свой век бобылем, к тому же у него на руках сироты. Нечленораздельные звуки приобретали при этом особую выразительность.

В гневе Алексей был ужасен. Лицо его темнело, делалось чугунным, в круглых глазах дрожало бешенство, губы тряслись, и весь он тоже сотрясался крупной дрожью; глухое, неистовое рычание исторгалось из его рта с оскаленными зубами. Один из соседей, Кузька, мужичонка плюгавый и вздорный, как-то раздражил Алексея. Алексей перекрывал сарай соломой Сверкающие на солнце вилы пролетели над самой головой Кузьки и почти по рукоятю ушли в землю. Шуток Алексей не понимал, не любил их и легко от них раздражался. В селе скоро узнали его характер, его силу и потешаться над ним не решались. Унять его в гневе могла лишь мама, мы, дети да еще Николай Иванович. От нас

он сносил многое. В одном ничего не смогли с ним поделаться: Алексей ежедневно тщательно смазывал сапоги дегтем, и, сколько мама ни просила его это делать пореже, сколько ни возмущались, что дом наш дегтем весь пропахнул, Алексей попрежнему, старательно изо дня в день трудился над сапогами, причем он доказывал, что сапоги у него отличные и что их надо всячески беречь. Тут уж ничего не могла поделаться с ним и мама. Бережливость прежде всего, а сапоги в деревне да в те времена—это была вещь, и еще какая. Да, тут Алексей был неподатлив.

Горько жалел Алексей, что остается неграмотным, и перед книгой он трепетал. Надо было только посмотреть, как бережно и осторожно перелистывал он страницы или рассматривал рисунки; руки его, утружденные в работе, закорючлые, делались тогда робкими, Алексей хмурился и все качал головой: до чего все это удивительно и непостижимо! От кого-то он дознался, что в городах есть школы для глухонемых, и нам, мне и Ляле, под самым строгим секретом сообщил: когда мы вырастим большими и у нас всего будет много-премного, он, Алексей, тогда сможет подучиться в школе со светлыми окнами, он наденет очки, часы с цепочкой и настоящее суконное пальто, а не овчинный полушубок. Алексей пренебрежительно теребил полы полушубка, выпячивал губы и хлопал нас слегка по плечам: мы не должны забывать своего дядю, дядя на нас надеется; на старости лет ему нужно иметь пристанище. Эти надежды я поддерживал в нем; он может быть спокойным: сделаюсь я отважным атаманом разбойников, много награбим мы золота-серебра, много загубим христианских душ, охрана же наших несметных богатств и кладов будет поручена верному дядюшке: он не выдаст, не проспит. Кажется, верный дядюшка не совсем ясно понимал, кем собираюсь я сделаться, и о моих намерениях думал по-своему: из меня выйдет знаменитый охотник, всем охотникам—охотник, истребитель медведей, волков, лисц, куниц. Алексей соглашался и с этим и на себя брал скромную, но обязательную должность глав-

ного пса: разведет он отличные своры собак, таких свирепых, что только я да Ляля, да он, Алексей, и смогут с ними справиться. Охота будет на славу. А лихим людям Алексей спуску не даст. Это уж верно.

Обещание взять к себе Алексея я так и не выполнил, а он до конца дней своих крепко на меня надеялся, все ожидал со мной поселиться, следил за судьбой моей и был уверен, будто меня ожидает блистательная жизнь, и надолго не смутился даже и тогда, когда дошла до него весть, что племянник его изгнан из семинарии и упрятан в тюрьму. Должно быть, кто-нибудь ему разъяснил, и он, после первых самых горьких сетований, стал уверять, что племянник его, хотя и сидит в тюрьме, но не чета иным-прочим: сидит он за мужиков, желает им добра; он против урядников и станových; урядники и становые племянника боятся и посадили его на железную цепь, но—придет время—племянник из тюрьмы уйдет, и тогда начальству придется худо, начальству придет карачун, не иначе...

Умер Алексей в девятнадцатом году от голода и сыпного тифа, все ожидая племянника; давно бы пора этому племяннику успокоить старые кости своего трудолюбца-дяди, да вот все мешали разные важные-преважные дела. Дядя понимал, что недосуг племяннику, он соглашался терпеть еще и еще, но тут откуда-то подошла смерть и отказалась погодить: не ласковая она и почти всегда приходит до срока.

Алексею пришлось оставить нашу семью в голодный год: нечем было его кормить. Он перебрался на прежнее место, к брату. Склонить его к этому удалось с большим трудом и то после того, как он изголодался.

... Непонятную вражду Алексей испытывал к старику Ивану. Говорили, что Алексей не любил запивох, а Иван был запивоха.

Двадцать пять лет Иван прослужил в солдатах, батрачил у деда и доживал свой век, гордясь «полной отставкой с пенсией». Зимой проводил он время на

полатах в кухне, весной устраивал себе из жердей и досок кровать под амбарным навесом. С ним рядом в конуре помещался старый дворняга Палкан, лохматый, подслеповатый, в репьях и щепках. Иван курил трубку, набивая ее зеленым тютюном, столь едким, что от него выворачивало глаза, и даже привычный к нему николаевец, и тот после первых же затяжек начинал хрипеть и, растирая грудь, оглушительно кашлял и говаривал: «Едят те мухи с комарами, проклятущая!» Имуущество Ивана хранилось в неказистом солдатском сундуке. Сундук этот возбуждал крайнее любопытство, и я делал самые разнообразные и неправдоподобные предположения, что же такое хоронит в нем Иван. Но Иван держал сундук на преогромном замке, открывал его редко и, когда открывал, неизменно заслонял его всем телом и не давал в него заглянуть. Великая тайна окутывала сундук. После смерти Ивана в сундуке обнаружили полуистлевший солдатский мундир,— нем мне было известно, — серебряную медаль «за храбрость», — ее я тоже видел не раз, — две жестяные коробки с костяными и медными пуговицами, с крючками, с карандашными огрызками; нашли еще образок, воинское увольнительное свидетельство, портки, рубаху, заготовленные Иваном обрядить его в них после смерти: к внутренней стороне крышки сундука был приклеен портрет белого генерала Скобелева, а на самом дне, в медяках, хранились три целковых «про черный день». Это все, что приобрел Иван за царскую службу, за войны, за батрачество, если не считать овчинного полушубка, истрепанного одеяла, подушки и убогого хлама под этой подушкой. Медалью Иван дорожил, по царским праздникам неизменно украшал ею грудь и тогда делался торжественным и неприступным. К односельчанам он относился со снисходительным пренебрежением, называл их «вахлаками», себя же считал человеком казенным: никто не имеет права его обидеть, иначе обидчику придется держать строгий ответ. Гордился Иван также пенсией, хотя она и не превышала пяти-шести рублей в год. Отправляясь ее получать, Иван облачался в

мундир и сожалел, что пьяным несколько лет назад потерял картуз с красным околышем. Тогда он был бы хоть куда!

Иван оборонял Севастополь, умирал сартов, служил в Финляндии, на Кавказе. Я часто просил рассказать его про войну и про «сражения», Иван либо отгонял меня от себя, либо тянул нечто скучное и вздорное.

— Известно, — говаривал он о Севастополе, глядя куда-то в сторону тусклыми глазами, — известно: на горе стоит, а округ него, например, море-океан. Воды этой самой видимо-невидимо, слыхано-неслыхано; никуда от нее, от воды, не денешься, со всех концов льется. И синяя вода, будто кто синьки в нее напустил; и соленая вся наскрозь. Зовут море Черным, а шут его разберет, по какому случаю так прозывают, ежели оно не черное, а синее, — море-то это самое...

— Дядя Иван, ты лучше про войну расскажи...

Иван жевал губами, неторопливо почесывался.

— Обсказывать тут долго, паря, нечего. Война, известно, например... она... этого самого... по голове не поглядит... нет, брат, этого за ней не водится... ты только знай, портками потряхивай да пошевеливайся. Война, брат, милости не имеет... В Крымскую кумпанию на самом Малаховом кургане француза отбивал, это уж как есть... было. Которые и пороху не нюхали за службу, а бахвалятся: и то тебе, и это тебе нагуторят, а промежду прочим выходит одно вранье... да... а я верно, я сжививал в этих самых редутах... Англичанка, например, турка алибо французишка, эти самые — одно слово — некрещеная сила; ты ему и то, и другое, и пятое, и десятое, а он, знай, по-своему лопочет, колько с им ни говори, ни до чего не договоришь; понятия нету. Конечно, били мы их несудом, потому приказ царский всему православному войску зачитывали про победу и одоление...

— Дядя Иван, а я читал, Малахов-то курган пришлось нам тогда отдать.

Иван косил на меня кровавый глаз, презрительно щурился.

— Много ты больно читал. Врут все в твоих книгах. Кто книги строчит, в траншеях не сидит... Читал! А ты не читай, а слухай!.. Пойми, дурень, ежели турка взяла бы курган, то и вышла бы всей Расеи крышка, она, Расея, — вот она, живет, никого не спрашивает... Выходит — отогнали... Не могли супротив нас устоять: кишек нехватило, силы настоященской, например, не имеют, сударь ты мой... Наполеон не такой герой был, все царства под ноги покорил, а с нами не совладал, в плен попался и даже в клетке железной по городам показывали... «Бонапарту не до пляски» — растерял свои подвязки!..» Вот оно как певалось в наших песнях. Читал!.. Мы, братец ты мой, под Малаховым курганом положили их многие тыщи, будто мух надавили в жару...

... Обычно Иван мирно грелся на солнце у амбара, но иногда напивался и тогда делался воинственным.

— Шагом арш! — командовал он сам себе, стоя на-вытяжку, но не двигаясь с места. — Шагом арш! — повторял он еще более зычно и прозно, топчась и махая руками. Ать, два. Ать, два!.. Стой!.. Эй, сиволдай рыжий!.. — От собственного окрика Иван вздрагивал, замирал и «ел глазами начальство». — Как-к стоишь, подлая твоя харя!.. Подбери, дубина, пузо... Хрясь!.. — Иван замахивался и отвешивал полновесную, но воображаемую пощечину воображаемому служилому. — Хрясь!.. Хрясь!.. Я выучу тебя, подлеца!..

Первым на «представленья» отзывался Палкан. Гремя цепью, он лениво выползал из конуры, усаживался на припек, скашивал глаза на Ивана и наклонял в его сторону морду, приподнимая ухо. Он наблюдал за Иваном снисходительно и даже немного насмешливо. Однако, когда Иван его замечал, Палкан притворялся, что ему до героя Крымской кампании решительно нет никакого дела и что вылез он, Палкан, из конуры поразмяться, на людей посмотреть, да и себя показать. Палкан, превеликий дипломат, осложнений не любил и знал, что во хмелю Иван бывает скор на расправу.

За Палканом появлялся и я из сада с ружьем, с саблей, препоясанный и перехлестнутый ремнями.

— Стой, дядя Иван! — кричал я Николаевскому ветерану. — Сейчас я тебе помогу, мы им покажем!..

Иван переводил на меня мутные с красными веками глаза. Под его команду, оснастившую чисто русскими выражениями, я делал «во фронт», «пятки вместе, нозки врозь», брал ружье «наизготовку». У амбара росла густейшая крапива; ее-то и надлежало предать огню и мечу... — Ась, два! Ась, два!.. Песельники, вперед!.. — Солдатушки, браво-ребятушки, где же ваши жены? Наши жены — ружья заряжены, вот где наши жены!.. — Иван хрипел, продолжал топтаться на месте, между тем я неуклонно приближался к крапиве, выпучив глаза, задрав голову с ружьем «на-перевес». Геройски врзался я в кусты, работал штыком, штык покрывался зеленой кровью; вострой саблей я одним махом сносил крапивные головы, топтал безжалостно трупы. Иван руководил битвой; к его команде я присоединял воинственные кличи, от них у врага должны были дыбом подниматься зеленые волосы.

Палкан, дотеле добродушно наблюдавший сражение, не выдержав, поднимался, вытягивался, сначала лениво подламывал, затем расходился все больше и больше и вот уже заливался во всю мочь и рвался с цепи. Хитрый, он прикидывался остервенелым, и в то время, когда крапива жгла нестерпимо мне ноги, он предпочитал кидаться из стороны в сторону. От крапивных «лапок» я готъ был позорно отстудить, наворачивались даже слезы, но Иван позади все надсаживался: «Коли их! Руби! Пли!» и я продолжал беспощадно лить крапивную кровь.

Иногда к «делу» присоединялся упомянутый Питерский, тоже пьяный; не совместно ли он и Иван напивались? Питерский потрясал портками с преогромной мощной, волосы у него дико торчали; худощивый, предлинный, он присоединял к нашему гвалту неимоверную ругань, и даже бывалый Иван спадал с тона и с сомнением косился на боевого

и не в меру усердного товарища. Палкан в это время терял равновесие духа и уже по-серьезному старался дорваться до Питерского, хватить его за босую в струпьях ногу, на что старик не обращал никакого внимания, чем и сбивал Палкана с толку. Трудно было понять, кого имела в виду неистовая брань Питерского; я относил ее к крапиве, но теперь кажется мне, он обрушивал ее и на всех нас, и на село, и на всю свою горемычную и нелепо проведенную жизнь.

Хрипящая команда Ивана, воинственные мои кличи, лай Палкана, истошная ругань Питерского сливались в один несусветный ералаш. У соседних хат показывались мужики, из окон выглядывали хозяйки. Около нас собиралась деревенская детвора, принимая в «войне» посильное участие. Гам, суматоха, неразбериха нарастали. С другого порядка спешил дядя Ермолай с ведром, полагая, что в нашем конце занялась изба. Чей-то теленок, задрав хвост, мчался через выгон. Куры с кудахтаньем разлетались кто куда. И уже спешил к нам Алексей, качал головой, махал руками, протяжно и с осуждением мычал. Петного и остервенелого, он схватывал меня подмышки и тащил домой; я упирался, орал и в раже все размахивал ружьем или саблей, оглядываясь на Ивана, на Палкана, на Питерского и на ораву ребят. Орава в этот миг наступала на пруд, где в грязной, ржавой воде плавал утинный выводок. Подальше от греха! Выводок благоразумно выбирался на противоположный бережок, утята отряхивались и кряканьем выражали неодобрение предсудительному людскому поведению. Я рвался из крепких рук Алексея с надсадным криком, то ли оттого, что хотелось еще повскачь, то ли потому, что мои ноги и руки изожгла крапива, то ли от причин обоюдных. Гвалт у пруда превращался, когда на крыльце появлялся Николай Иванович. Первым славал Палкан, он начинал рабски и предательски вилять хвостом: меня, мол, не смешивайте с этими непутевыми озониками! Вслед за Палканом прысками куда попало ругая, показывая черные пятки. Иван бормотал что-то невразумительное и удалялся под на-

вес. Упорнее всех был Питерский; он продолжал «чистить» и пруд, и утят, и дядю, и Палкана, токуда за ним не приходила его старуха и не сманивала его посулами дать водки, при чем показывала из-под фартука или из-под юбки бутылку с водой.

Ни с кем Иван близко не сходил, не дружил; непокладистый, строптивый, он не имел привязанностей; уважал он, пожалуй, не за страх, а за совесть лишь деда. Завидев его, Иван поднимался, с трудом расправляя поясницу и снуну, истово деду кланялся, провожал его пристальным взглядом и не садился, покуда тот не скрывался. Перед остальными Иван никогда не вставал.

Умер Иван скоропостижно. Утром нашли его под амбарным навесом уже похолодевшим и покрытым росой. Еще задолго до смерти он совсем высох, и труп его напоминал мощи; виски провалились, щеки глубоко запали, остро выдавались скулы, выпирали ключицы; глаза зашли под лоб, согнутые колена торчали палками. В углах иссиня-черных губ копошились зеленые мухи, и по лицу ползали мокрицы... Какой одинокой, горькой и нерассказанной бывает жизнь человека!!!

... За огородами—конопляник. Зреет рожь. На пригорке мельница все машет и машет без-устаны крыльями, — взлететь бы, да земля держит крепко. Тянет укропом, огуречным цветом, а порой ветер приносит горячий, горький запах полыни. Небо вот-вот распахнется, обстанет миражами.

Я решил осчастливить человечество. Сырые яйца превосходно мылятся. Изпод кур я выкрал три яйца «для опытов». В жестянке — желтки, соль, синька; к ним прибавляется вишневый клей, клей застынет, жидкое превратится в твердое, вот и готово отличное мыло. Не прибавить ли для расцветки чернил? Итак, я сделаюсь знаменитым мыловаром, разбогатею, буду путешествовать... Может быть, примешать еще также и сахару? Для чего? Там увидим. А еще лучше известки. Однако, негашенная известь, если полить ее водой, шипит и обжигает. Не получится ли от известки

вместо мыла что-нибудь взрывчатое, скажем, порох? Что же! и это не плохо для молодого химика! Это даже замечательно для начала — изобрести порох. Иные всю жизнь потеют над зловониями, но пороху не изобретают... Надо соблюдать осторожность: а вдруг жестянка взорвется! Кладу в смесь кусок извести и от страха даже зажмуриваюсь. Слава создателю, ничего не случилось!.. От мельницы с пригорка спускается женщина; ближе и ближе мелькает она в густой и высокой ржи. Никто не должен догадываться о моих секретных занятиях по химии. Я старательно прячу жестянку под кочку. Сегодня мыло и порох не удались, — унывать не след: удадутся завтра. В женщине я узнаю странницу Наталью. Голова ее повязана серым ситцевым платком, концы платка надо лбом торчат рожками, за спиной— плетеная котомка. Наталья идет споро, легко, опираясь на посошок. Ей лет за сорок, но по лицу возраст ее определить трудно: она загорела, обветрилась почти до черноты. На ней домотканная в клетку юбка, белый шерстяной зипун, ноги в запыленных лапотках, крепко и аккуратно обмотаны онучами и бечевкой. Я скликаю Наталью.

— Здравствуй, милая, здравствуй, хозяин, — приветливо отвечает Наталья, вытирая крепко губы в мелких морщинках. — Примешь ли в дом гостью? Все ли живы-здоровы?

— Спасибо, все живы-здоровы. В гости приму. — Я говорю солидно, будто и впрямь я хозяин. Шагаю рядом с Натальей вразвалку, по-мужицки.

Наталья из соседней деревни. Лет десять назад она сразу лишилась мужа и троих детей: в отлучку ее они померли от угара. С тех самых пор она продала хату, бросила хозяйство и странствует. Наталья — не нищенка, не богомолка. Ей охотно дают приют: даром она не нахлебничает: где ночует — помогает, работает.

Говорит Наталья негромко, певуче, простодушно. Слова ее чисты, будто вымыты, такие же близкие, понятные, как небо, поле, хлеба, деревенские избы. И вся Наталья простая, теплая, спокойная и величавая. Наталья ничему не уди-

вляется: все она видела, все пережила, о современных делах и происшествиях, даже темных и страшных, она рассказывает, точно их отделяют от кашей жизни тысячелетия. Никому Наталья не льстит; очень в ней хорошо, что она не ходит по монастырям и святым местам, не ищет чудотворных икон. Она — житейская и говорит лишь о житейском. В ней нету лишнего, нету суетливости. Бремя странницы Наталья несет легко, и горе свое от людей она хоронит. У нее удивительная память. Она помнит, когда и чем в такой-то семье хворали дети, куда великим постом Харламов или Сидоров хаживали на заработки, хорошо ли, сытно ли там им жилось и какую обнову принесли они хозяйкам.

Завидев странницу, Алексей радостно мычит, бросается ставить самовар. Из котомки Наталья неторопливо вынимает лубочную книжку «Гуак или непреборимая верность». Сестре она дарит деревянную куколку, а маме — полотенце, расшитое петухами. За чаем, осторожно откусывая крепкими и сочными зубами сахар, поддерживая блюдце на растопыренных пальцах, Наталья повествует: «Зашла я под Казанью к одному татарину, а у него коробейники тоже на ночь попросились. Татарин старый, лет за шестьдесят; шея вся в складках, и рубец синий от губы до самой груди; глаза слезятся. Угощает он коробейников, а они спрашивают: «Где же у тебя твоя хозяйка?» Татарин смеется: «Хозяйка у меня — молодая, гостей боится». В углу, на скамейке, — гармонья. «Кто ж у тебя, хозяин, на гармоньи играет?» — «А моя жена и играет». Коробейники пристали: покажи да покажи хозяйку, пусть сыграет на гармоньи, зеркалаще и гребенку подарим. Один-то из коробейников в летах, а другой совсем молодой, годков двадцати, не боле. Татарин из другой половины выводит жену, она упирается, голову опустила, на нас не глядит, вся пунцовая, зарделась. На вид — прямо девчонка; с мелкими рябинками коло глаз, приятная такая и чистая. Села на подоконник, хоронится и ладошкой лицо закрывает, не привышная. Упросили — взяла гармонью, заиграла, и так-то у ней ладно игра выхо-

дит; за сердце хватает. Унывно и все будто кто плачет в гармоньи. Хорошо играла. Молодой-то коробейник глаз не сводит с татарки и только бровью выскок, нет-нет, да и поведет; а я слушаю и думаю: про жизнь свою со старым незавидную играет. Меня-то, странницу, и то с души воротит, как только на рубец старика гляну, на кадык да на морщины, а уж ей-то, молоденькой, и вовсе никакой приятности с ним не выходит: с таким в отраду не намилиешься. Сыграда, закрыла опять лицо ладошкой и убежала. А парень только вздохнул ей вослед всей грудью, да рукой по лбу провёл... На другой день я и молвила татарину: «Не пара тебе твоя жена, Ахмет, не пара. Что же это ты, старый, девчонки-то не пожалел зелененькой: семьдесят тебе пошел, а она и свету еще не видала». — «Первая-то жена, — отвечает старик, — померла у меня, кому-нибудь за ребятами приглядывать-то надо. А эта в няньках услужала. Ну, так оно и вышло. Сыта, обута, одета, а раньше в побирушках ходила, сирота она круглая... — Помолчал, нахмурился: — Ты у меня, Наталья, ее не сбивай. У нас — свой закон, у вас — свой закон; иди скорей, откуда пришла...» Вот они какие, наши дела-то женские!..

— А на Кавказе что видела?

— Была я, родная, была и там. Горы-то — диво-дивное, чудо-чудное. Стоишь на горе, а внизу плывут рекой небесные тучки; дух от высоты захватывает. Снега на горах лежат косами белыми, чистые-пречистые. Глазам от них больно. Лесов много дубовых, реки, страсть, какие быстрые. Ушла с тех мест, первое время радовалась; год прошел — по горам затосковала: тянут горы к себе; вспомнишь о них, и ровно бы матушка гостинец подарила какой. Во снах даже стали сняться, право слово... А живут там не по-нашему, тяжело живут. У нас тоже никакой легкости нету, а тамошним и того хуже приходится. Иной раз смотришь: человек со жбаном воды с кручи на кручу цельный час еле ногами передвигает. Сено косят на ужасной вышине и вниз на веревках спускают; не дело это. Мается народ. Оттого, должно, и отчаянные есть промежду

их. Ох, не все там нас привечают, иной вскинет взгляд, хуже полымя, вот-вот платок займется...

Я слушаю Наталью с недоумением. Из книг мне известно про кавказских пленников, про Мцъири, про замок Тамары, про наши русские геройства, про коварство горцев. Ни разу я не подумал, что эти горцы пашут, косят, жнут, пасут овец, коров. Горцы всегда на конях, в мохнатых бурках, обвешаны оружием; они нападают друг на друга, аул на аул, а еще чаще подстерегают «наших». «Наши» им тоже спуска не дают. Из рассказов же Натальи представляется иное: все эти осетины, чеченцы, кабардинцы, ингуши занимаются тем же самым, чем занимаются и наши мужики, живут тоже незavidно и даже беднее наших. Зачем же мы с горцами воюем, что нам от них надо? И кому верить: Наталье или любимым книгам? Неужели в книгах выдумывают? И верно, в них ничего не говорится, как кабардинцы носят на себе воду, как косят и убирают они сено, как пасут стада, а ведь они, горцы, этим должны заниматься, не пропадать же им с голоду. Да и Наталья не лжет, не такая она. Вот она подпирает щеку рукой, глаза у ней добрые, усталые, правдивые, правдивы и ее сухие морщинки около рта... Книги, значит, обманывают. Но их обман дорог. С тем миром, какой они создают, трудно расставаться... Если в книгах неверно про церквей, то и про другое тоже, может быть неверно. Может быть, выдуманы страсти христовы, и Вещий Олег, и Владимир-Красное солнышко, и Крестовые походы, и ничего этого не было, а если что и было, то происходило совсем по-другому... Впервые предо мной открывается нечто темное, всепоглощающая бездна, нечто безмолвное, слепое, безликое и ко всему живому равнодушное. Обвалами рушатся туда тысячелетия, мелкими обломками падают века, царства, народы, мусором исчезают люди, — доносится неясный прохот, едва-едва приметны темные груды, лишенные образа, — и нет уже и их, навсегда вышлели из памяти: из чьей памяти? И даже надписи уже стерлись на угрюмом мраморе плит... Еще проходит вре-

мя, исполняются сроки—вот и самые плиты поглощены вечностью...

— О чем задумался?..—Наталья наклоняется, осторожно гладит меня по голове. От Натальи пахнет солнцем, лесными травами, они всегда хранятся у ней в котомке. Мысли мои кажутся похожими на непричесанные волосы, они лохматятся, Наталья теплой рукой вместе с волосами приводит их в порядок.

Наталья живет у нас дней десять, приходит на ночлег и то не каждый день. У знакомых мужиков, у родных она шьет, стирает, помогает в огородах. Вечерами Наталья охотно и обо многом рассказывает, но в одном она скупа на слова, когда ее спрашивают, почему она сделалась странницей.

— От горя бегу и новой горе ищущ...— Она улыбается и переводит беседу на другое. Горе ее большое, но светлое, оно не ложится на жизнь мрачной тенью, не каркает черным вороном, не хохлится пучеглазой сохой, ее горе летит легкой птицей, журавлиным клином в высоких и синих небесах, бросая на осеннюю землю невнятное и грустное курлыкканье.

... Я уже учился в бурсе, слыл «отпетым» и «отчаянным». Я оголтел, ходил, задирая сверстников, говорил на особом бурсацком языке, гнусном, сродном блатному; неделями не умывался, расчесывал до крови от «цыпок» кожу, мстил из-за угла надзирателям и преподавателям, обнаруживая в делах этих недужинную изобретательность. В одну из перемен бурсаки чзвестили, что в раздевальной меня ожидает «какая-то баба». Баба оказалась Натальей. Наталья шла издалека, из Холмогор, вспомнила обо мне, и хотя ей и пришлось дать крюку верст под восемьдесят, но как же не навестить сироту, не посмотреть на его городское житье; уж наверное вырос сынок, поумнел на радость и утешение матери. Я невнимательно слушал Наталью: стыдился ее лаптей, онуч, котомки, всего ее деревенского облика, боялся уронить себя в глазах бурсаков и все косился на шнырявших мимо сверстников; наконец, не выдержал и грубо сказал Наталье: «Пойдем отсюда». Не дожидаясь согласия, вывел ее на задворки, чтобы никто нас там не видал. Наталья

развязала котомку, сунула мне деревенских лепешек. «Больше-то ничего не припасла для тебя, дружок. А ты уж не погребуй, сама пекла, на масле на коровьем они у меня». Я сначала угрюмо отказывался, но Наталья навязала пышки. Скоро Наталья заметила, что я едичусь и нисколько не рад ей. Заметила она и рваную в чернильных пятнах казинетовую куртку на мне, грязную и бледную шею, рыжие сапоги и взгляд мой, затравленный, исподлобья. Глаза Натальи наполнились слезами.

— Что же это ты, сынок, слова доброго не вымолвишь? Стало быть, понапрасну я заходила к тебе...

Я с тупым видом колулал болячку на руке и что-то вяло пробормотал. Наталья наклонилась надо мной, покачала головой и, заглядывая в глаза, прошептала: «Да ты, родной, будто не в себе! Не такой ты был дома. Ой, худо с тобой сделали! Лихо, видно, на тебя напустили! Вот оно, ученье-то, какое выходит!».

— Ничего,—бесчувственно пробормотал я, отстраняясь от Натальи. Наталья еще погоревала. По уходе ее я забежал в пустую уборную и выбросил пышки в яму с калом, а на другой перемене ни за что ни про что избил малыша.

Все это я охотно забыл бы теперь.

С Натальей я больше не повстречался...

... Николая Валунова прозывали Хорьком вероятно потому, что был он беспокоен и вертляв, худ и мал ростом. В остальном Валунов на хорька не походил. Отличался Хорек беспечностью и смешливостью. Любил он посмеяться над людьми и над собой также,—над своей нищетой, над незадачливой своей жизнью. Точно в намешку над своим жалким житьем, он сажал перед хатой цветы; цветы пышно распускались, между тем верх избы оставался раскрытым,—зимой нехватало соломы,—а два темных окошка с мутными зелеными стеклами валились в разные стороны. Об односельчанах Хорек судил снисходительно и жизни их не одобрял. Хорька считали «чумовым», «непутевым». Хорек отвечал прибаутками в том смысле,

что на господ не наработаешься даже до второго пришествия. Он утверждал: счастье, оно одноглазое, а глаз у счастья на самой макушке. Ходит счастье по свету, ищет свое пропавшее дитяtko. Увидит человека: «Не мое ли дитя родное?» Поднимает все выше и выше, к самой макушке, разглядит: «Нет, не мое» — и бросит всердцах. Один жив остается, а другому и смерть от этого причиняется. Хорек отнюдь не был ни лентяем, ни лодырем. Он устраивался церковным сторожем, караулил летом бахчи, ходил в пастухах, работал у купцов по ссыпке ржи и овса. Но он не научился помалкивать, где следует, не терял самостоятельности и потому прочно нигде не оседал. Его с бранью выпроваживали за острословье, обсчитывали, штрафовали, обманывали; Хорек и в этих случаях лишь подсмеивался. Он охотно рассказывал сказки, были-небылицы и, рассказывая их, на глазах их выдумывал. Иногда он неожиданно умолкал и вслух себя спрашивал: «О чем, бишь, это я?» Я подсказывал: «...приходит он ночью в лес за кладом, а зачатое слово забыл...»—«Вот-вот,—подхватывал легко Хорек:—слово-то настоящее он и забыл, никак не вспомнит... ровно обухом его гарарахнули по башке... отшибло... И вот идет он, понимаешь, по лесу, пробирается, слово все вертится, а в руки не дается... забыл... Идет он... Будто не в себе, и хотится ему тот клад сыскать, прямо до смерти хотится, ну, только нету к кладу никакого приступу... Идет он эт-та... что тут поделаешь... Ничего не поделаешь... ругается... дело же ни с места, ни туды, ни сюды... эта прямо бяда...»

Я вижу: Хорьку нужно время придумать дальше сказку, и уже с недоверием на него поглядываю: творчество предпочитает тайну; творческая работа—работа сокровенная...

Хорек—выдумщик, поэт. Он проводил время на охоте, на рыбной ловле, ставил силки, заманивал перепелов. Знал он также много деревенских песен и певал их задумчиво. Надо мной Хорек тоже часто подшучивал:

— Тебе что же, тебе и горя мало,—говорил он, сидя на обрубке и глядя

пристально вдаль на дорогу, хотя на ней никого не было видно, — у тебя вон какой домино-то сгрохали... палаты... с железной крышей... так и блестит вся на солнце....

«Домино» трудно было принять за «палаты», но крыша, действительно, у нас железная...

— А у тебя огород, а у нас огорода нету.

— Подумаешь, огород,—отвечает, щурясь, Хорек,—крапива в том огороде да репы, да хрен дикой... У тебя корова есть.

— У тебя тоже есть корова.

— Моя корова беспрерывно к рождению ноги протянет, а у твоей коровы бока все от корма расперло.

— У тебя Жучок есть, он тебя сторожит по ночам. А у нас Жучка нет; к нам могут воры забраться.

— Это ты, брат, ловко меня поддел. Ворам до моих сундуков нипочем не добраться. Жучок, он, брат, спуску никому не даст. Одно слово—зверь. Жучок у меня и за лошадь сходит, а ума у него больше, чем у генерала с крестами; видал: на задних лапках служит, прямо — генерал полный. И расходу на него нету никакого; сам себе ежу находит. На чужой шее не сидит... Я-то свои сундуки берегу, а тебе о своих надоть крепко подумать; не ровен час — упрут еще, охотников много...

Скользякая улыбка кривит лицо Хорька, раскосые глаза вертятся, бегут куда-то в сторону, поверх меня. Хорек набивает тютюном трубку, глубоко, всей грудью затягивается, следит за синим дымом...

... Алексея, Ивана, Наталью, Хорька невольно я сравнивал с родными, с кругом сельского духовенства. Жили родные негоропливо, не богато и не бедно, занимая места священников, дьяконов, псаломщиков, учителей церковно-приходских школ. Собирали по приходам муку, пшено, яйца, хлеба. Натуры хватало, рублишек недоставало, и, когда отправляли детей учиться, деньги занимали у купцов, у богатеев, друг у друга. Пахали и сеяли на церковной земле, обычно держали одного работника, иногда обходи-

лись без кухарки. Мы, дети, окруженные неприветливым уютом и несложными заботами, росли привольно вместе с деревенскими ребятами, хотя за нами и приглядывали: не научили бы они нас дурным привычкам и словам.

Больше всего и взрослые, и дети любили дядю Сению, псаломщика из соседнего села, весельчака, балагура, изобретателя вечного двигателя.

Случилось, дядя уверил себя и родных, что он изобрел вечный двигатель. Несмотря на уговоры, он известил телеграммами губернатора, архиерея, министра внутренних дел, святейший синод, что человечество осчастливлено им, озерковским псаломщиком. В своем изобретении дядя был настолько уверен, что бросил дом и со скарбом, с ребятами переехал к Николаю Ивановичу, поселился у него в бане, где занялся производством «окончательных опытов». Провожали его прихожане с колокольным трезвонном, просили не забывать их, маломощных мужиков, дядя прослезился и сгоряча пожертвовал миру единственную свою корову. Окончательные опыты не удались. Телеграммы, к счастью, отрицательных последствий не возымели. Дяде Сене пришлось возвратиться в Озерки «под сень струй», корову успели всем миром пропить. Веры в вечный двигатель и в себя дядя, однако, не потерял и продолжал скучать железный лом по всей округе... Нет ничего живучей человеческой мечты. С ней не сладит никакая сила!!!

... Вечерами, обычно у Николая Ивановича, реже у нас, собирались сестры моей матери—их было четыре в одном селе. Приходили также и знакомые на посиделки. Больше других судами и пересудами занималась тетка Авдотья, вдова с перекошенными плечами, неугомонная на язык. Под жужжание прялки и быстрое мельканье вязальных спиц Авдотья, почти не переводя духа, рассказывала:

— ... прихожу я, сестрицы, третьеводнись к Макарихе... она пред зеркалом новое платье примеряет. И что же я вижу, мои девоньки? Под сорок ей будет с крючком, а она платье-то пошила себе белое, в полоску; так и пестрит в гла-

зах, так и пестрит. Да еще чего удумала: с фижмами, прямо, дворянка; а того не понимает, лупоноса купчиха, что из моды сколько лет вышли эти самые фижмы. Воланы по бокам, позади вырез, кружевами обвешалась, — попугай, да и только! А шлейф аршина на два будет. И еще турнир носит; а какой ей надо турнир: у нее, прости господи, сами видели, половину филэ срезать надо, да в пору на базаре продавать... Умора...

Я стараюсь забыть за «Светланой» Жуковского, но теткин голос все продолжает донимать, и я поневоле слышу, что она уже «чистит» мужа старшей сестры, начальнича станции, Василия Никитича.

— ... Приехал из Воронежа, балыков понавез, северюжины, апельсинов, а дети во что попало одеты. У Надюшки-то башмаки совсем развалились, а Алексей только и знает, с ружьем да с собаками шастать без отцовского глаза. Собак развели полный двор, волкодавов каких-то; на 'них глядеть-то одна страсть. Пришла вчера к ним, так эти самые волкодавы—на меня, на меня! Матушки, батюшки! Чуть-чуть не спали! Спасибо, кухарка Лизавета с помями вышла, отбила... Лизавета тоже, скажу я вам, хороша! В помях-то, поглядела я одним глазом, хлебные корки, капуста, картошка, а она льет и льет прямо в яму. «Ты что же это делаешь?—спрашиваю я ее серьезно: — Возможно ли выливать добро такое в яму? Свинок бы завели, ан к рождеству-то и сидели бы со своими окороками запеченными; да и нас, гостей, во славу божью угостили бы!..» А Лизавета в ответ зубы только щерит! Взяло меня за сердце: «Ты мне зубы не кажи свои! Ишь, нагуляла морду!»—«Свинок, — говорит, — разводит дело не мое, дело хозяйское!..» — «Ах, хозяйское! А тебя нет самой — хозяев на хорошее дело надоумить!..» Вон какая теперь прислуга пошла! До хозяйского добра им и горя мало, им бы самим нажраться да на полати завалиться... Оттого все и дорожает. В понедельник на базаре хотела я яичек купить, а к ним подступу нету, по восемь копеек десяток, прямо разбой среди бела дня,

да и только. Я и сцепилась со Степанидой Копылихой. «Бога ты не боишься,—корю я ее,—людей ты не стыдишься! Где это слыхано продавать яйца по восемь копеек». — «Всякому свое дорого, матушка.—Это она на слова-то мои:—У меня тоже,—говорит,—четверо пишат, и пятого еще понесла». Гляжу, она и вправду... тово... И куда столько детишек плодят, совсем даже непонятно. На улицу выйдешь, от ребят ноги некуда поставить; знай только гузнами голыми сверкают... Безо всякого присмотру... прямо посреди дороги. Долго ли до греха: иной едет с базара, напьется в кабаке, зароется в сено, одни ноги торчат, ему хоть над самым ухом из пушек стреляй, ничем не разбудишь. А с лошади какой спрос; лошадь—тварь бессловесная; она, знай себе, шагает, головой да хвостом махает; ей от мух, от слепней отбиться... Тоже новую моду взяли: хвосты лошадям подрезать. А того не понимают, что лошадь без хвоста никак не согдится..»

Сон сплает веки, и чудится мне я—лошадь, а теткины слова вьются кругом несметными роями слепней, и некуда от них податься. С усилием открываю я глаза. Все непонятно: непонятно, почему Авдотья во все вмешивается, всюду суется, для чего и взрослым, и мне надо слушать о купчихе Макарихе, о фижмах ее и турнирах, о помощах, о Степаниде, о волкодавах. Скучно! Мир представляется огромной кладовой, где в беспорядке навалено всякого хламу. Никому не нужны мои великодушные разбойники, Русланы, Ермаки, калики перехожие, Марфы-посадницы. От хитросплетений тетки они тускнеют, кажутся «не настоященскими», а где оно, «настоященское»,—неведомо... И до сих пор не забываются Авдотьины судачества. Слушаю разговор, участвую в беседе, спрашиваю, отвечаю, и как же часто приходится поражаться чепухе, ералашу, бестолочи, словесному мусору, вздору, какими мы закидываем друг друга! Тетка не в счет: что возьмешь с нее, хотя эти досужие женщины не перевелись и по сию пору, хотя и встречаются они иногда даже и там, где их, казалось бы, и след давным давно должен простыть;

притом же находишь их в таких кругах, что от удивленья поневоле приходится таращить глаза... Предоставим, однако, приткой тетке заслуженный покой, но если даже взять среднего, просвещенного современной культурой человека, то и тут нередко разводишь руками: до такой меры плоски, убоги, серы и пошлы его разговоры, суждения и мнения! Сколько празднословия, сплетен, пустяков! Слушаешь и спрашиваешь себя: а были или не были Гомер, Сократ, Аристотель, Платон, Данте, Шекспир, Ньютон, Кант, Дарвин и какие именно перевороты произвели они в людских сознаниях? Хуже всего, что этих великих людей средний культурный человек необыкновенно умело и последовательно оболванивает и делает их не менее плоскими и скучными, чем он и сам!

Бесспорно, революция многое смыла, но еще сколько осталось!..

Я приглядывался к родным и сравнивал их с Алексеем, с Натальей, с Ивановом, с мужиками-соседями. Разговоры, суждения этих людей тоже не отличались ни сложностью, ни новизной, но их мнения неразрывно связывались с трудом и бытом деревенским. Тут все было просто, ясно, необходимо. Работник Николая Ивановича, Спиридон, говорил о погоде, о том, что завтра надо боронить или пахать, лениво переругивался с кухаркой из-за обеда, поданного с запозданием. Наталья рассказывала о пожаре в Терпигоревке, о падеже скота в Мордове — мужики и бабы воем там воют; Алексей жестами объяснял, назавтра ему идти в кусты ломать к зиме веники. Справный Перепелкин жалел, что у него стащили гужи, и в двадцатый раз повторял, как он оставил их на гумне и не успел отвернуться, а гужей уже нет и в помине, — леший их, что ли, уволок! Все это соответствовало житью-бытью, из него исходило, к нему возвращалось, и даже пересуды здесь накрепко связывались с трудовой жизнью. И я смутно чувствовал правду этой жизни и неправду жизни нашей.

Родные боялись. Боялись остаться без места, без куска хлеба, боялись епархиального начальства, благочинных, исправников, окружающих помещиков, боя-

лись просто чужих людей, боялись неизвестно кого: «Как бы чего не вышло». Страх, опасения проникали во все мелочи, во все поступки, и мне, ребенку, было странно, грустно и смешно замечать трусость взрослых, на которых я смотрел снизу вверх.

От этого иногда нападала на меня страсть им перечить. Помню, за ужином у Николая Ивановича, желая похвастать своими знаниями, я сказал, что прочитал «Бориса Годунова».

— Всего прочитал? — полюбопытствовал Николай Иванович.

— Всего прочитал.

Николай Иванович, играя скулами, спросил:

— Ну, а скажи, что завещал сыну царь Борис, умирая?

Завещание Бориса я прочитал невнимательно: хотелось скорее узнать, «чем все окончится». Наобум я бойко ответил:

— Царь приказал сыну никому не поддаваться, дупцевать врагов и басурманов. — Николай Иванович покачал головой, вразумительно поправил меня:

Советника, во-первых, избери
Надежного, холодных, зрелых лет,
Любимого народом, а в боярах
Почтенного породой или славой...

—... Плохо читал: в одно ухо влетало, а в другое вылетало. — Дядя посмотрел на меня насмешливо. Тетка Татьяна, хромоножка, опрокинула чашку на блюдце и, сметая ладонью со скатерти хлебные крошки, сокрушенно вздохнула:

— Читал книгу, а видел фигу. Учатся, учатся, а выходят болванами; один перевод кровным денежкам!

Ожесточаясь, я пробормотал:

— А у меня написано в книге, как я сказал.

Николай Иванович засмеялся.

— Ишь ты: в твоей книге написано одно, а в моей книге написано другое. Чудеса!

Тетка Татьяна постучала мне пальцем в лоб.

— Не лги, парень, не обманывай старших.

Уткнувшись глазами в скатерть, я твердил:

— А у меня так написано:

Мама строго приказала:

— Выйди из-за стола.

... Нужда заставила маму подумать о работе более доходной, чем печение просфор. Зимой она уехала в Воронеж учиться кройке и шитью. Ляля, я и просфоры остались на бабушке и на черничке Прасковье, рыхлой женщине преклонных лет. К нам часто стали собираться подружки Прасковьи, тоже бобылки и чернички. Приходила на вечера и бабушка. Беседы велись о мытарствах, об угодниках, о том, как много кругом греха; силен бес и трудно заслужить блаженную жизнь на том свете. Человек — сосуд скудельный.

... Как на свете долго жил,

Крепко бога раздражил,

Ох, горе, горе мне великое!

.. Грустны и покорны женские голоса. За окнами подземельный мрак, заносы. Рядом с домом ограда, церковь. Их не видно, но живо представляется пугающая пустота церковного помещения, безлюдного, с магическими предметами: антиминс с частицей мощей, святые дары, плащаница. Окна забраны решетками. Кругом церкви могилы. Всего страшнее могила деда; родные мертвецы почему-то пугают больше, чем чужие. Есть еще часовня, если заглянуть в узкое единственное оконце, увидишь неясно согбенного в черных одеяниях Христа, с головой, упавшей на грудь. Острый нос, мертвенные щеки, незрячие глаза... Ночь... Ночь.. Свет лампы тускл. Тени черничек похожи на души усопших. Лицо Ляли точно вылеплено из воска, взгляд потемнел. Она прижимает к себе куклу; кажется, ищет у куклы защиты... Разбойники, королевичи, серые волки меня покинули... О них и думать-то грешно... Грехов много. Вчера обманул бога и бабушку: сказал, иду ко всенощной, и проболтался на колокольне и в церковной сторожке; третьего дня подрался с деревенскими ребятами и подурному ругался; тайком выменял перочинный нож на книжку... Грехов много, не упомянь.

Бабушка склонилась над библией; очки у нее едва держатся на конце пористого, потного носа. Рядом с бабушкой— Ольга, самая молодая из черничек, ей нет и тридцати лет. Ольга сидит на скамье прямо, медленно перебирает костяные четки. У нее высокая грудь, бледное лицо. Ресницы опущены, от них тени, губы крепко сжаты. Что понудило ее сделаться черничкой, какое горе, какие неудачи?..

Бабушка дрожащим старческим голосом читает:

—«...Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне и не будет...»

... И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение сына человеческого... И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их...»

... Одинокий, ничтожный, я окружен неведомой, необъятной вселенной. Обстоит грозное, неумолимое... Вот-вот крошечный мрак загасит жалкий свет, и тогда произойдет нечто, невообразимо ужасное раскроются земные недра, поднимутся крышки гробов, восстанут мертвецы; в громах, в пламени появится некто судить людей последним судом. Когда это может сбыться — неизвестно: через год, сегодня ночью, сейчас. В кухне Николая Ивановича висит лубок: пузатый, кольчатый змей, извиваясь, пышет синим огнем. Около него сатана. В правой руке он держит вилы, в левой руке зажал грешника. Ниже преисподняя: одни из грешников погружены в котлы с кипящей смолой, других диаволы подвешивают за ребра на крюки, с иных сдирают кожу. Меня пронзает холодный ужас. Я цепенею. Что-то темное, хаотическое втягивает меня в себя. Стынут внутренности. В последующей жизни мне пришлось переживать немало очень тяжелых моментов, но едва ли я ошибусь, если напишу: самое мрачное испытал я в детстве, слушая черничек. Глетворная, губительная отравал!..

... Перед иконами зажигается лампада. Бабушка нараспев читает кафизмы.

— «Человек, яко трава, дние его, яко цвет сельный, тако оцветет. Яко дух пройдет в нем, и не будет, и не познает к тому места своего...»

Лица черничек покорны, чернички припадают к полу, точно подбитые птицы с беспомощно-распластанными крыльями. Ольга не сводит глаз с распятого Христа, глаза у нее окаменели. Прасковья тихо вздыхает, черничка Аграфена молится в забытии. Образ Христа двоится: он страдал за людей, принял позорную смерть, прощал блудниц, разбойников, мытарей, грешников. На нем терновый венец, венец страстей. Но Иисуса, страдальца, бедняка, заслоняет другой Иисус, бог кары, бог ненависти ко всему земному... Припоминается Вий Гоголя: «Поднимите мне веки: не вижу» — сказал подземным голосом Вий, и все сонмище кинулось подымать его веки... «Не гляди» — шепнул какой-то внутренний голос философу...» Мне тоже чудится, будто за спиной кто-то стоит. Оглянусь — «оно» схватит меня, и я погибну... «Вот он!» — закричал Вий и уставил на него железный палец!..» Я дрожу мелкой дрожью, с трудом крещусь и лежу на полу почти в беспмятстве и, когда прихожу в себя, страстно, горячо шепчу: «Боже спасения моего, боже спасения моего!..» Больше я ничего не в силах произнести; и все кладу земные поклоны вместе с черничками.

Чернички и бабушка уходят; я и Ляля укладываемся спать в просторную мамину кровать. За перегородкой Прасковья месит тесто: завтра печь просфоры. Ляля лежит на спине. Открытые глаза ее мерцают в темноте. Вдруг она крепко прижимается ко мне, шепчет:

— Боюсь... Скоро помру и попаду в ад.

— Почему же ты скоро помрешь?

— Слышала... Бабушка вчера не заметила меня, я играла в куклы за сундуком, она сказала Прасковье, что ты много шалишь и с тобой нет сладу, а про меня сказала: «Также долго не живут». Я все хвораю. Когда придет мама?..

— Мама скоро придет.— Я стараюсь успокоить Лялю: никто не знает, когда придет смерть. Дети все хворают, а

умирают немногие. Да и нестрашно детям помирать: до семи лет на том свете с них грехов не спрашивают, и они все живут в раю (Ляле идет шестой год). В раю детям хорошо.

— Пусть в раю хорошо, а я не хочу умирать, — упрямо шепчет Ляля. — Не хочу, чтобы меня съели черви и чтобы я лежала в темной могиле.

Ляля жметя ко мне худым плечиком, локон ее волос лежит у меня на щеке. И от локона, и от чистого дыхания ее, и от нежного ее тепла, и от испуганного ее лепета — и грустно, и уютно. Я тихо говорю Ляле:

— Я не верю в смерть.

— Все помирают...

— А я никогда не помру...

Ляля засыпает, вздрагивая всем телом...

Бывало и так, что после усердных молений на меня нападала страсть проказить. Я бегал, кричал, кружился на одном месте до тошноты, бросался на кровать и задираал на стены ноги, кидал на пол подушки и с пола опять на кровать, свистал, орал, кувыркался. Прасковья, пытаясь меня уговорить, грозилась пожаловаться бабушке, а когда угрозы не помогали, хватала меня в охапку. Я будто только того и ожидал: я отбивался, царапался, визжал. Захватывало что-то буйное, бешеное. Я переживал свирепую радость, слепнул от ожесточения и ярости, задыхался и уже ничего не понимал, ничего не различал кругом себя. Странно, это случалось со мной именно после молений.

... От овина падает темносиняя тень. Овин похож на мертвую голову из «Руслана». Ток зарос свежей травой. За током расточительно зеленеют лопухи, крапива, бузина, репейник. Журчит прохладный ручей в канаве, журчание сливается с легким шелестом листьев на ветлах. Пахнет подсолнухами в цвету. Прошлогодняя солома покалывает кожу. Это недурно — в соломе сделать яму, в ней укрыться с запретной книгой. Книгу я нашел еще весной в шкафу деду; ее у меня отняли, но сегодня опять удалось ее стянуть. Коленкоровый переплет ободрался, выщвел, в рыжих пят-

вах. Страницы усыпаны черными крапинками. «Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридрике-Луизе с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимира и сардинской королевы Терезии».

«... Маркграфиня... стала раздеваться и, раздевшись, легла на постелю, а милорду приказала ложиться на другой нарочно для него изготовленной богатой кровати; при чем еще напомнила, чтобы он был воздержан, а не малодушен. А как он прошедшую ночь очень был обеспокоен, то тотчас заснул, а поутру прежде маркграфини проснулся; и будучи о красоте ее в различных размышлениях, вставши, подошел к ее кровати и открыл занавес; смотря на телесную ее красоту, в такую пришел нетерпеливость, что, забыв свое обещание и клятвы, отважился с великой тягостью ее поцеловать...»

Занятно узнать, что милорд заблудился в лесу, набрел на замок, встретил Луизу, сел в Лондоне волшебное яблоко. Но еще более заняты страницы, где повествуется о любовных делах неотразимого Георга. Они непонятно волнуют. В них есть запретное и стыдное. Скоро минет мне восемь лет. Никто из взрослых не расскажет внятно, отчего рождаются дети. Когда спрашиваю об этом, одни странно и двусмысленно улыбаются, другие притворяются, что им не до меня, третьи плетут небылицы. Недавно родные собрались у Николая Ивановича, и я за чаем опять допытывался, отчего же рождаются дети. Родные умолкли, мама покраснела, опустив голову и теребя скатерть, промолвила:

— Я объясняла тебе: детей посылает бог тем, кто его слушается.

— А отчего дети рождаются только тогда, когда выходят замуж? Тетя Анята вышла замуж, и у ней родился Володя, а до замужа Володи не было.

Тетя Анята, самая молодая, спряталась за самовар, смущенно и неестественно засмеялась.

— Это не всегда бывает, — заметила мама. — Добродеевы живут столько лет, а у них детей нету.

— Но без замужа никто не родится.

Николай Иванович стал отбивать медленную дробь волосатыми пальцами.

— Бывает, — сказал он, — и без замужа дети рождаются. Ты сам читал про деву Марию. Как она родила?

Я бойко ответил:

— У нее было непорочное зачатие.

— Верно, — поощрил с облегчением Николай Иванович, видимо, довольный, что отвлек мое внимание от первоначального разговора.

Я однако не угомонился.

— А что такое порочное зачатие?

Тетя Анята опять спряталась за самовар, обмахиваясь платком, пробормотала: «Какая жара!» Никакой жары не было и в помине; скорей даже продувало легким сквозняком. Тетя Маша с излишним усердием колола сахар. Дядя Иван, тоже священник, гость, густо крякнул, глаза у него смеялись. Мама, ни на кого не глядя, толкнула меня в плечо.

— Узнаешь об этом после. Допивай чай. Нехорошо перебивать старших.

Я сделал несколько поспешных глотков чая и опять не утерпел.

— Отчего, когда рождаются дети, растет живот? Сперва выходят замуж, затем растет живот, а потом бывает мальчик или девочка.

Тетя Анята, пунцовая, гмыкнула и торопливо скрылась в спальню.

— Да-а, — неопределенно протянул Николай Иванович.

Мама слегка шлепнула меня по затылку, глухо приказала:

— Иди домой!..

Дома перед сном она заявила:

— Никогда не спрашивай о детях при других или в гостях, слышишь! Вырастешь, все узнаешь.

Она говорила это шопотом и больше будто просила меня с виновным видом.

Все это и подобное припоминаю я теперь в овине. Третьего дня знакомая купчиха Сергеевна заметила о помещице Кугушевой: «Шуры-муры никогда до добра не доводят; миловалась, целовалась с кем попало, да и сделалась на сносях; скоро на крестины, надо быть, звать придется; а муженек-то в отъездах, по заграницам разгуливает...» Итак, дети рождаются, когда выходят замуж

и когда люди целуются-милуются. От этого растут животы. Однако, если дядя Николай поцелует дядю Ивана или если тетя Анюта поцелует тетю Саню, ни у кого из них животы не вырастут и детей тоже не будет. Если же дядя станет целовать тетю, то получается из этого толк. Есть, значит, поцелуй обыкновенные и поцелуи необыкновенные. Милорд целовал сонную маркграфиню. Это, я чувствую, — поцелуй необыкновенный, но в чем его необычайность, понять не могу, однако, что-то смутно подозреваю.

... Неутомимый милорд все путешествует. Между прочим, он делает свидетелем, как некая Любилля безуспешно смущает прелестника Маремира.

«— ... Любезный читатель, благопристойность не позволяет перу моему изъяснить всех непристойностей, какие Любилля употребила на прельщение Маремирова, довольно, что она во исполнение своей злости приказала его обнажить и заставила своих девок по голому телу сечь прутьями до тех пор, пока увидела текущую ручьями из спины его кровь; а потом, надевши на голое тело один только камзол, и тот по пояс обрезали для того, чтобы текущая кровь на поругание ему всем была видима, и, посадив его в карету, приказала отвезти к ближайшему какому ни есть селению и, высадив, пустить на волю, а самим возвратиться в деревню. С таким триумфом бедного Маремира она отправилась, а сама, севши в другую карету, поехала домой...»

... Перед глазами—голое тело, девки с прутьями, Любилля.. И вот представляется: я тоже пленен и заключен в башню. Ночью у меня нехватает терпенья, и я украдкой целую сонную принцессу невообразимой красоты. Проснувшись, она гневится, заключает меня в подземелье и присуждает к смертной казни. Но предварительно меня пытаются. В глубокую полночь звякают ключи. Это за мной. Входит принцесса, у ней распущены волосы, в руках плеть, она одна. Принцесса срывает с меня одежды, стегает плетью. Кровь... Хочется кричать. Но в смятении я еще чувствую: мне и стыдно, и обольстительно,

что я голый перед красавицей, с глаза на глаз и что она стегает меня обнаженного плетью до крови. И я хочу, чтобы это мучительное и сладостное истязание продолжалось. Это ужасно и вместе с тем я готов забыться, замереть в странном блаженном и остром напряжении. Я весь обят жаркой и как бы постоянной силой; не могу ее понять, не могу назвать ее, но она повсюду: во мне в солнце, в воздухе, в зелени, в земле; неистовая, бешеная, она все растворяет в себе; она — мой хозяин, и я — ее исполнитель. Смутно ощущаю: пускай есть бог, ангелы, отшельники, подвижники, страшный суд, ад, но сила, меня подчинившая себе, сильнее их всех, она земная, в ней, в ней — самая большая тайна жизни...

Измученный, лежу я в овине с закрытыми глазами, стиснув зубы, и все тело мое дрожит...

Ночью снится мне сон. Стою в саду у палисадника. В чистом, золотистом воздухе, невысоко, медленно плывет женщина-диво: темные волосы пышно рассыпались по плечам, лицо розово светится; женщина в зеленом; ног ее не видно, вместо ног веером сверкают, переливаются длинные перья. Что же это такое зеленое на женщине: одежды или это кожа ее? Неотрывно слежу я за плавным полетом. Глаза испытываю такое восхищение, такую совершенную радость, каких никогда я больше не переживал ни наяву, ни во сне. Видение кивает мне головой. Я иду в палисаднике калитку, но калитки нет, и женщина медленно исчезает в лазури. Остается непобедимое очарование и грусть...

...Тайну рождения спустя несколько месяцев раскрыл мне один из двоюродных братьев, одноклассков. Он приехал к нам гостить и под самым строгим секретом сообщил: нянька их, Марья, деревенская девушка лет семнадцати, когда старших не было в доме, положила его на себя; голая, она обнимала и долго его не отпускала. От этого и рождаются дети. После рассказа я уединился в камышах и там долго и горько плакал. Несколько дней я дичился матери. То, что узнал я, показалось мне отвратительным, и старшие многое потеря-

ли в моих глазах. Я меньше их теперь уважал. С братом я подробно обсуждал вопрос, родится ли у няньки Марьи ребенок. Мы этого очень опасались и решили, что брат будет «в случае чего» отпираться: свидетелей не было.

Мы рассуждали, как мужья многоопытные и дальновидные... Из молодых, да ранние!..

... До самозабвения любил я игры, любил их выдумывать, назначать себя атаманом разбойных шаек. Если не удавалось верховодить, я отказывался от гриш. Случалось это, впрочем, редко: под мою команду охотно шли двоюродные братья, сестренки и сверстники. Взрослые считали меня коноводом. Возражений я не терпел и требовал повиновения беспрекословного. Из игр я предпочитал такие, где надо было прятаться, подстергать, нападать, охотиться, пугаться, пугать других, подвергаться опасностям и неизвестности. С какой живостью работало тогда воображение! Березовый куст мигом превращался в чудодейственный жезл, а сам я—в страшного колдуна. Колдун уже не колдун, а разбойник; нет и разбойника, вместо него неукротимый лев. Лев яростно хлещет себя хвостом по худощавым стальным ребрам. Могучим прыжком бросается он на антилопу Сонечку или Олечку. Лев своим чередом превращается в Александра Македонского, в Илью Муромца, в Змия-Горыныча. И все это за какие-нибудь четверть часа! И до того забываешься, что не замечаешь, как посадил себе синяк, зашиб колено, разорвал рубашку, порезал босую ногу; иногда чувствуешь тяжесть, помеху и только позже догадываешься, что давным давно пора облегчиться, и тогда срываешься с места и бежишь с отчаянным и натуженным лицом, не имея даже времени объяснить боевому другу, прославленному соатаману Родьке, почему приходится покидать его перед самым началом решительной и кровопролитной битвы с несметным количеством супостатов. К вечеру вдалась наиграешься, накуралесишь — сон мгновенно поражает забвением, а утром, едва протрешь глаза, уже надо спешить: столько

новых дел, самых неотложных, надо переделать, что некогда всласть даже чаю попить с горячими аржаными пышками в сметане. Обжигаясь, глотаешь непрожеванные куски, и мама с удивлением спрашивает: «Куда это ты спешишь, будто пожар где случился!» Пожар — не пожар, а еще вчера уговорено с братом Костей залечь в малиннике и подкараулить Федю и Пашу. Малину берегут для варенья и рвать ее нам, детям, запрещают. Костя пронюхал,—его младшие братишки тайком очищают малинник.

Сказано—сделано. Мы занимаем наблюдательный пост у плетня в густых лопухах и от скуки вьем из конского волоса лезы для удочек. Ждать приходится изрядно. Наконец, Костя подает знак: меж лопухов, почти рядом с нами, с опаской и с оглядкой ползут Федя и Паша. Они спешно обирают кусты малины. Вот вы где, голубчики! Костя не сводит глаз с братьев; облизывает губы, оба мы еле переводим дыхание. Голубчиков мы, однако, не трогаем. У нас свой расчет. Мы даем им полакомиться сколько их душенькам угодно, даем им и выбраться из малинника. Но за обедом Костя, будто невзначай, спрашивает Пашу:

— Где это вы, Паша и Федя, пропадали?

Паша, не моргнув глазом, разъясняет: в риге гоняли голубей, а еще смотрели на гумне, как работник запрягал Серого.

— А еще нигде не были?

— Еще мы нигде не были.

Костя водит носом направо и налево, сильно пригнувшись.

— Что это на меня словно малинкой откуда-то потянуло. Право слово! Так и шибает в нос, так и шибает! И все больше с вашей стороны, Федя и Паша! Федя и Паша теряют спокойствие, ерзают на стульях и упорно отводят глаза. Костя беспощадно продолжает допрос:

— А вы, Федя и Паша, в малинник не заглядывали?

Федя и Паша с излишней поспешностью в один голос отвечают: нет, они в малинник не заглядывали; нет не заглядывали.

— Но отчего же от вас пахнет малинкой? Говорите, не пахнет? В таком случае дыхните на меня!..

— Уйди!.. Я вот тебе ногой тресну изо всех сил, будешь знать, как на нас наговаривать! — Федя угрожает с жалким и растерянным видом, между тем Паша, зажав рот обеими руками, все больше и больше сползает со стула и вот-вот уже скроется под столом. Костя наклоняется к Феде, долго, упорно и схибно что-то у него разглядывает на рубашке. Федя ежится, отталкивает от себя Костю.

— Какое это у тебя, Федя, пятнышко на рукаве? Похоже, малинку нечаянно раздавил. Зачем же ты малинкой портишь чистую рубашку?

Весь кумачевый, Федя бурчит:

— Это от вишни.

— От вишни будто потемней... А вот и зернышки, видишь? Мелких зернышек от вишен не бывает. Мелкие зернышки, Федя, от малинки бывают.

— Нет, и от вишни бывают, — тупо упорствует Федя. Костя неумолим; он призывает во свидетели старших, старшие подтверждают: пятно от малины.

Костя в подробностях повествует, что делали братцы в малиннике. Федю и Пашу оставляют без киселя.

После обеда Паша за домом сидит на пеньке и трет кулаками глаза: жалко, кисель был на славу. Я участливо спрашиваю, почему Паша плачет. Паша толкает меня, ничего не отвечает. Спрашиваю вторично. Паша опять ничего не отвечает: вдруг лицо его искажается ненавистью: всхлипывая и не обращая на меня внимания, он грозит кулаком.

— Погоди, погоди у меня, Костюшка! Пойдешь ты у меня с кровавой соплей!

Между нами разгорается ожесточенная ссора. Федя и Паша дразнят нас ябедниками. Мы им напоминаем: первыми наябедничали они на нас, будто мы в огороде свертывали головы незрелым подсолнухам и бросали ими друг в друга. Спустя час раздоры улаживаются, и на другой день мы совместно производим в малиннике настоящее опу-

стошение. Засим устраивается состязание: Костя, Федя, Паша, я, сестры Маня и Саня должны съесть кто сколько может вишен вместе с косточками. В недолгом времени мы ходим с тугими, вспученными животами. Проверка происходит спустя ночь, утречком. Кто облегчится больше одними косточками, тот и первый среди равных. Вместе с сестренками мы чинно сидим в рядок, ведем неторопливую беседу, добросовестно кряхтим и не менее добросовестно по очереди исследуем свои излишки. Удивительно, как это ни разу ни с кем из нас не случилось заворота кишек!..

Хороша была еще одна мною придуманная игра. В скирдах, в старновке, наверху делается узкая дыра, глубиной аршина в два; в нору надо забраться головою вниз и без посторонней помощи из нее выбраться. Однажды я замешкался в дыре, Косте пришлось кликать спешно работника на помощь, и тот вытянул меня за ноги еле живого, с синим лицом удавленника, с глазами навыкат; рот и уши были забиты мякиной.

Не худым казалась также и еще одно развлечение: на длительное время занимался нужник у Николая Ивановича. Подойдет один, попробует дверь, подойдет другой, пятый, а ты сидишь себе и сидишь, затаив дыхание. Далее следует, улучив момент, стремглав броситься вон, добежать до канавы, скрыться ползком на задах и как ни в чем не бывало появиться на глаза со смиренным и невинным видом!.. Кстати, всех нас, детей, почему-то притягивал к себе нужник, и мы любили в нем проводить время.

От старших у нас было немало тайн и сокровенностей. У мальчиков одни тайны, у девочек другие. Тайны различные: например, воровали яблоки или груши и хранили их в омете, меры две; устраивали среди болота, камышей и кочек на ветлах «гнездо», чтобы взрослые о нем не догадывались. В «гнездо» приносили разного хламу: стеклышек, ржавых гвоздей, гаек, лоскутков, и воображали себя владельцами бесценного клада. Еще лучше: пробирались сквозь кусты к полотну железной дороги, ждали, когда покажется поезд, тогда выбегали на по-

лотно; пусть машинист подает беспре-
рывные гудки и свистки, не надо тру-
сить и только в самый последний мо-
мент следует кубарем скатиться с на-
сыпи; дома было боязно, не успел ли
заметить будочник и не донесет ли он
на нас. Тут рука невольно тянулась к
ваду...

... Летом я мало чем отличался от де-
ревенских ребят; «резался» с ними в ко-
занки, выкрикивал: «Плоца; жога, ду-
ра!» Менял налитые свинцом битки, ку-
пался до одури в прудах, рано научился
плавать, бродил с отменным удовлетво-
рением в грязных лужах после гроз и
дождей, ловил мелкую рыбешку, ходил
за орехами, за грибами и даже ездил
верхом без седла в ночное, что заметно
укрепляло мое положение среди брати-
шек и сестреноч. Делаешься непомерно
серьезным и важным, когда подходишь
к пегому мерину, и «не баууй» выгова-
риваешь, будто ты заправский мужик,
или работник. Мерин скалит зубы и
хватает за плечо, но это — одна при-
твора: он — смиренный-пресмирный, и уж
ребят-то он никогда не тронет. А
спустя несколько минут скачешь на нем
по селу в рубашонке, вздутой пузырем
на спине, лихо размахивая локтями. У
мерина екает селезенка. За селом закат
покрывается пеплом, выше нежное, ли-
ловое небо. Нет ничего отрадней теп-
лых июльских ночей в поле у костра.
Лежишь на овчине: вверху плывут не-
омраченные созвездия. Чудесная Боль-
шая Медведица самоцветным ковшем
черпает упойтельную темную синь. Изда-
лека, откуда-то из овсов, перекликаются
перепела. Пасутся стреноженные кони;
прелестный, здоровый запах конского
пота и навоза смешивается с запахом
трав и полевых цветов. Все сильнее пах-
нет польником. Над опушкой встает ме-
сяц. Как всё дико, чудесно, бредит
Русью! А тут еще ребята затеяли раз-
говор о колдунах, об оборотнях, о ведь-
мах и лешаках. Так и ждешь: из мрака
вдруг у костра предстанет лопухая мор-
да с кривыми рогами: козел — не ко-
зел, человек — не человек, медведь —
не медведь; страшилище загрохочет,
забьет копытами, вытаращит озорные,

пьяные лупетки — и сгинет, точно его и
не было.

Из нежити я больше всего доверял
домовым и лешим. Говорили, что ле-
шие—великие проказники, но большого
зла они никому не чинили: леший заве-
дет в овраг, в лес, прикинется подгуляв-
шим купчиком, умчит на тройке, опаян-
тается простофиля, глядит: нет ни куп-
ца, ни тройки, кругом незнаемое место,
кочки да болото, да в голове словно
хмель еще бродит,—была или не была
авчерась гулянка?.. Наоборот, домовые,
не в пример лешим, отличались солид-
ностью: берегли хозяйское добро, давали
даже советы; со стариками жить можно,
лишь бы их не тревожить понапрасну...
А месяц все плывет кованой серебряной
ладьей в бездонном, в бесконечном океа-
не, и такой же бездонной, бесконечной
чудится и вся человеческая жизнь!..

... В детях много недетского, а поступ-
ки взрослых сплошь и рядом бывают ре-
бячьими.

Подобно другим, я развивался нерав-
номерно. Иногда я обнаруживал редкую
наивность, понимание ниже моего возра-
ста. В играх мне было довольно пяти-
и шестилетних ребят. Но кое-в-чем я
был старше своих восьми лет. Я рано
узнал скуку, грусть и тоску. Порой я де-
лался вялым, лень было сдвинуться с
места, книги выпадали из рук. Я не на-
ходил себе занятия, не знал, что делать
с собой. Внешних поводов к таким со-
стояниям будто бы не имелось, при-
помнить их не могу. Томило нечто без-
имянное, глухое, неизъяснимое. Моими
любимыми стихотворениями в ту пору
стали: «Выхожу один я на дорогу», «По
небу полуночи ангел летел», «Вечерний
звон», «Соловьем залетным». Их я знал
наизусть и часто пел в одиночку на
ряду с разбойничьими дедовскими пес-
нями. Уйду, бывало, на гумно и там их
пою. Иногда, впрочем, поводы к тоске и
к прустии были более ясными. Я спраши-
вал себя, что станется со мной дальше.
Скоро меня повезут в бурсу учиться.
Ну, а потом? После бурсы надевают ря-
су, отпускают волосы, ходят по избам,
собирают пшено, сметану, яйца, медные
копейки, притворно-смирненными голоса-

ми тянут молитвы. Представлялись косички Николая Ивановича, жидкие, мокрые, словно крысиные хвосты. Неужели и у меня будут такие косички? Или я сделаюсь доктором, и мне придется лечить болячки, струпья, гнойники, чирьи. Не хотел я сделаться и сельским учителем, выпрашивать дрова, солому, керосин, унижаться перед купцами и духовенством. Лучше всего было стать путешественником или писателем. Но писателя я считал существом с другой планеты; старшие говорили: писателю нужно иметь какой-то талант, нечто необычайное; ничего необычайного я в себе не находил; для путешествий же требуется много денег, а у нас иногда и полтинника в доме не найдешь. Грустно, грустно...

... А уже прогнали стадо, и улеглась розовая пыль. За церковной оградой японской резьбой четко и тонко стыннут ветки берез. Внизу покрываются мраком могильные кресты и угрюмые памятники. К ограде вплотную подступило болото, пахнет тиной, прелью. Уныло, с ровными промежутками букает бучень, вплетаясь в лягушине кваканье. Завел домашнюю и однообразную песнь сверчок. Доносятся приглушенные звуки: проскрипят ворота, телега, звякнет щеколда, лениво залает собака, замычит корова. На дальнем конце села женский голос звонко и протяжно тянет: «Анютка-а, Анютка-а!» Девичьи песни... Вечер угасает... Притомился я и жду на крыльце ужина, а в коровнике мерно звенят в подойник струи парного молока. Странное состояние: все, что я вижу и слышу, — убогие избы, старые овины и риги, кресты, песня сверчка, уханье бученя, вечер летний, — все это будто давным давно уже было, не изменялось, никогда не изменится. И я будто жил всегда, тысячелетия, и тысячелетиями смотрел и на село, и на церковь, и на березы; и глаза у меня давние, древние-преддревние, и сам я очень давний и древний-преддревний. От этого чувства древности делается очень тоскливо. Словно мне некуда деться, а деться куда-то надо...

Гаснет вечер. Меркнут дали. Почему так томят дали, почему зовут к себе? Почему они не свои, и так хочется их сделать своими, быть в них и с ними? И тогда я тихо начинаю петь. Я пою без слов, слова и не нужны; песнь без начала и без конца. Забываю тут же напев и сочиняю новый. О чем пою? Пою о пепельном вечере, о себе и о вселенной, о том, что она необъятна и безмерна, а в нашем селе тесно, убого; о том пою, что силы мои невелики, я одинок, я слаб, ребенок, а вселенная огромна, огромна жизнь, равнодушна она ко мне,—пою о том, что желания мои необъятны, подобно вселенной...

Мама звенит подойниками. Покой, печаль! Из закрытого окна доносятся бабушкино чтение на сон грядущий:

— Господняя земля, и исполнение ее вси живущие на ней...

Бездонная ночь об'емлет затихнувшее селение... Вверху огненное трепетание звезд...

... Перечитал написанное и вижу — о главном-то в детстве я и не сказал. А главное—поле, парная, вспаханная земля, сыроватый, жирный чернозем. Пахнет совсем свежей травой. Невидимый жаворонок льет трели. С кошелкой мерно шагает крестьянин, разбрасывая зерна; или пашет он, или махает косой, и она жарко блестит на солнце, а остролистые травы покорно ложатся подрезанные. Как много мира, спокойствия, правды!..

... Это—на всю жизнь, это — главное... Счастье тому, кого окружало это в детстве!

... Все возрасты—юность, зрелые годы, годы заката — считаю я своими. Они принадлежат мне, я не могу их отделить от себя. Лишь детство мое мне больше не принадлежит. Оно не мое. Можно даже усомниться: было оно или не было: такое оно далекое, чужое. Детство—это другие, чудесные края. Кто-то, кто не припомню, об этом писал кажется.

Это очень верно.

(Продолжение следует)

Барух Спиноза и буржуазия

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

I

Трехсотлетний юбилей одного из бесспорно величайших мыслителей человечества, Баруха Спинозы, прошел в Европе вяло. Это — всеобщее мнение.

Ниже мы пишем о состоявшемся в Гааге спинозовском конгрессе, который, при самой оптимистической оценке его организаторов, можно назвать лишь наполовину удавшимся. (Наша точка зрения приводит нас к совсем иной оценке.)

Вызванные юбилеем газетные и журнальные статьи весьма поверхностны и официальны. В некоторых газетах, считающихся передовыми органами передовой интеллигенции, статьи были порою из рук вон слабы и растерянны. Иные буржуазные органы с удивлением отмечали, что советские газеты, «обыкновенно переполненные хозяйственным и техническим содержанием», нашли возможность посвятить Спинозе целые полосы, при чем «кстати советских авторов, может быть, очень спорны, но этнодь не плоски».

Одна газета («8 Uhr Abendblatt»), с горечью констатировав вышеотмеченную тусклость юбилея, склонна винить в этом выросшую за последнее время до безобразия волну антисемитизма. Как бы то ни было, но нынешняя упадочная, приближающаяся к своему концу буржуазия равнодушна или враждебна к Спинозе.

Однако, как увидит читатель, некоторые профессора философии, как пози-

тивисты, так и мистики, представляющие собою прослойку мелкобуржуазной интеллигенции, делают попытки присвоить Спинозу.

Возможность для этого дана самими произведениями великого философа. Она коренится прежде всего в том несомненном факте, что Спиноза был великим выразителем могуче выраставшей голландской буржуазии XVII века.

Если мы прямо поставим перед собою вопрос, — является ли Спиноза идеологом буржуазии? — то на этот вопрос мы неукоснительно должны ответить: да.

Но если после этого нас спросят: значит ли это, что мы уступаем Спинозу буржуазии? что мы будем равнодушными свидетелями ее проделок над великим философом, что мы с улыбкой будем умывать руки при виде искажений, отрицаний, злобных принижений Спинозы, которыми буржуазия в течение столетий окружала его имя, а также при виде тех иудицких поделуев, какими она от времени до времени (в частности именно теперь) старается испачкать лик мудреца и объявить его своим? — то на этот вопрос мы самым решительным образом отвечаем: нет.

Далеко не все то, что принесла с собой буржуазия, оставляет нас равнодушными. Как-раз наоборот, все то, что она принесла действительно ценного, мы оспариваем у нее. Большею частью она в массе своей с самого начала отвергала тех своих выразителей, которые смело, беспощадно, гениально де-

ляли выводы из объективно ей присутствующих, но часто плохо ею сознаваемых предпосылок. Позднее же, в своих оппортунистических виляниях, в своих реакционных падениях она оказывалась тем более недостойным наследником ею самого социально порожденных гигантов. В этот период ее признание особенно опасно, ибо великанов мысли и творчества она признает только ценою искажения и принижения их.

Недаром Энгельс говорил, что истинным наследником великих мыслителей и художников буржуазии является пролетариат.

Уже давно было сказано, что буржуазные профессора и попы обращались с бессмертным Спинозой, «как с дохлой собакой».

Для нас же это совсем не так. Если Гомеровские греки дали троянцам страшный бой, чтобы отбить у них прекрасное тело Патрокла, то мы будем давать неустанные бои до окончательной победы всем идеологам буржуазии, чтобы отбить у них светочи человечества, которые для нас не только не «дохлые собаки», но даже не прекрасные мертвые тела, а воистину живые силы.

И буржуазия должна прежде всего остеречься самого Спинозы. Недаром он, изящно и глубокомысленно пользуясь своей фамилией, на самом деле обозначавшей только испанский городок, откуда его предки переехали в Португалию (Espinoza), сочинил себе герб в виде розы с надписью: «Caute, quia spinoza est» — «Осторожней — колется».

Из всего этого не следует, чтобы мы наивно готовы были, идя по стопам тов. Деборина, принять Спинозу безоговорочно в свой пантеон и объявить его марксистом, а Маркса — спинозианцем. Тут достаточно просто вспомнить мудрое слово Ленина: критическое усвоение.

В дальнейших главах этой статьи я ставлю себе задачу кратко выяснить, в каком смысле Спиноза был выразителем буржуазии и в каком смысле он — наш идеологический предок.

II

Бенто д'Эспиноза, по-еврейски Барух, по-латыни Бенедиктус, по происхождению своему был самым настоящим буржуа.

Он — потомок довольно длинного ряда еврейских крупных торговцев и ростовщиков, живших сначала в Испании, потом в Португалии, потом во Франции и наконец в Амстердаме.

После смерти отца Барух вместе с младшим братом Габриэлем пытался продолжать «дело», т. е. вести экспортно-импортную торговую контору, соединенную с маленькой банкирской конторой, — дело, которое впрочем уже при отце покачнулось.

Вероятно Спиноза был неважным купцом, а, может быть, ему просто не повезло. Купцы стоят под знаком неверного колеса Фортуны.

Когда Барух решил выйти из «дела», его родственники попытались пустить его по-миру. Барух судился с ними и выиграл процесс. Но потом он добровольно отказался от своей части и взял только одну кровать.

Так вышел Барух Спиноза из состава имущего класса.

Ближайшая буржуазная среда, его окружавшая, была синагога.

Амстердамская синагога разрывалась противоречиями. Твердокаменные ашке назыв, руководимые суровым раввином Мортейрой, имели по горло дела, сопротивляясь натиску мистиков и каббалистов, с одной стороны, и склонявшихся к естествознанию и свободомыслию молодых купцов — с другой. Замечались и тенденции в сторону христианства.

Мальчик Спиноза, о котором один из современников говорит: «Самая внешность этого острого еврейского юноши имела в себе нечто чарующее», становится на самый крайний левый фланг этого мирка. Он оказывается учеником естествоиспытателя, картезиански мыслящего и заглядывающего дальше картезианства, еврея Хуана де-Прадо. Учитель был выброшен из общины приблизительно в то же время, как и ученик.

На страшные средневековые формулы проклятия, низвергнутые раввина-

ми на голову Спинозы, он ответил спокойным письмом, где писал между прочим: «Вы поступили справедливо, вы заставили меня сделать то, что я и сам собирался сделать по доброй воле».

Далеко не так спокойны были его враги. Один из них покушался убить Спинозу. Двадцатитрехлетний юноша ловко увернулся от ножа и сохранил на память свой камзол, рассеченный ударом.

Так ушел Барух Спиноза из своей ближайшей естественной буржуазно-еврейской среды.

Теперь он не купец и не еврей. Он рад этому.

В сочиненном в это время трактате «Об усовершенствовании разума» имеются замечательные страницы самоанализа и признаний, почти единственное, что говорит нам Спиноза о себе.

На первых страницах этого трактата автор сообщает читателю, что он находится на жизненном повороте и вырабатывает для себя «новый план жизни».

Молодой человек оказывается глубоко разочарованным теми обычными формами буржуазного быта, которым раньше он и сам подчинялся.

По его наблюдениям, окружавшие его люди придавали слишком большое значение целям обманчивым и маловажным, но способным в высокой мере волновать и смущать дух.

По мнению Спинозы, эти цели в общем сводятся к трем категориям: жажде денег, славы и наслаждения. Спиноза признается, что он и сам был в значительной мере во власти этих «страстей». Можно предположить, что к пересмотру жизни рядом с глубокой серьезностью натуры Спинозы толчком послужили и значительные неудачи на поприще занятий, карьеры и чувственной жизни.

В чем же заключается «новый план» Спинозы? Он говорит об этом несколько глухо: он-де хочет искать истину, хочет искать прочную основу жизни, прочное благо. Но можно ли найти их? — спрашивает себя молодой мудрец. «Не покидаю ли я блага меньшие, но верные ради блага гадательного?» Эти сомнения, по словам автора трактата, отпали для него постольку, поскольку он убедился, что уже самое искание

истины дает высокое счастье и делает человека свободным от «страстей».

Но читатель может спросить нас, не имеем ли мы тут перед собою довольно обычной картины бегства от «мира» к аскетизму? — Ничуть. В Спинозе нет ни малейшей доли поповства или монашества. Правда, с этих пор он будет жить лично почти аскетической жизнью; но этот образ жизни продиктован той поистине гигантской работой, которую он возложил на свои плечи. Это — просто образ жизни, наиболее соответствующий избранной им «специальности».

Оставаясь «бюргером», Спиноза уже в этом трактате, как много раз позднее, осуждает принципиально аскетизм, отречение, «дух сокрушен и сердце сокрушено», провозглашает не только право на радость, но и положение, что радость возвышает человека, растит его силы. Даже о тех трех категориях страстей, от которых решил уйти Спиноза, он тут же говорит, что страсти эти стоят поперек дороги развитию человека, лишь если он видит в них конечную цель: «Если же человек видит в них только средство для более высоких достижений, то они сразу получают свою меру и свой смысл».

Но что же за «специальность» выбрал себе Спиноза? Он стал философом. Он стал одним из ученивших натуралистов своего века; он стал замечательным математиком; он стал первым критиком Библии и значительным филологом. Он стал всеевропейски известным публицистом-политиком.

«Специальность» Спинозы была шире всего этого. Она заключалась в том, что он стал идеологом своего класса.

Как смутно сознавали многие передовые буржуа того времени и как с предельной ясностью сознавал Спиноза, буржуазия принесла с собой новый мир, новую культуру. Их сущность заключалась в том, что все — природа, общество, личное поведение — должно было стать светским и рациональным.

Конечно Макс Вебер прав, указывая на то, что и иудейство, и во многом по-

добный ему кальвинизм стремились дать метафизическую и моральную опору стихийно вызванному социальными обстоятельствами духу первоначального накопления, бережливости, обогащения путем «честной торговли» и т. п. Тем не менее религиозные формы и даже философский идеализм, как ни хватаются за них реально господствующие буржуа разных эпох, вовсе не соответствуют основным принципам буржуазного мира. Им в их объективном последовательном развитии соответствовал лишь материализм: монистическая и материалистическая концепция мира, материалистическая этика, провозглашающая истинную свободу личности на основе понимания законов среды и организма, материалистическая политика, отбрасывающая весь феодальный хлам и строящая разумное общество людей и даже разумное общество народов.

Буржуазия нигде и никогда не осуществила во всей полноте этих своих принципов. Даже «плебейская» революция Франции, даже североамериканская демократия их не осуществили. Эти предельные постулаты законченного буржуазного мира может осуществить *implicite* и, так сказать, попутно только пролетариат, строящий социализм. Эту истину неоднократно доказывал и Ленин. Именно в этом смысле пролетариат является не только наследником, но душеприказчиком великих мыслителей буржуазии, несмотря на то, что он остается пролетариатом, а они остаются последовательными буржуа, переросшими свой класс именно потому, что класс-то этот так и не дорос до них и до последовательного, революционного выполнения рационализации жизни, даже в узких рамках частной собственности.

Буржуа, погрязший в «гешефтах», редко способен — может быть, вовсе не способен — подняться до всеобъемлющих формулировок «постулатов» своего класса. Но Спиноза ушел из «дел» и отдался тому, что он считал величайшим делом своего класса: построению нового, законченного, целостного мироздания.

Для этого ему нужно было развернуть новое, несомненное и научное пони-

мание мира, то-есть всего целого, — природы; новую, покоящуюся на этой основе систему поведения, то-есть этику; выработать новый взгляд на общественный и политический уклад.

Все это он и сделал. Притом с такой глубиной мысли и таким богатством знаний, с таким верным и строгим чувством, так сказать, стилия новой жизни, что за ним оказалось обеспеченным, несмотря на вызванную им протиз себя бурю ненависти, высокое место в истории человеческой культуры.

Главным врагом, которого при этом Спиноза вызвал на бой, врагом, ответившим ему звериной злобой, был поп: поп католический, поп еврейский и, больше всего, поп кальвинистский!

III

Я позволю себе сделать здесь некоторое отступление.

Это будет кажущееся отступление: я хочу сказать несколько слов о старшем современнике Спинозы — Рембрандте ван-Рине, место которого в истории культуры своеобразно, подобно месту Спинозы.

27 июля 1656 года молодой Спиноза был проклят и изгнан из общества евреев.

Накануне стареющий Рембрандт, разорившийся до тла и отвергнутый заказчиками, присутствовал на распродаже с молотка всего своего имущества.

Почти в один и тот же день два величайших бюргера Голландии XVII века и вместе с тем истории человечества ушли прочь из рядов «законного» и «добропорядочного» бюргерства.

С большим чутьем покойный Фриче характеризовал великого живописца как представителя богемы, не столько сознательно, сколько инстинктивно, по своей природе не любившего буржуазию и столь же инстинктивно ненавистного ей. Я говорю здесь о современной ему амстердамской буржуазии.

Следует ли из этого, что Рембрандт не был глубоким и истинным представителем буржуазии в искусстве?

Рембрандт был великим, даже величайшим реалистом. Он не только был влюблен в действительность, не только

умел с непревзойденным искусством передавать ее всю целиком, любой ее элемент, ее весомость, фактуру, красочность, ее пространственность, определяющую ее видимость,—борьбу света и тени,—он шел дальше: впиваясь в нее глазами, понимающими глазами гения, он схватывал отдельные ее черты и комбинировал их в образы столь типичные, то-есть, столь характерные, что на плоском полотне неподвижные пятна красок давали портрет действительности, казавшийся более действительным, чем оригинал. Рембрандт комбинировал элементы действительности иногда и в целые рассказы, целые поэмы, полные динамики, позволявшие бездонно глубоко заглянуть в драму жизни.

Если Рембрандт брал какой-нибудь библейский сюжет, он не только костюмировал его часто под современность, но он старался придать ему вполне современный, злободневный смысл.

Все, что было характерного в феодальной, католической живописи, никак не интересовало Рембрандта. Формальная красивость, иератическая, церковная строгость, все, что шло от государственной пышности и церемониальной условности, было отброшено и побеждено Рембрандтом. Правда, простота, непосредственное чувство — вот что господствует в его творениях.

Его век в его стране был веком великой бюргерской живописи. Рембрандт — со многим родной брат изумительной семьи тогдашних художников. И, как ни были велики многие из них, никто не утвердил в веках с такою мощью буржуазной, реалистической и непосредственной, искренней живописи, как он.

Но другие великие голландцы-живописцы его времени были любимы своим классом. Они имели множество заказов. Они жили богато,—Рембрандт умер нищим.

Нетрудно, сравнив основные черты голландской буржуазной живописи XVII века вообще и основную музыку Рембрандтовского творчества, понять, почему Рембрандт не поладил со своим классом, хотя как нельзя более глубоко и прекрасно утверждал новые начала, принесенные в жизнь буржуазией.

Кого бы ты ни взял из великих живописцев Голландии того времени, ты прежде всего увидишь у них, что они радостно утверждают жизнь, что они бездумно веселятся достигнутым благополучием. Самодовольные лица представителей победоносного класса, бархат, кружева и позументы их одежд, их скромные, но комфортабельные комнаты, их оружие, утварь и пища, их женщины, собаки, лошади и коровы, их поля, каналы и мельницы, светящее на них солнце и падающий на них дождь — все это принимается благоразумными и даровитыми детьми бюргерства за благо, за радость, за устойчивые и милые элементы ласковой среды.

Для Рембрандта, выходя из мужиков, на короткое время поднятого судьбой на вершину успеха, блеска и счастья и потом вновь сброшенного в нищету, для Рембрандта, жутко всматривавшегося в лохмотья нищего, в морщины старухи, в гримасы горя и боли, мир никогда не казался спокойным, устоявшимся. Глубоко поразившая его, очаровавшая, как бы ужаснувшая борьба света и тени, единственная свидетельница о бытии для глаза художника, продолжалась для него как борьба светлых и счастливых сил, моментов с темными, порочными, угрожающими.

Рембрандт не был мыслителем. Мы не знаем, насколько он сам себе отдавал отчет в своем творчестве. Но его творчество было трагическим, оно было проблематичным: мир отражался в его сознании и произведениях как загадка, как задача, как возможность чего-то прекрасного и как угроза чем-то нестерпимым.

Но тем самым Рембрандт становился истинным и великим выразителем буржуазного мира, художественно отражавшим его в его противоречиях, в его диалектике, в его беге по жертвам, в его беге к катастрофам.

Художественно постичь буржуазию в ту эпоху значило постичь ее рембрандтовски. Но самодовольная, руководящая, зажиточная буржуазия не желала, чтоб ей показывали то, что видел Рембрандт.

Нынешняя упадочная буржуазия в некоторых своих слоях и представителях склонна прославлять Рембрандта, восторженно вопия: «Вот пессимист! Вот отрицатель действительности! Вот мастер, загадочно зовущий к загадочным целям! Вот художник-мистик! Может быть, это пророк отчаяния!.. Ну, словом — Шопенгауэр или, еще больше, — Шпенглер!»

Здесь мы опять имеем то же явление. Рембрандт с гениальной чуткостью воспринял наступающий буржуазный мир. Он смог воспринять его в такой полноте только потому, что в одно и то же время был бюргером и ушел из бюргерства, стал чистым идеологом бюргерства и поэтому перерос его. Как великий врач он чудесно знал организм своего класса, а потому распознал его страшные болезни. За это буржуазия его времени прокляла его. Буржуазия нашего времени сама видит, что неизлечимо больна, но свою болезнь она принимает за болезнь мира. Она не видит жажды счастья, которой был полон великий живописец, принизив, она видит только его скорбь: принизив и исказив его таким образом, она, видите ли, принимает его.

Теперь вернемся к Спинозе.

IV

Итак, то обстоятельство, что Спиноза оказался практически отщепенцем своего класса, что он не был поработен личными интересами, наподобие любого другого негоцианта, что он не представлял тенденций той или другой частной группы (компании, гильдии, цеха), позволило ему стать глубоким и радикальным выразителем всего духа буржуазного класса в целом.

Правда, класс этот во время Спинозы не сознавал себя как действительное целое и даже вообще за все свое историческое бытие не дорос до осуществления своих принципиальных задач (в общем: законченной демократии). С буржуазией как классом, поскольку это в известной степени класс-неудачник (переходя со своих собственных позиций на реакционные, в лучшем случае оппортунистические, из страха перед

дальнейшим не буржуазным развитием основанного на норове технике общества), возможен этот парадокс, что самые глубокие выразители его диалектически становятся к нему до известной степени во враждебные отношения.

Из вышеизложенного не следует однако, чтобы Спиноза был типичным утопистом, индивидуальным фантастом, мечтательным романтиком, словом, тем оригиналом и одиночкой, над бесплодным великодушием которых и бесполезным гуманизмом так горько смеется Гегель.

Ничего похожего! Спиноза был натурой очень реалистической. Мы увидим в следующих главах, что и как философ и как этик он остается реалистом. Однако, устанавливая основные правила поведения человеческой личности, — тем более основные понятия о вселенной, — Спиноза мог быть в широкой мере свободным, чего, наоборот, не могло быть в области политики.

Будучи реалистом вообще, Спиноза мало интересовался установкой политической утопии, то-есть некоторой программы-максимум, хотя бы наподобие своего великого предшественника — Томаса Мора.

Спиноза в своей громкой, обратившей на себя внимание всей образованной Европы политической деятельности считал нужным исходить из действительности. Задачи, которые он ставил себе в своих политических трактатах, очень конкретны, они относятся к злободневным проблемам жизни.

Однако Спиноза никогда не был политиком изо дня в день. Не отрываясь от конкретной действительности, какая была дана ему его эпохой, он все же оставался философом политики.

В какие же отношения поставил себя Спиноза к буржуазии своей страны, а через нее — к буржуазии своего времени?

V

Голландская буржуазия в лучшие годы жизни Спинозы, то-есть приблизительно от 1653 года до его смерти, раздиралась внутренними противоречиями, еще большими, чем прежняя более узкая среда Спинозы — еврейская община.

В общем, две мощные партии противостояли одна другой. Одна из них называлась «государственной»: с 1653 до 1672 года она держала власть в своих руках. Эта партия «Staatsgezinden» состояла из буржуазной аристократии. Ее членами были могущественные негоцианты — арматоры, мореходы, мануфактурщики, банкиры и т. д. Главы таких фамилий, или вернее фирм, составляли государственный совет.

Бессменным секретарем или делопроизводителем этого совета был вдумчивый и энергичный де-Витт, типичный голландский крупнобуржуазный либерал.

Нося титул «государственного пенсионера», этот человек в течение почти 20 лет был мозгом и волей крупной буржуазии. Однако эта верхушка буржуазного класса и ее правительство имели сильнейших конкурентов в лице партии штатгальтера, т. е. принца из Оранского дома. Эта партия называлась в то время «Stadhondergezinden».

Основным противоречием политики де-Витта, основной слабостью его партии было то, что, будучи естественно республиканской и либеральной, так как развилась она в борьбе с испанским феодализмом и нуждалась в поддержке народных масс, она в то же время была глубоко олигархической, сильно побаивалась требований мелкобуржуазной бедноты и зорко следила за сохранностью своих политических привилегий и за возможностью невозбранной эксплуатации труда; равным образом, будучи естественно империалистической, так как Голландия становилась в это время величайшей колониальной страной мира, она боялась армии и военного флота, потому что ее враг — штатгальтер, стремившийся к самовластию, — был как раз прежде всего начальником вооруженных сил республики.

Курьезную физиономию имела и штатгальтерская партия: это были почти откровенные монархисты и последовательные милитаристы. Однако бороться с мощными капиталистами этим господам было не под силу: они демагогически искали опоры в простонародье. От этого они вовсе не становились демо-

кратами. Наоборот, главных союзников они обрели в попах. Попы со злобой смотрели на свободомыслие богатых купцов, на высокую оценку с их стороны молодого естествознания, на их светскость и полную независимость по отношению к церкви. Попы демагогствовали в церквах, осуждали богатство и пышность, доходили порой до настоящего науськивания бедняков на богатей и в то же время прома «материализм и атеизм» оптиматов, требуя жесткой церковной цензуры и строгих нравов, согласных предписаниям Кальвина.

Между этими двумя партиями и должен был выбирать Спиноза. Замкнутый аристократизм и дух наживы буржуазной верхушки были ему несимпатичны. Но более всего были ему ненавистны попы, угнетение научной мысли и перспективы монархии. Никакой республиканско-демократической партии в то время не было.

Де-Витт глубоко ценил огромный ум Спинозы. Он даже заходил в его каморку и советовался с ним к особому негодованию попов.

Де-Витт поощрял Спинозу самым открытым образом выступить против реакционной партии и обещал ему свое могущественное покровительство.

Так возник первый великий социологический трактат Спинозы, так называемый «Геолого-политический трактат».

Перечисляя те мотивы, которые заставили его написать это смелое сочинение, Спиноза говорит, что прежде всего он хотел нанести им возможно более сокрушительный удар по религиозным предрассудкам — главному препятствию к росту философии. Рядом с этим он хотел всячески защитить свободу мысли, «на которую со всех сторон посягают наглые проповедники».

Наконец Спиноза заявил, что хочет защитить себя от опасного в то время обвинения в атеизме.

Все три задачи разрешены великолепно.

Самой блестящей частью трактата является критика библии, сразу и гениально положившая начало всей библейской критике будущего.

Центральной идеей политической части трактата является докантовское провозглашение принципа политической свободы: «Государство не имеет права, — пишет Спиноза, — превращать людей из разумных существ в животных или автоматы; наоборот — оно должно помогать невзбранному развитию их телесных и душевных сил, дабы они пользовались своим разумом и не боролись друг с другом гневом, ненавистью и лукавством, но ставили бы себе общие цели. Подлинная цель государства — свобода».

Нечего и говорить, что по тому времени и критика Библии, и критика государства были новы и прогрессивны.

Своеобразна была защита Спинозы от обвинения его в атеизме. В ней он сразу переходит от обороны к наступлению. Он доказывает, что воображать себе бога, то-есть субстанцию мира, сущность природы, в виде какого-то человекоподобного существа, приписывать ему личность и т. п. значит нечестиво принижать его. Он-де, Спиноза, только отверг это низменное представление о всебогии, он только очистил человеческое сознание от грубых и явно ошибочных представлений.

Такого рода трактат не мог не возбудить величайшей ненависти попов и их клики. До тех пор, пока партия де-Витта была у власти, бешенство врагов Спинозы было бессильно.

Неудачная война, довольно основательное обвинение в нежелании развить военную силу страны до высшей мощи, страстный лай со всех поповских кафедр привели к ряду восстаний мелкого городского населения и к свирепому убийству де-Витта разъяренной толпой.

Сначала Вильгельм III, после своего торжества, не развязал до конца руки попам, но вскоре они добились от него «плаката» (июль 1674 года), в котором трактат Спинозы осуждался как безбожный и строжайше воспрещался.

Спиноза был сильно потрясен смертью де-Витта и огорчен наступившим мракобесием.

Не надо думать однако, что те позиции, которые занял Спиноза в вышеупо-

мянутом трактате, были его крайними левыми позициями.

После падения олигархической партии, не очень рассчитывая на скорое появление своих сочинений, Спиноза рядом с «Этикой» писал также и свое «Рассуждение о государстве». Именно здесь мы находим знаменитое положение Спинозы: «Не плакать, не смеяться, а понимать».

Больше всего боится Спиноза, в отличие от Гоббса, тирании. Сочувствуя возвращению более свободного режима Спиноза указывает на ошибки де-Витта и требует участия народных масс в управлении государством.

Довольно прозрачно провозглашает Спиноза право народа на революцию. Он оспаривает, будто мир всегда желанен: «Неужели вы станете называть миром, — спрашивает он, — рабство, варварство и пустоту, дарящие в тираническом государстве? — Нельзя вообразить ничего более позорного, чем подобный мир».

Как далеко шли чисто демократические тенденции Спинозы, видно из двух дошедших до нас мелочей, почти анекдотов.

Спиноза часто играл в шахматы со своим домохозяином ван-Спииком. Однажды Спиик обратился к нему с вопросом: «Почему, когда я проигрываю, я волнуюсь, а вы нет, разве вы так равнодушны к игре?» — «Нисколько, — отвечал Спиноза, — но кто бы из нас ни проиграл, какой-то король получает мат, и это радует мое республиканское сердце».

Биограф Спинозы Колерус видел его рисунки: Спиноза хорошо рисовал, там был и автопортрет. Колерус недоумевает: почему Спиноза изобразил себя на портрете в костюме неаполитанского рыбака Мазаньелло, вождя одного из самых ярких народных восстаний того времени, Мазаньелло, которого все «порядочные люди» называли «исчадием дьявола»?

Нет, в груди Спинозы кипел мужественный и последовательный пыл демократа, но условия времени позволили ему практически, как публицисту, желавшему влиять на современность,

занять лишь самые по тому времени леволиберальные позиции.

Свою независимость Спиноза охранял самым бдительным образом. Так, когда в наихудшее для него время, после убийства де-Витта, либеральный курфюрст Пфальдский, Карл-Людвиг, пригласил Спинозу на кафедру философии в Гейдельберг, обещая ему полную свободу преподавания с тем лишь, чтобы он не затрагивал официально существующих церквей, Спиноза вежливо, но холодно ответил, что он не понимает, какая может существовать свобода преподавания при таком ограничении, и отказался от предложения.

Несколько позднее правительство Людвига XIV захотело иметь в таком важном политическом центре, как Амстердам, благожелательного писателя: Спинозе были сделаны блестящие предложения. Он отверг их.

Он долго не хотел принимать помощи даже от своих ближайших единомышленников. Они настойчиво предлагали ему ежегодную пенсию в 500 гульденов в год, чего с трудом могло хватить на приличную жизнь холостяка. Страстное желание отдаться целиком своим большим трудам принудило философа согласиться. Однако он сам уменьшил себе субсидию до 300 гульденов.

Смешно следить за тем, как новейшие спинозисты-интеллигенты из всех сил стараются доказать, что Спиноза не был работником физического труда.

В то время увлечение оптическими стеклами было очень сильно. Такие стекла открывали бесконечность великую (Галилей, Гюйгенс) и малую (Левенгук). Спиноза не только шлифовал подобные стекла, но изобретал свои собственные формы их. Изготовленные им стекла славилась. Даже новейшие опровергатели образа Спинозы-ремесленника не смеют отрицать, что стекла эти и покупали, и дарили. Почему-то этим господам кажется все же, что жить целиком на подарок маленького мецената-купца — в порядке вещей, а зарабатывать себе пропитание высококвалифицированным ремеслом — все-таки

как-то неловко для такого великого мудреца. Черточка, характерная для катедер-мещан.

VI

Я не считаю нужным излагать здесь сколько-нибудь подробно основные мысли Спинозы о вселенной и человеке. Это уже было сделано в «Известиях» в серии статей, посвященных юбилею голландского мыслителя.

Я хочу только подчеркнуть общее значение миросозерцания Спинозы.

Бросается в глаза, что прежде всего Спиноза хочет освободить свой класс от веры в личного бога и его провидение, в загробную жизнь и посмертное воздаяние, во всякий потусторонний мир.

Этот дуализм, эту веру в произвол высшей власти Спиноза заменяет верой в природу, как связанное целое, существующее в пространстве и времени согласно законам, вытекающим из основных свойств самой природы.

Спиноза не только натуралист или натураист, он — материалист, ибо он признает основным неотъемлемым атрибутом природы и любой ее части или проявления протяженность. Так он говорит: «Дух не может ничего представлять себе, ни иметь памяти о чем бы то ни было, если у него нет тела».

Все явления природы для Спинозы абсолютно закономерны.

Однако Спиноза — вовсе не фаталист.

Если бы он был фаталистом, он должен был бы учить, что человек бессилен переделать себя или окружающее в чем бы то ни было. Но Спиноза не смотрит так на вещи.

Человека, который действует под давлением своих страстей, Спиноза считает рабом.

Но разве можно быть свободным в мире, где все детерминировано? — Да, ибо быть свободным значит поступать согласно своей подлинной природе и тем самым достигать удовлетворения своих подлинных интересов. Человек, которым владеют страсти, как бы слеп. Зрячий человек свободнее движется в

пространстве, но не потому, что он владеет какой-то мистической свободой, а потому, что яснее видит. Спиноза берет человека диалектически, — в развитии: это не только существо, одержимое страстями, но и разумное существо. Именно возможность роста разума в человеке есть присущий ему путь к единственно настоящей свободе. Разумный человек постигает свои цели, ясно видит путь к ним, средства их достижения, и потому он счастлив. Познание себя и природы — ключ к счастью.

В этом смысле учение Спинозы глубоко активно, прямо противоположно фатализму. Он говорит: «Чем более совершенна в своем роде какая-либо вещь, тем больше она действует и тем менее страдает. Можно сказать и наоборот: чем более что-либо действует, тем оно совершеннее».

И в другом месте: «Радость — сама по себе благо, печаль — сама по себе вредна, потому что аффект радости повышает нашу деятельность, а аффект печали снижает ее».

Мы видим, таким образом, перед собою совершенно типичного просветителя. Это — борец за разум.

Было бы смешно конечно выдавать Спинозу за социалиста, но надо все-таки помнить, что Спиноза конечно знал про анабаптистов и Мюнстер, про крайние левые отряды немецких крестьян и Мюнцера. Мы позволим себе привести здесь интересную цитату, которая несомненно навеяна полупролетарскими движениями XVI и XVII веков.

«Есть много полезного вне нас. Полезнее всего для нас то, что вполне отвечает нашей природе. Если объединились два человека одинаковой природы, то они как бы сливаются в одну личность с двойной силой. Вот почему человеку полезнее всего человек. Согласие между всеми людьми есть наивысшее из вообразимых полезностей. Если бы все тела и души организовались бы в единое тело и единый дух, чтобы общими силами защищать свое существование и осуществлять общую пользу, это было бы высшее благо».

Конечно, это — социализм, еще до крайности неопределенный. Очевидно

однако, что гениальный и последовательный идеолог молодой буржуазии в своем общественном идеале перерастал свой класс. Отметим также несомненный интернационализм Спинозы.

Но, как марксистско-ленинская критика неоднократно отмечала, в Спинозе были и черты отсталости.

Главной и вреднейшей для самого Спинозы чертой была пантеистическая терминология, в которую Спиноза облек свое материалистическое учение.

Почему он сделал это?

Мне кажется, что для этого было три причины.

Во-первых, это была маска. Спиноза необычайно мужественно защищался от обвинения в атеизме: он не позволял себе при этом искажать свою доктрину, он не делал никаких уступок по существу, но конечно ему сподручнее было защищаться, заявляя: «Моя природа (материя) содержит в себе все; она — единственная причина своего существования, всех своих свойств и проявлений, она становится теперь на место вашего одряхлевшего бога, этой философской бессмыслицы».

Но, с другой стороны, ставить природу на место бога (*deus sive natura*) Спиноза мог с особым удовольствием. Можно допустить, что религиозные навыки, воспринятые им с детства, получали известное удовлетворение вследствие открытия в природе, в «едином всем» нового «бога».

Если бы это было так, это значило бы, что старое время не только внешне тащило Спинозу назад, но в известном смысле и внутренне.

Легко можно допустить еще третью причину эмоциональной окраски своеобразного материализма Спинозы: мудрец использовал восхищение перед открывшейся его умственному оку картиной беспредельного и закономерного бытия. Все эти боги, святые и ангелы, все эти раи и ады казались ему смешными, и он хотел противопоставить смутным чувствам, с которыми были связаны эти представления и которые он погребал с ними, свое чистое и восторженное чувство, свое великое и спокойное да всему

бытию и для этого-то воспользовался преобразенным старым словом, говоря об «интеллектуальной любви к богу» (*amor dei intellectualis*).

Само по себе это чувство любви к бытию—новое и положительное. Это бодрое утверждение бытия свойственно свежим классам, им проникнуты многие философские строки Ленина. Но печальна данью времени была опасная терминология.

Не то плохо при этом, что пролетариату приходится очистить Спинозу от этих уродливых примесей, а то плохо, что они позволяют буржуазии цепляться за полу его философской мантии.

Посмотрим теперь, как относилась буржуазия к Спинозе и его учению со дня его смерти до сегодняшнего дня

VII

Тот факт, что Спиноза как представитель буржуазии оказался выше исторического культурно-политического уровня своего класса, отнюдь не означает, что буржуазия вовсе не имела представителей, которые понимали бы Спинозу, ценили его, учились у него и, частично, даже превосходили его.

Так, в Англии можно считать Толланда одним из непосредственных учеников Спинозы, но, как известно, Толланд в соответствии с высшим развитием мелкой буржуазии в Англии был не только более решительным атеистом в самой форме своих сочинений, но и осуждал Спинозу за «осторожность».

Великие французские материалисты XVIII века вели свою культурную родословную не столько от Спинозы, сколько от англичан; материалистов, как Толланд и Гоббс, сенсуалистов и скептиков, как Локк и Юм, и от «небесной механики» Ньютона, хотя сам лорд Исаак и остался в религиозных вопросах узким обскурантом.

Однако самые блестящие умы во французской материалистической плеяде чрезвычайно многим обязаны Спинозе. Влияние его сказывается на Дидро, и этика Гельвеция невысказана без «Этики» Спинозы.

Оригинальнее всего прошла линия спинозизма по Германии XVIII и XIX веков.

По философской своей даровитости, продуманности и глубине своих систем немцы были как бы предназначены, чтобы стать продолжателями дела Спинозы. Но великие вожди немецкой буржуазной мысли в конце XVIII и начале XIX вв. были все искалечены той крайней степенью социальной связанности, в атмосфере которой развивалась здесь передовая буржуазия: величие их философских и художественных полетов искажалось вставшей в самое их нутро потребностью в компромиссе со слишком мощной в своем убожестве средой.

Недаром Чернышевский избрал Лессинга своим героем, видел в нем свой прототип. Лессинг не только был крайне смел и блестяще победоносен в своей борьбе с немецкими попами, он заходил в своем мирозерцании куда дальше тех пределов, в которых ему приходилось открыто держаться.

Немецкая обстановка не давала ему даже возможности открыто установить свое отношение к Спинозе: самое имя Спинозы являлось запрещенным, если оно не сопровождалось ругательствами.

В 1785 году опубликована была книга Фрида Якоби: «Учение Спинозы». Книга эта была пуганая и надутая, но она содержала в себе замечательное свидетельство, касавшееся Лессинга.

К ужасу благонамеренных друзей последнего Якоби заявил, что Лессинг был спинозистом.

Он рассказал, что во время визита его в Вольфенбюттель к великому просветителю он дал Лессингу прочесть стихотворение Гете «Прометей», осторожно заметив, что «спросит его не рассердиться». Прочитав стихотворение, Лессинг сказал: «Я ничуть не рассердился. Я давно сроднился с подобными мыслями».

— Как, — воскликнул Якоби, — вы уже читали эти стихи?

Лессинг: «Нет, но я нахожу заключающуюся в них мысль верной. Эту точку зрения я вполне разделяю. Правосверный бог давно для меня не существует, он попросту противен мне. Е ди-

но е в се —ничего другого я не признаю. Об этом говорит и стихотворение Гете. Признаюсь, оно доставило мне большое удовлетворение».

Якоби, ходивший и позднее в своей книге вокруг Спинозы с оглядками и оговорками, в ужасе воскликнул:

— Но в таком случае вы — почти спинозист?

На это Лессинг спокойно ответил: «Если бы я должен был назвать себя по какому-нибудь учителю, я не нашел бы другого».

Это свидетельство Якоби способствовало идейному сближению Гете и Спинозы, хотя из приведенного нами рассказа явствует, что Гете уже раньше знал его учение.

Действительно, величайший поэт и мыслитель немецкой буржуазии многократно возвращался к пристальному чтению «Этики». Не может быть никакого сомнения в том, что ни один философ не имел на него такого влияния.

Восторженному уважению к Спинозе научил его еще Гердер, но, если Гете в позднейшую пору проявил в общественных вопросах столько неприятного оппортунизма, то одно осталось в нем во всяком случае крепким: некоторая основа натур-философии, которую он никогда не развил последовательно, но которую несколько раз очень pregnantly определял в самом ее существе.

Как известно, Энгельс не без суровости оценил общую роль Гете в истории культуры, но он с особенной похвалой говорит именно о «язычестве» Гете.

Сюда относится отвращение Гете ко всякому личному богу, ко всем положительным религиям, особенно к христианству, его безграничная любовь к живой природе, к единственно реальному миру, к тому, который окружает нас, его последовательная и радостная телесность. К этому надо прибавить, что Гете, подобно Спинозе, воспринимал природу как нечто целое, определяющее весь поток явлений во времени и пространстве. У Гете были и некоторые преимущества перед Спинозой. Его эпоха больше подчеркнула в его глазах законы развития. Спиноза еще не был

способен на воззрение, сказавшееся например в гетевской «Метаморфозе растений». Гете часто с удивительной проницательностью отмечает также развитие из себя самого и понимает, что сущностью и формой такого развития является противоречие.

В этом смысле Гете, являя собою в общественном отношении шаг назад по сравнению с Спинозой, в философии является шагом вперед, хотя конечно он не обладал и в малой степени могучей систематичностью своего учителя.

Энгельс, не отрицая у Гете некоторого пантеистического одеяния его мирозерцания, справедливо говорит, что оно, так сказать, дошло до самого порога диалектического материализма.

Несомненной разновидностью спинозизма является философия тождества Шеллинга, опять-таки с большим, чем у Спинозы, ударением на развитие, динамику, диалектику.

То, что Гегель внес оригинального в учение о природе, как о едином развертывающемся процессе, вся изумительная детальная разработка философии развития так значительны, что назвать Гегеля спинозистом значило бы недооценить Гегеля.

И все же Гегель является продолжателем дела Спинозы и—в существенном—исказителем чистой, прогрессивно буржуазной мысли автора «Этики». Материализм, столь очевидно доминирующий в системе Спинозы, через неопределенное «тождество» Шеллинга превратился у Гегеля в дух, в «идею».

Влияние Спинозы на Фейербаха, оценка его этим последним и вообще все, что относится к взаимоотношениям спинозизма и марксизма, выпадает за рамки настоящей статьи и было освещено в «Известиях» в день юбилея Спинозы.

Дальнейшее влияние Спинозы на буржуазную философию лишено значительности, как лишена ее, в сущности, сама послегегелевская буржуазная философия. Честить Спинозу проклятиями сделалось слишком безвкусным, а попытки примазаться к нему были лишены оригинальности и не привлекали внимания.

Зато весьма велико было его влияние на лучшее, что дала буржуазная культура во вторую половину XIX века, — на точную науку.

Отметим прежде всего огромное влияние Спинозы на протестантскую критику Библии. Ее завоевания и следовавшие за ней критические труды свободомыслящих историков религии своим началом имеют «Теолого-политический трактат» Спинозы. Даже Ренан, при всей своей мягкости и двойственности, упоминал о Спинозе, как о «великом отце свободной мысли».

Здесь можно назвать еще весьма замечательную поэму австрийца Николая Ленау «Альбигойцы». Эта поэма представляет собою прославление свободной мысли. Ленау объявляет в ней Спинозу человеком, более великим, чем Христос, принесшим с собой новое евангелие, которое со временем ляжет в основу всей человеческой жизни, совершенно вытеснив христианство, ибо это новое учение согласно с истиной поет в один голос с наукой.

Из всех дисциплин наиболее обязана Спинозе передовая буржуазная психология. Психо-физика Фехнера, философия психо-физического параллелизма (несколько переоцененная Плехановым), психо-физиология Вундта, рефлексологи — Сеченов и Павлов, — подход к правильному разрешению вопроса о сознании (сознание как качество, потенциально присущее материи и проявляющееся при определенных высших формах и организованности) — все это несомненно связано со Спинозой.

Можно думать также, что гений Спинозы, недоверчиво относившийся к механистическому миросозерцанию, оказался бы до странности близким к наинowejшей физике, если бы ранняя смерть не пресекла начатой им параллельно с «Этикой» «Физики». Так, по крайней мере, утверждает проф. Дунин-Борковский, пристально изучающий в настоящее время фрагменты спинозовской «Физики».

Например Спиноза отрицательно относился к атому как к корпускулу и стремился представить себе природу

как пространство, наполненное силовыми полями.

Повидимому, и нынешний курьезный спор между детерминистами и индетерминистами в теоретической физике несравненно легче разрешается с точки зрения спинозовской *causa sui* (самоопределение), чем с точки зрения классической механики.

Скажем на всякий случай, что придется больно бить по пальцам тех, кто станет отрицать материализм Спинозы из-за того, что он никогда не был механистом: Ленин гениально и раз навсегда разъяснил нам, что наш диалектический материализм остается неизблеваемым, какие бы конкретные качества ни проявились в процессе научного исследования у того «бытия», которым определяется «мышление».

Однако, если Спиноза, как и вообще материализм в широком смысле слова, благотворно влиял на буржуазное естествознание и еще и до сих пор спасает научную честность лучших ученых, надо не забывать, что, во-первых, никто из этих ученых не доходил до полной ясности и последовательности материалистического миросозерцания и что, во-вторых, буржуазная наука сейчас быстро «освобождается» от материалистического духа, меняет флаги и все чаще плавает под тем самым флагом поповства, с которым великий Спиноза вел бесстрашную и непрерывную войну.

VIII

Главным доказательством по поводу юбилея Спинозы был съезд, созданный спинозовским обществом в Гааге. Его организатор и душа спинозовского общества, профессор Карл Гебгардт дал довольно подробный отчет о нем, хотя окончательно судить об этом съезде можно будет только после появления в свет его трудов.

Все, что говорит Гебгардт в похвалу съезду, показывает, что он должен был служить именно приспособлению Спинозы к нынешним нуждам буржуазии.

Не без торжества повествует почтенный спиновист о том, что 70 философов, представляющих 14 наций, собрались о том самом историческом *Rolzaul*,

в котором когда-то по приказу принца Оранского объявлено было воспрещение «Теолого-политического трактата» как книги, противоборствующей вере христианской.

А нынче? — восхищается Гебгардт: — Голландская королева прислала своего представителя, правительства Франции, Италии и Польши были также официально представлены; почествовать Спинозу прислали своих представителей даже католические университеты!

Все эти восхитительные факты отнюдь не восхищают нас. Такой состав с'езда заранее определял его как акт присвоения Спинозы буржуазной реакцией.

Так оно конечно и оказалось.

Можно даже с некоторым удивлением отметить, что среди разногласицы с'езда, естественной при разногласице нынешней буржуазной культуры, прозвучало на с'езде и несколько приличных докладов.

Левым крылом с'езда оказались французы. В современной французской философии еще очень большое место занимает сциентизм, главным своим объектом ставящий изучение человеческого познания с подчеркнутой тенденцией защищать при этом права точной науки. Конечно, сциентистов отнюдь нельзя назвать материалистами, но это — люди, естественно, научно образованные и неприязненно настроенные по отношению к мистической реакции.

Глава этого направления Брунsvик в полном согласии с другими французскими докладчиками доказывал, что Спиноза представляет собою законченного рационалиста и что философия его целиком вырастает из картезианского корня. При этом Риво (Сорбонна) совершенно верно рассказывал о том, как Декарт не смел довести до конца свою, по существу, материалистическую философию и как Спиноза договорил до конца его мысли, сбросив с себя всякие богословские пути.

По вопросу об отношении физики и метафизики тот же Брунsvик указывал, что Спинозовский детерминизм глубже и гибче механистического и что именно он спасителен для точной науки, так как

механистический материализм явно рушится.

Можно предположить, что, если бы Брунsvик знал философию диалектического материализма, то он понял бы, что именно в этом материализме в развитой и убедительной форме продолжает жить плодотворная идея Спинозовского детерминизма. Как защитник научного мышления говорил и Башеляр из Дижона и Аппюн из Парижа (переводчик Спинозы), в резкой форме отвергший научную ценность последней мистической книги Бергсона.

Но если с французами мы находимся по крайней мере в атмосфере научного рационализма, позитивизма, то мы покидаем ее уже с немцами.

Немцы, в том числе и сам Гебгардт, шарят в источниках Спинозы не для того, чтобы показать, как он их преодолел, а чтобы оттащить его назад, к ним. Связь со старым мистицизмом и желание создать новый мистицизм, — вот что стараются увидеть в Спинозе немецкие исследователи.

Англо-саксы пытаются прищипить и нему разные свои религии. Американский отшельник и мистик Джордж Сантаяна толковал о том, что надо искать не бога—истину, а бога—благо и что по этому пути будто бы шел Спиноза!

Александр навязывался Спинозе со своим «малым богом», который хочет добра, но не всемогущ, и который еще не готов. Нечего и говорить, что все эти фантазии не имеют ровнехонько ничего общего с философией Спинозы.

Повидимому, курьезнее всего были речи католических профессоров Сассена и Вервейена, официально представлявших католические университеты в Нимвегене и Бонне. Первый полагает, что Спиноза — создатель естественной религии, которая естественно же перерастает в сверхъестественную, а второй просто заявил, что Спиноза является провозвестником католичества и «Вечного Рима». Дальше итти научнопоповское нахальство не может! Остается только спросить, не является ли таким же провозвестником католичества и столь родной Спинозе по духу Джордано Бруно, которого «Вечный Рим»

публично изжарил на площади как-раз за те же тенденции?

Повидимому, известный интерес представляли чисто исторические доклады. Например доклад довольно передового кильского профессора Тениса о взаимоотношениях Гоббса и Спинозы и доклад варшавского профессора Мыслицкого о связи идей Спинозы с социальной структурой его времени.

В общем и целом картина ясна: в лучшем случае буржуазные ученые стремятся присвоить Спинозу как «свободомыслящего», в худшем — они, не стыдясь стен, не только-что людей, готовы сделать из него даже правоверного попа.

Кстати о стенах. Местом действия конгресса явился маленький дом, в котором умер Спиноза в 1677 году. Об этом домике на Павильонеграут Ренан когда-то высокопарно выразился: «Отсюда человечество ближе всего видело бога». Так вот, приобретший для спинозовского общества этот домик проф. Гебгардт констатирует, что — при равнодушии всего Амстердама — домик этот несколько десятилетий был «публичным домом самого последнего разбора».

Да, принц Оранский приказал сжечь главное сочинение Спинозы, появившееся при жизни философа, но королева Вильгельмина прислала своего камергера отвесить памяти мудреца придворный поклон.

В «священном» домике чинилось при попустительстве правительства и городских властей грязное непотребство, но зато теперь 70 философов из 11 стран стараются так «истолковать» великие мысли своего в подлинном его смысле непонятого и отвергнутого предка, чтобы, не компрометируя себя, счесться с ним родством.

В статье, которую посвятил конгрессу в «Франкфуртер цейтунг» проф. Гебгардт, он высказывает сожаление, что русские спинозисты отсутствовали

на конгрессе. Он констатирует, что рядом с Гегелем Спиноза является тем философом прошлого, которого господствующая в СССР философия признает своим предком.

Гебгардт пишет: «Если бы русские приехали в Гаагу, мы вероятно встретили бы в их докладах Спинозу, сближенного с Фейербахом. Русские вероятно утверждали бы, что, признав протяженность основным атрибутом бытия, Спиноза сделал огромный шаг вперед и явился предшественником французских материалистов XVIII века».

Все это верно. Конгресс мог бы услышать от русских спинозистов много интересного. Русские спинозисты дали бы бой за подлинного Спинозу. Жаль, очень жаль, что их не было в Гааге.

Я позволю себе высказать мнение, что представителям диалектического материализма ни в коем случае не надо уклоняться от подобных конгрессов или хотя бы просто пренебрегать ими. Пусть буржуазия не пускает нас туда под разными предлогами, как это было с гегелевским с'ездом в Берлине. Мы же должны появляться всюду, где возможно, и без грубостей, во внешне приемлемой форме, но со всей революционной решительностью по существу пропагандировать наши мнения, защищать наши точки зрения, ярко освещать гримасы дряхлой буржуазной мысли, заключать согласно указанию Ленина союзы с подлинными учеными, бессознательно или полусознательно близкими к диалектату, пробиваться к ищущей путей молодежи, которая с необыкновенной чуткостью прислушивается к таким конгрессам.

Спинозовский юбилейный конгресс постановил периодически устраивать «спинозовские недели».

Я надеюсь, что на ближайшей «спинозовской неделе» представители диалектического материализма будут на посту.

19 декабря 1932
Берлин

Люди и факты

1. Вл. Василенко Металлическое цветение — 2. В. Зарзар Гражданская авиация капитализма — резерв войны.

1. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЦВЕТЕНИЕ

Вл. Василенко

КАЗАКСТАН

Взгляните на карту Казакстана. Эта огромная страна очерчена линиями железных дорог только по краям. Центральная часть ее — степь, а южнее пустыня — никогда не слышала еще паровозных свистков. Верблюды и лошадь до самого последнего времени оставались здесь единственным средством сообщения.

Но, как весь наш Союз, Казакстан стремительно меняет свой облик. Вчерашняя царская колония превращается в аграрно-индустриальную страну — в страну риса, хлопка, угля, металла и нефти. Железные дороги, эти вестовые индустриализации, все глубже проникают в самые недра казакской степи.

Взгляните на карту Казакстана. На то место, где обозначен... год ее издания. Карта годится только в том случае, если она издана «сегодня», в 1932—1933 г.д. Все ранее напечатанные карты уже устарели. На них нет например железной дороги Боровое—Акмолинск—Караганда. Дорога эта на участке Акмолинск—Караганда (свыше 200 километров) построена за одно лето.

Вся наша печать следила за этим строительством. Корреспонденты центральных и местных газет освещали каждый его этап, успехи и неудачи.

Мы тоже едем на Казжелдорстрой. Мы — выездная редакция «Известий».

Поезд только-что перевалил через Уральский хребет и мчитя по Сибирской магистрали. В окно видны смешанные сосново-березовые молодые лесные массивы. Но местами попадаются и чисто сосновые старые леса. Огромными деревьями увенчана длинная цепь холмов. Над обрывами осыпающийся оранжево-золотой песок обнажает тугие могучие корни. Небо подставляет под эту картину свой чистый синий экран.

Но вот наши вагоны — редакцию и типографию — передают на казакстанскую линию Петропавловск—Боровое.

Как будто кто пар выпустил из паровозного котла. У паровоза — одышка, и поезд еле ползет по степи, останавливаясь на каждом перегоне.

— Бодай тобі трясця! — ругается под окном железнодорожник-украинец, которому надоели эти бесконечные остановки.

Украинская речь и в вагоне.

Крестьянка, продающая на станции соленые огурцы, также говорит по-украински.

— Настоящий Казакстан начнется от Акмолинска, когда вы поедете дальше, на Нуринск и Караганду, — поясняет местный уроженец. Он тоже украинец, но он называет себя сибиряком.

Вот поезд снова стал среди степи, и как будто без всякой причины. Должно быть, слабосильный наш паровоз окончательно запарился и потребовал себе минут пятнадцать на передышку.

Вдалеке виднеются два-три домика из самана (местный строительный ма-

териал — кирпич). У самого полотна дороги — некоторое подобие травы, и все население поезда вываливает из вагонов «на дачу».

— Кумыс! Кумыс! — раздаются вдруг оживленные голоса, и пассажиры с чашками в руках бегут туда, где остановилась казачка с кумысом.

Несмотря на 40-градусный зной, казачка — в теплых стеганых мужских брюках, в ватном халате. Из облезлого, когда-то синего эмалированного чайника она наливает кумыс в «кесэ» — в большую фарфоровую чашку, захватанную грязными пальцами.

Я в нерешимости останавливаюсь перед этой первобытной грязью. Но жадка заставляет многих подставлять чашку под носик облезлого чайника.

Получив за кумыс от одного из пассажиров пятьдесят копеек мелочью — серебром и медяками, казачка сует деньги в рот торопливым, жадным движением да так и не выпускает их, сколько я за ней ни наблюдаю.

— Грязь в здешних местах, можно сказать, природная, — замечает один из пассажиров, инженер, работающий в Казакстане. — И не мудрено, знаете, воды очень мало, а подальше на юг, где-нибудь в Голодной степи, ее и вовсе нет. Пыль — невообразимая при постоянном порывистом ветре. К этому надо добавить малую культурность населения — результат великодержавного гнета и эксплуатации в прошлом...

Свисток паровоза заставляет нас вернуться в вагоны, и поезд движется дальше, навстречу зною, который усиливается с каждой минутой.

Степь бежит мимо окон, унылая, однообразная. Над сухим ковылем колеблется раскаленный воздух.

Вот вдали показывается черная точка. На маленьком, неказистом своем коньке казак быстро скачет наперерез поезду. Он останавливается у самого полотна и смотрит на нас раскосыми, желтыми глазами. В одной руке у него — повод, другой он картинно опирается на рукоять нагайки. Вот он поднялся на стремянах и как будто нюхает воздух. Затем он быстро поворачивает

своего конька и через несколько минут исчезает в горячем мареве степи.

Зачем он скакал навстречу поезду в этакий зной? Что привлекло его сюда? Любопытство дикаря? Или он является гонцом скрывающейся где-то там, в степных просторах, целой орды таких же странных, то сказочно-ленивых, то стремительно-подвижных людей? И как-то невольно вспоминаешь, что этот человек в седле и с нагайкой — потомок тех самых монголов, что когда-то держали в страхе и трепете не только сырую, мякинную Русь, но и закованных в железо рыцарей чешского короля и герцога австрийского, потомок тех самых страшных и смелых кочевников, которые создали великую империю монголов. Что же надо ему здесь в эту минуту? Подите спросите у него, когда он и сам вероятно этого не знает. Может, ему захотелось размяться после долгого лежания на земле, у входа в юрту. Может, он решил испытать резвость коня. А может, просто с любопытством кочевника хотел посмотреть на поезд, везущий в его страну невиданные машины, телеграфную проволоку, цемент и лес.

И чем больше внедряемся мы в степь, тем чаще в привычные «европейские» картины вклиниваются эти фрагменты Азии.

Государственные учреждения зачастую помещаются здесь в юртах.

Из окна вагона мы видим железнодорожные разъезды со смешанным составом служащих и с надписями на двух языках — казакском и русском.

Старый казак едет верхом на верблюде, и ребятишки из Днепропетровска провожают его удивленными взглядами.

Гусеничный трактор тащит в соседний совхоз какую-то машину с надписью: «Made in USA» («Сделано в Соединенных Штатах Америки»).

— Что воно за штука така? — спрашивает мой сосед-украинец, человек далеко не степной, видавший всякие виды.

Верблюд шарахается от автомобиля.

— Шайтан-арба! — кричит обозленный старик-казак вдогонку шоферу.

Но шофер только весело скалит белые зубы. Шофер — тоже казак, и ему

смешно, что его замечательный пятитонный «Бюсинг» старик обругал «чортовой колымагой».

Акмолинск встречает нас ветряными мельницами и элеватором, высокими минаретами мечетей и красным флагом над куполом местного собора, превращенного в клуб.

Перед клубом-собором — площадь. Рядом — пожарная каланча. Легко представляешь себе, как на этой площади местные воинские начальники и городничие производили смотры и учили парады акмолинскому гарнизону и городским пожарным. После молебствия по случаю «царского дня» Угрюм-Бурчеевы и Сквозники-Дмухановские выходили на паперть в сопровождении свиты из больших и маленьких держиморд. Поп обрызгивал с метелочки христолоубивое воинство и местных любителей пожарного искусства святою водой. Начальство выпивало перед строем полуголодных и обалделых людей по большой рюмке водки за здравие августейших именинников. Солдаты и пожарные троекратно кричали «ура». Оркестр исполнял национальный гимн. Казаки же, привлеченные на площадь громами медных труб и пышностью губернского торжества, но не умеющие отличить «Боже, царя храни» от «Гоп, мои гречаньки», получали нагайкою по голове. Это должно было обозначать, что во время исполнения царского гимна казаки должны снимать головные уборы наравне с другими верноподданными.

Настоящее как бы мстит городу Акмолинску за его полицейско-великодержавное прошлое. Старый вокзал в Акмолинске — небольшой деревенского типа дом; узкое крылечко, и над ним — вывеска величиною с чайный поднос: «Акмолинск», и тут же по-казакски: «Ақмола». У входа — крохотный синий почтовый ящик, слабо приколоченный к стене кривым гвоздем. Но у этого крылечка с наивной вывеской уже останавливаются поезда, в состав которых часто входят большегрузные вагоны американо-русского типа и сверхмощные паровозы-декапоты. Замечательно это соединение оставшейся от старых вре-

мен кустарщины с элементами высокой современной техники!

Самый город не растет, почти не обновляется. Пройдитесь по улицам, и вы не встретите ни одного здорового дома. Все какие-то калеки, инвалиды с провалившимися черепами-крышами, с подслеповатыми, подбитыми окнами-глазами.

Почти то же и в Семипалатинске. Этому недавно крупнейшему городу Казакстана больше двухсот лет. До Октябрьской революции в нем было 40 тысяч жителей. За советские годы прибавилось еще 40 тысяч.

Караганда же за каких-нибудь год-два обогнала все города Казакстана. В домах, достроенных и недостроенных, в юртах, бараках и землянках живет сто тысяч человек.

— Через несколько лет здесь будет город больше Харькова! — заявляет управляющий каменноугольным трестом «Караганда» тов. Горбачев.

Но Акмолинск не сдастся. Он сохраняет свое значение центрального города огромного района. Пройдет каких-нибудь два-три года, и здешних мест не узнаешь. Уже сейчас в Акмолинске построены большое, хорошо оборудованное депо и ряд других железнодорожных зданий. В городе находятся отделения и конторы всесоюзных и всеказакстанских учреждений. Управление Казелдорстроя также находится в Акмолинске.

В управлениях и конторах с утра до ночи трещат телефоны; по коридорам снуют озабоченные люди; к подъезду подкатывают на «казенных» лошадях инженеры, прорабы, кооператоры.

Летом, при зное в 40—50 градусов, работать очень трудно. Но работа кипит. Только отдельные Обломовы с нетерпением поглядывают на часы, а явившись домой, снимают с себя одежду и заодно — телефонную трубку с рычага, чтобы неугомонная администрация невзначай снова не вызвала «на службу».

От времени до времени начальники управлений и строки предлагают всем засидевшимся в аппарате инженерам, техникам, диспетчерам и т. д. немедленно отправляться на линию, в места не-

посредственного строительства или железнодорожной работы.

Выпуская в Акмолинске нашу газету, мы также следим, чтобы она шла на линию, в места скопления рабочих — строителей, железнодорожников, шахтеров, а скоро и сами выезжаем туда — в Нуринск и Караганду.

В Нуринске одна страница газеты будет печататься на казакском языке. Это значит, что с нами поедут два товарища-казака — наборщик и редактор (он же литературный работник, он же корректор, он же переводчик).

Редактором казакской страницы будет Нурлан Жаубасаров, работающий с нами в Акмолинске. Он редактирует здесь железнодорожную комсомольскую газету на казакском языке, напечатал в выездных «Известиях» очерк и, кроме того, всегда выступает переводчиком на наших собраниях. Ему двадцать лет, у него живые карие глаза, и сам он маленький, щуплый, подвижной и смешливый.

Про наборщика известно только, что он комсомолец и что его фамилия Фаизов



Мы подружались с Нурланом, и я пользуюсь этим для того, чтобы поближе познакомиться с жизнью и бытом молодого советского Казакстана.

Пока мы не выехали на линию, я прошу Нурлана показать мне акмолинский базар.

— Что там смотреть? У нас торгуют только кнутами! — смеется он.

Все же в торговый день мы отправляемся на базарную площадь.

Так как это довольно далеко от нас, то мы решаем взять извозчика

Маленькая и чахлая казакская лошаденка, впряженная в дрожки, расхлябанные и скрипучие, бежит, понурился голу.

Не успеваем мы проехать и четверть пути, как извозчик вдруг останавливает своего рысака и требует с нас деньги вперед.

Получив деньги, он уже не хочет подгонять свою лошаденку.

— Скорей, джигит! Мы спешим...

Но казак поворачивается к нам с явным намерением разговаривать.

— Бедняк не джигит, бай джигит, — начинает он и не перестает болтать всю дорогу, затрагивая прохожих и проезжих и скаля поминутно свои удивительные белые, крепкие зубы.

— Шайтан! — ругается он каждый раз, когда автомобиль пронесется мимо, обдавая нас облаком пыли.

От времени до времени за нами мчатся во весь опор верховые казаки.

Подскакав и осаживая коней, они задают стереотипный в этих местах вопрос:

— Нан бар-ма? Хлеб есть?

Или:

— Кайлек бар-ма? Рубашка есть?

Случается, что подехавшие спрашивают, как им получить задержанную железной дорогой заработную плату или освободить казака, посаженного не в меру усердной местной милицией под арест... за покупку «казенной» рубашки у какого-нибудь железнодорожного агента.

Но вот наконец мы и на базарной площади. Она лежит перед нами — пыльная, открытая ярости солнца и ветра. Огромная толпа оживленно и беспорядочно толчется вокруг какого-то остающегося невидимым центра.

Несмотря на тропическую жару, мужчины-казаки — в меховых шапках, в халатах на вате или в овчинных шубах и в огромных сапогах на войлочной подкладке. Как это ни странно, но такая одежда предохраняет от зноя. Все же непривычный человек тотчас сварился бы в ней, погиб от теплового удара. Женщины одеты также не совсем летнему, но они по крайней мере в длинных белых балахонах, несколько предохраняющих от солнца и пыли.

Все новые и новые группы людей стекаются на площадь со всех сторон. Одни идут пешком, другие едут в повозках, третьи — верхом. Крохотного роста старик с лицом колдуна восседает среди горбов великана-верблюда. Целая семья поместилась в огромной, похожей на корзину телеге. Сын правит лошадей; дочь едва видна из-за бортов телеги, но с любопытством разглядывает

прохожих; мать сидит с напряженным видом и при каждом взгляде на нее отводит в сторону еще молодые, живые глаза; только отец сохраняет полное, всеобъемлющее равнодушие и от времени до времени как-то особенно длинно сплевывает через край телеги. Вот едет казак верхом на лошади; за спиной у него, на лошадином крупе, сидит сынишка, мальчик лет десяти, держась за пояс отца. Дребезжа и скрипя колесами, катятся расхлябанные дрожки, на которые каким-то чудом взобралось с десяток молодых казаков; верблюд бежит боком, повернув голову к седокам, как бы укоряя их за чрезмерную нагрузку.

Какое это великолепное животное — верблюд! Всегда величаво-спокойный вид, лебединая шея, мудрая голова, так похожая на голову большой змеи, и огромные черные или темнокарие задумчивые глаза.

Вот нам попался верблюд, ноги которого сверху и до колен покрыты густой и длинной с лиловым оттенком шерстью.

Нурлан долго смеялся, когда я сказал ему:

— Смотри, вон верблюд в трусиках!

Толпа все время пополняется, колышется и живет. Но стоило нам пройти по площади из конца в конец, и мы убедились, что никакого особого центра притяжения для толпы нет и торговля действительно идет только «кнутами».

Вот семья из трех человек — отец, мать, дочь — разложила товары на старом-престаром, сотканном из дыр и пыли ковре. Резервуар от керосиновой лампы лежит рядом с засаленным букварем; тут же — одинокое деревянное стремя со сбившейся резьбой, старые сандалии, большой ржавый гвоздь, самовар с продавленным боком, медный пестик и с полдесятка конфет в выцветших, когда-то пестрых бумажках.

Дальше — «развалы» в таком же роде; дымящиеся, угарящие жаровни, на которых свирепо шкварчит не то конская, не то баранья требуха; квас, приготовленный на сырой воде и потому носящий картинное название «холера».

Только под навесом, где казачки-колхозницы продают кумыс, торговля име-

ет более культурный вид. Опрятные женщины наливают вам чашку холодного и вкусного кумыса, и вы можете посидеть несколько минут под навесом, наблюдая бесцельную, но оживленную суету базара.

— Это — клуб на открытом воздухе, место приятельских встреч, бесед на политические и бытовые темы, — говорит Нурлан.

«Клубная» работа однако поставлена здесь неважно.

Вот несколько в стороне от центральной части базара — фанерная палатка, расписанная по фасаду изображениями животных и птиц и напоминающая балаган бродячего ярмарочного зверинца. У входа в палатку — толпа народа, преимущественно казаков. Это — «казино». Человек с поэтической шевелюрой и бородкой клинушкой приглашает попробовать счастья. Он помещается за узким и длинным, похожим на прилавок столом, на котором изображены: лев, тигр, обезьяна, орел, удав, оса, кузнечик и т. п. Такие же изображения имеются на вертикальном вращающемся диске — главном аппарате игры. Желющие кладут по рублевке на стол, на одно из этих изображений. Крупье, которого играющие называют просто «крупой», набравши ставок побольше, начинает яростно вертеть колесо со зверями и птицами. Помощник «крупы», молодой казак, стреляет в вертящийся диск из духового ружья маленькой оперенной стрелой. Выигрывает то изображение, в которое попадает стрела.

— Стрыкоза! — громко выкрикивает крупье, и счастливцев, поставивший рублевку на стрелозу, получает свою ставку вместе с двумя, тремя или пятью рублями выигрыша.

Максимальный выигрыш — тигр, и большинство ставок делается именно на него.

Но в тигра стрела попадает очень редко.

— Кузнэчик!.. Вэрблуд!.. Барашик! — выкрикивает обычно «крупя», кстати сказать, совершенно не похожий на уроженца Востока и акцентирующий очевидно только «для фасона».

Диск вертится слишком быстро для того, чтобы можно было заранее рассчитать, куда попадет стрела. Однако в результате игры в выигрыше остается только казино.

В нескольких шагах от казино — небольшая, огороженная веревкой площадка. Посреди площадки стоит стол, на котором живописно разложены различные предметы домашнего обихода, коробки с конфетами, духи и т. д.

Здесь также идет игра. К уплатившему рубль подходит девушка, с оловянным бокалом в руке, из которого торчат дюжины две карандашей с медными наконечниками. Играющий вынимает из бокала восемь карандашей, на нижних концах которых вырезаны разные цифры. Эти цифры складываются, и полученная сумма сверяется по особой таблице, где указано, какой выигрыш соответствует данной сумме. Некоторые выигрывают по два, по три, по пять рублей. Большинство же убеждается, что в таблице против их суммы стоит нуль.

Пожилой казак в оборванном шапане протягивает через веревку рубль, но никто с бокалом к нему не подходит. Оказывается, старик зубами пытался наметить карандаши, дающие необходимую для крупного выигрыша сумму, и теперь ему не позволяют играть.

Он сердито плюет и уходит. Огромные, подбитые бараньей шерстью сапоги с раструбами мешают ему двигаться быстро. Но видно, что старик хочет поскорее отойти от места своего позора.

— А ведь это не дело, товарищ! — говорю я милиционеру-казаку, который по соседству мирно дремлет на лошади.

— Что? — просыпается милиционер. — Не дело, — повторяю я, — устраивать азартные игры посреди площади в базарный день! Чьи это «заведения»?

— Казенные, — отвечает милиционер и снова погружается в дремоту¹⁾. Его движения так медленны и ленивы, что кажется, будто зной растопил этого человека и он боится себя пролить.

¹⁾ Доходы от «казино» и проч., как потом нам объяснили, шли в качестве подсобной статьи дохода на нужды детучреждений.

В нескольких шагах от этого места грехопадения акмолинского горсовета нам открывается другая, принципиально схожая картина.

На земле, в пыли, разостлана тряпка. Подле нее на корточках сидит средних лет казак. Напротив, также на корточках, — пожилая казачка. Молодой казак лежит на земле, жует соломинку и внимательно смотрит на тряпку. На ней — два-три десятка фасолин разного цвета. Казак, сидящий на корточках, движениями руки передвигает эти фасолины по тряпке, комбинируя их по количеству и цвету, и при этом все время что-то бормочет себе под нос. Женщина прислушивается к его бормотаниям с напряженным, серьезным видом. В ее глазах можно прочесть любопытство, смешанное со страхом, как бы предсказатель не предрек чего-нибудь ужасного.

Мы останавливаемся прямо против шарлатана и демонстративно его разглядываем. Но он без всякого смущения продолжает разводить по тряпке свои фасолины.

В конце концов Нурлан по-казакски обращается к парню:

— Ты что, тоже гадаешь?

— Смотрю.

— Тебе интересно?

— Старуха — моя мать.

— Почему ж ты не объяснишь ей, что этот казак — обманщик и что она напрасно дала ему деньги?

— Он предсказывает только хорошее...

Становится все жарче и жарче. Ветер из Голодной степи приносит тучи песка. Песчаные смерчи то и дело набегают на город, покрывая все по пути плотными пластами пыли.

Сегодня вечером мы выезжаем в Нуринск. Это еще южнее, и зной там будет вероятно еще нестерпимее.

Нурлан и Фаизов привезли на извозчике новенький, специально сделанный для поездки реал и несколько типографских касс с материалом и казакскими шрифтами.

Мы сидим в вагоне-общезитии, в отделении, отведенном под столовую, и

пьем чай с хлебом, которым снабжает нас КазжелТПО — серым, из пшеницы грубого помола, но замечательно вкусным.

— Нурлан, — говорю я, — расскажи о Казакстане что-нибудь такое, чего не прочтешь в книжках, в учебниках, в газетах и что можно услышать только от живых людей, от самих казаков.

Нурлан не понимает, чего я хочу.

— Я не знаю ничего интересного, — говорит он. — В детстве я жил в ауле, потом учился в Акмолинске и за всю жизнь не был нигде дальше Борового и Петропавловска.

— Расскажи о Боровом. Что ты там делал?

— Лечил чахотку! — смеется Нурлан.

Все же ему приятен интерес, который мы проявляем к Казакстану, и через минуту Нурлан с увлечением рассказывает нам нечто в роде казакской национальной легенды. Все события этой легенды связаны с именем героя Кене-Сары и происходят в Боровом.

Кене-Сары! Первый раз я встретил это имя в старой акмолинской мечети, теперь — в музее казакской культуры. Кене-Сары — так звали одного из вождей казакского восстания против правительства царя и помещиков в 1916 году. От Нурлана я узнаю, что родоначальником всех героев, принимающих это популярное имя, является Кене-Сабы — главный казакский богатырь, защищавший землю и культуру казаков от русских колонизаторов. Пока Кене-Сары был жив, говорит легенда, ни один русский не смел поселиться на казакской земле. Поселки и города, насажденные русским царем, Кене-Сары безжалостно разрушал. С такой же энергией он защищал от русских казакские города. Излюбленным местом Кене-Сары было Боровое (Buvrabaј по-казакски — место, где много буйных, одичалых верблюдов). Богатырь любил это место за его исключительную красоту, как любил он и Кокчетав (Kokcetaв — синяя гора), и ни за что не хотел уступать эти места царским наемникам. В отместку Кене-Сары за то, что он разрушает царские поселки, русские разрушали аулы

казаков и однажды увели с собой необыкновенной красоты девушку, которую богатырь хотел взять в жены своему сыну. Кене-Сары отбил девушку у русских, но она отказалась выйти замуж за его сына, так как у нее был возлюбленный, который уже заплатил за нее калым: 47 голов скота, не считая лошадей с повозками, украшенных золотом седел и т. п. Под влиянием уговоров Кене-Сары девушка согласилась выйти замуж за того, кто попадет стрелой в ее платочек с серебром так, чтобы серебро зазвенело. Кене-Сары рассчитывал, что победит на этом соревновании его сын, искусный стрелок из лука. Однако попал в платочек молодой казак, жених девушки, неожиданно оказавшийся среди богатырей.

— А серебром она, верно, сама зазвенела, — говорю я. — Женщины догадливы. Особенно те, что выведены в сказках.

Тень проходит по лицу Нурлана.

— Это — не сказка, — хмуро замечает он. — Кене-Сары действительно существовал. Он убил вашего Ермака.

В этом «вашего» явственно чувствуется раздражение — отголосок прежних национальных обид.

— Ермак утонул в Иртыше во время схватки с сибирским ханом Кучумом, — говорю я.

— Нет, его убил Кене-Сары!

Я вижу, что Нурлан начинает сердиться, и не настаиваю на своей версии. Чорт с ними, с этими мертвыми богатырями и атаманами! Стоит ли из-за них ссориться нам, людям совсем другого времени, когда в Казакстане нет ни завоевателей, ни завоеванных, когда казаки больше не «инородцы», не «киргизы», а свободные граждане своей страны, входящей как автономная республика в великий Советский Союз...

Но Нурлану не хочется сразу расстаться со своим героем.

— В Боровом, — говорит он, — есть сопка с пещерой Кене-Сары. Казаки чтут это место, и каждая посетившая Боровое экскурсия считает своим долгом побывать в пещере. На ее стенах можно найти автографы всех крупнейших

работников и выдающихся людей советского Казакстана.

Я смотрю на Нурлана. При всей своей молодости он — редактор газеты. Но если он утверждает, что Кене-Сары — живое лицо, а не «собираемый» тип в роде древнерусского Ильи-Муромца, то не надо стараться тотчас его в этом разубедить. Нужно помнить, как легко усмеляется национальное чувство казаков, прошедших долгий и тяжелый путь угнетения при царизме. Да и не только казаков! Вот Фаизов — он татарин. Но и он с величайшим сочувствием слушает Нурлана и конечно вместе с ним постарается дать мне отпор, если я вздумая настаивать, что Кене-Сары с его красотой никогда не существовали в действительности..

Разнообразия ради и по случаю отъезда в Нуринск мы идем обедать в «коммерческую» столовую, едим картошку с бараниной и даже мороженое. Портят «музыку» трое малышей типа наших беспризорных, только погрязнее, в штанишках, состоящих из одних дыр. Они подсели к нам и надоедают своим попрошайничеством.

Рядом пьет чай взрослый парень-казак. Когда мы едим мороженое, он вдруг протягивает руку, берет чайную ложку одного из наших наборщиков, всю в растаявшем мороженом, и начинает мешать ею свой чай. Кто-то из нас неодобрительно крикает. Казак бросает на него яростный, дикий взгляд.

— Чего ты разозлился? — спрашивает у него наборщик.

— Знаю я вас! — все с той же яростью отвечает казак, поднимается и уходит.

Ясно, что он понял дело таким образом, будто мы не хотели, чтобы казак брал нашу ложку... То, что среди нас находилось двое казаков, повидимому, мало его успокаивало.

Нурлан и Фаизов не обратили на эту сцену почти никакого внимания.

— Казакстан велик, — сказал только Нурлан, — и в нем много разных людей. И поскольку есть еще великодержавники-шовинисты, всегда можно встретить проявления местного национа-

лизма. А этот казак вероятно только что из аула...

За несколько минут до отхода поезда в вагон вошла девушка-казачка и спросила тов. Жаубасарова. Оказалось, она тоже едет в Нуринск и, услышав, что в вагоне выездных «Известий» находятся ее знакомые казаки, решила с ними повидаться.

Нурлан ей очень обрадовался.

— Нагима, моя ученица, студентка акмолинских педагогических курсов! — с торжеством заявил он.

Мы познакомились и перетаскивали вещи Нагимы к себе в вагон.

В дороге Нагима сначала очень дичилась, не хотела пить с нами чай, не ела ничего горячего.

— Скажи, Нурлан, — поинтересовался я, — может, это обычай велит ей держаться особняком? Я знаю, что по старым казакским правилам женщины не могут есть вместе с мужчинами...

Нурлан расхохотался громче обычного.

— Она — комсомолка! Ей и в голову это не приходило! Просто, она знает, что мы питаемся артелью, и не хочет стеснять нас по части продуктов.

В тот же день Нагима сидела за общим столом, и мы вели с нею разговоры о положении казакской женщины в прошлом и настоящем.

Нагима выросла в ауле. Как и все казакские девочки, она провела детство, держась за юбку матери. Читать и писать ее не учили. Она ничего не знала и не видела, кроме своего аула, юрты, кобылиц и коров. Лишь изредка отец брал ее с собою в город. Тогда она надевала выгоревшее на солнце, когда-то розовое платье, грубо заштопанные чулки, ботинки, зашнурованные веревочкой, и вплетала в косу ленту или цветную бумажку. В таком торжественном виде она садилась верхом на разбитые дрожки, держась за спину отца и невольно показывая прохожим свои теплые, заплатанные штаны, которых казакские женщины не снимают ни зимою, ни летом.

В городе отец продавал скупщикам привезенный из аула кумыс, иногда — мясо или кожу животного. Затем он шел в кумысную палатку и покупал чашку кумыса, быть может, как-раз того же, который он сам только-что привез из аула, но по гораздо более высокой цене.

Пока отец пил кумыс, сплевывая через зубы и от времени до времени здороваясь со знакомыми, такими же бедняками, как он, Нагима сидела в отделении для женщин и жевала смолу, которую ей предлагала, вынув изо рта, какая-нибудь сердобольная молодка.

Сидя там, в этой палатке, со ртом, полным смолистой, молочно-белой пены, Нагима видела, как подобострастно вскакивал с места и кланялся ее отец всякий раз, когда по базару в сопровождении челяди и аксакалов проезжал верхом на коне или в богатой повозке тучный, надменный бай.

— Покажи мне бая, Нагима, когда мы будем в Нурынске, — говорю я.

Нагима смеется:

— Баев больше нет в Казакстане. Если где-нибудь баю и удалось сохранить свое богатство и свое влияние, то он скрывает и то, и другое.

— А твой отец?

— Отец, мать, сестра и бабушка — в колхозе. Брат, немного старше меня, работает на железной дороге помощником машиниста.

— А сама ты?

— Нурлан, вероятно, вам говорил. Я прошла ликбез при аульном совете, вступила в комсомол, училась на курсах для делегатов, потом окончила педагогические курсы в Акмолинске и сейчас учительница. Еду в тельмановскую районную школу. Это недалеко от Нурынска... А вы думали, что я, как в старое время, не решаюсь есть и разговаривать с мужчинами?

— Извини, Нагима, так нам показалось.

— Нет, что ж извиняться! Еще и сейчас казакская женщина не всегда и не везде свободна. Бывает, что приезжающие из центра партийные и советские работники, обедая у какого-нибудь председателя аульного совета или председа-

теля колхоза, спрашивают, почему он не приглашает к столу жену, невестку, дочь. И тот не знает, что отвечать. Соврет что-нибудь или просто промолчит. Аульная власть, передовик, а поскреби его — окажется, что он бывший бай или байский выкормок, или алашордынец.

Нагима объясняет нам, что такое алашордынец, но это ей не совсем удается. Помогает Нурлан:

— Алашордынец, алашорда, — говорит он, — происходит от слова «алаш». Его трудно перевести на русский язык. Это нечто в роде национального имени. Примерно: «мы, казаки». Название всей нации в целом, все казакское, не русское. «Я сын алаша» — любят говорить о себе националисты. Это — кулацкая партия, партия баев, крупной буржуазной интеллигенции. До 1928 года члены этой партии действовали как советские работники и писатели. Коммунистическая партия и советская власть надеялись на их перерождение, перевоспитание. Но... сколько волка ни корми, он все в лес глядит. В 1928 году алашордынцы сошли со сцены как неисправимые националисты, идеологи буржуазии.

Эти господа были против раскрепощения казакской женщины, против ее равноправия с мужчиной. Но не так, как стародавние казаки-кочевники, не по невежеству или из предрассудков, а «принципиально», во имя реакционного культа старины, ради алаша.

Под руководством коммунистической партии и советской власти женщина Казакстана достигла огромных успехов. В Алма-Ате издается журнал «Аель тенденции» — «Равенство женщины». В нем сотрудничают казачки-писательницы, коммунистки и беспартийные. Весь Казакстан знает их по именам: Сара, Зейнеб, Амина...

— Но главное, — говорит Нагима, — это то, что казакская женщина все больше и больше вовлекается в производство. На этом пути она добьется настоящего равенства с мужчиной, действительного раскрепощения. Вот я — учительница. Но с каким удовольствием я работала бы машинистом на паровозе или мастером на токарном станке!

— Педагоги тоже нужны советскому Казакстану, — говорю я.

— Разумеется, — отвечает Нагима. — Иначе чего ради поехала бы я из Акмолинска в район, откуда меня наверное пошлют в аульную школу...

Время в оживленных разговорах бежит быстро. И это очень кстати, так как поезд еле ползет. Местность все время повышается. Все чаще попадаются высокие сопки, и поезду приходится брать иногда очень значительные подъемы. Паровоз пыхтит, кряхтит... и останавливается. Выглянешь в окошко — степь, сопки, небо; у телеграфного столба стоит одинокая казакская лошадь... Вдруг рывок, и поезд трогается. Но проходит несколько минут, и мы замечаем, что поезд остановился. Смотрим в окно: степь, сопки, небо и у столба — та же казакская лошадь. Оказывается, мы толчемся на одном месте. Поезд откатывается для разгона, паровоз набирает духу и — ничего не выходит. Состав с шумом катится вниз под иронические замечания пассажиров, которые любопытства ради сходят с поезда и со стороны наблюдают всю эту канитель.

Дело кончается тем, что с ближайшей станции приходит паровоз-«толкач», и поезд, с двумя паровозами впереди и одним сзади, берет наконец тяжелый подъем.

Двести километров от Акмолинска до Нурина мы ехали около семидесяти часов. На станциях Бабатай, Анар, Актасты поезд стоял по полдня.

Нуринск оказался станцией с двумя десятками саманных домов. Наш вагон поставили в тупик возле рабочего клуба.

В Нуринске — 3 тысячи железнодорожных рабочих, строителей и эксплуатационников, из которых 1.600 — казаки.

Днем мы работали, а вечером отправились в соседний аул за кумысом.

Аул, входящий в колхоз «Жанà арка», что значит «Новая степь», велик и довольно беден на вид. Большинство юрт обгрызано степными выюгами; кошмы изнасились и продырявились. Тощие скучные собаки провожают нас ленивыми взглядами. Вокруг бродит

несколько телят. Коров не видно, так как на время доения казачки угоняют их в колхозную кошару. Не видно и кобылиц с жеребятами, этих фабрик кумыса.

У входа в одну из юрт лежит на земле пожилой казак и жует соломинку. Нурлан и Нагима приветливо с ним здороваются. Казак отвечает коротким «селям».

— Где ваша молодежь? — спрашивает Нурлан.

Оказывается, не только молодежь, но и все мужчины-казаки «в городе», то есть в Нуринске, работают на железной дороге — на стройке и по эксплуатации. Они хорошо зарабатывают и теряют вкус к жизни в кочевой юрте. Женщины одни плохо справляются с хозяйством, поэтому аул и выглядит таким запущенным. Кумыса мало, так как лошадей нехватает, и даже кобылы с жеребятами заняты на земляных работах Казжелдорстроя.

Пока мы беседуем, из юрты показывается молодая женщина.

— Кымыз бар-ма? — спрашивает Нурлан.

— Кымыз джок, — отвечает женщина.

Кумыса нет. Но есть кислое молоко, и нас приглашают в юрту.

В глубине юрты на бараньих шкурах сидит хозяин, муж женщины, только что пришедший с работы. Он — помощник машиниста, и на нем вместо традиционных шапана и тумака черный пиджак и кожаная фуражка. На ногах — хорошие сапоги. На гвоздике висит другая пара сапог, на войлочной подкладке и по казакской моде огромных, как деревянные ступы для проса. Швейная машина, купленная на распродаже имущества раскулаченного бая, керосиновая лампа и кувшин из чеканной меди дополняют убранство юрты.

Жена в опрятном ситцевом платье с пестрой косынкой на голове откидывает цыновку, которая отделяет от общей площади юрты тот небольшой участок ее, где стоят мелкие предметы хозяйственного обихода. Из большого, чистого таза она ложкою накладывает нам по полной кесе кислого молока. Я смотрю

на нее, и мне вспоминается казачка под Кокчетавом, налившая в грязную чашку кумыс из облезлого чайника и державшая во рту потные медяки. Как мало похожа она на эту колхозницу, жену производственного рабочего!

Сынишка, мальчик лет семи, вдруг появившийся в юрте, как пошутила мать: «на запах молока», требует свою долю. Но свободного кесе не оказывается, и он без всякого стеснения поторапливает нас до тех пор, пока Нагима не отдает ему свою чашку вместе с остатками простокваши...

— Учиться не хочет, — говорит, лукаво подмигнув в нашу сторону, отец. — Хочет ласти колхозное стадо.

— Джок! — широко улыбается мальчик на шутку отца.

— А чем же ты хочешь быть? — спрашивает мать.

— Машинистом! — отвечает он, протягивая руку за новой порцией молока...

Уже совсем в потемках мы возвращаемся домой. Мы идем молча, погруженные в свои мысли. Молчит и степь Величие и тишина южной ночи обнимают нас. Большие, чистые звезды освещают нам путь.



В Нуринске за Нагимой пришли из района лошади, и она уехала. Но в вагоне у нас появилась другая казачка — проводница вагона, женщина лет сорока пяти. Зовут ее Маржа.

Маржа почти совершенно не говорит по-русски. Целый день она ходит по вагону, мурлыча себе под нос какую-то песенку. По временам она останавливается у стола и следит за работой редакции. Особенное впечатление производит на нее пишущая машинка. Маржа перестает мурлыкать и с выражением наивного и восторженного любопытства смотрит на клавиатуру, по которой бегают быстрые пальцы машинистки.

Мы замечаем также, что Маржа равнодушна к бумаге. Она подбирает с пола смятые лоскутки газетного сырья и, старательно разгладив их на столе ладонью, уносит в свое «купе» — угол в вагоне четвертого класса, занавешенный железнодорожным байковым

одеялом.

На-днях она попросила карандаш и тоже унесла к себе.

— У нее дети учатся, — объяснил Нурлан.

И действительно, скоро в вагон к Марже начинают приходиться двое ребят — мальчик и девочка, загорелые, босоногие, оба в пионерских галстуках.

Однажды в конце дня наше внимание было привлечено шумом у входа в вагон. Оказалось, это наши московские проводники-мужчины бранят Маржу за то, что она пускает в вагон «посторонних».

Маржа стояла молча в тамбуре вагона, не умея ответить проводникам. Ребята ее тут же пугливо переминались с ноги на ногу.

Сцена носила неприятный характер, и мы пристыдили проводников.

Маржа молча вышла с детьми из вагона, и они втроем, сидя на корточках друг против друга, о чем-то весь вечер разговаривали под нашими окнами.

Через несколько дней проводники снова выступили против Маржи. Они явились с весьма официальным видом и заявили, что отказываются отвечать за чистоту и порядок в вагонах, за целостность вещей, пока Маржа не будет удалена.

— Она куда-то таинственно исчезает! Что-то носит в бауле! Никого не пускает в свое купе! — говорили, перебивая друг друга, проводники.

От их выступления, несмотря на его внешнюю корректность, определенно несло шовинистическим духом.

Чем, собственно, нарушила их покой Маржа?

Редакция не могла на нее пожаловаться. Правда, она плохо понимает по-русски. Но разве это мотив для того, чтобы отказать женщине в работе уборщицы и сторожа, какими является по существу проводник вагона? А попытки придать всему этому делу какую-то таинственность просто ничего не стоили. Нет, здесь дело было определенно не в этом!

Пришлось повторить нашим москвичам-проводникам лекцию о необходимости терпеливого и товарищеского отно-

шения к местным работникам — казакам и особенно к женщинам.

Один из проводников, более молодой и политически более развитый, не стал настаивать на своем требовании и заявил, что он готов даже в порядке шефства обучать Маржу обязанностям квалифицированного проводника.

Зато другой, постарше, вместо ответа с мрачной иронией предложил нам посмотреть в окно.

На своем излюбленном месте, у входа в вагон, прямо на земле, сидела наша проводница, положив голову на колени другой женщины-казачки, которая вычесывала из волос у Маржи насекомых.

По сути дела ничего страшного в этом не было. Вычесывание вовсе не указывает на обилие паразитов, а является скорее выражением симпатии, дружеского внимания и заботы. Разве наши крестьянки не делают того же, когда приходят в гости к подругам или родственницам? Повода для беспокойства не было еще и потому, что Маржа всегда была одета вполне опрятно, носила на голове чистую повязку, мыла лицо и руки.

Мы решили все же указать проводнице, что не следует заниматься уходом за собой у дверей вагона-редакции, что лучше вообще помыть голову горячей водой и вычесать гребнем.

Инцидент на этом мог бы считаться исчерпанным.

Но не прошло и двух дней, как пожилой проводник вдруг сердито и категорически заявил, что Маржа... утащила казенную простыню.

— Она, это она взяла! Некому больше!

Проводник требовал, чтобы был приглашен представитель железнодорожной охраны для обыска в купе у Маржи. Но мы посоветовали ему прежде всего пойти и посмотреть, не лежит ли простыня где-нибудь на постели у проводницы.

— Пойдемте со мной, а то вы скажете, что я подбросил ей простыню! — заявил неугомонный старик.

Откинув занавеску-одеяло, мы вошли в купе.

Оно было совершенно пусто. На голый скамье валялась небольшая подушка в

ситцевой наволочке, стояла жестяная кружка с недопитым чаем, накрытая ломтем черствого хлеба, и лежал небольшой желтый баул.

Проводник заглянул под скамейку, приподнял подушку и, ничего не найдя, стал нетерпеливо расстегивать ремешки баула. Затем он перевернул его, встряхнул, и на скамейку упали — отгрызок карандаша, который мы подарили Марже, несколько измятых листов бумаги, исписанных крупными каракулями, и... замусленный казакский букварь.

Было очевидно, что Маржа проходит ликбез.

Милая, старая Маржа! Так вот откуда ее таинственные уходы, ее нежелание пускать к себе за занавеску посторонних людей, ее страсть к бумаге...

Даже сердитый наш проводник смутился. Он что-то ворчал себе под нос в том духе, что Маржа могла, дескать, утащить простыню домой. Но прямо об этом он больше не заикался.

А через несколько дней один из сотрудников редакции, проверяя свое белье, нашел в нем случайно заложенную казенную простыню, которую и вернул проводникам с подобающими извинениями.

Нурлан работает с утра до ночи. Ему некогда даже посмеяться. То он пишет статью или заметку, то переводит с казакского на русский какое-нибудь письмо, то читает корректуру, то монтирует «свою», казакскую газетную полосу.

Фаизов старше Нурлана года на два, но он слушается его беспрекословно. Когда Нурлан заболел и сутки пролежал в постели, Фаизов ходил за ним, как нянька. Ночью у него самого разболелись зубы, и утром он стал на работу бледный, взъерошенный, со щекой, подвязанной носовым платком.

Наши наборщики с удовольствием помогли бы своему молодому товарищу. Но как? Ни один из них не знал казакского шрифта и казакской наборной кассы.

Фаизов простоял у реала весь день. Он не пошел даже обедать, стараясь на-

верстать потерянное из-за болезни Нурлана время.

Когда стало известно, что в составе нашей редакции есть два казака, транспортники и строители-казаки валом повалили к нам в вагон. Они являются то группами, то поодиночке, с просьбами, жалобами, заявлениями, почти всегда устными, редко написанными на клочке бумаги замысловатыми арабскими буквами, а еще реже — по новому, латинизированному алфавиту.

Однажды утром в редакцию пришла целая бригада рабочих-казаков. Руководитель бригады, русский, человек огромного роста, с бельмом на глазу, казался великаном-циклопом среди коренастых, крепких, но низкорослых казаков.

Бригада жаловалась, что прораб конторы верхнего строения пути задерживает выдачу заработной платы.

Никто из членов бригады не умел говорить по-русски, и за всех объяснялся ее руководитель. От времени до времени он обращался по-казакски то к одному, то к другому рабочему, и те отвечали ему также на казакском языке короткими, быстрыми фразами. Видно было, что бригадир владеет этим языком в совершенстве.

Что-то патриархальное было в его манере говорить и держаться. Подкупали и мягкость его речи, и самый факт, что он выступал защитником интересов целой группы людей, которых так легко было обмануть, пользуясь их положением новичков на производстве и незнанием русского языка.

В это время в вагон вошли Нурлан и Фаизов, за которыми мы специально послали проводника.

Едва только Нурлан произнес несколько слов по-казакски, как все члены бригады заговорили сразу, волнуясь и перебивая друг друга.

Нурлан записал их заявления и, когда бригада ушла, рассказал нам, что все казаки-рабочие жаловались... на своего патриарха-бригадира. Это он, а не прораб задерживал заработную плату. Он эксплуатировал казаков, заставляя их работать по десять-двенадцать часов без добавочного вознаграждения. Он на-

ценки. Наконец он грубо обращался с казаками.

Полной противоположностью этой бригаде из еще не получивших производственной закалки людей являются ударные бригады казаков-тачечников Рахимова и Смагова, особенно отличившиеся на постройке моста через Бай-Мурзу.

Штурм бай-мурзинского моста на железнодорожной линии Акмолинск—Караганда вообще является одной из наиболее ярких страниц в истории нового, советского Казакстана.

Бай-Мурза — ничтожная речушка, летом совершенно пропадающая в песчаном русле. Но весной, когда в степи бурно тают снега, Бай-Мурза превращается в многоводную, бурную реку, через которую иначе, как по хорошему мосту, не пройти никакому поезду.

По условиям работы бетонировку бай-мурзинского моста решено было провести в порядке штурма. Был мобилизован партийный и комсомольский актив. В штурме приняли участие бригады каменщиков, две бригады тачечников — Рахимова и Смагова — и другие.

Штурм продолжался двое суток. Он начинался на рассвете и не прекращался до глубокой ночи, так что работа шла при фонарях и факелах.

За все это время люди почти не смыкали глаз. На мимолетном производственном совещании между бригадами Смагова и Рахимова был заключен договор о сосуществовании: кто раньше закончит «треугольник» моста. Наметили срок — 1 час ночи. Работа пошла с еще большим напором. Казаки с носилками и тачками подбодряли друг друга, выкрикивая по-русски: «Давай! Давай!» Щебенку при свете факелов нельзя было набирать лопатами, и ее набирали руками.

Часы показывали без нескольких минут 1 час ночи, когда с моста раздался громкий, торжествующий голос:

— Готово!

Это был голос Смагова.

— Лучший казакский тачечник, ударник, на производстве с 1924 года, завербован в партию, — рассказывал мне о

На одном из слетов ударников Казжелдорстроя мне удалось увидеть Смагова. Обыкновенное лицо казака. Крепкая круглая голова с черными волосами ежиком. Лицо лоснится от загара и пота. Широко расставленные, сильно выдающиеся скулы, курносый нос, редкие, как бы потраченные молью монгольские усики, кончики которых свисают по обеим сторонам крупного рта. Большие, несмотря на косой разрез, глаза сверкают умом и эдгергией.

Я смотрел на него и думал: в чем особенность этого казака, что отличает его от других, почему его имя известно всякому от Акмолинска до Караганды? Почему о нем пишут в газетах, говорят на слетах ударников? Что сделало Смагова бригадиром лучшей казакской бригады тачечников, командиром тридцати трех энтузиастов-рабочих?

Разгадка в том, что Смагов не только замечательно работает сам, но и сумел организовать труд других.

У Смагова имеются все задатки командира производства, несмотря на то, что этот вчерашний кочевник до сих пор... неграмотен.

Его бригада разделяет с партийным и комсомольским активом строительства, а также с бригадой тачечника Рахимова всю честь победы у бай-мурзинского моста.

Штурм этот — только один из первых боевых эпизодов на фронте индустриализации советского Казакстана. С каждым днем число подобного рода трудовых побед растет, а вместе с ними растут и ряды борцов трудового фронта, казаков-ударников Жаубасаровых Фаизовых, Смаговых, Рахметовых, Жунусовых и других.

Энтузиазм этих пролетариев, их умение работать обещают особенно много потому, что Казакстан встает сейчас перед нами как страна с необыкновенно богатыми недрами. Пшеница, сено, хлопок, каучуконосные растения, скот на земле и золото, серебро, медь, никель, алюминий, олово, свинец, цинк, уголь, нефть и железо в недрах земли обещают советскому Казакстану не только пшеничную, но и металлическую будущ-



Все знают или слышали о карагандинском угле, о коунрадской меди, о Риддеровском месторождении цветных металлов. Это все, так сказать, зарегистрированные богатства Казакстана. Но в этой огромной стране есть богатства, о которых никто и не подозревал до самого последнего времени.

Казаки, кочуя по степи, натываются то на каменный уголь, выходящий прямо на поверхность земли, то на залежи корунда, то на цветные глины. Они берут то немногое, что им нужно для удовлетворения своих примитивных потребностей, остальное же засыпают землей или закладывают камнями, или со свойственной кочевникам беспечностью просто бросают на произвол стихий.

Здесь можно видеть нередко, как семья казака-кочевника, вырыв в земле небольшую яму и дойдя до угля, зажигает его и превращает эту маленькую примитивную шахту в прифодную печь.

Вообще, казаки топят свои «зимянки» (зимние саманные домишки) кизяком — сухим навозом. Но близость угля, как и близость свинца, серебра, железной руды, индустриализирует кочевой быт.

В Акмолинске, посреди базара, на двух зарытых в землю столбах висит большая доска с таким объявлением:

«Степной госкомбинат Цветметзолота «Степняк» принимает от населения золота — шиховое, в слитках, изделиях и монетах, а также серебро. Сдатчик золота может не объявлять своей фамилии. Получает в премию кожу, крупу, нитки, муку».

Вы можете видеть еще и сейчас: подезжает казак верхом на своей невзрачной лошаденке. Ситцевые, часто розовые штаны; засаленный, пропыленный халат, из прорех в котором клочьями торчит свалывшаяся шерсть; на голове — тумак, коническая трехлая шапка на меху, такая же засаленная и серая от пыли. Но седло отделано чеканным серебром; серебряные стремена; в серебре и рукоять неизменной нагайки. Все это — местного происхождения, местной кустарной вы-

Машинисты депо Нуринск рассказали нам, что за недостатком металла на деповском складе они пользуются в работе свинцом из руды, которую добывают в сопках, недалеко от Нуринска.

По словам машинистов, свинцовую руду открыли охотники, стреляя уток на озере, в районе этих сопки, и пользуясь свинцом для получения дроби.

Мы решили съездить на свинцовые сопки.

Выехали утром, на лошадях, с возницей-казакон, и действительно восточнее станции Нуринск, в двадцати километрах от железнодорожной линии, нашли две сопки и рядом — аул, который, как нам объяснил возница, носит название Жунусова аула.

Сопки здесь, как и озер, — бесчисленное множество. Они придают своеобразие унылому, в общем степному ландшафту Северо-Восточного и Центрального Казакстана.

Вблизи сопки не представляют ничего исключительного. Это — высокие холмы, иногда целая цепь холмов, таких же оголенных и выжженных солнцем, как и сама степь. Но в отдалении, особенно по утрам, вследствие эффектов освещения они кажутся голубыми и как бы облиты прозрачным перламутровым сиянием. Особенно хороши сопки по вечерам и на фоне грозового неба. Тогда они бархатно-синие. По мере захода солнца, эта синева сгущается, и на желтом или багровом фоне вечерней зари отчетливо встают их тяжелые черные силуэты. Во время грозы они походят на вулканы, над которыми клубятся дымные облака, прорезаемые огнями молний.

Свинцовые сопки Жунусова аула ничем не отличаются от других, но в них на небольшой глубине залегает свинец в виде руды с большим содержанием металла.

Такое же месторождение свинца находится в полутора километрах к западу от Жунусова аула, на казакском кладбище.

Мы съездили и туда.

Кладбище оказалось группой разрушенных саманных гробниц. Нурлан уве-

сот лет. Саман (местный кирпич из глины с песком и соломой) отлично противостоит выветриванию и крайностям континентального климата. Он только чернеет от времени. Действительно, гробницы казались штабелями торфа, по которым прошелся ураган. Степные орлы сидели на их стенах, как бы оберегая покой этих мрачных, заброшенных памятников. Казалось, огромные птицы погружены в воспоминания о тех временах, когда эти убежища мертвых не были так безнадежно пусты. Задумчивость стоила жизни одному из желтых великанов. Наш товарищ, подкравшись к орлу из-за соседней гробницы, на расстоянии десяти метров застрелил его из нагана. Пыльное чучело орла долго красовалось потом над нашим вагоном, пока страшный буран, раскачивавший тяжелый пульмановский вагон, как пустую лодку, и поднимающий от земли до облаков темнубурю стену пыли, не сорвал чучела и не унес его в степь, быть может, к этим же саманным гробницам...

Местная легенда гласит, что казаки нашли здесь свинцовую руду, роя для гробниц глубокие ямы. Так как свинец залегал почти в чистом виде, они начали его разработку. Какой-то предприимчивый бай много лет назад пытался будто бы организовать здесь крупную добычу свинца, но скоро это ему надоело, и он забурил свою шахту.

В 1916 году неудачливые русские «негоцианты» пытались создать в этом месте свинцовый завод. Рассказывают, что когда Сибирь и Северо-Восточный Казакстан были оккупированы Колчаком, свинцовую руду добывали здесь англичане, вывозя ее в грузовых машинах на Спасский завод. На казакском кладбище сохранились следы хищнической добычи металла — небольшой шурф глубиной в пять метров. Говорят, что из этого шурфа англичане выбрали свыше 30 тонн свинца. Сейчас он засыпан землею, и только казаки да охотники-русские изредка берут здесь свинец для собственных нужд.

Я поднимаю кусок свинцовой руды. Он тяжелый, то пепельно-серый, то почти черный, кое-где покрытый желтою

поскоблить руду перочинным ножом, и обнаруживается металлическая природа свинца — притушенный блеск, однородность строения и характерный голубовато-сизый цвет. Провожу обломком руды по бумаге. Нет, он не оставляет следа. Это все-таки не чистый свинец, а какой-то процент его в амальгаме руды. Нужно провести руду через заводскую очистку, и это можно здесь осуществить, так как уголь находится рядом...

Мы вернулись в Нуринск поздно вечером, с карманами, полными свинцовой руды.

В Казакстане насчитывается свыше тысячи месторождений цветных металлов. Они мирно лежат в недрах земли под серым однообразным покровом степи. Но уже развязаны производительные силы этой огромной страны. Под ру-

ководством коммунистической партии растет и крепнет казахский промышленный пролетариат. Уже имеются среди вчерашних кочевников потомственные пролетарии в роде тов. Жунусова, заведующего городком ЦИТ в Семипалатинске. Его дед — пастух, отец — шахтер-зайчик, а сам он — каменщик Риддеровского комбината, ударник, выдвигенец и ведаёт ответственным участком подготовки национальных казахских кадров...

Тысяча месторождений цветных металлов. Какое богатство! Какое яркое металлическое цветение! И это только то, что известно уже сейчас. Впереди — еще новые открытия, новые возможности. Эксплуатируемая, отсталая колония царского правительства превращается в передовую социалистическую страну.

2. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА — РЕЗЕРВ ВОЙНЫ

В. Зарвар

В обстановке все обостряющегося всеобщего экономического кризиса, в атмосфере исключительно напряженной подготовки к новым империалистическим войнам и в первую очередь против страны победоносного социалистического строительства СССР все процессы, характеризующие современный загнивающий монополистический капитализм, обнажились до крайней степени. Противоречия, заложенные во всей системе капиталистического мира, достигают неслыханной остроты. Все язвы капиталистического общества принимают чудовищные размеры.

Кризис, начавшийся во второй половине 1929 г., продолжает углубляться, и все признаки говорят о том, что самая низкая точка падения производства еще не достигнута, что 1933 г. явится этапом дальнейшего упадка капитализма, упадка, чреватого огромными потрясениями и взрывами, войнами и революциями.

Общий индекс физического объема промышленной продукции капитализма снизился в 1932 г. по сравнению с 1928 г. на 30—45 проц., производство чугуна, стали и проката в Англии, Гер-

мании и США скатилось за годы кризиса к уровню 80-х и 90-х годов XIX века, знаменитая автомобильная индустрия США загружена в 1932 г. всего лишь на 27 проц. по сравнению с рекордным 1929 г., безработица охватила к концу минувшего года свыше 40 млн. рабочих во всех капиталистических странах мира, капиталистический транспорт загружен всего лишь на десятки процентов по сравнению с предкризисными годами, авиационная промышленность и гражданский воздушный флот империализма также испытывают сильнейшие удары кризиса, но в данном случае мы наблюдаем значительное своеобразие, исключительную пестроту и неравномерность, что обуславливается неравномерностью как общего, так и авиационного развития этих стран. и особой ролью и особыми задачами капиталистической авиации, взятой в целом.

Капитализм ищет выхода из кризиса в нажиме на рабочий класс, в фашизации государства и в новых империалистических войнах. По сути дела после заключения Версальского мирного договора 1919 г. капитализм продолжал ряд так называемых «малых» войн:

Франция — в Марокко и Сирии, Англия — в Ираке, Месопотамии и войсках Греции — в Турции, Соединенные Штаты Америки — в центральной и южной частях Нового Света. Армии капитализма в разных частях мира подавляли бесчисленные восстания угнетенных империализмом народов. Соединенные силы крупнейших империалистских государств не раз интервенировали в Китае, пытаясь задушить революционную борьбу масс, красные армии советских районов Китая так же, как они пытались задушить советскую власть в Республике Советов в 1918—21 гг. Наконец японский империализм вышел на путь большой захватнической политики в 1931 г. посредством военной оккупации Манчжурии и затем атаки на Шанхай.

Исключительная по цинизму комедия, разыгрываемая капиталистическими государствами в Лиге наций и на конференции по разоружению, чудовищные по своему размеру и темпу вооружения империализма, новая расстановка сил в борьбе против СССР, против колониальных и полуколониальных народов и друг против друга — все это демонстрирует канун нового тура империалистических войн.

Все большее и большее хождение — и не только хождение, но и реализацию — имеют новейшие теории о решающей роли воздушного флота в будущих войнах. Покойный генерал Дуэ и нынешний авиационный министр генерал Бальбо в Италии, бывший глава военных воздушных сил генерал Митчелл в США, известный теоретик технизации армии генерал Фуллер в Англии, бывший военный министр генерал Гренер в Германии и многочисленные прочие их подголоски в роде небыизвестных Пьера Фора и Арманго во Франции и Гельдерса в Германии создали вполне законченную систему взглядов на военные воздушные силы как решающий фактор войны и победы. В данной связи важно не то, что такая система идей нашла свое отражение в теории, важно то, что она становится руководящей доктриной в ряде государств, в первую очередь в Италии и Англии, и что эта

доктрина получает свое материальное выражение в ничем неприкрытом аэронаутизме.

Общеизвестна роль авиации на так называемых отсталых, «малых» театрах войны. Франция, Англия, Италия и в настоящее время Япония широко применяют воздушные боевые средства и достигают значительных результатов при столкновениях с многочисленными живыми силами, лишенными вместе с тем воздушных средств обороны. Этот опыт у теоретиков большой воздушной войны приобретает универсальный характер, распространяется на «большие» войны в условиях огромных армий, оснащенных сильнейшей техникой, причем бомбардировочная авиация большого тоннажа становится фактором, решающим судьбы войны.

В нашу задачу не входит детальное рассмотрение и критика новейших теорий боевого применения авиации в современной войне. Мы отмечаем как вполне бесспорный факт исключительную по своим масштабам воздушную подготовку империалистов к будущим войнам, создание всех материальных предпосылок для извлечения из военных воздушных сил самых смелых и далеко идущих боевых результатов, развертывание таких баз, резервов и боевых сил авиации, которые заставляют пролетариев СССР и всего мира с особой бдительностью и настороженностью следить за развитием авиации империализма.

Нам доводилось уже не раз отмечать характерные черты современного аэронаутизма. Из года в год наблюдая за развитием аэронаутизма, мы пришли к следующим выводам:

«Современное развитие аэронаутизма характеризуется:

- а) колоссальным ростом вооружений в воздухе, дополняющим на совершенно равных правах рост сухопутных и морских вооружений империализма;
- б) огромным ростом прямых и косвенных воздушных бюджетов;

в) гигантским ростом авиационной промышленности, обладающей многократной потенцией на время войны по сравнению с мирным масштабом производства;

г) быстрой концентрацией и рационализацией (разумеется, капиталистической) авиационной индустрии, тесно связанной с решающими банковскими группами и правительствами метрополий;

д) концентрацией и монополизацией воздушных сообщений с выходом на мировую арену и напряженнейшей борьбой за захват важнейших воздушных линий;

е) организацией целой системы авиационных и воздухоплавательных баз в основных узлах новой ожесточенной борьбы за рынки сырья и сбыта, за сферы приложения капитала, за новый передел мира;

ж) активнейшей империалистской экспансией в колонии, полуколонии, зависимые и полузависимые страны, усиленным приобретением акций «национальных» иностранных концернов и фирм, энергичной концессионной деятельностью и прочими видами экспорта капиталов;

з) напряженнейшей борьбой за воздушную гегемонию в различных частях света, созданием временных блоков и соглашений, разделом целых материков на сферы влияния и т. д.»¹⁾

Приведенная характеристика дает, на наш взгляд, исчерпывающую оценку аэронаутизму как новейшему фактору в арсенале современного империализма, как продолжению милитаризма и маринизма в новой сфере, как фактору исключительного военного и «мирного» значения.



Не подлежит никакому сомнению, что ведущим звеном во всей системе аэронаутизма являются военные воздушные силы.

¹⁾ В. Зарзар. «Гражданская авиация капитализма и социализма». Партиздат, 1932.

Этот вывод обосновывается и на том историческом опыте, который легко проследить на примере любой капиталистической страны, и на том конкретном содержании, которое совершенно недвусмысленно проявляется в современной теории и практике любой империалистской державы.

Общеизвестно, что предшествовавшее всемирной империалистической войне одиннадцатилетие дало весьма ничтожные результаты в области техники, промышленности и эксплуатации воздушного флота по сравнению с тем четырехлетием, которое было ознаменовано кровавой бойней народов. Резкий толчок к развитию авиации и воздухоплавания был дан войной 1914—18 гг., — в этот период были созданы самолеты и моторы вполне современных типов, и производство их было развернуто в высоко развитых индустриально странах в многотысячных масштабах. Гражданской же авиации не существовало вовсе.

В настоящее время, за исключением США, нет ни одной капиталистической страны, в которой количество гражданских самолетов превышало бы количество боевых аппаратов. Пример Соединенных Штатов лишь подтверждает правило, так как перевес гражданских аэропланов над военными создается отнюдь не парком народнохозяйственно назначенных, а самолетами, предназначенными для спорта, туризма и службы связи. Из последующих цифр легко будет усмотреть со всей бесспорностью правильность данного утверждения.

Казалось бы, что по многим соображениям гораздо целесообразнее содержать в строю относительно небольшое количество боевой авиации в составе самых модернизированных аппаратов при наличии весьма обширной гражданской авиации и солидной авиаиндустриальной базы. Так именно теоретически и подходят империалисты к разрешению этой проблемы совокупного развития авиационной и в первую очередь военно-воздушной мощи в государстве. В частности так к вопросу подходит ген. Фуллер. На практике же реализация данной установки наталкивается на чрез-

вычайную уозть народнохозяйственной базы, не могущей, несмотря на все усилия капиталистов и впрыскивания баснословных субсидий, внедрить слишком большое количество самолетов в народное хозяйство. Исключительный милитаристский крен в развитии авиации и уозть базы народнохозяйственного потребления авиации—решающее противоречие, объясняющее особое своеобразие кризиса в капиталистической авиации. С одной стороны, налицо систематический, ежегодный рост военных воздушных сил во всех капиталистических странах, рост боевой авиапродукции промышленности, рост субсидий по всем направлениям авиационного развития, с другой стороны, сокращение производства, связанного с гражданским рынком, почти полная ликвидация производственного применения авиации, сужение масштаба работы воздушного транспорта на внутренних путях сообщений при огромном давлении на зарплату трудящихся, росте безработицы среди авиационных работников, исключительной конкуренции и снижении тарифов даже ниже уровня железных дорог в целях хотя бы удержания, а то и повышения пассажиро- и грузооборота воздушных путей.

Мы видим здесь со всей очевидностью, насколько справедливы указания тов. Сталина о том, что военная промышленность капитализма не испытывает тех ударов кризиса, которые сыплются как из рога изобилия на все народное хозяйство капиталистических стран, и больше того — в преддверии новой империалистической войны военная индустрия капитализма увеличивает свою продукцию, осуществляет новое капитальное строительство, растет на дорожках подготовки к войне.

С другой стороны, гражданская авиация, не находящая в расшатанном на-

роду хозяйственном организме необходимых ей жизненных соков, все более и более поддается ударам кризиса, причем никакие усилия по пути увеличения субсидий, «рационализации», сокращения занятых работников, снижения тарифов и прочих подобных мероприятий не спасают ее от этих ударов.

Таким образом совершенно очевидна ведущая роль военных воздушных сил в системе авиационного развития капиталистических стран. Отсюда возникают качественные требования к авиационной технике, отсюда идут основные заказы для авиационной промышленности, здесь разрабатываются не только планы войны, но и планы «мирной» экспансии. С точки зрения господствующей военно-воздушной доктрины империализма данная тенденция является вполне закономерной.

Приведем данные, характеризующие динамику военных воздушных сил крупнейших капиталистических стран мира. В то время как в 1923 г. во Франции было в строю 1.250 самолетов, в Соединенных штатах около 1.000 самолетов и в Англии 600, при чем в остальных капиталистических государствах военные воздушные силы насчитывали еще более низкие цифры при полном отсутствии военной авиации в странах, потерпевших поражение в империалистической войне (Германия, Австрия, Венгрия и Болгария), в 1927 г. уже насчитывалось следующее количество действующих самолетов: во Франции—1.286 (при резком качественном изменении парка), США—1.065 (при аналогичном качественном изменении), Англии—814, Италии—577 и Японии — 600 самолетов. Наконец в 1932 г., по данным нью-йоркского «Сравнительного обзора воздушных вооружений всех стран»,—налицо следующее количество самолетов:

| Страны | Общее колич самол | Истребит. | В том числе | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | | | Развед. | Всего бомб. | В т. ч. тяжел | Прочих. |
| Франция | 4 683 | 1,240 | 1,317 | 1 094 | 561 | 1 032 |
| Англия. | 2.065 | 403 | 690 | 944 | 211 | 28 |
| США. | 1.809 | 541 | 871 | 333 | 209 | 64 |
| Италия. | 1 834 | 512 | 732 | 498 | 218 | 92 |
| Япония. | 1.312 | 464 | 588 | 230 | 92 | 30 |
| Всего | 11 703 | 3 160 | 4 198 | 3 099 | 1 291 | 1 246 |

По сведениям, сообщенным вышеуказанными пятью «великими державами» в Лигу наций для конференции по разоружению, в составе их воздушных сил имеется 8.025 действующих самолетов, а общий боевой состав всех капиталистических стран достигает 13 тыс. аэропланов (по данным В. В. Хрипина). Тем не менее совершенно ясно, что правительства указанных стран преуменьшают количество имеющихся у них самолетов. Более того: вышеприведенная таблица также несколько преуменьшает имеющиеся в действительности цифры по ряду стран и во всяком случае по США. Да это и понятно,—справочникто нью-йоркский! Из ряда отрывочных данных по иностранным журналам о других но не своих странах явствует этот факт со всей очевидностью.

Вышеуказанные цифры охватывают не только метрополии, но и колонии, и доминионы. При этом оставлены в стороне самолеты, которые составляют мобилизационный запас.

В США имеются в строю более 2 тыс. самолетов. Япония сама сообщила в Лигу наций, что она имеет 1 639 действующих военных самолетов. В Британской империи и Италии в действительности также больше самолетов. Неточны ци-

фры также и по отдельным классам самолетов. В особенности по классу бомбардировщиков. Но так или иначе приведенные цифры «Обзора» достаточно красноречиво характеризуют уровень, достигнутый военными воздушными силами империализма.

Авиационная промышленность крупнейших капиталистических стран, как мы уже упоминали выше, обслуживает в первую очередь интересы военной авиации. Будучи призванной прежде всего для создания гигантской авиаиндустриальной базы милитаристского значения, авиапромышленность унаследовала еще со времени войны огромные ресурсы, которые значительно приумножились. Так авиапромышленность США обладает производственной годовой мощностью в 1932 г. в 72 тыс. самолетов, Франции—54 тыс. самолетов и Англии—48 тыс. самолетов, увеличив таким образом эту мощность по сравнению с 1923 г. соответственно на 140, 50 и 33 проц.

Приведем таблицу, характеризующую выпуск самолетов и моторов за ряд минувших лет, охватывая как период до кризиса, так и кризисные годы.

| Годы | Франция | США | Англия | Италия | Германия |
|------|---------|-------|--------|--------|----------|
| 1925 | 3 000 | 789 | 1.000 | 400 | 300 |
| 1926 | 3 000 | 1 186 | 1.100 | 500 | 400 |
| 1927 | 3 300 | 1.962 | 1.200 | 600 | 500 |
| 1928 | 3 000 | 4.760 | 1.400 | 650 | 500 |
| 1929 | 3 200 | 6.034 | 1.800 | 700 | 500 |
| | 2.700 | 677 | 1.200 | 400 | — |
| 1930 | 3 200 | 2 684 | 1.900 | 600 | 400 |
| | 2.800 | 747 | 1.300 | 450 | — |
| 1931 | 3.200 | 2 396 | 1.900 | 600 | 300 |
| | 2 900 | 812 | 1.400 | 500 | — |

1932 г. показал углубление тенденции, определившейся за годы кризиса, при чем авиационная промышленность Франции, Англии и Италии показывает стабильную картину с вполне устойчивым и даже несколько повышающимся выпуском военной продукции. Германская авиационная промышленность пе-

режила крах концерна Юнкера, большие затруднения акционерного общества «Дорнье», банкротство «Фоке-Вульфа» и «Альбатроса», в результате чего эти две фирмы слились; в итоге еле удалось сохранить уровень 1931 г. Авиапромышленность США показала, по данным департамента торговли, даль-

нейшее снижение продукции в 1932 г., и в частности в первом полугодии было выпущено всего 722 самолета (из них 371 военный) против 1.200 в 1931 г. и 1.600 в 1930 г., при чем и в 1931, и 1932 гг. налицо дальнейшее увеличение удельного веса легких самолетов в гражданской авиапродукции. Из этих данных отчетливо видно, насколько велика роль военной авиации как заказчика не только в европейских странах, но и в США, где под ударами кризиса ликвидируются «излишества» известного авиационного «бума» докризисного периода. Что же касается Германии, то ее продукция—формально гражданская, хотя указанный нами «Обзор» правильно оценивает Германию как потенциально крупную военно-воздушную величину, ибо типаж так называемых гражданских самолетов, выпускаемых во всех капиталистических странах, в основном идентичен военным. Этого обстоятельства ни в коем случае не следует упускать из виду.

Мы не будем приводить данных о поставке самолетов, т.-е. о реализации их. Здесь картина очень пестра: в первые годы кризиса, когда картина стала ясна всем и каждому, произошло большое затоваривание, и поэтому мы не имеем совпадения между цифрами производства и реализации самолетов. Тверды и заранее обеспечены поставки лишь военной продукции, выполняемой по договорам и солидным авансам.

Что касается моторостроения, то оно идет примерно в тех же величинах по Европе, что и по самолетам, но с коэффициентом 2; исключение мы видим в США, где этот коэффициент снижается до $1\frac{1}{2}$. Таким образом мы видим некоторый излишек моторов, который в качестве запаса поступает на снабжение действующего самолетного парка. Многомоторный же авиапарк в настоящее время в большинстве капиталистических стран не превышает 10—15 проц. имеющихся самолетов.

В заключение упомянем об одной детали, характеризующей роль военной продукции даже в американской авиационной промышленности: из всей капитальной стоимо-

сти авиапродукции 1931 г., оцениваемой в 32,7 млн. долларов, на долю военной приходится 23 млн. долларов, или 70,4 проц. всей суммы; 75 проц. рабочих авиапромышленности работали на заказе военного и морского ведомств. Это обстоятельство, показывающее качественную роль военной продукции, заслуживает особого внимания.

Авиационная промышленность капитализма концентрируется и «рационализируется». Из 192 заводов в 1929 г. работало в 1931 г. в США лишь 87, из них самолетостроительных 52. Ряд самолетостроительных фирм слился в крупнейший в мире авиаконцерн «Кертис-Райт». Создался ряд трестов большого масштаба, в том числе «Эвизйшэн Корпорэйшэн». Вместе с тем Форд прекратил производство самолетов, а ряд мелких фирм «вылетел в трубу». Само собой разумеется, левифаны западноевропейской капиталистической авиапромышленности—Англии, Франции и Италии, а также Чехословакии—«процветают». Япония, не обладая большой авиационной промышленностью, делает судорожные усилия по умножению своей материальной базы, и крупнейшие ее заводы—Каваниси, Накодзима и Кавасаки — работают на предельной мощности.

Колоссальная борьба происходит между капиталистическими странами за рынки сбыта авиапродукции. Так в 1929 г. США вывезли всего авиамущества на 9,3 млн. долларов, в 1930 г. на 8,8 млн. долларов и в 1931 г. всего на 4,8 млн. долларов. Преимущественно американская продукция идет в страны американского континента и лишь отчасти в Европу и другие страны света. Английский экспорт составил в 1929 г. 12 млн. долларов, в 1930 г. — 10 млн. долларов и в 1931 г. — 9 млн. долларов, занимая первое место, в то время как французский экспорт, переместившийся с третьего на второе место, составил 6 млн. долларов и германский, оставшись на четвертом месте, — 4,5 млн. долларов.

Основными рынками Англии и Франции являются их колонии и полукolonии во всех странах света. Но, кроме

этого, Англия выполняет большие заказы для Бельгии и других европейских государств, а Германия довольно оживленно проникает в ряд «щелей», образующихся в виду ожесточенной конкуренции между главными экспортирующими странами.



Но главные линии борьбы между крупнейшими империалистическими странами проходят по руслу борьбы за захват важнейших международных мировых воздушных путей, и здесь мы видим, как прямые задачи военно-воздушной стратегии империализма тесно переплетаются с крупнейшими политическими и экономическими линиями борьбы на мировой арене.

Общеизвестно значение коммуникаций для будущей войны, где предстоит большая переброска крупных авиасоединений по различным направлениям. Мы знаем ряд осуществленных уже перебросок воздушных сил по воздуху. Так в 1932 г. по требованию верховного комиссара Ирака Ф. Хэмфриса из Исмале (Египет) в Ирак был перебросен на двух десятках самолетов отряд в 900 человек солдат. Общеизвестно, что Япония производила переброски своих воздушных сил в Манчжурию главным образом по воздуху. Не менее известны групповые перелеты в составе целых эскадрилий и эскадр: итальянских и французских—в Средиземноморском бассейне, английских и американских—в Атлантике, Индийском и Тихом океанах. Воздушные силы всех капиталистических стран проводят ежегодные маневры (разумеется, по «обороне» своих столиц или крупных центров) с участием сотен самолетов. На маневрах итальянского воздушного флота 1931 г. в треугольнике Турин—Милан—Генуя приняли участие свыше 750 самолетов военных и гражданских. Стараются не отставать и воздушные силы Франции, Англии и других капиталистических стран.

Поэтому приграничные и внешние воздушные пути

империализма представляются собой законченную систему коммуникационных линий и баз, способных пропускать значительное количество самолетов, при чем эти линии пока-что используются военной авиацией в гораздо меньшем объеме в порядке «дружеских визитов» и в случае войны сыграют свою роль полностью.

Вместе с тем следует подчеркнуть то обстоятельство, что многие наши товарищи, правильно понимая роль гражданской авиации капитализма как продолжения и резерва военных воздушных сил, не видят другой, не менее важной стороны аэронаутизма, охватывающего содержание всего арсенала империалистского угнетения и экспансии. Видя милитаристскую сторону дела и учитывая воздушные пути как систему коммуникации военного значения, многие недооценивают того простого факта, что воздушные пути, как и морские пути и железные дороги, составляют целую систему экспорта капиталов, порабощения стран и народов, эксплуатации и угнетения их. Здесь воздушные пути выступают уже в качестве орудия «мирной» агрессии, играющей крупную самостоятельную роль. Переплетаясь с военностратегическими задачами, задачей проникновения и захвата воздушных путей составляют новую полосу в практике современного империализма.

Приведем несколько фактов. Общеизвестна роль британских имперских воздушных путей, соединяющих Лондон с Египтом, Ираком, Индией, Сингапуром, Австралией и Южной Африкой. Не менее известна роль транссредиземноморских воздушных линий Франции в Марокко, Тунис, Западную Африку и затем через южную часть Атлантического океана в Бразилию, Уругвай и Аргентину, а также на Восток—в Сирию и Индо-Китай. Вряд ли нужно также разъяснять значение японо-манчжурских воздушных сообщений японского империализма. Наконец совершенно ясна роль воздушных магистралей акционер-

ного общества «Панамерикэн Эйруэйс», магистралей, опоясавших Центральную и Южную Америку с востока и запада. Если мы узнаем, что эта компания приобрела большинство акций германо-колумбийского воздушнотранспортного концерна «СКАДТА», то не вызывает никакого сомнения исключительная роль этого нового факта, свидетельствующего о захвате колумбийской воздушной арены североамериканским капиталом. Для справки сообщим еще о том, что по инициативе и на средства Японии в Манчжурии организованы воздушные линии из Мукдена в Таонань, Цицикар, Гиричун, Чаньчунь, Дайрен и Кейджо (Сеул, Корея) и создана специальная компания для эксплуатации этих путей на «смешанных» японо-манчжурских началах (ведь, как известно, Манчжоу Го является самостоятельным государством!). Такое же «смешанное» англо-египетское общество воздушных сообщений создано и в Египте.

Приведенных фактов достаточно, чтобы получить полное представление о международных воздушных магистралах и линиях империализма как орудии империалистской экспансии и одновременно величайших воздушных коммуникационных систем первоклассного значения.

Если бросить взгляд на карту всех стран света, то легко усмотреть, что воздушные линии капитала проходят по тем же направлениям, по которым тянутся пресловутые интересы акул международного империализма. Великобританский капитал прочно захватил воздушные пути в своих колониях и доминионах Азии, Африки, Австралии и Америки. Французский капитал, помимо колоний и полуколоний, держит в воздушной петле Прагу, Варшаву, Будапешт, Белград, Софию в Европе, а также проник в Южную Америку, о чем уже упоминалось выше. Германский капитал в прежние годы основательно закрепился в Австрии, Колумбии, Персии, Афганистане, Китае и ряде других мест, в частности проник в Ю. Африку, но в течение 1932 года был выбит американским

капиталом из Колумбии, американским и японским—из Китая, потеряв одновременно юнкерсовскую концессию в Персии. Американский империализм все сильнее сжимает в воздушное кольцо весь материк обеих Америк, за исключением британских владений, откуда развивается энергичная деятельность по созданию английских воздушных линий. Италия и Япония развивают усиленную деятельность в колониях и в ближайших к ним сферах влияния.

Между империалистическими странами происходит ожесточеннейшая борьба за захват воздушных путей местного и мирового значения. Несколько фактов мы уже привели. Но одновременно создаются блоки и соглашения, образцом которых является соглашение между Англией и Францией от 20 августа 1929 г. о разделе сфер влияния на Востоке в связи с эксплуатацией магистралей Англия—Индия—Австралия, Англия—Египет—Южная Африка, Франция—Сирия—Индо-Китай, и Франция—З. Африка—Мадагаскар; в этом же соглашении намечено дальнейшее обсуждение вопроса об урегулировании взаимоотношений в Южной Америке. Североамериканский «Панамерикэн Эйруэйс», английский «Империэл Эйруэйс», германская «Луфт Ганза», французские «Аэропосталь» и «СИДНА», итальянские «Сочиета анонима ди навигационе аэреа» и «Аэроэспрессо Италия» и другие немногочисленные мировые концерны воздушного транспорта ведут между собой борьбу не на жизнь, а на смерть, сбивая друг друга с занятых уже позиций, готовя новый передел мира.

В связи с конференцией по разоружению Франция выдвинула идею «интернационализации» гражданской авиации. Эта идея имеет в виду создание Международного авиационного союза, контролируемого Лигой наций и стоящего во главе всемирных воздушных сообщений. Проникли в печать сведения о создании франко-германского треста воздушных путей. Впоследствии это сообщение опровергнуто аг. Гавас. Но нас интересует не эта сторона дела: совершенно ясна ли-

ния французского аэроаутизма на поглощение ряда своих конкурентов, на укрепление своей гегемонии на мировых воздушных путях. Между пресловутой американской политикой «открытых дверей» в Китае и французским предложением об «интернационализации» гражданской авиации нет никакой принципиальной разницы: природа фактов совершенно аналогична.

Воздушный транспорт капитализма испытывает удары кризиса, но не всюду одинаково, при чем делаются судорожные усилия к сохранению и увеличению его актива во всех капиталистических странах. Из приведенных выше данных становится совершенно ясным, что империалисты делают все возможное, чтобы усилить ресурсы гражданской авиации, расширить ее применение, развернуть такую сеть воздушных линий, которая обеспечила бы установление гегемонии в различных частях и странах света.

Поэтому неудивительно, что в 1931 г. по всем воздушным путям мира воздушным транспортом было налетано 133,6 млн. км против 114,8 млн. км в 1930 г., как об этом гласит доклад английского министерства авиации. Сеть воздушных линий во всем мире, но без СССР, к концу 1931 г. приближалась к 200 тыс. км, в 1932 г. она превышала эту цифру. Но эти цифры нуждаются в несколько более подробном рассмотрении по странам, так как неравномерность развития капитализма приводит к неравномерности и воздухоплавательного развития отдельных капиталистических стран.

В Соединенных Штатах Америки, идущих впереди всех капиталистических стран, картина такова: в 1929 г. сеть линий составляла 58,128 км, по ним было пройдено 32,6 млн. км и перевезено 154 тыс. пассажиров, 2,4 тыс. тонн почты и 1,2 тыс. т грузов; в 1930 г. сеть достигла протяже-

ночных трасс), и по ней было пройдено 49,4 млн. км и перевезено 385,9 тыс. пассажиров, 3,9 тыс. т почты и 1,5 тыс. т грузов; в 1931 г. сеть возросла до 80,5 тыс. км, и по ней было пройдено 76,4 млн. км и перевезено 467,7 тыс. пассажиров, 4,2 тыс. т почты и 2 тыс. т грузов; наконец в 1932 г., судя по отдельным данным за первые 4 и 6 месяцев, — налицо дальнейший рост работы линий примерно на 25—30 проц. Давая по так называемому закону Уотриса (апрель 1930 г.) значительные субсидии компаниям воздушных сообщений, стимулируя их «рационализацию», развивая дальнейшую экспансию в Канаду и на юг американского материка и сильно снижая тарифы, американский империализм добился того, что его воздухоплавательная база выдерживает удары кризиса за счет трудящихся и американской казны.

Так бюджет почтового воздушного транспорта на 1932—33 г. составлен на сумму 26 млн. долларов, из них 7 млн. долларов компании «Панамерикан Эйрлайнс». Такого же порядка суммы были ассигнованы и в прошлые годы.

На 1 января 1932 г. в США насчитывалось 2,093 аэропортов, аэродромов и посадочных площадок (последних 704), или на 311 больше 1931 г., при чем в ведении армии и флота находятся 67 аэродромов, муниципалитетов—636 аэропортов, частновладельческих—673 аэродрома и прочих—13. На первом месте стоит штат Калифорния, насчитывающий 175 аэродромов и площадок. На Аляске—69 аэродромов и площадок.

Небезынтересно отметить следующую деталь: из вышеуказанного количества аэродромов по крайней мере 15 проц. существуют номинально, а на прочий работа относительно невелика. По данным департамента торговли, 25 проц. аэродромов выполняют $\frac{2}{3}$ всей аэродромной работы страны. Из общего их количества 17 проц. вообще бездействуют, 23 проц. не имеют никакого отношения к транспортной работе; вместе с тем 53 проц. аэродромов пропускают в

до 5 самолетов и лишь 7 проц. от 6 до 12 самолетов в сутки.

Всего к началу 1932 г. в США насчитывалось 17.739 гражданских пилотов, из них — 6.881 транспортных, 1.586 — в различных компаниях, 46 — в промышленности и 9.226 прочих. Здесь также обращает на себя внимание систематическое сокращение или стабильность ежегодно выдаваемого количества пилотских бреве. Обращает на себя внимание мизерный налет часов этой пилотской массы. Налет 10 и более тысяч часов имеет лишь 0,1 проц., 5 — 10 тыс. часов — 4,1 проц., от 1 до 5 тыс. часов — 47,2 проц. и от 200 до 1.000 часов — 48,6 проц. транспортных пилотов.

Таковы людские кадры, такова аэродромная сеть, таков обширный материальный резерв милитаризма и внешней экспансии североамериканского империализма. О самолето-моторных ресурсах остановимся ниже.

Воздушный транспорт Британской империи обладает сетью к концу 1931 г. протяжением 36,187 км против около 36 тыс. км в 1930 г. и 32 тыс. км в 1929 г., при чем на метрополию падает 8.949 км, на Канаду — 11,472 км, на Австралию — 12.976 км, на Южную Африку — 2.034, на Индию — 756 км. Английские сметы по гражданской авиации имеют следующий вид за последние годы: в 1929 г. — 450 тыс., в 1930 г. — 500 тыс., в 1931 г. — 470 тыс. и в 1932 г. — 473 тыс. фунтов стерлингов, из них в 1932 г. только по «Импириэл Эйруэйс» — 375 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, в 1932 г. 166 тыс. фунтов стерлингов ассигнованы правительством Южной Африки и другими колониями на линию Каир—Капштадт.

Эксплуатационная же картина такова: в 1929 г. воздушные пути «Импириэл Эйруэйс», соединяющие Лондон радиальными линиями с рядом столиц Западной Европы, Египтом, Ираком и Индией, имели налет 1,9 млн. км и пе-

почты и грузов; в 1930 г. километраж достиг 2,15 млн. км и перевозки — 30.432 пассажиров и 812,8 т почты и грузов; в 1931 г. километраж составил 1,9 млн. км и перевозки — свыше 30 тыс. пассажиров и около 800 т почты и грузов, в том числе первой — 52,4 т против 39 т в 1930 г.; наконец предварительные данные за ряд месяцев 1932 г. показывают примерно аналогичную картину.

Налицо известное общее снижение транспортной работы при незначительных отклонениях по разным показателям в ту или другую сторону. Этот результат достигнут субсидиями, снижением тарифов и капиталистической «рационализацией» за счет основной массы работников воздушного транспорта. Вместе с тем следует отметить, что в печати все время получают отражение «жалобы» на конкуренцию между самолетами «Импириэл Эйруэйс» и французского «Эр-Юнион» на линии Лондон—Париж. Этот факт ничем не отличается от других, которых можно было бы привести десятками.

Французские компании воздушных сообщений обладают следующими показателями: в 1929 г. сеть линий достигла протяжения 31,753 км, по которым было пройдено 9,5 млн. км и перевезено 35,4 тыс. пассажиров и 1,4 тыс. т почты и грузов; в 1930 г. эксплуатационная сеть несколько уменьшилась — до 31.215 км, и по ней было пройдено 9,4 млн. км и перевезено 43,2 тыс. пассажиров и 1,77 тыс. т почты и грузов; в 1931 г. сеть снова возросла, главным образом за счет продолжения южноамериканской магистрали в глубь Аргентины, до 37,320 км, а километраж составил 10,5 млн. км, перевозка пассажиров — 47 тыс., почты — 186,8 т и грузов — 2.530,7 т; наконец 1932 г. больших изменений в данную картину не вносит.

Следует особенно подчеркнуть роль субсидий в работе французских обществ воздушных сообщений «СИДНА», «Эр-Юнион—Аэронаваль», «Аэропосталь», «Фарман» и «Эр Ориан» (последнее эксплуатирует линию Лион—Бангкок—

«Африканского общества коммерческой авиации» — «САДАМ», эксплуатирующей линию Западная Африка—Мадагаскар. В 1929 г. при общем авиабюджете 1,8 млрд. франков гражданской авиации было передано 179,6 млн. франков. В 1930 г. при бюджете 2 млрд. франков воздушные компании получили 223 млн. франков. В 1931 г. при бюджете 2,26 млрд. франков воздушный транспорт получил 243,5 млн. франков, при чем общества воздушных сообщений выручили от перевозок всего лишь 22 проц. расходов, а прочие 78 проц. покрыты субсидиями. Такой же высокий уровень дотаций существует и в других капиталистических странах на покрытие убытков, но Германия вынуждена за последние годы снизить субвенции, в то время как Франция, Италия, Япония, США и Англия повышают их. Небезынтересно отметить факт частичной «национализации» французской гражданской авиации в результате принятия сенатом нового устава, по которому государство, выделяющее директоров компаний, является обладателем одной трети акций.

Во Франции не менее отчетливо, чем в Англии, проведена политика имперских воздушных сообщений, связи с вассалами, расстановки системы баз и коммуникаций на главнейших будущих театрах новой империалистической войны. Отсюда — колоссальные субсидии, спасающие воздушный транспорт, не раз на отдельных участках в течение кризиса терпевший банкротства.

Италия проводит последовательную политику окружения Апеннинского полуострова густой сетью радиальных линий, направленных на север, запад, юг и восток, при чем в 1929 г. сеть не превышала 12 тыс. км, в 1930 г. она возросла до 14.899 км и в 1931 г. — до 18,160 км, в том числе новые линии на Балеарские острова и 4 линии в Албанию; кроме того, линия Бриндизи—Мюнхен продлена до Берлина.

Актив воздушных сообщений Италии следующий: в 1929 г. было пройдено

сажиров, 514,5 т почты и грузов; в 1930 г. километраж составил 4,4 млн. км и перевозки — 38,9 тыс. пассажиров и 618,1 т почты и грузов; в 1931 г. километраж составил около 4,4 млн. км и перевозки — 33.650 пассажиров и 706 т почты и грузов; наконец 1932 г. не изменяет данной тенденции снижения перевозок.

Между тем субсидии на покрытие убытков растут: так, в 1929 г. они составили 49,5 млн. лир, в 1930 г. — 56,5 млн. лир, в 1931 г. — 73,8 млн. лир и в 1932—33 г. по бюджету должны составить 73,9 млн. лир. и вероятно превысят эту цифру. Дотации составляют 60—70 проц. общей суммы эксплуатационных расходов.

Как видно и на примере Италии, воздушный транспорт играет большую роль в системе империалистической агрессии и подготовки воздушных театров будущей войны. Известные большие маневры в треугольнике Турин—Генуя—Милан, о чем упоминалось выше, проводились, опираясь на военные и гражданские аэродромы этого плацдарма.

Германия подвергалась наиболее сильным ударам кризиса. Даже такой источник субсидирования монопольной компании «Луфт Ганза», как бюджет, дал сильный крен вниз, а отсюда и все последствия. Если в докризисные годы цифра субвенции все время повышалась: в 1926 г. — 15,6 млн. марок, в 1927 г. — 19,75 млн. марок, в 1928 г. — 22 млн. марок, то в 1929 г. она снизилась до 13 млн. марок, в 1930 г. опять цифра поднялась до 19 млн. марок и в 1931 г. снова несколько снизилась — до 18,8 млн. марок. Вместе с тем соответствующие изменения получила весь авиационный бюджет — с 46,85 млн. марок в 1926 г., 48 млн. марок в 1927 г., 54,4 млн. марок в 1928 г. до 38,7 млн. марок в 1929 г. и т. д.

Сеть германских воздушных линий «Луфт Ганзы» в 1926 г. составляла 20,4 тыс. км, в 1929 г. протяжение линий составляло 26,4 тыс. км, в 1930 г. — 28,6 тыс. км и в 1931 г. — 27,1 тыс. км.

1929 г. в 9,35 млн. км (на 11,2 меньше 1928 г.) и перевозке 87 тыс. пассажиров (на 21 проц. меньше) и 1.565,6 т почты и грузов (на 15—17 проц. больше 1928 г.); в 1930 г. километраж поднялся до 10,7 млн. км и перевозки пассажиров—до 93 тыс., а почты и грузов до 2,5 тыс. т; в 1931 г. снова километраж упал до 8,7 млн. км, перевозка пассажиров—до 83 тыс. и перевозка почты и грузов—до 2,4 тыс. т при сокращении почты на 6,5 проц. Путем сравнения динамики транспортной работы и субсидий легко усмотреть совершенно отчетливую закономерную связь между ними.

Учитывая тот факт, что, помимо данной организации «Луфт Ганза», на германской территории работает также большое общество местных сообщений «Феркерсфлуг» и отчасти смешанное советско-германское общество воздушных сообщений «Дерулуфт», мы не можем обойти этих организаций. Если «Феркерсфлуг» имел километраж 671,8 тыс. в 1929 г., то на последующие два года—802,98 тыс. и 668,8 тыс., а количество пассажиров—соответственно 10,4—13,8—11,5 тыс. (кроме того, в 1931 г. было поднято в порядке круговых полетов 16,9 тыс. пасс.).

Совершенно другую картину мы видим в «Дерулуфте». Приведем таблицу.

| Годы. | Сеть. | Количество | | |
|-------|-------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Километраж. | Пассажиров. | Почты и грузов. |
| 1928 | 2.794 | 790.465 | 2.550 | 77,7 |
| 1929 | 2.794 | 839.655 | 2.650 | 77,0 |
| 1930 | 2.794 | 950.512 | 2.950 | 77,5 |
| 1931 | 2.729 | 945.317 | 3.700 | 102,0 |

Здесь мы видим исключение, вызванное несомненно воздействием советской экономики,—устойчивость сети при незначительном исправлении трассы в 1931 г., рост километража, пассажирских перевозок и прочей транспортной работы.

Из прочих стран заслуживают внимания Япония и Польша, при чем первая обладает относительно ничтожной гражданской авиацией, где гораздо больше развиты внешние линии, о чем уже

упоминалось выше, а что касается Польши, то здесь сеть линий с 3.274 км в 1930 г. возросла до 4.579 км в 1931 г., а транспортная работа показала следующие цифры: в 1930 г.—1,4 млн. км, 12,3 тыс. пассажиров и 362 т почты и грузов, за 10½ месяцев 1931 г.—1,4 млн. км, 14 тыс. пассажиров и 236,4 т почты и грузов. Воздушная сеть Польши связывает Варшаву с Данцигом, Румынией, Чехо-Словакией при большой насыщенности западных направлений, а при посредстве общества «СИДНА»—также с Германией, Францией и французской сетью воздушных путей. Одновременно делаются попытки организовать линии и на восток.

Такова картина на мировой авиационной арене в области воздушного транспорта.

Чрезвычайный интерес имеет вопрос о самолето-моторном парке обществ воздушных сообщений. Германский журнал «Луфтвахт» (июль 1932 г.) и английский «Фляйт» (№ 27 1932 г.) опубликовали таблицу, характеризующую наличные самолетные парки и летные кадры европейских воздушных компаний по их состоянию к началу 1932 г. Приведем эти цифры:

| Страны. | Количество самолетов. | Количество моторов (в HP). | Тоннаж. | Количество пилотов. |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------------------|
| Франция | 269 | 150,0 т. | 168,6 | 135 |
| Германия (с «Дерулуфтом») | 177 | 89,0 т. | 148,4 | 160 |
| Италия | 77 | 60,0 т. | 64,2 | 61 |
| Бельгия | 46 | 30,0 т. | 47,4 | 16 |
| Чехо-Словакия | 42 | 15,7 т. | 24,0 | 17 |
| Голландия | 35 | 27,0 т. | 39,7 | 30 |
| Англия | 32 | 46,4 т. | 70,6 | 35 |
| Польша | 31 | 16,0 т. | 21,3 | 20 |
| Швейцария | 16 | 8,9 т. | 12,6 | 13 |

Всего, по этим данным, европейские компании воздушных сообщений имели в 1931 г. 63 самолета в большинстве явно бомбардировочных типов с общей мощностью моторов 473 тыс. HP и грузоподъемностью 632,8 т, при чем Франция имеет 35 проц. общего числа самолетов, 31,8 проц. моторной мощности и 26,7 проц. грузоподъемности, а

Германия — 23 проц. самолетов, 16,7 проц. мощности и 23,4 проц., грузоподъемности. Эти данные составлены директором английской гражданской авиации.

По данным английского авиарегистра, в Англии к 1 апреля 1932 г. зарегистрирован 921 самолет, из них 68 принадлежат фирмам и лицам для коммерческой службы, 436—прочим частным лицам, 56—аэроклубам, 104—школам и 115—для проката. Предприятия гражданской авиации имеют 41 самолет.

Наибольшее количество самолетов находится в США, где насчитывается, по данным департамента торговли, 10,743 самолета, из них имеют лицензии всего лишь 7.386 аппаратов. По годам постройки подавляющее большинство относится к последнему времени (1929 г.—3.439, 1930 г.—2.216 и 1931 г.—2.021 сам.). Из общего количества 10.743 к многомоторным относятся всего 317 самолетов; шести-десятиместных—614 самолетов и свыше—194 самолета. По применению парк в 7.386 самолетов распределяется следующим образом: компании воздушного транспорта имеют 561 самолет, авиапромышленность и сбытовые фирмы—1.244, прочая промышленность—211, аэроклубы и школы—282, правительственные и муниципальные учреждения—69 и частные владельцы—3.938, прочие — 1.081 самолет.

Таким образом мы должны отметить, что самолето-моторный парк капиталистического воздушного транспорта отстает по сравнению с военными воздушными силами, что большой резерв гражданских самолетов имеется прежде всего в Соединенных Штатах, что главная резервная мощность капиталистической военной авиации заключается не столько в готовом «гражданском» самолето-моторном парке, хотя этой величиной пренебрегать отнюдь не следует, так как на войне он сыграет немалую бомбардировочную и военнотранспортную роль, сколько в иных факторах. Данная картина обуславливается, как мы уже подчеркивали, крайне узкой народнохозяйствен-

ной базой капиталистической гражданской авиации, и поэтому твердо обеспечен лишь тот участок, который субсидируется прямо из казны.

Резюмируя вышеизложенное, мы должны отметить, что военно-воздушная потенция империалистских государств складывается из следующих элементов:

- а) наличных военно-воздушных сил в строю;
- б) мобилизационного запаса ВВС;
- в) парка гражданской авиации;
- г) производственной мощности авиапромышленности;
- д) системы трасс и баз военного и преимущественно гражданского воздушного флота;
- е) кадров ВВС, гражданской авиации и в частности аэроклубов.

Мы не останавливались на проблеме аэроклубов, а между тем в Англии например к началу 1931 г. было 38 клубов с 8 тыс. членов и к началу 1932 г. было уже 11.700 человек. 20 клубов с 6.537 членов субсидируются государством. В 1931 г. летное звание получили 996 чел. Аэроклубная деятельность широко развита в ряде стран Европы, в особенности в Германии, Франции и Польше.

Таковы итоги гражданской авиации капитализма за последний этап.



Каковы же выводы из всего выше-сказанного?

Империализм готовится к новым войнам, перед размерами, технической насыщенностью и кровопролитностью которых бледнеет бойня 1914—1918 гг. Авиации уготовляется исключительная роль, — воздушные эскадры стратегического назначения в составе сотен и тысяч самолетов примут самое активное участие в решающих боевых столкновениях, при чем соприкоснутся грани между фронтом и тылом. Эти эскадры при перебросках и старте будут опираться на «коммерческие» и прочие трассы

и аэродромы, заготовленные еще в мирное время на своей и чужой территории. Накопившая еще до войны огромные производственные мощности авиационная промышленность будет ежелегодно бросать в действующие воздушные силы сотни и тысячи самолетов. Военные и «гражданские» школы, аэроклубы и всевозможные курсы будут форсированным темпом комплектовать многотысячные ряды воздушного флота, боевые силы которого потребуют целых эскадр военно-транспортных и вспомогательных самолетов и дирижаблей, подобно тому, что мы уже видим в укоренившейся военно-морской практике. Война на земле и на море до-

полнится грандиозной войной в воздухе. В этой перспективе совершенно ясна роль гражданской авиации капитализма как первоклассного резерва войны.

Рассматривая под этим углом зрения итоги авиационного развития капиталистических стран, мы должны больше, чем когда-либо, помнить о том, что, помимо ряда мер пассивной защиты, самым верным и радикальным средством воздушной обороны СССР является совокупный красный воздушный флот, и с железной последовательностью делать отсюда все необходимые выводы.

Писатели о писателях

ЦУСИМОЙ РОЖДЕННЫЙ

(Об А. С. Новикове-Прибое).

С. Сергеев-Ценский

1

Не так давно думали, что ничего нет проще, как стать писателем.

Я помню, в журнале «Резец» помещались портреты молодых людей, а под портретами их сообщения о себе, примерно такие:

«Я пока еще ничего не писал, увлекаюсь работой на заводе, но скоро думаю взять творческий отпуск и тогда засяду писать и что-нибудь напишу».

Так было совсем недавно. Хорошо, что теперь уж этого нет, что взгляд на литературу, как на всем доступное, пустяково-легкое дело, оставлен.

Представьте не такой уж и длинный стол, за которым плечом к плечу, очень тесно сидят писатели-художники, которых не так и много, — всего несколько десятков на целую страну. И вот в дверь комнаты, где они сидят, осмотрительно входит некий молодой человек с явным намерением усесть за стол. Ему говорят с сожалением, но твердо: «Нет места». — «Как так нет места? — улыбается вошедший. — А это разве не место?.. Это отличное место. И это мое место».

И он садится за переполненный писателями стол, и все видят, что для него, вопреки законам физики, очистилось просторное место, и он усаживается на нем прочно.

Так входят в литературу талантливые люди. Они входят уверенно, самочинно

и в одиночку. И только те, которые входят в нее таким именно образом, остаются в ней всерьез и надолго.

Никакого любительства художественная литература не терпит, как не терпит его и всякое другое искусство, а богатая стройность хора художников слова достигается только величайшим разнообразием их психического склада, их жизненного опыта, их тонких наблюдений, их темперамента, их тематики, их чисто художественных приемов.

Кто призывал Новикова-Прибоя к тесному столу русской художественной литературы? Никто. Он подошел к нему самочинно. Он, тамбовский крестьянин по рождению, матрос по царской службе, пришел и занял свое просторное место, неотъемлемое, бесспорное и прочное.

Какое же новое лицо вошло вместе с ним в строй литературы? Лицо человека, опаленного огнем великого цусимского разгрома русской эскадры.

Случилось нечто весьма оригинальное: в литературу вошел рожденный Цусимой писатель, умевший к моменту боя писать несравненно хуже конечно, чем капитан 2-го ранга Семенов, автор книги «Расплата», посвященной той же Цусиме, личный адъютант адмирала Рожественского, вместе с ним бывший на флагманском корабле «Суворов», вместе с ним раненый там и спасенный и сдавшийся потом в плен японцам.

Но в то время, когда в одном лагере для военнопленных собирал свой материал для «Расплаты» капитан Семенов, в другом лагере, по собственной мысли, собирал подобные же материалы среди своих товарищей матросов баталер броненосца «Орел» Новиков, чтобы создать из них современный роман «Цусима».

Капитан Семенов был хорошо образованный человек, не только прошедший через морской кадетский корпус, но и с детства дышавший воздухом культуры; баталер Новиков с большим трудом научился грамоте в своем глухом дремучем селе Матвеевском, где единственным педагогическим приемом был крепкий зажим его ушей взбешенными пальцами дячков и попов.

И однако факт остается фактом: о легковесной «Расплате» Семенова все забыли, а написанная через четверть века бывшим матросом Новиковым-Прибоем «Цусима» вошла в нашу художественную литературу затем, чтобы из нее не выпасть.

Нужно сказать сразу, что мысль, возникшая у баталера Новикова, непременно написать книгу «Цусима», была гораздо более дерзкая мысль, чем воинственный план адмирала Рожественского привести за десятки тысяч морских миль разношерстную, технически слабую эскадру, уничтожить морские силы Японии и тем победоносно закончить войну.

Дерзость самоучки превысила дерзость самодура. Однако адмирал Рожественский оказался на щите, баталер Новиков со щитом.

Экипаж эскадры был 12 тысяч человек. Множество погибло во время боя, но многие все-таки и спаслись. И из этих многих почему-то только один баталер Новиков ведет деятельные вопросы товарищей с разных судов о всех оставшихся у них в памяти обстоятельствах, как рачительный следователь записывает все показания и складывает записи в чемодан. Никто другой из матросов, повидимому, не придавал этому значения, только он с головой ушел в это дело. Все другие как будто передоверили ему впечатления кровавых часов своего расстрела японской эскадрой. Собирая материал о Цусиме, баталер Новиков дей-

ствовал методами ученого, а между тем в нем подспудно рос требовательный и самому себе поэт.

Весьма таинственен процесс рождения поэтов, имена которых остаются в литературе, но как закон для большого количества случаев можно принять одно: рождает их та или иная трагедия, пережитая их народом. Это те чувствительнейшие клетки общенародного тела, которые первыми сигнализируют приближающуюся опасность, а когда опасность так или иначе миновала, хотя бы и унесся громадное количество жертв, долгие всех других клеток о ней помнят, сильнее и глубже ею возмущены и стремятся наконец воплотить ее в резкие, выпуклые, волнующие образы искусства, чтобы надолго осталась о ней память.

Так — и только так — естественно и понятно обращается от личного к общественному, от своего к общенародному, т.-е. к самому значительному, к самому важному, творческая энергия поэтов. Там создаются эпические произведения со страницами то медлительно-спокойными, то бурными, — то идилическими, то гневными.

Полный чемодан материалов о цусимском бое был собран баталером Новиковым, но Цусима слишком раскочахла массы в России, чтобы материал этот мог лежать спокойно и ждать обработки. Революция пятого года началась в России в то время, когда цусимцы и мукденцы, и ляоянцы, и прочие томились в плену и болели тоской по родине. В лагере Курамото провокаторами-офицерами был пущен слух, что солдаты-пленные не возвратятся домой, пока не уничтожат своих крамольников. Первым из таких крамольников был Новиков, и первого его хотела растерзать трехтысячная толпа пленных темных солдат. С ножом в руке, как говорит об этом сам Новиков-Прибой в своем вступлении к «Цусиме», он пробился вместе с 12—15 другими матросами через толпу солдат, но... его чемодан с материалами к роману был сожжен. Впоследствии пришлось спешно в виду близкой отправки в Россию восстанавливать эти материалы.

Отправили, но в Сибири свирепствовали карательные отряды генералов

Ренненкампа и Меллер-Закомельского, обыскивавшие все поезда. Материалы все-таки проскочили благополучно и добрались до села Матвеевского, а сам будущий автор «Цусимы» был захвачен волной революции и кинулся в борьбу с царизмом.

Революция не удалась, пришлось бежать за границу, спасаясь от преследования властей и, кстати сказать, спасаясь пока и от материалов о цусимском бое, так как задача использования их теперь после всего, что он видел на родине, не могла не показаться ему труднейшей.

За границей живет он несколько лет обычной жизнью эмигранта. Случалось ему ездить и «по-темному», то-есть в пароходном трюме, без билета и документов, и вот он в Англии пишет прекрасный этюд к своей будущей «Цусиме», потрясающий рассказ «По-темному». Он посылает его Горькому в Италию, а тот печатает его в журнале «Современник». Так начинается заочное знакомство с Горьким, приведшее к тому, что Новиков-Прибой приглашается им на Капри, живет там ровно год и пользуется советами Горького.

За год до мировой войны Новиков-Прибой приезжает в Россию снова, тайком пробирается в село Матвеевское для свидания с родными и с материалами к «Цусиме». Однако оказалось, что материалы эти куда-то пропали, их искали всей семьей, но не нашли.

Между тем из бывшего баталера за эти несколько лет разлуки уже выросла настоящий писатель. Его рассказы начали появляться в толстых журналах. Он овладевал приемами письма, даже и таким нелегким приемом, как сказ («Рассказ боцманмата», напечатанный впервые в журнале «Северные записки»), он готовился поднять и такую огромную тему, как Цусима, и вдруг все другие рукописи, незрелые и ненужные теперь, спрятанные в землю в запаянных жестянках, нашлись, а именно то, что вынашивал он в себе долгие годы в эмиграции, от него ушло, казалось бы, навсегда и бесследно.

Известно, как Камоэнс спасал свои «Лузиады», но то был вполне готовый

труд, мечта воплощенная. А тут пропала уж и самая мечта о книге, мечта, правда, дерзкая, но теперь уже более возможная, чем восемь лет назад. Бывший баталер броненосца «Орел», все время тянувшийся к своей теме, начинал дорастать до нее: его умственный горизонт стал гораздо шире, житейский опыт гораздо больше, уменьем писать он уже превосходил капитана 2-го ранга Семёнова. Но материалы для книги исчезли, — было от чего притти в отчаянье.

Однако творчески тосковать долго не пришлось: началась мировая война, — событие куда более грандиозное, чем цусимский бой, — а затем победоносная революция — событие совершенно исключительной важности.

2.

Писательский капитал — человек. Процесс накопления этого капитала неравномерен. Тут многое зависит от врожденных способностей писателя к накоплению и от приемов этого накопления, то-есть: бросается ли писатель в поисках человека в жизнь очерта голову, куда попало, или действует обдуманно, планомерно, нацеливаясь только на тех людей, которые могут быть названы полуфабрикатом, требующим немного творческих усилий, или наконец он využívает человека из книг других писателей.

Помнится, я говорил как-то Леониду Андрееву:

— Охота вам сидеть на своей финляндской даче! Что вы там видите и слышите? Проехались бы, людей посмотрели, а то у вас одни мертвые схемы и ни одного живого штриха.

Но отвечал мне Андреев:

— Мой материал — Достоевский и Лев Толстой. Это они золотоискатели, а я — ювелир. И вот из их самородков я делаю свои ювелирные вещи... Разве не законно это?

Прием весьма спорный, но право на существование имеет конечно и этот прием накопления человеческого материала. Им часто пользуются юные писатели, однако только в весьма мирное время.

Но вот наступает грозная буря войны и революции, когда «трогает жизнь,

езде достает» (Гончаров в «Обломове»), и человек властно врывается даже и к тем, кто его совсем не ищет, не только к писателю. Тогда обилие ворованного человека ломает полки писательских кладовых, тогда наступает такое затруднение от богатства, что писатель уже не в состоянии его вынести. Задавленный обилием свалившегося к нему человека, он не пишет, так же, как не может он писать в донельзя переполненном вагоне трамвая.

Новиков-Прибой, по его же признанию, «ничего не писал во все годы мировой войны и первый год революции». Только в 18-м году в Сибири просыпается в нем творческая способность, и, потеряв веру в то, что найдется когда-нибудь его материал о Цусиме, он пишет теперь только этюды к своей большой картине.

Это совершенно ничего не значит, что кругом тайга и ни до какого теплого моря за три года не доскачешь. Он пишет о море. Он пишет «Море зовет», он пишет «Под южным небом» — поэмы, где главные действующие лица — матросы, одни из тех дюжих, бравых, молодых, веселых людей, которых в числе 12 тыс. повезли когда-то на верную гибель. В рассказе «Под южным небом» матрос Петрован Сиакин дезертирует с крейсера «Богатырь», стоящего в итальянских водах, а «Море зовет» — с явным налетом автобиографичности.

Непосредственно о Цусиме писал он в таких рассказах, как «Между жизнью и смертью», «Побежденные», «Певцы», «Две души», «Лишний» (хотя герой последнего рассказа — мукденец, а не цусимец).

Даже когда Новиков-Прибой писал свои большие повести: «Женщина в море» и «Ералашный рейс», он вспоминал конечно все тех же своих былых товарищей — матросов-цусимцев, он только ставил их в обстановку мирного времени, любовно выписывая их и в борьбе со стихией, и в борьбе за женщину между собою. «Позвольте мне пришвартоваться к вашей груди!..», «Разрешите мне бросить якорь у вашего сердца!» — говорят его матросы своим дамам.

Однако трагедия Цусимы царит и над

этими мирными как бы положениями, и в повесть «Женщина в море» попадает эпизод гибели судна, при чем и само море горит около него, потому что горит на его волнах разлившаяся нефть; а в «Ералашном рейсе», так сказать, варианте «Женщины в море», близость гибели, громоздясь на еще большую близость гибели, дает жуткие, хотя и вполне мыслимые картины. С ними соглашаешься, было ли это в действительности, или нет — безразлично.

Цусима, ошеломившая некогда баталера Новикова и родившая его как писателя, дала ему способность к сильному жесту, к резким углам, колючим фабульным линиям и предельному драматизму положений. Сознательного беспардонного сочинительства ужасов ради вящего эпатирования читателя у него нет.

Повествование о том, как маленькая женщина, переодетая в мужской костюм, революционерка Наташа, едет на пароходе из царской России в Англию «потемному», т.-е. в угольной яме парохода, начальство которого об этом не знает (и не должно знать, иначе выдаст ее русским властям), — это одна из самых сильных вещей Новикова-Прибоя. Безвыходность положения несчастной женщины в тропически жарком трюме, в котором нечем дышать, в котором при сильнейшей качке бросает ее на острые углы кусков каменного угля, которые колют и режут ее худенькое тело, ее смерть в пути и наконец пиршество трюмных крыс на ее трупке, обглоданном за одну ночь до костей, — это сделано художественно смело, сильно и впечатлительно. Тут Новиков-Прибой как бы пробует себя, способен ли он будет временем передать весь ужас цусимского боя.

Но он пробует себя и на других подобных вещах, как будто совсем не имеющих отношения к Цусиме. Таков большой рассказ «Порченный» — о том, как в родное село вернулся со службы гвардеец Петр Колдобин унтером и с большими для села деньгами, заработанными черносотенством в столице, как он сделался оплотом властей в селе, попутно пьянствовал и бахвалился своей силой, выдал и изувечил при аресте учи-

теля, изувечил свою жену, наконец и сам был убит ночью кем-то из молодых односельчан.

Это рассказ большой выразительности, и Цусима, т.-е. разгром на Дальнем Востоке в пятом году, всеми корнями своими гнездилась именно в подобных явлениях произвола власти во всем государстве русском, как в большом селе. И чем наконец не адмирал Рождественский в миниатюре этот гвардеец Петр Колдобин?

Ужас перед темной толпой, добивавшейся смерти баталера Новикова, — о чем сам он говорит в предисловии к роману «Цусима», — писатель Новиков-Прибой воплотил в ярком рассказе «Две души», местом действия которого взят им как-раз японский, близ Кумамото, лагерь для военнопленных. За кражу жестяного портсигара деловито и остервенело, как будто на законнейшем основании, толпа пленных солдат убивает своего собрата — это одна душа толпы. Но тут же собирает она деньги на похороны убитого и на отправку пособия его семье, потерявшей своего кормильца, — другая душа толпы.

— Совесть у вас какая-то двойная, у русских, — говорит переводчик-японец.

— Знамо так... А как же иначе? — уверенно отвечает русский солдат.

И вопрос, и ответ знаменательны. Тут Новиков-Прибой возвысился до глубочайшего понимания психологии темной толпы. Он испытал на себе проявление «второй души» русского человека, когда (об этом он говорит в том же «Вступлении» к «Цусиме») его качали при криках «ура!» как революционера, потому что та же самая толпа солдат была уже расцвечена красными флагами и настроена уже не реакционно. «Но подбрасываемый вверх, — пишет Новиков-Прибой, — десятком здоровых рук, я покрывался холодной испариной и чувствовал себя так же, как вероятно чувствовал бы себя котенок в лапах забавлявшегося с ним тигра».

Это свое знание толпы, приобретенное тогда же, когда он собирал материалы к будущей «Цусиме», Новиков-Прибой использовал еще раз в хорошо сработанной в 26-м году повести «Ухабы».

Тут тоже дана толпа, теперь уже толпа не темных солдат, а революционно настроенных матросов, и перед ней, весь в ее полной власти, уже не баталер Новиков, а командир боевого судна капитан 1-го ранга Виноградов.

Смена настроений толпы передана в сцене суда над Виноградовым убедительно и красочно. Но повесть эта явилась серьезным, значительным и хорошо выполненным этюдом к «Цусиме» и с другой стороны. Нужно было изобразить в ней массовое уничтожение офицеров матросами. Сделать этот этюд было необходимо, так как имелось в виду изобразить бой в Цусимском проливе во всех его ослепляющих подробностях, с массой смертей, из которых одна не похожа на другую так же, как не похожа при всем видимом однообразии и жизнь одного на жизнь другого. Пусть куда-то пропал собранный с таким трудом материал о Цусиме, все равно, Цусима, не тускнея, горит в мозгу, она прошла, ничего не потеряв из своей яркости, через огонь мировой войны, через ужасы и разруху войны гражданской.

Сцена массового убийства необходима, — такой этюд должен был быть сделан. И надо отдать справедливость автору «Ухабов» — он справился со своей задачей блестяще.

Правда, он рассказывает здесь не сам лично, он передает роль рассказчика капитану Виноградову, но это ведь только прием.

Возможно, что для этого большого этюда к «Цусиме» он пользовался рассказами матросов, лично расправлявшихся со своими офицерами в эпоху, которая описана в повести: это нисколько не мешает сути дела, а суть эта состоит в том, что писатель-художник проходит по жизни, схватывая типичное не только в том, что он видит и слышит. Его орудие производства — человек, притом не только человек-современник. Сопоставляя и комбинируя свои наблюдения, он — полный хозяин своего материала. Куда бы ни перенес он его, в какой бы обстановке его ни выявил, один только закон над ним — закон художественной правды.

Когда мы слышим слово «Гамлет», мы

представляем Гамлета, датского принца, созданного Шекспиром, драматургом английским, а не того, более вероятно, Амлета, о котором повествует датский летописец XII века Самсон Грамматик, и даже не того Гамлета, который изображен на основе этой саги французом Бельфорэ, хотя его работа, переведенная на английский язык, и послужила Шекспиру материалом для «Трагической истории Гамлета, принца датского».

Отталкиваясь от давно, но ослепительно пережитого, под углом этого своего познания о жизни и смерти, о человеке и обществе, посылающем его на смерть, о народе, который вдруг почему-то после долгого мирного соседского сожительства становится смертельным врагом другого народа, о классах общества и их извечной борьбе, о том наконец, как люди любят и страдают, как и какие из них говорят и ходят, волнуются и шутят во время опасности, борются со стихией морской и побеждают ее или гибнут, — Новиков-Прибой долгие годы писал свои этюды к основному труду и делу своей жизни, к «Цусиме», так же точно, как современник Гоголя художник Александр Иванов писал всю свою жизнь единственную картину «Явление Христа народу», делая бесчисленные этюды к ней одной или работая над смежными с основным мотивами. И как Александр Иванов остался в русской живописи автором одной только картины, при чем этюды к ней и все побочные работы, связанные с нею, являются крупнейшим вкладом в искусство, так и Новиков-Прибой представляет собой по существу автора одной только книги — «Цусима», так как только она одна осмысливает все его творчество и из простого бытописателя среды моряков возводит его в ранг крупных писателей.

Огромная тема, взятая баталером Новиковым, очень смелая задача изобразить цусимский бой во всей его полноте и законченности, заставила его рasti к тeмe, тянуться к ней через все преграды: через свою некультурность, пополняя скудный запас своих знаний усиленным чтением, через политическую

несознательность, стараясь сблизиться с видными деятелями революции и целиком уйти в революционную работу, наконец через неполное, однобокое, провинциальное, деревенское познание своей обширной родины тоже должен был пройти Новиков-Прибой к возможно ясному о ней представлению.

Чтобы оглядеть большое здание со всех сторон, надо отойти от него подалее. Старые художники установили закон рассматривания картины с расстояния не ближе трех диагоналей картины. На «три диагонали» от своей родины уехал и будущий автор «Цусимы» в 1907 году, когда окончательно разгромлена была царской властью революция пятого года. Мы познаем при помощи сравнений, и нечего сомневаться в том, что многие страницы «Цусимы» обязаны своим появлением на свет тому, что автор их видел Англию, видел Италию, жил в культурном мире и имел возможность сравнивать с ним толстопящую Россию.

Если бы меня спросили: а получился ли бы из Новикова писатель такого масштаба, каким он является теперь, если бы он не был обожжен Цусимой, я с полной уверенностью ответил бы: «Ни в коем случае!.. Из него мог бы выйти автор морских рассказов, вполне случайных по темам и незначительных по художественным достоинствам, в только».

Но, по слову поэта:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир...

(Прибавлю от себя: блажен конечно только в том случае, если блюда на пир у «всеблагих» не смертельно ядовиты. Непременным условием блаженства посетителя мира в его роковые минуты является счастье их пережить, а не погибнуть при этом, как погиб Плиний, со страстью ученого наблюдавший вблизи знаменитое извержение Везувия, похоронившее Помпею.)

Любопытно, что Новиков-Прибой, отклоняясь от своей основной темы, от страшного подарка, поднесенного исто-

рией, а не бытом, оказывался зауряднее. Например его охотничьи рассказы «На медведя» и «Среди топи» — недурные охотничьи картинки, но и только. (Оригинальнее их рассказ «Речная Клеопатра», почему-то не вошедший в собрание сочинений.) Несмотря на то, что Новиков-Прибой, по его же словам («Вступление» к «Цусиме»), почти каждый охотничий сезон бывает на охоте, охотничьи рассказы — не его жанр. Он это, повидимому, понял и сам и дальше трех названных рассказов в этом направлении не пошел. Однако необходимо отметить, что и два охотничьих рассказа его так же трагичны, как и все этюды к «Цусиме»: в одном охотника задрал медведь, в другом рассказчик чуть не утонул в топи.

Сказать новое слово в искусстве, как искусстве, Новикову-Прибою не было дано, ему была дана только новая тема и дан был новый человеческий материал, почти не появлявшийся до него на страницах русских художественных произведений. Его предшественник маринист Станюкович выводил морских офицеров, а не матросов в их быту. Матрос Новиков-Прибой впервые и густой толпой провел своих товарищей перед русским читателем.

Кто жила в таких приморских городах, как Кронштадт, Севастополь, Владивосток, на улицы которых, совершенно их заполняя, высыпают широкие, короткошее, плотнощекие матросы, может ярко представить, какую тесноту в нашей литературе произвел Новиков-Прибой, выпустив на ее страницы толпы этого грузного, шагающего в ногу народа, привыкшего одним своим бравым видом побеждать женские сердца и объясняться на своем образном языке, густо пропитанном морскою солью.

У нашего автора есть автобиографический рассказ «Судьба». Богомольная мать будущего цусимца готовила его в монахи и шла с ним определять его в монастырские служки. Но на дороге попался им веселый матрос, поразивший воображение мальчика своими рассказами о матросской жизни, и эта встреча, совершенно непредвиденная и случайная, решила всю будущую судьбу деревен-

ского мальчугана: на 22-м году Новиков по своей охоте поступает на службу не в сухопутные части, а во флот. Так матрос, неизвестно как очутившийся в тамбовских лесах, впервые толкнул Новикова-Прибоя к его теме, подобно орлам и другим вещунам, крылатым и бескрылым, которые в легендах о героях обыкновенно предвещают им грядущий их путь и победу.

3

Даже при беглом чтении рассказов и повестей Новикова-Прибоя заметно, как совершенствуется язык его и как овладевает автор развитием фабулы, переходя от небольших по объему вещей к таким повестям, как «Женщина в море», «Ералашный рейс», «Подводники», «Ухабы», «Соленая купель».

«Подводники» и «Соленая купель» посвящены эпизодам из мировой войны, и если в «Подводниках» действуют русские матросы и офицеры, то в «Соленой купели» Новиков-Прибой отважился взять иностранное судно и моряков-иностранцев, а центральной фигурой повести, названной, повидимому, за большой объем романом, сделал аргентинского аббата Лутатини, обманом завербованного в матросы.

И в «Подводниках», и в «Соленой купели» выводится уже другая война, начавшаяся через девять лет после цусимского боя, но разве эта война по самой сути своей во многом разнилась от русско-японской, кроме того, что участников войны было гораздо больше, размеры ее гораздо грандиознее и средства истребления людей гораздо богаче?

Суть войны этой, как всякой империалистической войны, осталась прежней, и Новиков-Прибой пишет обе эти вещи, как самые большие этюды все к той же «Цусиме», несмотря на то, что материалы, собранные в Японии, исчезли бесследно в родном селе. Важно было дотянуться до своей основной темы вплотную, созреть художественно для работы над ней, и, одна дополняя другую, именно этой цели служат обе названные вещи.

Они написаны в разных манерах.

Бросками, пятнами, капризными мазками, очень импрессионистично сработаны «Подводники», но благодаря отсутствию лишних эпизодов в ней ярче видны отблески цусимского боя в памяти автора, когда он писал эту вещь. Тут очень много лиризма и динамики, тут почти на каждой странице бой: то с германскими судами и бомбовозами в море, во время рейсов на субмарине «Мурена», то на суше за обладание женщиной — швейкой Полиной, то словесные бои с радистом Зобовым, то перестрелка внутри субмарины, вследствие которой из сорока человек ее экипажа осталось в живых только девять, то наконец последний бой, данный холодному, огромному морю, приковавшему «Мурену» ко дну, — бой, окончившийся победой моряков над стихией, — как-им-то, правда, малопонятным для неспециалистов способом они выбрались из своей могилы на поверхность.

В этой повести горьковская динамика, — динамика сухопутная, — осложнена и удвоена динамикой исключительности и предельной трагичности морских положений. И лиризм, и приподнятый стиль ее гармонируют с необыкновенностью эпизодов, из которых она составлена, а язык ее богатой и непосредственной эмоциональностью, с одной стороны, и книжными штампами, с другой, прекрасно передает внутренний мир молодого матроса, от лица которого ведется рассказ. Обращает на себя внимание и надолго запоминается между прочим очень яркая с чисто художественной стороны деталь: смытые с палубы потопленного «Муреной» германского парохода быки плывут, мычащие, непонимающие, ошеломленные, за медленно уходящей подводной лодкой, в тщетной надежде догнать ее в безбрежном водном пространстве.

«Соленая купель», законченная точно по какой-то внутренней команде как-раз перед началом работы над «Цусимой», является для нашего автора пробой сил на сравнительно большой вещи. Задуман этот роман вполне оригинально. Получивший в младенчестве крещение в купели пресной, христианской, ставши

сам католическим священником в Буэнос-Айресе, молодой аргентинец Лутатини в день опубликования в местных газетах известий о революции 1917 года в России идет прогуляться по улицам и нечаянно попадает в район, где крепко обосновались портовые вертепы. Он завернул в кабачок «Радость моряков» с исключительной целью показать в проповеди весь ужас жизни этих грубых, диких людей — матросов — и указать им путь, ведущий к небу.

Но, чтобы говорить с ними, надо было пристать к их пьющей компании. В результате молодой мечтатель напился до бесчувствия, подписал подсунутый ему контракт и прямо из кабака в бессознательном состоянии был перевезен на огромный океанский пароход «Орион» в качестве завербованного матроса. Этот прием авантюрных романов нужен Новикову-Прибою не для целей легкого вагонного чтива. «Орион» уходит к берегам Европы с грузом военных припасов для Франции, но с бумагами на Барселону, куда якобы везет зерно, и под нейтральным аргентинским флагом, хотя ни пароход, ни груз не аргентинские, и аббат Лутатини входит в другую, уже «соленую» купель, чтобы смыть с себя христианство, обанкротившееся, как идея, в мировую войну, между христианскими государствами.

Интерес и этого романа, как и всех других этюдов к «Цусиме», в разных, очень красочных положениях борьбы. Во время урагана в океане для Лутатини ненавистный и постылый раньше «Орион», каторжная тюрьма, становится дорогим, как самый близкий друг. Только не поломалась бы машина, не оторвало бы руль, не лопнул бы штуртрос... В минуту затишья матросы шутят: «Какие грехи могут считаться за нашим братом? Все смоем в соленой купели». И Лутатини уже не сердился на них, — все они были славные ребята. Перед пастью ревушей смерти им нельзя было не стоять друг за друга. Каждая пара рук, во-время пущенная в дело, могла спасти от гибели все судно.

«Работа вместе с другими во время бури, Лутатини робко оглядывался

кругом. Какая разительная перемена произошла в его жизни. На берегу он привык к медлительным движениям, к сладчайшим молитвам, к задушевному пению под звуки органа. Вся его деятельность протекала тихо и безмятежно и была направлена к тому, чтобы творить дела милосердия. Но кому это нужно было здесь, где все кругом кипело, вздымалось, бесновалось и ревело?»

Цусима в миниатюре. Цусима в прообразе. Цусима в воспоминании... Разъяренная стихия океана так же, как и Цусима, грозит гибелью, и на изображении таких гибелью грозящих моментов неоднократно пробует свой резец будущий автор «Цусимы».

Он, не стесняясь, прибегает к явно приключенческим приемам рассказа: смыйтый например огромной волной с палубы «Ориона» Лутатини другою волной выбрасывается под сектор запасного руля для того конечно, чтобы не оборвалась некстати длинная цепь его приключений, чтобы перерождение его довести до необходимого конца.

Вот уже после пережитых испытаний, когда жизнь стала обнажена и потрясла его беспощадной правдой, «он спрашивал себя: что он вещал людям своими проповедями? Стыд и злоба давили его сердце, и мысль сурово выносила приговор:

— Ты проповедывал, чтобы нищие вешали свои надежды на бога, как вешают на крючок свои грязные лохмотья... Эх, ты...»

В романе выведен капитан Кент, всемогущий и грозный на «Орионе», но в то же время плохо знающий свое дело, жестокий к подчиненным, очень сильный физически, но приседающий от страха при встрече с немецкой субмариной. В некоторых деталях обрисовки этого командира судна уже чувствуется намек на будущую обрисовку командующего 2-й Тихоокеанской эскадрой адмирала Рожественского. И так же был взят он в плен.

А Лутатини после встречи с немецкой субмариной, взорвавшей «Орион», очутился в шлюпке среди океана, и, изнывая на третий день пути от жажды,

он «помутившимися глазами смотрел на боченок пресной воды, ожидая своей порции. Кроме этой живительной влаги, для него ничего теперь не существовало: ни морали, ни чести, ни храмов, ни папы римского, ни совести, ни бога, ни мадонны... Все великие слова, когда-то приводившие его в трепет, здесь стали пустыми и ненужными...»

Сильное впечатление производит на него действительно страшная картина плавающих на пробковых кругах смеющихся трупов — погибшего экипажа, может быть, тою же германской субмариной взорванного за несколько дней парохода. Трупы, уже в состоянии разложения, колышатся на воде, точно плывут живые улыбающиеся люди, так как зубы у трупов оскалены. С ними играют и уносят их в глубину акулы...

А когда Лутатини, как и его оставшихся в живых товарищей, спасает наконец французский истребитель и передает спасенных голландскому пароходу, отмучившийся бывший священник говорит матросам погибшего «Ориона»:

— Между вами и мной никакой разницы нет. Я буду поступать так же, как и вы.

И вместе со всеми, получив за якобы пропавшие на «Орионе» свои ценные вещи деньги в аргентинском консульстве Роттердама, он идет в притон, где торгует вином и живым товаром голландка с распятием на груди, и в этом притоне он говорит с подъемом проститутке Санте:

— Что такое наша планета? Разве это не сплошной разбойничий вертеп? Бьют рожи, насиляют, грабят друг друга и тут же торгуют всем — честью, святыней, любовью...

На что практичная Санта отвечает:

— Не нужно расстраиваться... Лучше скажите, вы на время или на ночь останетесь?

Себастьян Лутатини перерождается. Он уже не станет больше морочить людей, он не будет больше священником, — к такому концу приводит читателя автор «Соленой купели». Но имеет в виду он купель не Атлантического океана, а Цусимского пролива, и Лута-

тини — только намеки на то большое, что долго уже просит в нем выхода: «соленая купель» России, которая если и не совсем переродилась, то стала прочно на путь перерождения именно после Цусимы.

В художественном отношении «Соленая купель» — лучшее из всего, написанного до «Цусимы» Новиковым-Прибоем. Это — вполне зрелая вещь. Она хорошо задумана и выполнена с полным знанием всех необходимых деталей.

И как бы дождавшись сознательно его зрелости как художника, именно тогда, когда он заканчивал «Соленую купель», весной 28-го года, дались ему в руки пропавшие были материалы о цусимском бое.

Сам Новиков-Прибой радостно сообщает об этом во «Вступлении», перечисляя и свидетелей этого события, бывших с ним на охоте в селе Матвеевском, писателей: Ширяева, Перегудова, Завадовского.

Получив наконец возможность писать «Цусиму», он жадно принимается за работу, и вот через четыре года перед нами роман, написать который ему как бы завещала история.

4

«Может быть, я и бездарен, да зато темы мои талантливы» — говорил В. В. Розанов о себе самом.

Конечно темы могут быть и талантливы, и гениальны, но для этого прежде всего они должны быть придуманы, извлечены из бесформенного потока жизни самим писателем.

Данная историей тема — Цусима — не то чтобы талантлива или гениальна, эти эпитеты к ней не подходят, она — огромная тема.

Подвести должные итоги покойному царизму на таком ярком конкретном примере, как цусимский разгром, — что может быть благодарнее и что может быть ответственнее для советского художника слова?

Мы, единичные люди, обыкновенно бываем сами собою только тогда, когда из себя выходим, то-есть, когда сбрасываем с себя вежливость, воспитанность,

деликатность. Но это случается с нами только тогда, когда мы глубоко задеты, когда мы вынуждены защищать себя, приходя в надлежащую для борьбы животную ярость.

Лицо народа познается во время войны.

Война — пережиток, войн не будет со временем, «когда народы, распри позабыв, в одну великую семью соединятся», но пока-что мы и теперь, строя социализм в отсталой, хотя и великой стране своей, не забываем готовиться к войне, которую могут навязать нам в любую минуту.

О том, как готовились к решающему морскому бою с японцами 28 лет назад, мы узнаем из романа «Цусима» весьма подробно и обстоятельно, так, как это узнавалось и самим автором, перечитавшим, по его словам, все, что можно было, что было написано о цусимском бое в нашей и иностранной печати в свое время и что было обнародовано только теперь, когда явилась возможность взглянуть в секретные документы архивов.

Но читать документы только, читать то, что было уже написано о цусимском бое, — это сделал бы каждый. Новиков-Прибой на этом не остановился. Он повторил, только в гораздо большем объеме, свой старинный кумамотский метод опроса участников боя. Только теперь уж не одни матросы делились с ним воспоминаниями, теперь к его задаче был привлечен и офицерский состав, оставшийся в Советском Союзе. Бывшему баталеру рапортовали бывшие капитаны обоих рангов. Вполне правильный с самого начала метод опроса участников сделал «Цусиму» Новикова-Прибоя произведением, к созданию которого был сознательно и явно привлечен огромный круг людей; творчество стало как бы соборным, народным; ответственность, взятая на себя Новиковым-Прибоем, значительно усилилась, однако сознание важности темы, необходимейший стимул творчества каждого художника, делалось все более очевидным... «Я обрастаю материалами для «Цусимы», как днище корабля ракушками» — писал мне Новиков-Прибой в 29-м году.

Крейсер «Минин», на котором плавал баталер Новиков, в состав 2-й Тихоокеанской эскадры не вошел, и вместе с ним будущий писатель мог бы спокойно не покидать Финского залива до конца войны с Японией. Но командир «Минина» явно хотел избавиться от «политика», каким уже тогда прослыл он во флоте. Его перевели на новый броненосец «Орел». Так нечаянно революционность баталера Новикова поставила его лицом к лицу с темой всей его писательской жизни — с Цусимой. Командир «Минина» дал ему «возможность искупить преступление, в которое он запутался по своей темноте». С этого эпизода начинается неторопливый, обстоятельный рассказ о походе эскадры — I том «Цусимы», объемом в 400 страниц.

Автор забывает о себе, как об известном уже писателе, он снова становится только баталером «Орла» и от лица баталера Новикова, дабы никто не мог его упрекнуть в «сочинительстве», шаг за шагом отмечает продвижение эскадры, настроение матросов и офицеров, описывает очень живо и ярко знаменитый, наделавший в свое время много шума «гульский инцидент», когда были расстреляны ночью в Доггер-Банке рыбачьи лодки, принятые за японские миноносцы, и обстреляны свои же суда... Этим занят он в первой главе романа. Но главное, чем он занят, — выяснение причин слабости русского флота, приведшее к разгрому при Цусиме. Об этом говорит он не только как «политик», но еще и как знаток морского дела. Баталер Новиков как судья старшего строя и старых руководителей флота не забывает при этом ничего.

Хорошо описывает он свидание Николая II с Вильгельмом II и как, находясь на крейсере «Минин», следили они за учебной стрельбой с судов по мишеням. Это было всего за два года до позорнейшей русско-японской войны. Описание этого свидания вошло в роман как прелюдия к Цусиме. Оно необходимо и для того, чтобы обрисовать инициатора войны Николая II, и для того, чтобы понять причины возвышения адмирала Рожественского, и для того

наконец, чтобы показать, как плохо были обучены стрельбе наши комендоры. «Я тоже стоял там, на крейсере «Минин», в то время, когда на нем находились оба императора и Рождественский со своим штабом, — говорит о себе автор. — На моей обязанности лежало следить за падением снарядов во время стрельбы и отмечать в тетради их недолеты, перелеты и попадания».

Конечно «буксируемые щиты были, что называется, сшиты на белую нитку и падали от одного сотрясения воздуха при пролете снаряда», но это создало впечатление очень меткой стрельбы. Конечно и Вильгельм хвалил, а Николай зачислил Рожественского в свиту. Ревельское свидание, закончившееся тем, что Вильгельм, ступая во-своися, поднял сигнал: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана», было роковым: Николай с этих пор начал усиленно готовиться к войне с Японией за господство на Тихом океане.

Очень подробно выясняет Новиков Прибой причины негодности всех вообще русских адмиралов эпохи японской войны тем, что они прошли школу мореплавания на парусном флоте и мало что понимали в судах новой конструкции. Характеристики адмиралов, сделанные им в романе, очень ярки и убийственно метки.

Вот Энквист, старик, совершенно лишенный памяти, зато обладающий большой, красиво расчесанной бородой. «Борода эта заменяла ему все вообще умственные способности».

Вот Бирилев, буквально помешанный на орденах, как комический герой одного из маленьких чеховских рассказов. Находясь в заграничных плаваниях, своих «крестовых походах», он был озабочен только тем, чтобы нахватать как можно больше иностранных орденов. Не могу не привести хотя бы кусок этой превосходной характеристики Бирилева:

«В Италии происходили национальные торжества. Наш средиземноморский отряд пришел в Неаполь. Адмирал Бирилев поехал в Рим, где был принят королем, а во время обеда искусно раз-

влекал королеву. Король пожаловал ему орден. Побывал он и в Тунисе, где получил звезду от туземного бея. Турецкий султан праздновал двадцатипятилетний юбилей своего царствования. Разве можно было пропустить такой случай? Адмирал на канонерской лодке «Кубанец» отправился в Дарданеллы, а оттуда, пересев на поезд, проехал в Константинополь, чтобы поздравить султана. Растроганный таким вниманием, султан наградил его звездой «Меджидие». А как не побывать еще в Греции, на острове Корфу, где должна была произойти свадьба великого князя Георгия Михайловича с греческой принцессой Марией Георгиевной? Расчет был сделан верно. После бракосочетания молодых на груди адмирала засияла новая звезда. В Софии он посетил царя Фердинанда, и здесь также его наградили орденом.

Потом отправился в Белград на свидание с королем Александром и королевой Драгой. Время было выбрано неудачно: королева горевала после неудачных родов, король буйствовал, и к нему никто не рисковал подступиться. Но Бирилев был настойчив и не унывал. Он сумел добиться свидания, и с королем, и с Драгой, а в результате коллекция его звезд увеличилась...

А эпизод с «Орлом», который сел на мель, «как будто проявляя намерение остаться в Кронштадте» и не итти на верную гибель на Дальний Восток.

Бирилев командует:

— В-ввыз-вать матррросов и ррраскачать судно!

И около четырехсот матросов начали покорно шаркаяться с одного борта корабля на другой.

Ну, чем не Пошехонье?

«Могли ли четыреста человек, весивших не более 30 тонн, раскачать судно водоизмещением в 15.000 тонн? Это было так же нелепо, как если бы четыреста тараканов вздумали раскачать корыто, наполненное бельем и водою».

И только один из постовых чинов вывел из глупого положения матросов, посоветовав Бирилеву прибегнуть к землечерпалке.

— Представьте, такая же мысль и мне пришла в голову! — сказал Бирилев как ни в чем не бывало.

Вообще даже один только блестящий портрет Бирилева показывает, каким сильным художником слова сделался Новиков-Прибой, пока лежали в амбаре, в одном из старейших ульев, впопыхах ввиду близкого обыска запрятанные туда материалы к его основному труду. Я нисколько не сомневаюсь, что этот портрет повесят рядом с подобными же портретами, созданными нашими классиками.

Но в книге «Цусима» есть еще более мастерски сделанный портрет—это монументальная фигура эскадроводителя адмирала Рожественского, бесспорно (и по заслугам) главного действующего лица романа, автора «гульского инцидента», когда корабли его эскадры едва не потопили друг друга (на «Авроре» пробила надводный борт и повредила трубы).

Характеризующие Рожественского отдельные штрихи рассыпаны по всему I тому «Цусимы», более же законченный портрет его дается в конце, когда Новиков-Прибой подводит злополучную эскадру к берегам Японии. Это правильно рассчитанный прием — именно перед началом трагедии показать во весь рост главного трагического актера, убедившего царя в своей гениальности, державшегося недоступно даже среди высшего командного состава эскадры, заставлявшего трепетать перед собою даже командиров крупных единиц флота, приказавшего итти через прекрасно защищенный японцами Корейский пролив, а не через Лаперузов, где все-таки больше было шансов пробиться во Владивосток и сделать его своей базой, и оказавшегося уже в самом начале боя полнейшей бездарностью и невеждой. Бешено вспыльчивый, громово-крикливый и очень скорый на руку, судам своим и командирам их давал он самые обидные, иногда неудобные для печати клички и отнюдь не стеснялся над командирами издеваться всячески в присутствии матросов, а матросов избивать до полусмерти.

С адмиралом Небогатовым, который на соединение с ним привел отряд тихоходов, он говорил не больше часу и то о совершенно посторонних предметах, а сравнивая силы свои и японцев, он сообщал своей эскадре в стиле Екатерины II: «У японцев больше быстроеходных крейсеров, но мы не собираемся от них бегать».

Повторяю, портрет Рождественского сделан монументально.

Но автор не забыл и командиров отдельных судов и некоторых старших и младших офицеров. Конечно он дает блестящую характеристику командира «Орла» Юнга, который плавал до назначения на «Орел» на парусном крейсере и «на новом броненосце чувствовал себя, как в незнакомых лесных дебрях. Механическая и трюмная части, электротехника, башенная установка крупной артиллерии были для него таинственной областью, в которой он совершенно не разбирался...»

Хорошо даны два младших офицера «Орла» — лейтенант Вредный (прозвище, данное матросами) и мичман Воробейчик (тоже прозвище). Но особенно много внимания уделено автором инженер-механику Васильеву, евангелием которого был «Капитал» Маркса.

Инженер Васильев часто запросто беседовал с баталером Новиковым, формируя его как гражданина и как писателя. Будущие биографы Новикова-Прибоя должны будут помянуть его добрым словом.

Живописны, как всегда у автора «Цусимы», матросы, его товарищи по «Орлу», — минер Вася Дрозд, кочегар Бакланов, гальванер Голубев и другие, а рассказ о матросе Бабушкине, без помощи которого эскадра Небогатова могла бы и не найти эскадры Рождественского, просится в хрестоматию, — до того он рельефен.

Вообще же матросы его теперь не беспардонные весельчаки и сердцегрызы, идеал которых женщина «ростом среднего калибра, но проворная, как мадагаскарская ящерица, в голубом платье, с яркоцветистым шелковым шарфом на шее» («Подводники»), — это люди,

задумавшиеся над тем, что их везут за 18.000 морских миль на верную гибель.

Автор отмечает все, что революционизировало моряков во время их долгого пути к Цусиме:

И плантаторскую эксплуатацию мускульной силы людей при очень частых погрузках угля, так как огромнейшая эскадра решила пойти в такую даль, не имея по пути ни одной угольной станции... «Эти погрузки угля больше всего выматывали силы эскадры. Галерникам жилось вероятно легче, чем нам, — говорит автор. — Из угля мы сделали себе идола и приносили ему в жертву все: наши силы, здоровье, спокойствие и удобства. Мы спали на ворохах угля, уступая ему место в жилых помещениях. Мы завалили углем всю батарейную палубу настолько, что пушки в случае минной атаки не могли бы быть пущены в дело...»

И то, что болезненная боязнь этих минных атак, овладевшая Рождественским с самого дня выхода эскадры из Кронштадта, вызывала частые и совершенно нелепые тревоги. Люди мало и беспокойно спали, все время воюя с воображаемым врагом. Бывали случаи, что переутомившиеся матросы кончали самоубийством, выбрасываясь за борт.

И то, что люди плохо питались, так как мясо в бочках «было просолоно неумело и от жары испортилось».

И то, что за время очень долгого пути матросы успели обноситься, у многих не было даже сапог, и они ходили по раскаленной палубе, усеянной мелким углем, или в веревочных лаптях, или просто босиком, а из Иерусалима через дамский комитет им прислали во время стоянки у Мадагаскара вместо сапог медные крестики, «освященные, как говорилось в приказе Рождественского по эскадре, на гробе господнем».

И то, что писалось даже в такой реакционной газете, как «Новое время», капитаном 2-го ранга Кладом, подсчитавшим, что силы эскадры Рождественского были почти вдвое меньше сил эскадры японской, и таким образом косвенно предсказавшим полное поражение Рождественского.

И то, что писалось в иностранных газетах о том же предмете, но в гораздо более сильных выражениях, так как иностранные журналисты не опасались, что их арестуют, как капитана Кладо.

И наконец ошеломляющее известие, полученное на стоянке в Носси-Бэ о полном уничтожении того, на помощь чему плыли матросы, — Порт-Артурской эскадры, которую потопили так же, как некогда Севастопольскую, не сумев даже и потопить ее как следует, т. е. на глубоком месте.

А когда доходит до стоящих у Мадагаскара судов весть о «9-м января», возмущенные матросы начинают уже совещаться о возможностях поднять общее восстание на кораблях.

В художественном отношении глава «Мадагаскар», посвященная описанию продолжительной стоянки 2-й эскадры у городка Хелльвиля, — лучшая глава 1-й книги «Цусимы».

Это — глава о предсмертном томлении экипажа многочисленных судов среди живописнейших берегов Носси-Бэ, по красоте превосходящих берега Неаполитанского залива, среди садов, дающих необыкновенные плоды, — мангустаны, не выдерживающие перевозки в Европу, ананасы, бананы, аноны, «зеленочешуйчатые фрукты с таким содержимым внутри, которое напоминало сбитые сливки с сахаром», среди манговых лесов, среди хлебных деревьев, «плоды которых величиною с тыкву», среди саговых пальм, кокосовых пальм и тамариндов, среди гуттаперчевых деревьев и сижин местных темнокожих, сакалаов, — земледельцев и рыбаков.

Матросы, отпускаемые на берег, бродили по этим удивительным местам, любовались роскошным оперением попугаев и колибри, «спугивали лемуров с пушистыми хвостами, держали в руках хамелеонов», а на берегу озера бросали палками в крокодилов, заставляя их прятаться в воду: разговаривали о встречах туземках в таком стиле:

— Ну, и женщина, доложу я тебе!.. Как взглянула полуночными глазами, словно пулями пронзила меня!

— Лучше и не говори о ней!.. Толь-

ко улыбнулась она, я сразу почувствовал во всем организме возрождение!

«А на рейде, — продолжает автор, — виднелась эскадра, напоминая, что наша судьба неразрывно связана с нею. В шестом часу вечера, отравленные мимолетной свободой, красотой экзотики, ласковыми улыбками женщин, мы возвращались на броненосец «Орел», чтобы дальше испытывать на нем всю горечь своего обреченного существования. Не лучше ли было бы, не дожидаясь страшной развязки, теперь же разбить голову о камни?..»

«Тропические дни были необыкновенно светозарны, — говорит в другом месте автор, — но они никак не соответствовали душевному состоянию каждого из нас».

То же настроение царило и в офицерском составе. В день прихода эскадры адм. Фелькерзама «в кают-компанию было гораздо больше пьяных офицеров, чем обычно, — замечает автор. — Пили с горя, заливая ликерами душевную опустошенность. Один мичман выкрикивал со слезами на глазах:

— Нас... посылают... на Голгофу!»

В этой главе есть сцена погрузки, вернее подема на палубу, купленных у сакалавов огромных, большерогих, горбатых черных быков местной породы, которых подвозили туземцы на своих пирогах к борту броненосца. Потом их начинали поднимать на шкафут. «Делалось это так: под брюхо подводился двойной строп, расходящийся к таху и подгрудку, затем строп подхватывался гаком, иначе говоря, железным крюком спустившегося с нок-реи гордена, и сейчас же раздавался приказ:

— Слабину выбрать!

Потом следовала более громкая команда:

— Пошел горден!

И животное медленно взвивалось в воздух.

Ошеломленный бык, дрожа, надувался, напрягая мускулы, вытягивая ноги, и пучил большие фиолетовые глаза. Он не понимал, что смерть придет позднее, когда ударят кувалдой по лбу и вонзят в горло нож, но чувствовал ее теперь же всем своим существом...», как чувство-

ал ее и каждый из матросов, добавим вы от себя.

Эта параллель между обреченными матросами и обреченным убийным скопом проведена выразительно.

Уйти от грядущей гибели также нельзя матросам, как и этим сакалавским горбатым быкам. Один из быков, самый сильный, сорвался, уже будучи над палубой, и бухнул в море.

Он вынырнул, но кругом было море, и сам он направился в испуге к хозяйской пироге, ища спасения в ней. А хозяин, торжествуя, накинул на его аршинные рога петлю, сделанную из стропа, и бык снова был поднят, теперь уже за рога, и очутился все-таки на палубе броненосца вместе с другими быками, обреченными на убой.

Около Хелльвиля эскадра стояла долго. Среди матросов появилась было даже уверенность, что эскадра не пойдет дальше, а возвратится в Кронштадт, так как бессмысленно было бы и итти, раз погибла Порт-Артурская эскадра и пал Порт-Артур. Дисциплина на судах расшаталась. В Хелльвиль, маленький, скромный городок, наехали, ища наживы, всевозможные дельцы из соседних более крупных городов. «Под видом торговцев появились и японские шпионы. Нахлынули и проститутки из разных мест, как мужи на разлагающийся труп: француженки, англичанки, немки, голландки. На скорую руку возникали тайные и явные притоны. Закипела жизнь, буйная, расточительная. Офицеры увлеклись игрой в макао, и золото начало тысячами перекочевывать из одних карманов в другие. Цены на товары неимоверно росли... Но не все ли было равно? Люди шли на войну без всякой веры в успех экспедиции. Они пьянствовали и развратничали, хандрили и дебоширили...» Офицеры, ссезжавшие на берег, старались не замечать безобразий матросов, чтобы не натолкнуться на дерзость, а те перестали признавать авторитет начальства. Гуляя по городу, они уже никого не стеснялись и даже грозили офицерам кулаками, а были случаи и избияния их.

Сам адм. Рожественский до того, по-

видимому, был подавлен падением дисциплины, что, отчаявшись в действительности разжалований, карцеров, каторги и дисциплинарных батальонов, стал приговаривать к церковному покаянию.

Команды умудрялись красть ром из судовых запасов и тайком колотить в трюме, свежевать и жарить офицерских свиней.

Два с половиной месяца пробыла эскадра у берегов Мадагаскара, а когда двинулась наконец дальше на восток, матросы узнали ошеломляющую новость: генеральное сражение под Мукденом, длившееся несколько дней, кончилось небывалым разгромом: 30.000 убитых, 90.000 раненых, 40.000 сдавшихся в плен...

Главу «Мадагаскар» Новиков-Прибой кончает так:

«За «Орлом», пока мы не увеличили скорость хода, гнался на пироге сакалав Гришка и, коверкая слова, посылал нам матерные приветствия, а впереди лежал океан—роскошный путь к братскому кладбищу...»

5

Этот путь к братскому кладбищу конечно прошел под знаком падения строевой дисциплины на судах, но общего восстания обреченных все-таки не произошло. Почему? Мы теперь отгетим на это: не было партийного руководства не было надлежащей пропаганды, не оказалось крупных конкретных поводов к восстанию, с одной стороны, и была все-таки общая всем людям надежда на «авось», на то, что «начальство не совсем же без ума, — оно должно понять...» и как-нибудь в самый хотя бы последний момент предотвратит катастрофу, начав например переговоры о мире, раз выяснилось уже достаточно, что ни на суше, ни на море царские войска воевать не могут.

Но попытки к бунтам на отдельных кораблях все-таки были, и их отмечает автор.

Так была слабая попытка заговорить скопом на крейсере «Адмирал Нахимов», на котором почему-то перестали выпекать хлеб и раздавали матросам

сухари. Матросы вышли из повиновения и кричали: «Свежего хлеба нам давайте!» Командир крейсера разрядил сгущенную атмосферу тем, что начал отсчитывать по десяти матросов с фланга и отправлять, переписав их фамилии, в носовую часть корабля. Настроение упало. Матросы разошлись. А на другой день на крейсер прибыл сам Рождественский, чтобы прореветь: «Знал я, что команда здесь сволочь, но такой сволочи я не ожидал!» — и уехать на флагманский корабль.

В последней главе I тома «Цусимы» Новиков-Прибой описывает более подробно и красочно еще два подобных бунта: один — на крейсере «Терек», другой — на броненосце «Орел».

На «Тереке» «кто-то из матросов облил черной краской письменный стол старшего офицера. Тот заподозрел недавно наказанного им машиниста и, угрожая револьвером, пытался вынудить признание. Не добившись признания, запер его в карцер. Матросы «Терека» взбунтовались, требуя освобождения арестованного. Командир крейсера, поняв, что бунт может принять дурной для офицеров оборот, арестованного освободил, а дело обещал разобрать.

Но о бунте на «Тереке» стало известно Рождественскому раньше, чем он окончился, и адмирал прислал миноносец с приказом: «Взорвать крейсер минами и потопить со всем экипажем, если бунт не прекратится».

Приказ этот, как говорится, в комментариях не нуждается.

На «Орле» окончилось несколько иначе. Грозный адмирал приехал сам усмирять бунтующих впрочем только тогда, когда бунт уже окончился полным удовлетворением всех требований матросов насчет улучшения пищи и освобождения одного матроса, сидевшего под арестом.

Это место романа, как нельзя лучше характеризующее Рождественского, — одно из самых выразительных и сильных в I томе.

Приведу начало:

«Молча поднялся на палубу адмирал и, не поздоровавшись с командой, остановился, словно в тяжелом раздумьи.

Огромная фигура его, возвышаясь на целую голову над другими, немного сутулилась. Принадлежность к свите его величества, чин вице-адмирала, звание генерал-адъютанта, положение командующего эскадрой — все это вместе отделяло его от нас, как божество. По своей постоянной привычке адмирал двигал челюстями, словно что-то разжевывая, и медленно скользил сверлящим взглядом по рядам матросов, как будто разыскивал среди них виновников.

«Все на корабле замерло. Люди, казалось, притаили дыхание. Это молчание длилось минуту или две. Наконец тишина взорвалась потрясающим рычанием:

— Из-мен-ники! Мер-завцы!.. Бунтовать вздумали!.. Построиться по отделениям!.. Унтер-офицеры отдельно!

«Раздался топот многочисленных ног.. Сколько раз нам приходилось выполнять такую простую команду, а на этот раз мы путались и шарахались из стороны в сторону, как обезумевшее стадо животных при виде хищного зверя.

«Во всяком случае, он производил на нас впечатление ненормального человека. Он топал правой ногой, размахивая руками, выкрикивал братель, какую не всякий матрос может произнести, называл и броненосец, и команду самыми непристойными именами. Каменными глыбами падали, громяхая, его слова.

— Я не по-терп-лю измены!.. Позорный корабль! Я расстреляю его всей эскадрой! Потоплю на месте.

Мы верили в его могущество. Наша жизнь находилась в его руках.

Адмирал потребовал:

— Дайте мне зачинщиков! Где они, эти разбойники? Подать мне их сюда!

«Офицеры забегали по фронту. Они сами не знали, кто зачинщики. Пришлось хватать того попало.. Наконец офицеры набрали восемь человек и поставили их на середине палубы.

«Началась трагикомедия.

«Адмирал замолчал и долго испытывал их взглядом, переводя его с одного лица на другое. Потом заскрежетал зубами так, точно они были у него железные, и вдруг неистово заорал:

— Вот они, предатели земли русской!.. И ни одного человеческого лица!.. У всех арестантские морды!.. За сколько продали Россию?.. Я вас спрашиваю, за сколько продали родину японцам?..»

Вся картина эта довольно длинна, чтобы ее выписать целиком, и я отсылаю читателя к страницам романа, так как трудно лучше изобразить этого самодура, прибежавшего после громовых нот к тишайшему язвительному шопоту и к мерзкой кулачной расправе, подражая, повидимому, другому известному самодуру — Ивану IV.

Между прочим на эскадре вменялось им в обязанность для судовых священников спрашивать на исповеди матросов: «Как относишься к началству? Не читаешь ли запрещенных книжек? Не знаешь ли на судне политиков, которые идут против царя?..»

6

Описывать сражения—вообще чрезвычайно трудная задача; трудность эта ясна для всякого, и для доказательства очевидного незачем тратить слова.

Русская литература может гордиться великолепным описанием нескольких — не говоря уж о знаменитом Бородинском — сражений в «Войне и мире», с которыми конечно не могут идти в сравнение ни «Описание боя под Прейсш-Эйлау» поэта Дениса Давыдова, ни другие, еще менее примечательные. Но это — бои сухопутные. И хотя русская история знает и морские бои, удачные и совершенно неудачные (истребление русского флота у берегов Швеции при Екатерине II), но описывались удачные из них, как Чесменский и Синопский, только казенными пиитами, а неудачные политично не описывались никем и не воспевались конечно. Перьями журналистов, как Семенов, бар. Таубе, Б. Ш. (и, кажется, Дедлов в «Историческом вестнике»), описывался до нашего автора и цусимский бой.

Подлинная смелость художественного замысла Новикова-Прибоя раскрывается, когда открываешь 2-ю книгу «Цусимы», — вернее часть 2-й книги, издан-

ную под названием «Бегство». Дать морской бой начала текущего века во всем его ужасе и во всем разнообразии ужасов — это самое оригинальное, что вносит в нашу литературу Новиков-Прибой и что обеспечивает за ним свое особое, крупное и прочное место.

Дать незабываемые детали боя на каждом из судов злополучной эскадры Рождественского, тем самым сделать каждое судно неповторяемо живым и близким читателю, заставить читателя переживать каждый новый разрыв неприятельского снаряда на том или ином корабле, как новую рану на чьем-то родном теле, заставить сердце сжаться от боли, когда перевортывается вдруг килем кверху смертельно раненое судно и море его глотает вместе с сотнями людей, которые остались в середине его, и одного за другим глотает людей, которые выбросились и плавают, выбиваясь из сил, а море кругом их кипит от падающих снарядов, — какой большой художественный замысел!

Объявить беспощадную войну войне на море — это была чрезвычайно смелая задача, которую задал себе в пятом году баталер Новиков, а через 25 лет решил писатель Новиков-Прибой.

Он не отваживается придумать детали боя и постепенное умирание такого корабля, как «Александр III», с которого не спасся ни один человек. Но описания гибели «Суворова», «Осляби», «Дмитрия Донского» принадлежат к самым трагическим страницам, какие есть в нашей литературе. Как по-разному умирают эти корабли на глазах читателя и как по-разному погибают на них люди, — десятки, сотни людей, с которыми автор или раньше познакомил, еще в 1-й книге романа, или успеваеt ознакомить за несколько минут до их гибели! Деловито-спокойный тон, в каком ведет автор свое повествование об ужасном, еще более способствует потрясающему впечатлению от этих картин. Сумасшествие спасенных с погибшего «Осляби» матросов, вновь расстреливаемых японскими снарядами на «Дмитрии Донском», — это положительно предел человеческой скорби.

В книге «Бегство» окончательно дорисовывается облик адм. Рожественского, «поставленного на колени» адмиралом Того. Униженный и раненый Рожественский не разбил себе головы о железо каюты миноносца, который его спас, а, напротив, сам пожелал сдать в плен, и весьма живо описано автором величайшее изумление юного командира японского миноносца, который совершенно неожиданно и без боя захватил такую добычу.

Но в книге «Бегство» дано еще несколько прекрасных портретов офицеров эскадры.

Вот Баранов, выставочный парадный командир миноносца «Бедовый», очень богатый, но омерзительно скупой, который перед началом боя получил задание спасти Рожественского в случае гибели броненосца «Суворов» и всячески уклонялся от этого, не рискуя подходить к тонущему судну, боясь обстрела с японских судов. Впоследствии, по желанию адмирала, он взял его с миноносца «Буйный» для того, чтобы сдать в плен японцам вместе с его штабом, вместе со всем экипажем своего отнюдь неповрежденного миноносца.

Вот Коломейцев, столь же бешено нелюбимый Рожественским командир «Буйного», сколь был любим им Баранов. А между тем Коломейцев был человек исключительной энергии, который оказался способен в свое время сделать пешком 900 километров по совершенно пустынной сибирской тундре зимою, чтобы куда-нибудь уйти от начальника полярной экспедиции (в составе которой он был), барона Толя, с которым он поссорился.

Он по своей инициативе и с огромным для себя риском спасает матросов с потонувшего крейсера «Ослябя», мимо которых проходит Баранов на «Бедовом», он же спасает и Рожественского с остатком его штаба. Он же потом, когда «Буйный» потерял всякое боевое значение и возможность добраться до Владивостока, снимает с него и команду, и спасенных ослабцев на крейсер «Донской» и погибает на боевом посту во время неравного боя с японцами.

Насколько автор брезглив, описывая

Баранова, настолько же любовно описывает он Коломейцева и заставляет любоваться им читателя.

Вот Бэр, командир «Осляби», который картинно хладнокровен и только курит папиросу за папиросой во время страшнейшего разгрома своего корабля. Как Тарас Бульба с своего смертного костра, кричит он спасающимся вплавы матросам: «Отплавывайте дальше, братьцы! Как можно дальше плывите, а то затянет!», а сам погибает, не делая никаких попыток к спасению себя, с кровавой раной на лысой голове, с лицом, забрызганным кровью, и с неизменной папиросой в руке, под бешеным, ураганным огнем японцев. А между тем это был службист, очень требовательный к чистоте на палубе судна и даже в трюме, большой любитель хорошо покушать и поволочиться за женщинами. Никто не ожидал от него величайшего самообладания и распорядительности во время такого обстрела.

Вот Лебедев, командир «Донского», решивший дать совершенно неравный бой семи японским крейсерам, лишь бы не сдавать судна, тяжело раненный и потом умерший от ран в Сасебо. Автор дает его так же любовно, как и Коломейцева. Оборончество ли это в узком смысле слова? Нет. Автор пишет всю свою книгу «Бегство», как знаток морского дела, как мастер техники боя, как краснофлотец. Он любовно вылепливает своего Лебедева потому, что «его пример—другим наука».

А вот Блохин, капитан 2-го ранга, которого еще кадеты прозвали «Непоколебимый апломб», спокойно распоряжавшийся боем на «Донском», когда Лебедев вышел из строя, и приведший все-таки на три четверти разбитый корабль в полосу тени от острова Дажелет, скрывший его от выстрелов противника, а потом спокойно распоряжавшийся эвакуацией команды на остров и затоплением крейсера.

Вот прапорщик Курсель, который остался на броненосце «Суворов», имея полную возможность спастись, когда спасали Рожественского и его штаб, остался, из единственной уцелевшей трехдюймовки отстреливался от япон-

ских миноносцев и пошел на дно вместе с подорванными минами своим кораблем.

Детали гибели судов иногда поражают своей непридуманной неожиданностью. например отчаянно визжавшая на «Донском» свинья, каким-то чудом уцелевшая и теперь как бы требующая, чтобы и ее вместе с командой эвакуировали на берег, или этот штрих: матросы «Донского», чуть только обстрел с японских судов закончился за наступившей темнотой, перепились вином, находившимся в трюме (не пропадать же вину!), и потом пьяные бросались за борт и достигали берега вплавь.

Таких деталей, пожалуй, не изобретешь, сидя в своем кабинете. Их нужно было наблюдать кому-то из тех же спасшихся матросов «Донского», запомнить и передать будущему автору «Цусимы».

Рождественского и его состояние после разгрома эскадры Новиков-Прибой прослеживает в «Бегстве» с неослабным вниманием, что и понятно.

Главный виновник Цусимы (в нарицательном смысле), всячески отстаивавший и отстаивавший против других высших чинов морского и военного ведомств свой поход в японские воды, он своей самонадеянностью погубил и флот, и экипажи судов, и вот считавшие его бешеным зверем матросы на своих руках выносили его, раненого, с «Суворова» на «Буйный», с «Буйного» на миноносец «Бедовый», а спасение его организовал самый ненавистный для него из командиров всей эскадры, герой — капитан Коломейцев.

Так рассмеялась над ним История. И последний взрыв ее смеха — серьезно-

го, как может быть серьезен только смех Истории,—книга «Цусима», написанная одним из тех матросов, которых Рождественский не считал за людей

Еще несколько слов для концовки.

Баталеру броненосца «Орел» явилось «откровение в грозе и буре» цусимского боя и сделало его крупным писателем. Он не закончил еще 2-й книги «Цусимы», но вскоре закончит, и что же скажу я ему, когда закончит? Известно, что Потемкин, который был в восторге от «Недоросля», сказал Фонвизину: «Уми, Денис, или больше не пиши: лучшего ты не напишешь!..» Должен ли и я сказать что-нибудь подобное? Нет. Я — не сатрап, я — художник, такие свирепые изречения мне не к лицу. Я скажу совершенно другое.

Цусимский бой не только крупнейший эпизод в истории русско-японской войны, не только одно из величайших морских сражений, какие знает история, это — еще и трагедия большого даровитого народа, придавленного ничтожным бездарным правительством.

Отдав должное внимание этому мрачному прошлому и подведя итоги драмизму в своей «Цусиме», Новиков-Прибой, моряк с острым и цепким глазом, сумеет отыскать в широком море советской действительности новую волнующую тему.

А его художественная зрелость — залог того, что он и на основе материалов из современности (кстати, их ни от кого прятать не нужно) в состоянии создать полотно такого же острого охвата, как и «Цусима».

Москва, 22—27 декабря 1932 г

Литература и искусство

А. Селивановский. Тысяча девятьсот тридцать второй.—2. А. Виноградов. Стендаль в искусство.

1. ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

А. Селивановский

1

Свою статью «Русская литература в 1841 году» Белинский закончил следующими словами: «Вся надежда на будущее. Наука у нас, видимо, принимается; публичное образование развивается на твердых началах, и незаметно, невидимо подрастает новая публика, с просвещенным мнением, с образованным вкусом, с разумными требованиями. Что-то тогда будут делать многие наши «заслуженные и опытные литераторы», когда эта вдруг выросшая публика скажет им: «Пойдите прочь со своими смешными притязаниями; я не знаю вас». — «Да мы написали... мы издали... наши сочинения разошлись... наши книги шли бойко...» — «Да где же они? Давайте их».

В советских литературно-художественных журналах за последние годы оборвалась традиция ежегодных обзоров литературы. Это произошло не потому, что отсутствовали авторы, способные подвести итоги литературного года, и не потому, что в художественной продукции не было значительных произведений, которые говорили бы новые слова в искусстве и вели бы его вперед. Нет, такие произведения были. Они появлялись из года в год. Из года в год повышалось значение советской литературы, как лучшей литературы в мире. Но трудности в ее развитии несомненно были и трудности весьма значительные. Они были вызваны новыми условиями в разворачи-

вании социалистической революции при переходе от восстановительного к реконструктивному периоду, существенными сдвигами в самой литературе, ломкой и изменением творческих установок, деформацией различных литературных течений в огне обострившейся классовой борьбы. Партийная печать, критика, да и сами писатели еще не так давно констатировали растущее отставание литературы от практики социалистического строительства. Во всяком случае, вплоть до начала 1931—1932 г. значительные группы писателей и критиков пытались возместить отсутствие интенсивной творческой продукции — романов, пьес, стихов, критических работ — расширенным воспроизводством резолюций, тезисов, деклараций, «платформ». Для литературной обстановки 1931 года как нельзя более характерным было вмешательство комсомола в групповую борьбу, происходившую в объединении пролетарских писателей. «У вас есть ценный опыт борьбы за пролетарскую литературу, — говорил комсомол руководству РАПП, — в ваших рядах немало талантливых художников рабочего класса, в ваших резолюциях, по нашему мнению, вот это правильно, а вот это неверно. Однако самое важное заключается в том, что вы дадите рабочей молодежи и всему рабочему классу слишком мало хороших произведений. Вы нам показываете томы резолюций. Но от вас требуют книг. Где же они? Давайте их».

1932 год принес здесь решительный перелом. Мы пишем эту статью в конце декабря, когда еще отсутствуют на книжном рынке последние номера литературных журналов, продолжающих и сейчас безнадежно запаздывать. Поэтому из нашего обзора неизбежно выпадают незаконченные печатанием «Невская повесть» Д. Лаврухина, являющаяся продолжением его книги «По следам героя», роман В. Лидина «Великий или Тихий», роман Ольги Форш «Якобинский заквас», научно-утопический роман М. Козакова «Время плюс время», посвященный жизни социалистического общества, роман Л. Соболева «Капитальный ремонт», повесть К. Финна «Большие дни», роман И. Евдокимова «Архангельск» и некоторые другие произведения, с которыми мы не могли предварительно ознакомиться в рукописи. Мы пишем, далее, о литературном годе, в течение которого ряд крупнейших писателей либо не публиковал своих произведений, либо давал в печать отдельные, не всегда характерные для них отрывки, небольшие очерки и т. д. Достаточно назвать нижеследующие имена, чтобы понять, какой значительный отряд советской литературы был в истекшем году фактически на положении творческого резерва; мы назовем имена прозаиков: И. Бабеля, В. Бахметьева, А. Белого, К. Большакова, В. Герасимовича, Б. Галина, Ю. Германа, В. Дубровина, И. Жиги, М. Зощенко, Вс. Иванова, В. Ильчикова, Б. Иллеша, А. Караваевой, Б. Лавренина, Ю. Либединского, А. Малышкина, А. Митрофанова, Г. Никифорова, Ю. Олеши, Ф. Панферова, М. Пришвина, Л. Сейфуллиной, А. Серафимовича, М. Слонимского, П. Слетова, В. Ставского, А. Толстого, Ю. Тынянова, К. Федина, М. Чумандрина, М. Шагинян, И. Шухова... Большинство названных нами писателей будет публиковать свои новые вещи в 1933 году, некоторые же из них появлялись в печати и в 1932 году, — так например напечатаны первые главы из новой книги В. Ставского «Зарницы», свежие и бодрые новеллы Вс. Иванова и отрывки из его романа «У», несколько

рассказов И. Бабеля, отрывки из романа Ю. Либединского «Говорит бригада Власова» и т. д. Но все это можно назвать скорее творческими репликами, чем основными творческими выступлениями.

И все же так обильна и значительна продукция советской литературы в 1932 году, так несомненны ее успехи, так разнообразны ее идейно-творческие пути, так насыщена напряженными исканиями творческая атмосфера, так поучительны итоги года, что материалов продукции этого года с избытком хватило бы на несколько годовых литературных обзоров. Веселые и острые сатирики Ильф и Петров недавно писали о наличии у критики обойм, куда систематически вкладывались стандартные имена пяти-семи общепризнанных писателей и пяти-семи общепризнанных произведений. Но сейчас любой критик, сколь бы ни было стандартно его мышление, сколь бы осторожно ни подходил он к оценке литературных явлений, уже не сможет обойтись одной единственной «обоймой». Новые имена, новые тенденции, новые качества произведений ломают сейчас сложившиеся в критике схемы и традиционные определения. Поэтому не будем заранее перечислять успехи года: для такого перечисления потребовалась бы гигантская «обойма», какой в действительности не существует. Отметим пока лишь два обстоятельства, имеющих прямое отношение к тому, о чем будет идти речь дальше.

Во-первых, читатель вероятно заметил, что в перечне писателей, выпавших из настоящего обзора, очень много имен писателей, входивших в РАПП. В этом обстоятельстве повинна прежде всего общая обстановка, сложившаяся в РАПП к моменту ее ликвидации и отвлекавшая значительные творческие кадры организации от их прямого писательского назначения. Не будь такой обстановки, пролетарская литература была бы представлена в итогах года несравненно полнее.

Во-вторых, в творческих итогах года почти отсутствуют произведения

тех писателей, которые в последнее время занимали наиболее далекие, а иной раз и враждебные пролетариату позиции. Таков например Е. Замятин, единственным произведением которого в 1932 году было письмо в редакцию «Литературной газеты», где Замятин опровергал отчеты об его выступлениях в Праге, помещенные в чехо-словацкой коммунистической печати. Таков и Андрей Платонов. Таков и С. Буданцев, напечатавший лишь «Этюд к рассказу о труде». Примерно такой же была литературная позиция С. Сергеева-Ценского и Пантелеймона Романова. Писатель крупного дарования, Сергеев-Ценский напечатал два своих новых произведения — рассказ «Устный счет» и повесть «Стремительное шоссе», — произведения, которые на общем фоне творчества этого писателя иначе как отписками назвать нельзя, настолько ясна их идейная незначительность (особенно относится сказанное к «Устному счету»). Пантелеймон Романов, который в своих очерках в «Известиях» — пусть с рядом ошибок, неясностей, недоговоренностей — стремился публицистически воспроизвести панораму социалистической стройки, в своих художественных, а вернее антихудожественных новеллах, помещенных в «Красной нови», дал лишь сотый, если не тысячный вариант мелкоотравчатых зарисовок обывателей и приспособленцев, — зарисовок, хорошо нам знакомых по прежним рассказам Романова и по его роману «Товарищ Кисляков», подвергнутых в свое время суровой и справедливой критике.

Является ли причиной такого косноязычия этих — немногочисленных — писателей трудность внутреннего перелома и идейного перевооружения, когда писателю приходится многое продумать заново и многое изменить в своем творчестве вплоть до манеры письма, или же такое косноязычие прикрывает желание отсидеться на прежних позициях, — покажет ближайшее будущее.

Как бы то ни было, большой творческий подъем в советской литературе неоспорим.

Мы вынуждены в дальнейшем ограничиться продукцией только русского отряда литературы СССР, хотя — в соответствующих вариантах — этот подъем происходит во всех национальных секторах советской литературы. Но у нас до сих пор нет журнала на русском языке, целиком посвященного культуре и литературе народов Советского Союза, — но наши журналы почти не печатают произведений писателей Украины, Закавказья и т. д., — но московская «Литературная газета» попрежнему не информирует нас о литературной действительности вне пределов Москвы и Ленинграда, — но наши издательства попрежнему некультурно, небрежно, случайно и с большим запозданием издают на русском языке произведения писателей народов СССР, — одним словом, еще не ликвидировано то, о чем так настойчиво говорили делегаты первого всесоюзного пленума оргкомитета Союза советских писателей.

Что же подняло волну творчества в советской литературе? Здесь мы прежде всего видим отражение в литературе успехов социализма в нашей стране. Изменилось лицо страны — изменилась и литература ее. Полного и небывалого в истории расцвета искусство достигнет на почве уже бесклассового социалистического общества. Но уже в период строительства социализма, когда в стране происходит ожесточенная классовая борьба с последними остатками эксплуататорских классов, — уже в этот период советская литература становится лучшей литературой в мире. Литературные итоги 1932 года являются ответом на еще недавние сомнения некоторых советских писателей о том, не убивает ли социализм искусство. «Есть два мира: старый и новый, — а это что за мир? Мир третий, мир искусства? — спрашивал Олеша в «Вишневой косточке». «И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудной клеткой?» — писал Пастернак. «Нужно умереть, чтобы быть открытым» — говорил Каверин об искусстве социализма в книге «Художник известен»

«Страна в начальной стадии культуры может беречь только то, что выдвигается в каждый данный момент как насущно полезное» — вторила ему Ольга Форш в «Сумасшедшем корабле», предполагая, что социалистическая страна «в начальной стадии» культуры мало заинтересована в судьбах, в укреплении, в развитии искусства. Такие же (или близкие к ним) мысли можно встретить и в «Визе времени» И. Эренбурга.

Нужно ли сегодня спорить с такой точкой зрения, спорить обстоятельно и подробно? К чему? О ней следует лишь упомянуть: это будет поучительно. И если нам скажут: «Назовите же факты, разбивающие наш пессимизм», мы ответим «Вот он, основной факт, — литература советской страны за последний год первой пятилетки, выполненной в четыре года».

Итак, побеждающий и победивший социализм не мог не взволновать и творчески не оплодотворить — своими идеями, как и своей практикой, — советскую литературу. Но в самой литературной среде — а литературная среда оказывает огромное воздействие на творчество писателя — было много нездорового, уродливого, отжившего, мешавшего нормальному развитию искусства. 23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) принял свое, исторического значения, решение о перестройке литературно-художественных организаций и ликвидации РАПП. Глубина и значение этого решения, основанного на глубочайшем анализе путей развития советской литературы, все с большей силой раскрываются по мере того, как заново ставятся коренные теоретические, творческие, литературно-политические проблемы искусства. Нужно сказать, что решение ЦК не было во всем объеме своевременно и правильно понято большинством работников бывшей РАПП, многие из них объективно препятствовали реализации этого решения¹⁾. И лишь к моменту всесоюзного пленума оргкомитета (октябрь—ноябрь 1932 г.) большинство руководящих работников бывшей

РАПП, сломав групповщину, вновь начало активно бороться за линию партии в литературе.

Партия, принимая свое решение 23 апреля, основывалась на двух важнейших фактах нового этапа литературного развития: на росте кадров пролетарской литературы и на повороте в сторону пролетариата большинства беспартийной советской писательской интеллигенции. Никому не удастся зачеркнуть большой положительный опыт пролетарских писателей, сложившихся в особую организацию, подде живавшуюся партией на прежнем этапе... Сплачивая кадры пролетарских писателей, борясь за большое искусство пролетариата, разоблачая антиленинскую сущность теорий таких недавних «властителей дум», как Воронский, Переверзев, теоретики «Лефа» и «Литфронта», РАПП делала полезную и нужную работу.¹ Здесь наследство РАПП, очищенное от ошибок, входит в инвентарь нового единого союза советских писателей.

Но в новых условиях (партия об этом сказала очень четко) РАПП стала превращаться «из средства наибольшей мобилизации советских писателей... вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству».

Иными словами, РАПП не поняла новой обстановки. А важнейшим в этой обстановке является следующее: гегемония пролетариата в литературе уже завоевана в том смысле, что идеи социализма стали регулятором творчества огромного и все растущего большинства советских писателей. В самом деле, сравним продукцию писателей, носивших название «попутчиков», в 1927—1928 г. и раньше с продукцией тех же писателей в 1931—1932 годах. Сравним «Вор» и «Соть» или «Скутаревский» Л. Леонова, «Растратчики» и «Время вперед» В. Катаева

¹⁾ Сказанное относится и к автору настоящего обзора

«Красное дерево» и «О-Кей» Б. Пильняка, «Особняк» и «Путешествие в страну, которой еще нет» Вс. Иванова и так далее, и тому подобное. Если раньше — а в особенности на грани восстановительного и реконструктивного периодов — для значительной части попутнических произведений были характерны идеи, выражавшие непонимание политики партии, а порою вступавшие в прямую полемику с последними, — то есть выражавшие прямо или косвенно давление буржуазной идеологии (самый наглядный тому пример «Красное дерево» Б. Пильняка), — то сейчас те же писатели стремятся выражать в своих произведениях — порою, как мы увидим дальше, совершая те или иные ошибки, проявляя еще те или иные колебания, — идеи социализма.

Вот почему мы говорим о том, что гегемония пролетариата в литературе осуществлена.

Но ежели так, то проблема гегемонии окрепшей пролетарской литературы, то есть литературы, осознанно, без колебаний и до конца отдающей свои силы и возможности делу окончательной всемирной победы социализма и кладущей в основу своей работы принципы ленинской партийности, встает перед нами как практически назревшая проблема ближайших исторических сроков.

Некоторые весьма незначительные прослойки писателей попытались «разъяснить» решение ЦК в духе «перевальской» теории «единого потока в литературе», в духе мифической всеобщей идейной амнистии, в духе «либерального» попустительства. Иногда это было выражением политической наивности, чаще же всего — маскировкой. Продолжается, а в отдельные моменты и на отдельных участках и обостряется классовая борьба в стране, продолжается она и в литературе. Она идет в условиях уже явного и закрепленного перевеса сил социализма, при наличии союза пролетарских писателей, писателей-коммунистов с беспартийными советскими писателями, все ближе подходящими к партии, все более органиче-

ски сближающимися с ней, создающими большое искусство социализма.

2

Когда мы, подводя итоги истекшего литературного года. (а в этом году подводились и более широкие итоги: за пятнадцать послеоктябрьских лет), утверждаем, что советская литература — лучшая в мире, мы вовсе не впадаем в головокружение от успехов. Развитие советской литературы отнюдь не похоже на сплошной триумф, в нем есть немало провалов, а наличные достижения, взятые в проекции больших перспектив, лишь отдаленными зарницами напоминают нам о вершинах искусства социализма. С другой стороны, очень вреден наплевательский «нигилизм», начисто зачеркивающий современную западноевропейскую и американскую литературу, — нет, и у нее можно и необходимо многому поучиться, извлекая полезное не только у друзей, но и у кое-кого из врагов. Но мы говорим об общем тоне буржуазной литературы сегодняшнего дня, о процессе ее непрерывного измельчания, о царящей в ней посредственности, об ее автоматизации, о том, как все это, вместе взятое, калечит отдельные крупные дарования, еще имеющиеся в ней.

В сущности, закат буржуазного искусства с различных исходных позиций предугадывался крупнейшими умами буржуазной культуры еще в то время, когда эта культура только находилась на подъеме. О закате искусства писал Гегель. Стендаль говорил: «Итальянское искусство упало с высоты вовсе не потому, как обычно полагают, что его покинуло «великое дыхание средневековья», что ему недостает гениальных творцов, — это неверно, так как гений всегда живет в среде народа, как искра в кремне, — необходимо лишь стечение обстоятельств, чтобы эта искра вспыхнула из мертвого камня. Искусство пало потому, что нет в нем той широкой мировой концепции, которая толкала на путь творческой работы прежних художников». Гете

в «Вильгельме Мейстере», противопоставляя науку искусству, утверждал, что «распространение искусства порождает лишь копательство». А в 1832 году, незадолго перед смертью, старческой рукой он написал четверостишие:

Друг, заметь то нерушимо:
В век, где смысл и дух растут,
Муза может быть водима,
Но сама уж не ведет

Все эти предсказания заката подкреплялись в ряде случаев сложными идеалистическими философскими построениями, утверждавшими приоритет философии как высшей формы развития человеческого духа, отрицавшей и «снямавшей» искусство как форму низшую. Однако суть была в другом, в том, о чем впоследствии писал Маркс: в принципиальной несовместимости капиталистического способа производства с некоторыми видами духовного производства, как например поэзия. И вот — сейчас, когда капиталистическая культура отбрасывает самое себя на столетия назад, когда — начатая Шпенглером — поднимается волна похода против техники, против разума вообще, когда из различных пор буржуазной культуры выползают химерические чудовища средневековых подземелий человеческого духа, — в это время, употребляя слова Стендаля, никакая широкая мировая концепция не может толкнуть на путь творческой работы буржуазное искусство, ибо такая концепция принципиально уже невозможна для него.

Недавно помещенный в «Известиях» фельетон И. Эренбурга о лице сегодняшней французской буржуазной литературы приобретает особый интерес. «По одну сторону ворот Негорелого, — писал Эренбург, — люди теперь учатся думать, они учатся, сжав зубы и стянув потуже пояс, они учатся упорно и героически — думать, думать и думать. По другую сторону ворот люди заняты другим: они когда-то думали, теперь учатся другому — они учатся не думать... Вчера я был в большом книжном магазине. Я не нашел ни одного сборника стихов: стихов больше не пишут, это требует душевного напря-

жения, и это к тому же никак не оплачивается. Поэты вымерли... Конечно и во Франции имеются свои праведники. Но это или старики, или подростки. То поколение, которое теперь должно было бы писать и творить, отказалось от груза мысли».

Через всю повесть Бориса Лапина «Подвиг» звучит как постоянный рефрен гнусавый мотив патефонной песенки Пата Виллоугби, облетевшей и завоевавшей весь мир. Песенка выдуманная изобретательным Б. Лапиным, но она очень искусно передает философию жизни и искусства, как она раскрывается в многочисленных произведениях многочисленных писателей современной буржуазии — сколько их, до русских белогвардейцев включительно, приходит на память, когда вчитываешься в строки выдуманного Пата Виллоугби! Вот кусок этой песенки

Молодой неизвестный человек,
Он отпраздновал сегодня двадцать лет
Он просто очень тихий человек,
Он не маклер, не убийца, не поэт.
Он готов любой подвиж совершить,
Он готов любую подлость показать,
Чтобы только грош счастья получить,
Чтобы ужин с бургундским заказать
Слышишь—чей там голос пенью гомонит?
Всюду ливень, всюду сон и легкий плеск.
Я не буду ни богат, ни знаменит,
Если я не столкну вас с ваших мест
Это счастье я с кровью захвачу
Это счастье я вырву из земли
Я хочу быть великим. Я хочу
Быть великим. Я хочу.. Быть.. Вели..

И еще:

Слышал я крик и слабый плеск,
Видел пляску струй, дым кирпичных рош.
О, пение сквозь дождь, пение сквозь
плеск,
Пение сквозь сон, пение сквозь дождь...

Вдумайтесь в этот ректифицированный отбор изобразительных средств, в этот задыхающийся от фашистской зависти к конкурентам ритм искусства, освобожденного от груза мысли, во всю эту предельную опустошенность души, сопоставьте все это с оглушающим стилизованным джазом другой части буржуазного искусства или с ремесленническим деланием по готовому стандарту авантюрных, колониальных, семейно-народнических романов, повестей, но-

велл, словом, со всем тем, что составляет основной массив сегодняшней буржуазной литературы, и вы поймете, как велика пропасть, отделяющая советскую литературу от ее враждебного сверстника, буржуазной литературы, и вы поймете, как велико и плодотворно было и есть значение борьбы за мировоззрение, за мысль, за «широкую мировую концепцию» в искусстве.

Социалистический реализм как ведущая творческая тенденция в советской литературе есть одновременно и данность, и задание. Социалистический реализм есть данность, поскольку ряд ведущих произведений советской литературы показывает на практике побеждающую жизненную силу социалистического реализма. Он есть в то же время задание, поскольку во всем объеме стиль социалистического реализма еще не создан, не раскрыт, не созрел.

В 1932 г. в журнале «Литературное наследство» были опубликованы высказывания Маркса и Энгельса об искусстве и литературе, имеющие самое непосредственное отношение к проблеме социалистического реализма. Некоторые из этих высказываний уже приобрели широкую известность, например замечание Энгельса о правдивости деталей и о верности передачи типичных характеров в типичных обстоятельствах, как о признаках реалистического искусства. Известны также замечания Маркса о Шекспире и Шиллере. В связи с ними и развивая их, находится другое замечание Маркса и Энгельса. Давая оценку книгам А. Шеню и Л. де-ла-Одда, посвященным революции 1848 года, Маркс и Энгельс писали: «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения, до революции ли, в тайных обществах, или печати, после нее ли в качестве официальных лиц, были наконец изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной яркости. Все существующие описания никогда не рисуют этих лиц в их реальном виде, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы В

этих преобразенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Итак, Маркс и Энгельс в конкретно исторических условиях были за Шекспира против Шиллера, за Рембрандта против Рафаэля, то-есть за реалистическую правдивость против романтической, мистифицирующей, ложной красоты. Но Маркс и Энгельс выступали и против другой литературной тенденции — против натуралистического крохоборства, против рабского, бесперспективного, неодоухотворенного копирования деталей, передающих лишь внешнюю видимость явлений и потому искажающих последние. Продолжая свои замечания о книгах Шеню и де-ла-Одда, Маркс и Энгельс писали: «В отличие от этого оба рассматриваемых произведения убирают котурны, в которых обычно являлись до сих пор «великие мужи» февральской революции; они забираются в частную жизнь этих господ, показывая их нам в неглиже, со всеми окружающими их подручными самого различного рода. Но тем не менее они крайне далеки от действительного правдивого изображения лиц и событий» (т. VIII, стр. 293).

Следовательно, ликвидация «котурн» и «ореола» сама по себе еще не ведет к реалистической правдивости. На этом примере еще раз подтверждается и варьируется энгельсовская формула о соединении правдивости деталей с передачей типичных характеров в типичных обстоятельствах, что возможно лишь при наличии у писателя широкой мировой концепции.

Подходя с позиций социалистического реализма к оценке произведений советских писателей, мы руководствуемся двумя важнейшими критериями. Первый из них — это критерий правдивости, то-есть объективного соответствия изображенного изображаемому. Художник, враждебно относящийся к облеченному в плоть и в кровь реальности социализму, не может сейчас не фальшивить, то-есть не

может удержаться на высоких художественных позициях, где фальшь невозможна.

Мы берем понятие правдивости прежде всего в этом объективном значении, не подменяя его «перевальской» субъективной искренностью.

Конечно подлинный художник не может лгать самому себе. Всякое подлинное искусство субъективно — искренно и честно. Но трудности возникают лишь вслед за этим. Оставаясь субъективно-искренним, художник может объективно и сказать действительность, если он отстаивает идеи, противоречащие процессам, происходящим в объективной действительности. Так случилось и со многими художниками-реалистами прошлого, и разве мы не видим существенного искажения действительности даже у Льва Толстого или Золя, не говоря уже о Достоевском, о Лескове, о романистах и пр.?

Второй критерий, которым мы руководствуемся, это — критерий вооруженности произведения революционной энергией. Зеркально-мертвенный, бесстрастный, хотя бы внешне и вполне точный, слепок с действительности еще не ведет нас к социалистическому реализму. Правдивость художника социалистической революции — это активная волевая правдивость участника событий, и творчество такого художника — не сэмка топографической карты, а насыщенная всеми эмоциями, сверкающая всеми красками живой действительности проповедь, борьба за идеи социализма.

Этого-то часто и не хватает многим нашим писателям, весьма близким к реализму. И именно за это настойчиво ратует А. М. Горький, выдвигая вопрос о революционном романтизме, который бы не противоречил реализму, как это было в истории литературы, а развивал бы его, обогащал, поднимал на высшую ступень, тем самым превращаясь в его неотъемлемую составную часть, либо соседствуя с ним как близкая ему творческая струя. И когда мы говорим о революционном романтизме, следует прежде всего вспомнить написанное

Горьким в 1928 г. о романтизме как «проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно».

3

Ознамливаясь с советской литературой в 1932 году, мы убеждаемся, как мало мы ее знаем и как много на ее карте белых пятен и устарелых данных.

Значительная часть советских писателей ходит с созданными критикой репутациями, которые либо уже устарели (потому что изменился характер творчества писателя, оно обрело новые качества и утратило старые), либо же были неверны и в прошлом.

Вот один пример, свидетельствующий о том, насколько плохо знаем мы советскую литературную действительность. В 1931 и 1932 г. в первые ряды советской прозы вышел ряд писателей, ранее малоизвестных, либо совершенно неизвестных широкому советскому читателю. Начались разговоры о «молодой прозе», при чем к числу «молодых» прозаиков наряду с такими писателями, как Шалва Сослани, или Ю. Герман, или А. Митрофанов, действительно недавно вошедшими в литературу, многие критики влопыхах отнесли и Я. Шведова, и Б. Лапина, и Е. Габриловича, забыв о том, что Я. Шведов участвует в литературе уже около десяти лет, что у Б. Лапина — около полдюжины книжек, что Е. Габрилович уже в 1924 году входил в группу конструктивистов и что критика, запасшись одной единственной «обоймой» устаревшей конструкции, попросту не замечала в литературе никого, кроме традиционных «столпов».

Но проблема «молодой» (или — точнее — новой) прозы действительно существует. Помимо естественного, всегда в литературе происходящего процесса брожения, отмирания одних творческих ростков и зарождения других, мы присутствуем сейчас при распаде творческих школ, сложившихся на прежнем

этапе литературного развития, и при рождении новых. На постовская группа не только распущена как литературно-политическое объединение,—она распалась и как объединение творческое, хотя в ее творческих взглядах было много ценного и плодотворного. Но отбор наследства возможен только при разрешении новых проблем, а здесь лишь ищутся пути, вспыхивают первые, еще неотчетливые дискуссии. За последние годы окончательно распалась и фактически существовавшая до последнего времени как творческое содружество ранне-попутническая группа «Серрапионовых братьев»,—в нее входили в свое время такие полярные теперь по творческим устремлениям писатели, как Тихонов и Слонимский, с одной стороны, и как В. Каверин—с другой. Нет и следа от творческой платформы конструктивизма. Только «Л е ф» делает тщетные попытки вновь, хотя бы частично, гальванизировать прежнюю свою платформу. Все находится в движении, в процессах взаимопритягивания и взаимоотталкивания, и уже намечаются кое-какие признаки образования на новых основах соревнующихся между собой творческих течений. В этой связи законен вопрос и о «новой прозе». Но анализ намечающихся творческих образований—а такой анализ неизбежно должен явиться дискуссионным—предмет особой статьи.

Перед переходом к конкретному анализу отдельных произведений, наиболее заметных либо своими достоинствами, либо своими ошибками, сделаем несколько общих замечаний о литературе в 1932 году.

Нам думается, что в поисках социалистического качества искусства, нового содержания, ломающего старую форму, и новой формы советская литература в ряде своих лучших произведений вступает на путь новаторства. Говоря о подлинном социалистическом новаторстве, мы заранее отвергаем формалистское экспериментаторство, вырастающее на основе поисков новых приемов композиции, сюжета, метафоры, эпитета, ритма или рифмы в поэзии—отрешенно от задания, за-

мысла, идеи художественного произведения. Новая форма, соответствующая социалистическому содержанию в искусстве, рождается тогда, когда это содержание ссыскивает неизвестные прежней литературе изобразительные средства для своего выражения, и здесь путь новатора оказывается трудным, чреватым ошибками, но в конечном счете благодарным путем. У нас еще сильны архаически-консервативные тенденции в литературе, но они все более вскрывают свою непригодность для разрешения новых задач. Наоборот, для литературной продукции 1932 г. характерна именно ломка традиционных литературных категорий. Возьмем для примера одну только область—жанровую—и в этих пределах ограничимся судьбой очерка.

В те времена, когда советская литература переживала наибольшие трудности перестройки, люди, склонные к литфронтским идеям ликвидации искусства, выдвигали положение о ведущей роли очерка, об его авангардной роли. Истекший год наглядно показал, насколько необоснованны и необедительны были апологетические восхваления очерка как жанра, в первую очередь призванного преодолеть отставание советской прозы. Можно отметить, что на общем литературном фоне очерк заметно потускнел, очерковые отделы в журналах сузились, сжались,—очерк был частично вытеснен другим художественным материалом.

Хотим ли мы этим сказать, что очерк в нашей литературе играет второстепенную роль? Нет. Неудача многочисленных очерковых книг и отдельных очерков вовсе не свидетельствует о смерти или загнивании очеркового жанра. Что же произошло? Во-первых, дифференциация очерка. В журналах и газетах закрепился очерк как злободневная художественная зарисовка различных событий, стоящих в порядке политического, хозяйственного, культурного дня. Значительно развился краеведческий очерк, знакомящий читателя с нашей страной,—очерк, имеющий немалое познавательное значение. Развивается также и публицистический очерк, очерк-памфлет,—таков

например помещенный в «Октябре» памфлет Г. Киша, посвященный Гитлеру. Здесь очерк прямо смыкается с публицистикой. На ряду с этим очерк входит в фельетон, — таков ряд блестящих работ М. Кольцова — об Испании, о Германии и. пр.

Во-вторых, — и это самое важное, — элементы очерка ворвались в так называемую «большую литературу» — в роман, повесть, новеллу. Потесненный на последних страницах журнала, очерк частично переселился на первые его страницы, дополнительно разрушая классификацию жанров, данную в старых учебниках литературы. Сплошь очерков — «американский роман» Б. Пильника «О-Кей». В. Ставский, начав в первой своей книге «Станица» с «чистого очерка», в «Разбеге» и «Зарницах» своеобразно соединяет элементы документального, основанного на выверенном фактическом материале очерка с элементами художественного вымысла. В романе Шолохова о колхозном движении «Поднятая целина» в ряде глав явно чувствуется перо очеркиста, как и в «Трех новеллах» Д. Станова, рисующих образы новых людей нашего времени, коммунистов-строителей казахстанских совхозов.

Такая экспансия очерковых элементов в другие виды литературных произведений, кое-когда свидетельствуя о недостаточном проникновении художника в действительность, о линии наименьшего сопротивления, в целом играет положительную роль, помогая насыщению романа подлинно актуальным материалом. Сейчас элементы очерка порой ощущаются в романе как инородное тело, но они вживутся, органически впадутся в новый роман. О том, насколько неприменимы для оценки конкретных литературных явлений старинные жанровые категории, свидетельствуют например «Баррикады» П. Павленко — роман о Парижской Коммуне. Ясен замысел «Баррикад», отчетливо его художественное значение. Но попробуйте подвести «Баррикады» под одну из старых жанровых рубрик. Это — не роман, не повесть, не хроника, не дневник, — хотя

элементы названных жанров имеются в «Баррикадах», — но и не механическое их соединение, а новый вид произведения, заслуживающий в этом плане самостоятельного разбора.

Нам думается, что поиски новаторства (и в частности жанрового новаторства) вызываются прежде всего углублением подхода советского художника к действительности и расширением его тематики. В самом деле, еще не освоив многие первостепенные тематические области, советская литература в 1932 г. несравненно расширила свой тематический кругозор. Мы встречаем в прозе многочисленные произведения, посвященные осмыслению прошлого империалистической и гражданской войны и, к сожалению, в меньшем объеме — современному этапу укрепления социалистической обороны. Назовем вторую книгу «Последнего из Удэге» А. Фадеева, «Россию, кровью умытую» А. Веселого, «Капитальный ремонт» Л. Соболева, «Войну» Н. Тихонова, «Горный поход» Б. Горбатова. Попутно с этим советский писатель устремляется к исторической тематике, стремясь осветить различные этапы прошлой истории человечества с точки зрения современности; таковы: «Цусима» Новикова-Прибоя, «Баррикады» П. Павленко, «Черный консул» А. Виноградова, «Партионцы» С. Мстиславского, «Рулетенбург» Л. Гроссмана. Мы читаем произведения о социалистическом строительстве, о том, как меняется лицо страны, как воздвигаются на пустырях гигантские социалистические новостройки, как безвозвратно уходит в прошлое «идиотизм деревенской жизни», и деревня идет по дороге социалистической переделки: назовем здесь «Поднятую целину» М. Шолохова, «Человек меняет кожу» Б. Ясенского, «Время вперед» В. Катаева, «Египтянин» А. Саргиджана, «Сталинабадский архив» Б. Лапина и З. Хацревина и новеллы Хацревина, «Четыре рассказа» Е. Габриловича, «Кара-Бугаз» К. Паустовского, «Речи рек» Ш. Сослани, «Энергию» Ф. Гладкова. «По-

иски отечества» Я. Шведова, вторую книгу «Девок» Н. Кочина, «Казачий хутор» И. Макарова, «Срок» Г. Дальнего. Ряд писателей продолжает разрабатывать тему интеллигенции в ее отношениях к социалистической революции—Л. Леонов в «Скутаревском», Л. Никулин во «Времени, пространстве, движении», Н. Огнев в «Трех измерениях», Н. Зарудин в «Тридцати ночах на винограднике», Б. Левин, Д. Еремин и др. «О-Кей» Б. Пильняка, «Москва слезам не верит» И. Эренбурга, «Подвиг» Б. Лапина, «Республика на замке» В. Кнехта посвящены империализму, взятому в различных разрезах. Разумеется, приведенное здесь разграничение крайне условно.

Расширение тематического диапазона советской литературы очевидно. Особо следует отметить значительную ее интернационализацию и во времени, и в пространстве. Во времени—в смысле роста внимания к мировой истории, в пространстве—в смысле роста внимания к жизни народов и областей Советского Союза. В русской советской литературе в 1930—1931 году прошла волна туркменистанской тематики—результат поездки в Туркменистан бригады писателей «Известий»: таковы «Кочевники» Н. Тихонова, «Путешествие в Туркменистан» П. Павленко, «Саранчуки» Л. Леонова, «Повести бригадира Синицына» В.с. Иванова, стихи В. Луговского и Г. Санникова. В 1932 году мы можем отметить ряд произведений о Таджикистане: «Человек меняет кожу» Б. Ясенского, «Бухара» и «Египтянин» А. Саргиджана, «Сталинабадский архив» Б. Лапина и З. Хашревина, «Весна в Таджикистане» Т. Дубинской.

Тематическое расширение и углубление идейности советской литературы, естественно, приводит к все большему иссякновению кабинетно-замкнутого творчества, отгороженного от живой действительности. Художественное произведение рождается в результате внимательного изучения реальных процессов, происходящих в

стране, а в других случаях, например в историческом романе, творческий художественный процесс сближается с научно-исследовательским. Так, для того, чтобы написать «Баррикады» или «Черный консул», писателям пришлось перевернуть и заново осмыслить труды исторических материалов, книг, документов, журналов, мемуаров, писем, протоколов, частично нигде еще не опубликованных. Все это дополнительно осложняет работу критиков.

С критикой же—как бы это помягче сказать?—дела у нас обстоят—ох, как неважно! На критику в обиду и писатель, и читатель. Ни как орудие включения художественной продукции в культурное обращение масс, ни как центр, осмысливающий богатый творческий опыт писателей, критика наша никак не поспевает за художественной продукцией. В 1932 году не появилось ни одной серьезной критической работы, посвященной современной литературе. Нет марксистской истории эстетических учений. Нет учебников по истории прошлой и современной литературы. А между тем рост потребностей в критике—огромен. Одновременно усложняется и характер работы критика, вызванной усложнением характера художественного творчества. Критике сейчас более, чем когда бы то ни было, требуются высокая культура марксизма, без которой невозможна высокая непосредственно-эстетическая культура, глубокое знание реальной действительности, а кроме того, и необходимые специальные знания: попробуйте например подвергнуть всестороннему критическому анализу роман А. Виноградова «Черный консул»—без знания новейших работ по истории Великой Французской революции или «Поднятую целину» М. Шолохова—без знания путей колхозного движения.

Одно из узких мест литературного развития сегодня здесь: в критике.

4

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных произведений. Будем идти от образов прошлого к образам настоящего.

Посмотрим, как раздвигались историко-тематические границы советской литературы, как она осмысливала прошлое с точки зрения социалистического сегодняшнего дня.

Перед художником-историком встают здесь немалые трудности. Он должен воспроизвести колорит изображаемой эпохи, соблюдая верность историческим деталям, и в то же время подойти к этой эпохе по-новому, с позиций социализма, разрушая вековые легенды и вековую ложь, накопленную буржуазно-феодальным историческим сознанием.

В советской поэзии 1932 года имеется один пример, показывающий, как не следует обращаться к истории,—поэма Б. Пастернака «Волны». Путешествие по Кавказу стало поэту поводом для ряда мыслей о современности в ее связи с прошлым.¹ Однако как же понимает поэт прошлое? Захватническую, грабительскую колонизацию Кавказа войсками царизма поэт изображает так:

... В неизбежное насилие
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Невиданную на войне
Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?
Страны не знали в Петербурге
И, злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке.
За чортову его любовь.
Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери,—но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.

И мудрено ли, что, изобразив колонизаторов и поработителей Кавказа как людей, которыми и, быть может, движет влюбленность в неведомую и прекрасную страну, поэт пишет о сегодняшнем Кавказе:

... В эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад..¹).

¹) Поэзия 1932 года не входит в наш обзор. Сказанное о Б. Пастернаке, разумеется, не исчерпывает его творчества, очень плодотворного в 1932 истекшем году и раскрывающего ряд черт, значительно приближающих его к пролетариату, несмотря на заторможенность его эволюции.

Прошлое с точки зрения современности отражает в романе «Черный консул» А. Виноградов. На фоне событий Великой французской революции, термидора и бонапартизма он показывает национально-освободительное движение негров и мулатов в колонии Франции—на островах Сан-Доминго. Этот малоизвестный широкому читателю эпизод сам по себе глубоко трагичен и вызывает огромный интерес. Заслуга Виноградова не только в том, что он воссоздал образ «черного консула», вождя движения на острове Сан-Доминго, Туссена Бреда, его сподвижников, его друзей и недругов на континенте. Заслуга А. Виноградова в том, что он вскрыл классовую ограниченность буржуазных идеалов французской революции, ее «Декларации прав человека и гражданина», ее собственнический характер. Особенно наглядно все это проявилось на отношении к сан-домингским событиям, когда стремление цветных рабов Франции к гражданскому освобождению столкнулось с противодействием Жиронды, было сокрушено Бонапартом и только в среде якобинцев встретило сочувствие и поддержку. Исторический роман Виноградова как нельзя более современен, потому что он перекликается с происходящей сейчас всемирной национально-революционной освободительной борьбой колоний и полуколоний против империализма, рисуя истоки этой борьбы в событиях конца XVIII века.

Виноградов извлек из архивов разнообразный, неизвестный до сих пор документальный материал, занимающий в романе подчас целые главы. Однако историческая добросовестность автора на сей раз пришла в противоречие с художественностью выполнения. Насыщенный фактами, роман «Черный консул» художественно не обработан, изобразительных средств у автора явно не хватает, язык порою сер и штампован. «Черный консул» скорее всего может быть назван квалифицированным монтажом документов, которому придано беллетристическое обрамление. В качестве такого монтажа он приобретает крупное значение.

Роман П. Павленко «Баррикады» обладает достоинствами «Черного консула», будучи лишен его недостатков. Писательский путь Павленко был начат с произведений, которые, выделяясь тщательной стилистической отделкой, оставались по сути холодными стилизованными орнаментами, бесстрастными зарисовками различных событий, людей, вещей. Переломными для Павленко явились его туркменистанские книги: «Путешествие в Туркменистан» и «Пустыня». Наконец «Баррикады» можно с полным правом назвать крупной победой писателя.

«Баррикады» написаны после тщательного изучения исторических материалов, как и «Черный консул». Но в отличие от произведения А. Виноградова документ, как таковой, не является в них конструктивным стержнем. За редким исключением (например приведенного в романе письма К. Маркса, адресованного Френкелю и Варлену, деятелям Парижской Коммуны), документ здесь стал художественной деталью, превратился в описание, растворился в диалогах, воплотился в жанровых сценах.

И поэтому так значительно впечатление от «Баррикад»: их читаешь, как будто сам был участником Коммуны 1871 года, в них отыскиваешь аналогии и параллели с событиями, с фоном, с мыслями и чувствами эпохи гражданской войны в нашей стране. В «посвящении» Павленко пишет. «Роман написан с чувством, какое возникает при первом представлении о летах нашего детства и отрочества. Он не история и в то же время он не вымысел, он—ощущение нашего прошлого». Это верно. Именно таким и является отношение пролетарской революции наших дней к Парижской Коммуне, как к своему прошлому. И когда Павленко выводит персонажей романа—идеологов и практиков Коммуны, ее вождей и ее рядовых участников, Маркса и Лафарга, Домбровского и Курбе, художника Буиссона и водопроводчика Бигу, командира интернационального батальона, машиниста Ламарка и артистку Елену, героев подлинных и героев вымышленных, когда он описывает беззаветное воодушевление

коммунаров или политическую наивность части рабочих в роде столяра Рава, или контрреволюционную стратегию буржуазии в тылу Коммуны, в самом Париже,—когда он вводит нас в книжную лавку отца Анатоля Франса Тибо и знакомит нас с обывательским, враждебным Коммуне художественно-писательским мирком Парижа 1871 года,—мы думаем: да ведь так же, или почти так же, было и у нас, да ведь с этими же явлениями встречались и мы в это время, когда Республика Советов была осажденным лагерем. Соединение художественного вымысла, то-есть художественного обобщения, с верностью историческим фактам вплоть до деталей—вот в чем сила «Баррикад». И прав был А. Фадеев, когда он писал в «Правде», что «произведение, дающее в художественных образах истинный смысл борьбы парижских коммунаров, могло появиться только в нашей стране», на основе «живого опыта нашей победоносной революции».

Стройного сюжета, переходящего от одного узла к другому, в «Баррикадах», по видимости, нет. Вот беседует с русским эмигрантом, цирковым артистом Левченко, Рава, которому кажется, что революция победила, что «у Тьера нет армии» и «наши гардмобили завтра решат судьбу дела». Вот Маркс дает О'Бриену директивы для членов секции I интернационала в Париже. Вот Буиссон идет на баррикады. Вот коммунары, чтобы пробраться к намеченному пункту, делают сплошные проломы в стенах домов. Вот артистку Елену Рош зал встречает аллодисментами при сообщении о гибели ее рот во время схватки у баррикад. Вот появляется Домбровский. И так далее. И однако все эти как будто рассыпанные эпизоды и образы являются, ничего не теряя в своей цельности, звеньями одной сюжетной линии—самих событий семидесяти двух дней Коммуны.

«Воздух стал чувствоваться, чего не было раньше, и день не успевал начаться в прежнем порядке, когда пустота улиц и сомкнутые глаза витрин потворствовали старому ритуалу рассвета—шороху метел по мостовой, громким звкам

сторожей, сдержанному грохоту первой телеги и медленно нарастающим шумам газетчиков и бродячих разносчиков зелени. День начинался теперь сразу, подобно аккорду военного оркестра, и с первого своего шага обрастал тем ярким и сложным движением толп и той организованной сутолокой явлений, которые еще так недавно были присущи лишь очень смелому полдню какого-нибудь на редкость удачного дня. День, чтобы возникнуть, подготавливается теперь с ночи» (описание дней, предшествующих Коммуне). В комнате у Маркса «небольшой стол посредине комнаты, заваленный книгами, рукописями, таблицами, спичечными коробками и хвостами недокуренных сигар, являл такой живительный беспорядок, будто вещи на нем находились в процессе своей последней формации, лишь на время приостановленной в самый разгар ее суетни». Домбровского «мысль о восстании никогда не покидала. Это была даже не мысль, а состояние». «Тусклые слезы давних встреч проступали у всех в памяти, как единственные воспоминания. Даже казалось неожиданностью, что люди могли раньше встречаться. Все были необъяснимо знакомы друг с другом» (последний день Коммуны). Вот образчики описаний и характеристик Павленко, точных, сдержанных и в этой сдержанности проникнутых страстно-размышляющим отношением к объекту описания. Впрочем порой Павленко сбивается на аллегории, на ходульные и потому неубедительные символы.

Таков роман. Но, закрывая его последнюю страницу, испытываешь досадное чувство: то, что показано,—только часть (и притом не такая уже большая часть) того, что знает автор и о чем он мог бы рассказать. Видно, что он безжалостно выбрасывал в процессе работы материал, ограничивал его, ставил ему преграды. Не всегда это удавалось. Поэтому некоторые главы, интересные и ценные и сами по себе, и как звенья романа, торчат углами, нарушают пропорции,—такова например сцена в лавке Тибо.

Полной художественной картины Коммуны в «Баррикадах» нет, но в них есть

воздух 1871 года, в них дана атмосфера революционного Парижа. И это обстоятельство определяет значение и ценность романа.

Переходя к следующим произведениям, посвященным художественному осмыслению прошлого, но более близким по времени к нашим дням, следует особенно отметить первую книгу «Цусимы» А. Новиков-Прибой (из второй книги пока опубликованы только фрагменты, об'единенные в книге под названием «Бегство пленных»). А. Новиков-Прибой — писатель, строго придерживающийся традиций старой реалистической школы в русской литературе, восходящих к «Знанию». Сюжеты его произведений обычно посвящены морю, кораблю, флоту, которые хорошо знакомы автору, бывшему матросу царского флота. В своих художественных приемах Новиков-Прибой устойчив и, если хотите, консервативен. Значение его творчества не в художественном новаторстве, а в правдивых зарисовках морского быта. Эта черта особенно ярко сказалась в «Цусиме», несомненно, лучшим произведении писателя. Значение романа—в предельно-правдивом описании цусимской трагедии, в художественно-мемуарном характере повествования (сам автор был на одном из кораблей эскадры Рожественского), в его военно-исторической документальности.

Речь идет о Цусиме, острове, около которого в сражении с японским флотом погибла эскадра адмирала Рожественского в 1905 году, совершившая из Кронштадта восьмимесячный переход мимо берегов Африки и Индии. О том цусимском сражении, о котором Ленин писал: «Точно стадо дикарей, армада русских судов налетела напрямик на великолепно вооруженный и обставленный всеми средствами новейшей защиты японский флот. Двухдневное сражение—и из двадцати военных судов России с 12—15 тысячами человек экипажа потоплено и уничтожено тринадцать, взято в плен четыре, спаслось и прибыло во Владивосток только одно («Алмаз») ... а весь японский флот вышел невредимым из боя, потеряв всего три миноносца... Перед нами не только воен-

ное поражение, а полный военный крах самодержавия» (т. VII, 2-е изд., стр. 236). О том сражении, по поводу которого Валерий Брюсов в 1905 году оплакивал крушение империалистических надежд:

И снова все в веках далеко,
Что было близким наконец,—
И скипетр Дальнего Востока,
И Рима третьего венец.

Неделя за неделей разворачивается в «Цусиме» поход эскадры, начиная с отплытия из Кронштадта. Настроения матросов и командного состава, их быт, их разговоры, заботы о военном оборудовании эскадры, матросы и офицеры, и среди них прежде всего адмирал Рожественский, властный, жестокий и бездарный самодур, выяснение стратегических и оперативных причин, приведших к разгрому,—все это передано с такой правдивостью, что читатель, прочитывая заключительные слова первой книги: «Мы должны пройти через страшные ворота смерти, какими являлся для нас Цусимский пролив», откладывает книгу и спрашивает: где же вторая?

Тема «Цусимы» вплотную подводит нас к теме империалистической и гражданской войны. Здесь мы выделим три произведения: «Войну» Н. Тихонова, «Россию, кровью убитую» Артема Веселого и вторую часть «Последнего из Удэге» А. Фадеева.

5

«Война» Н. Тихонова—удача, которая таит в себе элементы поражения; в то же время провалы «Войны» — неизбежные накладные расходы эксперимента, ведущего к решающей победе

Первоначальное задание «Войны» было узким: показать роль химии в империалистической войне, возникновение и роль огнеметов и газов. Но в процессе работы задание расширилось.

Действие разворачивается в предвоенной Германии, охватывает период войны и заканчивается в дни кризиса 1930 года. Мнимый «академизм» буржуазной науки, оказывающейся на деле служанкой империалистических замыслов, в лице организатора газовой войны профес-

сора Фабера; огромная роль технической вооруженности армии; кризис мелкобуржуазного гуманизма—в лице студента, а затем солдата Эрны Астена; бесчеловечный автоматизм империалистической бойни; рождение в ней осознанно-революционного отношения пролетариев к основам строя, рождающего захватнические войны,—таковы различные стороны темы произведения Н. Тихонова.

Сила «Войны»—в ее замысле, в облачении классовых корней войны, буржуазной науки, служащей ей, философии империализма, в страстности интонации, в революционной ненависти к империализму, в предельно-точных картинах сражений и схваток. Вот например одно из описаний действия огнемета: «Наверху над окопом появился человек, и три струи обдали его, как таракана. Он завертелся на месте, стал подпрыгивать, и пламя крутилось над ним, точно щекотало его со всех сторон. Человек скакал на одной ноге, и при свете горевшей одежды видны были его горевшие волосы и черный лоб, широко раскрытый рот, захлебывающийся от горя. Человек пропал. Вдруг он начал трещать, как хлопущка. Огонь дошел до подсумка, которого он не сумел сбросить. Подсумок вспыхнул, подсумок взорвался. Пламя взметнулось к лицу человека, серому, как пемза. Взорвался второй подсумок, и человек свернулся, как бабочка, долго кружившая в ламповом стекле и наконец упавшая пеплом».

Не будет преувеличением сказать, что таких сильных в своей простоте и точности картин позиционной войны в империалистической войне еще не было в советской литературе.

Тихонов рвет с традициями канонического романа. Он перебрасывает действие из Германии во Францию, из штабов — в лаборатории ученых, а оттуда — в окопы и пр. Такая ломка старой и поиски новой формы вызваны темой и «материалом» «Войны».

Но перехода войны империалистической в войну гражданскую, пассивного отчаяния масс — в революционный взрыв, рождения революционного сознания из войны Тихонову не удалось показать. В «Войне» понятен и оправдан

Эрна Астен и как гуманист перед войной, и как солдат, озлобление и отчаяние которого сливается с озлоблением и отчаянием солдатских масс. Но Астен-спартаковец не убедителен. А ведь сила искусства проявляется в том, что читатель вместо слов: «Это правдоподобно, это вероятно, так иногда или часто бывает» — говорит: «Это необходимо, иначе и быть не могло». В последней главе «Войны» появляется коммунист, бывший солдат, Иоганн Кубиш. Кубиш завершает «Войну», одновременно объективно полемизируя со всем предшествующим текстом произведения. В самом деле, Кубиш никак не возникает из военных глав «Войны».

Здесь возможна параллель между «Войной» и «Россией, кровью умытой» Артема Веселого, открывающейся «словом рядового солдата Максима Кужеля», находившегося на турецком фронте, когда началась революция 1917 года.

«Бог ты наш, бог солдатский, нечесанный, невымытый... И куда ты, бог, мать твою непорочную, некачанную, неворочанную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзанье злой судьбе и зачем ты, вшивый солдатский бог, не жалеешь нашей горькой солдатской жизни?»

Вот с таких обращений к «вшивому солдатскому богу» одурманенного лишениями войны и режимом царской армии сознания начинается Максим Кужель рассказ о событиях 1917 и 1918 годов, в течение которых он, Максим Кужель, превратился в красного партизана, в сознательного большевика, а затем — в борца за регулярную Красную армию. В конкретности переходов различных состояний сознания, без приукрашек, без фальши и схематизма, вся убедительность «слова Кужеля».

Собственно «Россия» в основной своей части была написана и опубликована в предшествующие годы. На романе стоит дата: «1923—1932». Мы сказали «на романе», хотя на заглавном листе напечатано: «Роман в два крыла. Фрагменты». В этом сказывается большая творческая добросовестность

и культура труда Артема Веселого. На протяжении десяти лет он продолжает обтесывать это свое фундаментальное произведение¹⁾, отбрасывая одни «фрагменты» и добавляя другие, десятки раз взвешивая каждое слово и отбирая каждую интонацию, давая ряд вариантов одной и той же страницы. А в итоге мы имеем настоящий роман, еще не во всем законченный, кое в чем фрагментарный, но уже превратившийся в произведение, где нет ничего лишнего, чтобы не соответствовало основному заданию произведения.

Только прочитав с начала и до конца «Россию» (а роман читается медленно, потому что в нем весомо каждое слово), можно получить представление о могучей стихийной силе выразительности языка Артема Веселого. Только сличив различные варианты эпизодов, можно понять, как много организованного труда вложено в это произведение. Особенно заметно в «России» различие языковых струй. В романе — два «крыла»: одно — кубанское, другое — заволжское. Один словарь, одна закономерность в подборе средств словесного выражения господствует во «фрагментах», посвященных рассказу Кужеля о возвращении с фронта на Кубань, другие — в посвященных Кубани 1918 года, третьи — в посвященных заволжскому городку Ключевину, четвертые — в посвященных заволжской деревне, пятые — в рисующих белую армию. Тысячи эпизодических фигур не сливаются в одно сплошное пятно, они даны в их характерности и неповторимости. В памяти (если например взять сцену отступления с Кубани) остаются и партизан в малиновых шароварах, бредущий в тифозном жару рядом с женой, несущей грудного младенца, и в изнеможении усталости и болезни «пулей зачеркивающий свою жизнь»; и безымянный, шатающийся от усталости молодой боец, молча берущий ребенка на руки (а «женщина сняла с себя крест, накинула его на шею мужу и,

¹⁾ В 1932 году вышел также отдельным изданием роман А. Веселого «Гуляй Волга», тоже итог ряда лет работы.

плача с привизгом, поплелась за человеком, который понес ее ребенка. Долго она оглядывалась, останавливалась, как бы намеревалась повернуть назад»); и ковыляющий, припадая на ногу, китаец («по груди крест-накрест пулеметные ленты, на ремне через плечо ящик с полевым телефоном, в руках по винтовке, подмышками зажат по пучку соломы. За ним, не спуская с соломы налитых тоскою глаз, как тени, качались и брели брошенные хозяевами две худеющие клячи»). И так во всех эпизодах — солдаты, едущие с фронта, партизаны, комбедчики, кулаки, клюквинские коммунисты, белогвардейцы, второстепенные персонажи и основные, и среди них — Кужель, матрос Василий Гагаган, анархистствующий атаман Иван Черноярлов, секретарь клюквинского партийного комитета Павел, — все действующие лица «России» даны отчетливо и выпукло, дана их тугая, делающаяся все более осмысленной философия жизни.

Тема «России» — это тема стихии революции в мелкособственной деревне в первые годы революции. Как же разрешает эту тему Артем Веселый? И здесь нужно прямо сказать автору-коммунисту, что в разрешении темы (весь роман еще не окончен) его подстерегают большие опасности, что им совершены крупные ошибки. В «России» видно, как мучительно дается автору переход от изображения стихии к изображению сознательности, от деревни — к городу, от партизанщины — к Красной армии. В какой-то мере конфликт между стихийностью и сознательностью, между партизанщиной и Красной армией автор носит в самом себе, полностью еще его не преодолев. Вот например образ Ивана Черноярлова. Иван — сын кулака. Отщепенец в своей семье, он уходит добровольцем на царский фронт и оттуда возвращается, принеся в себе горькую рану незабываемых страданий солдатской массы и озлобление против эксплуататорских классов. Иван становится вождем крупного партизанского отряда. Но когда началу партизанщины проле-

тарская революция противопоставляет начало организованности, когда начинает возникать Красная армия в борьбе с партизанщиной, — Иван Черноярлов оказывается препятствием на пути революции, с ним начинается борьба, и, оказавшись между двумя жерновами, Иван Черноярлов погибает от рук белогвардейцев.

Правдива ли, типична ли, характерна ли такая история в ее общих чертах? Да. Но посмотрите, как ее конкретно расшифровывает автор, какие детали сопровождают ее, каково отношение к Черноярлову Веселого. В красных частях, отступающих на Астрахань с Кубани, — элементы деморализации, в отряде Черноярлова — относительный порядок. Против Черноярлова готовится решающий удар — Черноярлов сам, добровольно, с горсточкой соратников покидает отряд, попадая затем в плен к белым и погибая там героической смертью. И вот после того, как красные части прорвались к Волге, — «на обрыве, над Волгой, в ожидании паромов сидели в кругу несколько бойцов. Допивали последний боченок вина, вспоминали кубанские станицы, походы и битвы... Вспомнили добрым словом и сумасбродного ватажка Ивана Черноярлова. — Да, почудили! — искорню вывернулся у Максима вздох. — Удалая голова перестала баловать... Приподнимаем, братцы, наши чарки да помянем казака...»

Так заканчивается Черноярловский «фрагмент». Нет, Черноярлов не был «сумасбродным ватажком». Ведь смысл борьбы с партизанщиной заключался в утверждении и закреплении руководящей роли пролетариата в вооруженной защите революции. В тех конкретных условиях, о которых идет речь в «России», партизанщина становилась знаменем кулацкой контрреволюции, к этому же пришел и Черноярлов. Думается нам, Максим Кужель приподнял чарку за «сумасбродного ватажка» не без прямого соучастия Веселого.

Мы не хотим этим сказать, что Веселый в «России» выступает защитником кулацкой партизанщины. Вред, прино-

симый ею, раскрыт в книге, но раскрывает это автор, жалеючи, так сказать, чернойровщину. Рабочий-ударник С. Сидоров в книге, которую мы разберем ниже, пишет: «Дело запрещало всякую жалость. Настоящий революционер должен бояться этой подлой жалости, как измены». Вот такого большевистского акцента и нехватает иной раз Артему Веселому. И здесь голос Веселого начинает политически фальшивить. В его позиции исчезает твердость, устойчивость.

С этим связана и другая особенность «России». В ней нет ни одного художественно слабого «фрагмента». Но наибольшей художественной силы Артем Веселый достигает именно в тех местах, где описывается стихийный размах революции, стихийное нарастание ярости масс, ломка старых устоев, муки, сопровождающие рождение новых форм жизни, вольница, партизанщина, — все то, что нашло свое выражение в сцене, где описывается «митинг со слезами, с музыкой».

Гра
Бра
Вра
Дра
Зра
С кровью
С мясом
С шерстью...

Васька Галаган, ровно из огня, слова хватал: о фронте он говорил прозно, о революции — торжественно, о буржуях — с неукротимой злобой... В углах губ его набивалась пена...

В «России» есть попытка показать перелом в гражданской войне, момент организованного закрепления влияния пролетариата во всех областях жизни крестьянства. Сумеет ли Артем Веселый найти для этого в будущей своей работе над романом ту же богатую палитру красок, какая была у него, когда он писал о партизанщине и о стихийном разливе революции? Это зависит прежде всего от органического продумывания автором коренных проблем нашей революции и прежде всего проблемы гегемонии пролетариата, — от

того, сумеет ли он полностью и во всем подойти к революции в деревне с позиций пролетариата.

С гражданской войной встречаемся мы и в «Последнем из Удэге» А. Фадеева. Впрочем замысел романа гораздо шире темы гражданской войны. Говоря же о второй части романа, напечатанной в 1932 году, мы сталкиваемся с одной трудностью. Вторая часть представляет собою историческое отступление после первой части, введение в роман необходимой для дальнейшего действия социально-исторической экспозиции. Как мы помним, в первой части Сережа Костенецкий, сын большевика-врача, вместе с забойщиком Мартемьяновым шел по деревням и туземным стойбищам проводить выборы на областной повстанческий съезд. В первой части был дан с большой художественной силой социальный разрез края в его революционных напластованиях. Событий в первой части не было, в ней происходил по преимуществу ввод в действие ряда основных действующих лиц, в ней был дан ряд социально-психологических характеристик. Во второй части, как мы говорили, Фадеев делает историческое отступление. История жизни Лены Костенецкой, сестры Сережи, воспитывавшейся вдалеке от своей семьи, в семье промышленника Гиммера, является стержнем, позволяющим Фадееву показать жизнь различных классов перед войной, во время войны и во время революции. Метод Фадеева заключается здесь в столкновении иллюзий Лены и других персонажей из описываемой среды с объективной действительностью и, значит, в разоблачении этих иллюзий. Вторая часть заканчивается на том, что Лена, порвав связи с миром Гиммера, уезжает к своему отцу — примерно в тот момент, когда Сережа тоже возвращается в Скобеевку, где его отец является членом ревкома. Такая конструкция романа, при которой первые его части служат только введением к раскрытию основной темы, естественно, затрудняет работу критика. Во второй части в действие вводятся новые персонажи, некоторые из них еще не вполне ясны (та-

ков к примеру белогвардеец Лангвой), — неизвестно, как развернутся их образы в дальнейшем. Поэтому разбор романа необходимо отложить до следующих — решающих — частей, ограничившись пока лишь несколькими предварительными замечаниями.

Во второй части Фадеев рисует по преимуществу буржуазную обывательскую среду. Он дает характеристику внутренней фальши, уродливости, цинизма, эксплуататорского существа этой среды — вплоть до морали, быта, идеологии. Некоторые критики обвиняли Фадеева в холодке объективизма. Это неверно по существу. Сдержанная страстность все время ощущается за внешне спокойным тоном повествования. Кое-кому из критиков показалось, что в характеристике Гиммера у Фадеева влияние Толстого простерлось вплоть до восприятия толстовской философии. Какие пустяки! Портрет Гиммера — один из лучших в советской литературе портретов буржуа, сделанный рукой пролетарского писателя в разнообразных ракурсах: в семье, в одиноких размышлениях, в общественной деятельности, в столкновениях с рабочими. Чтобы врага победить, его надо хорошо и всесторонне знать, не опрощая и не снижая его искусственно, — это убедительно для всех доказал А. М. Горький, в своей пьесе «Егор Булычев и другие».

Оговариваем еще раз: мы сделали лишь несколько предварительных замечаний о глубоко по своей идейности, мастерски написанном романе А. Фадеева.

6

Мы говорили до сих пор об истории, об осмыслении прошлого опыта, — как же обстоит дело с художественным отображением сегодняшнего социалистического дня, кроющихся в последнем тенденций будущего происходящей в стране классовой борьбы?

Энгельс, подчеркивая познавательное значение искусства, писал, что из сочинений Бальзака он «узнал даже в смысле экономических деталей

больше... чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых». Такая похвала Бальзаку была вместе с тем осуждением объективно-лицемерившей науки того периода. Разумеется, механическое перенесение формулы Энгельса в советскую действительность и ее распространение на советское искусство и мощную правдивую науку — попросту невозможны. В то же время неоспорима большая объективно-познавательная ценность советской литературы. В пролетарской, социалистической культуре не может быть соперничества, вражды между наукой и искусством и наука, и искусство взаимно ставят друг перед другом новые проблемы, специфическими средствами работая один и тот же материал действительности, в равной мере подчиняя свои задания основному заданию: строительства бесклассового социалистического общества.

Есть ли у нас такие произведения, к которым применимы — с приведенными выше оговорками — слова Энгельса о Бальзаке? Да. Таков например ряд произведений о современной, коллективизирующейся деревне. Не говоря здесь о «Разбеге» и «Зарницах» Ставского, о романах Ф. Панферова и И. Шухова, укажем на «Поднятую целину» М. Шолохова. Что касается третьей книги «Лаптей» П. Замојского, то здесь мы, к сожалению, должны констатировать неудачу. Замојский посвятил третью книгу зиме и весне 30-го года, «левацким» перегибам в колхозе и управлению этих перегибов. Что и говорить: тема как нельзя более актуальная... Однако Замојский совершил крупную ошибку. В третьей книге показана деревня, где отсутствующую какие бы то ни было внутренние условия для перегибов, для уклонов вправо или «влево» и где перегибы возникают исключительно под административным нажимом районного уполномоченного Скребнева. Вся эта концепция идеализации колхозов политически ошибочна, что и обрекает третью книгу «Лаптей» на неудачу. О собственно художественных небрежностях в компо-

зиции и языке «Лаптей» не будем здесь говорить.

Роман Шолохова «Поднятая целина» построен на том же материале. Взято начало 1930 года на Дону. Для самого Шолохова, в течение пяти-шести лет занятого исключительно работой над «Тихим Доном», переход к современной тематике не мог не явиться серьезной пробой, тем более, что параллельно в 1932 году печаталась третья книга «Тихого Дона¹⁾ и автор вел, таким образом, двойную работу. «Поднятую целину» можно отнести к числу лучших произведений советской литературы в 1932 году и советской литературы вообще, — именно в «Поднятой целине», в романе большой темы, передающем «воздух пятилетки» в деревне, Шолохов поднимается на высшую, по сравнению с «Тихим Доном», ступень.

Рабочий-двадцатитысячник Давыдов по партийной мобилизации попадает в хутор Гремячий Лог председателем колхоза. Нет необходимости передавать общий сюжет романа, — этот сюжет обычен в своей характерности для того времени. Но как ни «обычен» он, мы читаем роман так, как будто впервые узнаем об описанных в нем событиях, — настолько освещает и углубляет мастерство Шолохова наши представления о мощном подеме колхозного движения. Ценность романа — в социальных характеристиках различных прослоек крестьянства и кулачества, в раскрытии внутренней динамики поворота деревни к сторону социализма, в осмысленных художественных деталях, мастером которых всегда был Шолохов.

Давыдов, реализующий в своем руководстве колхозом опыт большевика-пролетария, — и секретарь ячейки Нагульников, бывший партизан, бедняк, беззаветно преданный партии, но политически неустойчивый, склонный к административным методам военного коммунизма человек, — и председатель совета Разметнов, — и кулаки, выселяемые с хуто-

ра, — и бывший есаул Половцев, герой контрреволюционных ночных заговоров, — и середняк Кондрат Майданников, вырастающий в лучшего колхозного активиста, но в колхозе мучительно переживающий ломку своей второй собственности природы, — и десятки других персонажей, — и сцены собраний, и семейные раздоры, — все это дано смелыми, уверенными мазками большого художника.

Роман художественно подтверждает то, что в колхозе не завершается, а лишь начинается всерьез социалистическая переделка вчерашнего единоличника. В образе Кондрата Майданникова это выражено особенно ярко. Кондрат — не из тех, кто внутри колхоза служит орудием контрреволюции, и не из тех, кто в колхоз попал без глубокой внутренней убежденности. Но посмотрите, как мучительно дается надежному активисту Кондрату преодоление «своих думок», думок вчерашнего мелко-го собственника, превратившегося в колхозника. «Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят, мне хоть бы что, а как до своего дойду, гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в грудях, кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послаще сенда кинуть, попырейстей, помельче... Ить нету зараз чужих, все наши, а вот как оно...» Разве не на подобные настроения опирались и не их эксплуатировали кулаки и правооппортунистические предатели, организуя в конце 1932 года саботаж сельскохозяйственных кампаний? Лишенный идеализации колхозника, рисующий трудности социалистической переделки единоличника и убеждающий, что именно в колхозах — путь к лучшей жизни, к социализму для мелкособственного крестьянского хозяйства, роман Шолохова приобретает особую актуальность в дни, когда пишется настоящая статья, в дни удара по контрреволюционному кулацкому саботажу.

¹⁾ Об этой книге целесообразнее будет говорить после опубликования обещанной в 1933 году четвертой и последней книги романа-эпопеи

Но есть в романе черты, вызывающие недоуменные вопросы. Вызывает например сомнения образ Якова Островнова, зажиточного, кулацкого типа мужичка, неудачно постаравшегося при советской власти превратиться в «культурного хозяина», сиречь — в «сталинского мужичка». Островнов проникает в колхоз, выполняя там вредительские указания контрреволюционной организации. Но в то же время его искренно увлекает процесс строительной работы в колхозе. «Две души» оказываются и в нем! И стоит только Половцеву после развала контрреволюционной организации исчезнуть из Гремячего Лога, как Островнов облегченно прекращает вредительство и делает это не вынужденно, но по инстинкту самосохранения и приспособления только, включая свои знания, опыт и энергию в общее русло колхозного строительства. Получается так, что Островновы не только приспособляются к колхозу, но и могут пересчитаться в нем.

Мы делаем такое замечание и потому, что у Шолохова есть все возможности во второй книге романа устранить недоуменные вопросы, возникающие при чтении первой, и тем самым закрепить значение «Поднятой целины» как одного из лучших произведений советской литературы как свою победу.

Не только тема коллективизации¹⁾ привлекла к себе внимание советских писателей в 1932 году. Мы уже упоминали о росте краеведческой литературы. Мы говорим не только о краеведческом очерке. Вот перед нами книга К. Паустовского «Кара-Бугаз»: сколько читателей впервые узнали из этой книги о Кара-Бугазском заливе, — о его значении для химической промышленности, — об истории его исследования, когда первые корабли проникли в Кара-Бугазский залив сквозь узкое горло, через которое бурно вливаются воды Каспийского моря, — о том, какие события были связаны с этим заливом

¹⁾ Этой теме посвящены также уже подробно разобранные критикой «Четыре рассказа» Е. Габриловича, заслуженно выдвинутые автором в первые ряды советской литературы

в годы гражданской войны, — словом, о всей истории открытия, освоения, изучения края, превращения его в один из форпостов индустриализации Средней Азии!

Мы можем отметить и книжку Б. Лапина и Э. Хацревина «Сталинабадский архив», этот художественный монтаж документов, характеризующих сегодняшний Таджикистан. А раз мы заговорили о последнем, нельзя не остановиться на романах Б. Ясенского и А. Саргиджана.

«Человек меняет кожу» — первая книга большого романа о социалистической переделке людей, первое крупное прозаическое произведение Б. Ясенского после романа «Я жгу Париж», — произведение, с первой и до последней страницы написанное польским пролетарским писателем на русском языке.

Роман «Я жгу Париж» был художественно-публицистическим ответом автора на антисоветское произведение П. Морана «Я жгу Москву». Он очень художественно и политически наивен, этот ответ. Но как вырос с тех пор Ясенский в своем «Человеке, который меняет кожу»! В новом романе еще немало внешне-публицистических длиннот, риторических диалогов. Есть в романе места, про которые можно сказать: они очень занимательны, но они не будят глубоко мысль и чувство, они не мешают, но и не помогают развитию и идеи романа. Так например обстоит дело с эпизодами о вредительском шантаже: кто подбрасывал угрожающие смертью записки? кто всовывал в спичечные коробки смертоносных фаланг? Мы пока не знаем. Это интригует, но такая интрига — лишь внешне-эффективная сюжетная ситуация, не больше.

Однако за всем тем роман Ясенского вводит нас в самую гущу социалистического строительства в Таджикистане, он в занимательной форме знакомит нас с различными социальными прослойками, он развертывает перед нами величественную панораму работ со сложным переплетом национальных взаимоотношений, с острой классовой борьбой, идущей

щей вокруг стройки и на стройке, и он — в центральных образах романа и в своих описаниях (например в главе о растущем и непрерывно меняющем свое лицо Сталинабаде), и во вкрапленных в роман новеллах-рассказах различных людей — весь пронизан ясностью и оптимизмом (хотя в нем и имеются остро-драматические коллизии — вплоть до самоубийства). «Человек» будет иметь у читателей заслуженный успех.

«Египтянин» А. Саргиджана написан в другой манере, хотя примерно и на том же материале. В том же 1932 году вышел в свет первый роман Саргиджана «Последняя Бухара». В предисловии к нему Б. Ясенский писал: «Хорошо, что именно вы взялись показать нам, как умирает Старая Бухара, старый Восток, и как зарождается новый. Но, зачарованный статикой отмирания, вы показали нам слишком уж безропотной и безболезненной смерть старого; глядя в гнилые зубы прошлого, вы дали себя обмануть их тленностью и не разглядели волчьего оскала».

Волчий оскал врага и рождение нового — вот тема «Египтянина». «Египтянин» — вид хлопка, культивируемый сейчас в Таджикистане как новая культура. Внедрение «египтянина» наталкивается на косность некоторых племен, которую умело использует басмачество. Вот налетает из Афганистана отряд басмачей, уничтожая посевы, ломая тракторы, убивая дехкан, и вот уже одинокий, разбитый, покинутый всеми, окруженный ненавистью дехканства вождь басмачей мчит обратно к границе, и подросшие посевы «египтянина» хлещут по ногам его коней. Таков роман.

Это не обычный роман, это — поэма в прозе¹⁾. В меру стилизованный язык превращается в словесную вязь, которую нельзя ни в одном месте прорвать без нарушения внутреннего ритма произведения. Приподнятый, поэтически изукрашенный тон романа порою нару-

шает реальные пропорции, существующие в действительности. Такая словесно-изошренная манера письма кое-когда приближается к эстетизированной литературщине. Передавая художественную интонацию событий, Саргиджан в то же время недостаточно внимателен к конкретным, живым людям. Портреты его героев не всегда отчетливы, иногда холодны, иногда являются лишь прикладными иллюстрациями к описываемым событиям.

И, кроме того, не все ясно в отношениях автора к образам новых людей, коммунистов. В центре героев — коммунистка Ассиза и коммунист Арамей, работающие на посевной кампании. Автор с большой симпатией относится к Ассизе, но она в романе излишне резонерствует, а вернее — сам автор резонерски дает живой образ коммунистки. Арамей гораздо более художественно конкретен, но автор рисует его явно иронически, вскрывая его интеллигентское резонерство, внутреннюю мягкотелость и безволие, скрывающиеся за устрашающей внешностью (борода!). Думается нам, что Саргиджан здесь не свел концы с концами и не представил себе ясно, что же именно отталкивает его от Арамея, столь старательно и честно, хотя и угловато, делающего свое дело, и почему же он заслуживает насмешки.

Во всяком случае, общий ритм, так сказать интонацию строительного подема, «Египтянин» передает.

В еще большей мере это замечание относится к роману В. Катаева «Время вперед». В основу его лег эпизод соревнования магнитогорских бригад с Харьковом по бетонозамесам.

Но оговоримся вначале же, в чем мы видим основной недостаток романа. Он — в отсутствии глубокой идеи. С большой искренностью, с настоящей теплотой, с неподдельным подъемом передана в нем атмосфера энтузиазма в героические дни построения гиганта у горы Магнитной, созданы различные образы людей на стройке, но сделано это без большого углубления, без широких идейно-художественных обобщений. Роман волнует, но не заставляет глубоко задуматься.

¹⁾ «Речи рек» Ш. Сослани при всем своеобразии художественной манеры автора в решающих стилизованных устремлениях сближаются с «Египтянином» Саргиджана. Это — лирическая запись о людях, создающих планы обводнения засушливых земель Заволжья.

Однако из всех крупных произведений 1932 года, тематически связанных с индустриализацией страны, «Время вперед» — одно из лучших.

Есть в романе такой эпизод. На стройку приезжает московский писатель Георгий Васильевич. Вначале то, что он видит, предстает перед его сознанием как клубок разрозненных, несвязанных друг с другом осколков впечатлений.

«Бессвязные мысли неслись в его голове.

«Летел аэроплан»...

«Жили орлы-стервятники»...

«На подножку автомобиля вскочил взлохмаченный юноша с блокнотом»...

«Шел босой человек»...

«Беременные бабы несли доски»...

«Вели слона»...

«Товарищ Жуков бросил в какую-то гражданку Молявину потрохами»...

— Но зачем мне все это? И какая между этим всем связь? Нет, все это не то. Не то.

Он с отвращением вырвал из блокнота начатую страницу и разорвал ее на мелкие кусочки.

— Ползучий эмпиризм! — пробормотал он».

Если В. Катаеву и не удалось подняться до большой, всеохватывающей идеи, то воспроизвел он действительно во взаимосвязанности ее процессов, без «ползучего эмпиризма», без нагнетания неотобранных фактов. На узкой временной площадке — действие происходит в течение 24 часов — разворачиваются многочисленные и разнообразные события, начинается день на стройке, появляется сообщение о мировом рекорде по бетонозамесам, поставленном харьковскими рабочими, разворачивается соревнование, происходит всеобщая мобилизация, выявляющая маловеров и дезертиров, магнитогорцы ставят новый рекорд, но телеграф приносит сообщение о том, что их обогнали челябинцы, — и тут же в течение дня возникают различные бытовые и семейные коллизии, тесно связанные с основной сюжетной линией романа. Стремительность темпа повествования как нельзя лучше соответствует передаче азарта строительства (но нужно подчеркнуть:

социалистической сущности соревнования Катаеву не удалось передать).

Сильными сторонами творчества Катаева всегда были лирическая теплота, с одной стороны, юмор, переходящий в сатиру, — с другой. Черты эти существовали обычно в раздельном виде. Впервые сочетались они во «Времени». И сплав их оказался удачным. Не нашел ли здесь В. Катаев свой настоящий стиль?

Отметим еще одну особенность, выгодно выделяющую роман. В основу его сюжета положена непосредственно техническая проблема. Весьма часто — как например в «Скутаревском» Леонова — техника служит лишь для орнаментального обрамления идеи произведения. В других произведениях описание техники сбивается на плохое изложение популярной технической брошюры, заслоняя людей. Во «Времени» же и в ее люди борются за технику, но осевая техническая проблема романа все время остается отчетливо видимой на первом плане¹⁾.

7

«Я хочу быть таким, как герой этого произведения. Я хочу ему подражать, учиться у него, действовать так, как действует он».

Если так скажет читатель, — значит, искусство уловило, воплотило и выделило на первый план существующий в реальной действительности образ нового человека, уже включающего в себе черты человека завтрашнего дня. Развитая литература эпох общественного подема всегда создавала таких героев, вызывавших подражание себе в жизни. Литературные персонажи сходили с книжных страниц и входили в обыденную жизнь. Так было и с положительными героями, и с героями отрицательными, вызывавшими презрение, негодование,

¹⁾ В 1932 году умер пролетарский писатель Я. Ильин. В последнее время он работал над романом о Сталинградском тракторном заводе. Опубликованные отрывки из романа показывают, что осталось незаконченным большое и талантливое произведение, которое явилось бы крупнейшим событием в советской литературе, говорящей о нашем сегодняшнем дне.

ненависть к себе. Так бывало тогда, когда художник создавал образы широких обобщений, образы-характеры.

Но здесь-то и вскрывается самое уязвимое место советской литературы. Образ социалистического строителя, большевика, образ «молодого социалистического человека», образ человека, рожденного пятилеткой, до сих пор больше задан, чем дан. Нет недостатка в попытках подойти к решению этой художественной проблемы. Нет недостатка в героях, которые правильно рассуждают. Но суть дела не в правильных рассуждениях, а во вскрытии таких социалистических черт сознания, которые превращаются в рефлекс жизненного поведения и тем самым уничтожают двойственность мысли и чувства, дуализм внутри сознания, свойственный образам прежней, а в значительной части и современной литературы.

Мы хотим быть правильно понятыми. Мы ратуем не за выдумывание нового человека. Мы — против расщудочной схемы, но мы и против того, чтобы писатель, создавая образ строителя социализма, погружал свои персты в язвы старых мыслей и чувств, на этом ставя ударение. Мы знаем, что людей, обладающих законченной психикой социалистического человека, еще нет. Мы знаем, что социалистическая переделка сознания есть процесс, протекающий во времени. Но социалистическое качество литературы сегодня раскрывается прежде всего в ее умении выделить и подчеркнуть уже наличные ведущие социалистические черты в образе представителя передового авангарда миллионной армии строителей социализма. «Страна должна знать своих героев». Этот лозунг, выдвинутый в 1931 году, остается важнейшим лозунгом и сегодня, и в своем узком — дать биографию конкретных, реальных людей, и в своем широком значении — дать художественный образ героя нашего времени.

И разве не величайшим укором для советской литературы является тот

факт, что сами герои строительства лучше и убедительнее рассказывают о себе, чем советские писатели?.. Мы упоминали уже о книжке С. Сидорова «Мы не хотим быть битыми». Книжка эта вышла в Профиздате, — в том издательстве, которое объединяет вокруг себя кадры рабочих-ударников, на основании опыта которого возникла мысль о призыве рабочих-ударников в литературу и интереснейшая продукция которого обычно по барской традиции начисто обходится «большой критикой». С. Сидоров — рабочий-ударник, выдвигенец, начальник главных электротехнических мастерских Московско-Курской железной дороги, награжденный орденом Ленина за свои изобретательские заслуги. «Я — не писатель, — пишет С. Сидоров. — И моя книга — не выдуманный, не сочиненный роман, а вся моя жизнь, моя борьба, мои заветные думы и дела. На примере моей жизни — жизни рядового бойца-большевика, простого матроса, ставшего во главе социалистического предприятия, неуча, ставшего изобретателем, — я хочу показать, что каждый может и должен овладеть техникой своего дела, стать если не изобретателем, то рационализатором на своем участке социалистического строительства».

И единичная, рассказанная простым и выразительным языком биография большевика, прошедшего путь от портового рабочего к руководителю предприятием, становится значительным литературным фактом, который не может не привлечь к себе внимания работников искусства.

Мы должны здесь выделить и «Три новеллы» Д. Стонова — три художественных очерка о директорах совхозов в Казахстане, замечательные именно отсутствием рассудочного схематизма, показом человека в работе, а не в исторических монологах, показом того, как социалистическое отношение к труду становится жизненным рефлексом поведения. Следует отметить и последние рассказы С. Гехта.

Ну, а в «большой» литературе? Мы рассмотрели ряд произведений о сегодняшнем дне под другим углом зрения. Здесь имеются успехи, если оценивать

их с точки зрения того, насколько писателям удалось показать нового человека. Уничтожена в значительной мере обезличка в показе людей. Отчетливее стали индивидуальные особенности образа. Но еще недостаточна глубина и обобщающая широта характеров, и это особенно сказывается в изображении передовиков социализма.

Остановимся сейчас на «Энергии» Ф. Гладкова.

Мы в праве подойти к «Энергии» с вопросом, удался ли автору образ нового человека, рождающегося пятилеткой и пятилетку делающего, не только потому, что Гладков — крупный писатель, но и потому, что проблема социалистического перевоспитания людей является идейным стержнем романа. Не нарушая сложившейся в «большой» советской литературе традиции писать многотомные романы, Гладков тоже опубликовал пока первую книгу «Энергии»¹⁾. В романе, материалом которого взято строительство Днепростроя, обильное количество проблем, много побочных сюжетных линий, — мы не собираемся давать исчерпывающую характеристику романа и выделим здесь лишь главную тему его — тему личности и класса, поставим основной вопрос — о чертах, определяющих облик коммуниста, ведущего массы в борьбе за социализм.

Секретарь парткома Мирон Ватагин, герой романа, думает: «В некоторые переломные моменты часто твердокаменные люди колеблются и падают духом перед трудными переходами. Взять наших оппозиционеров, — правых или «левых», — безразлично. Мы еще несем в себе много мелкобуржуазных и личных стихий. Наше высокое сознание часто становится в противоречие с мелкобуржуазным нутром и само начинает коверкаться, метаться, искать удобных тормозов, плутает, выходит из строя и кончает тупиками. Отсюда — неверие, разложение, перерождение».

¹⁾ Мы не касаемся здесь формальных особенностей романа из-за недостатка места. К тому же автор для отдельного издания производит художественную переработку «Энергии».

Мирон Ватагин объясняет возникновение идеологии и практики правого и «левого» оппортунизма конфликтом «высокого сознания и мелкобуржуазного нутра»! Не будем оспаривать эту, мягко говоря, политическую наивность, Автор не ответственен за любое слово, произносимое героем. Но дело в том, что мысли Мирона соприкасаются с концепцией всего романа.

«Как мало мы знаем людей!» — думает начальник строительства, бывший подпольщик, а ныне беспартийный Балеев. А Мирон думает об одной героине, коммунистке: «Вот бы колушнуть ее, вывернуть ее нутро: там, вероятно, скрыто живут в ней кошмары». За Мирона «выворачивает нутро» героев автор. Посмотрите на них, когда они работают, эти коммунисты, — Мирон, завенотделом Бочка, председатель контрольной комиссии Байкалов и другие, — как они уверенно, не зная сомнений, ведут массу, как они энергичны, бодры, мужественны. Но стоит им остаться наедине с собою или с глазу на глаз с близким человеком, как эта внешняя твердокаменность исчезает, и перед нами оказываются колеблющиеся, одинокие, часто несчастные, всегда погруженные в болезненно-рефлексивную деятельность люди. Кто же такие — Мирон, Бочка, Байкалов (опустим остальные аналогичные персонажи)? Это — коммунисты, которые свою зрелость встретили в годы революции и гражданской войны.

Как же выглядит это поколение в романе? Комсомолка Феня так говорит о нем: «Я делаю отвод нелепой повинности молодежи преклоняться перед стариками... Педагогическое значение седовласых биографий для нашей юности часто имеет отрицательный показатель». «Юнчванство!» — отвечает Мирон. А Феня вскоре повторяет то же: «Люди твоего поколения немножко отяжелели на шаг. А молодежь — рьяна, напориста и, нечего тайть, порою не считается с вашими революционными заслугами». И еще раз — впоследствии: «Ты человек, в сущности, совсем незаконченный... нецельный человек».

Права ли Феня в такой характеристике Мирона? Абсолютно, хотя Мирон, как мы увидим, вовсе не характерен для своего поколения. Если бы это не было так, была бы верна «юнчванская», сближающаяся с троцкистским противопоставлением молодежи и старой гвардии большевизма, концепция Фени. Но — повторяем — ее замечание о «незаконченности» и «нецельности» Мирона совершенно правильно.

Оставаясь наедине с собою, Мирон оказывается во власти дум о своей неудавшейся семейной жизни, о потерянном сыне, о любви, о женщине, о том, не стареет ли он, — один раз он даже задумывается над тем, не ближе ли он (большевик!) к одному хозяйственному мужичку, в котором живет «древний дух земли и неугасимого очага» (как пишет Гладков), чем к той же Фене.

Мирон ведет двойную жизнь. Но он в то же время понимает, что так настоящему большевику негде жить: личное у него оказывается в суровом конфликте с общественным. Впрочем подобный конфликт свойственен не одному Мирону и не одной Бочке, и не одному Байкалову. Та же проблема является центральной для большого количества персонажей романа, представителей других социальных прослоек — назовем здесь прораба Вихляева, уже упомянутого нами Балеева, его сына, его сестру, инженера Кряжича, коммуниста Дубягу, развивающего правооппортунистические мысли о путях развития революции и т. д. Здесь на помощь Гладкову приходит теория «высокого сознания и мелкобуржуазного нутра», и коллизия между личным и общественным разрешается путем зачеркивания одного из конфликтующих начал: только, скажем, Мирон считает необходимым поглощение без остатка личного общественным, а сестра Балеева, в прошлом большевичка (!), протестует против удушения личности обществом и против «индустриализации мозга», как она говорит.

Можно было бы привести десятки высказываний и Мирона, и остальных персонажей на эту тему. Ограничимся лишь двумя цитатами. Вот размышляет

Балеев: «Его горделивые мысли о себе, как о властной созидательной силе, — смешны. Он сейчас более ничтожен, чем Ватагин и все общественные организации.. их мощь — во множестве, в артельном духе, в массовом устремлении». Вот размышляет Мирон: «Не единицы, а множество... Что такое он сам? Что такое все эти отдельные люди с своими маленькими интересами? Что такое его боли о сыне, об Ольге, о личных неудачах? Это только незначительная мелочь, как всякая обычная злободневность».

В этих словах Мирона — центральное положение романа.

Итак, отдельные люди — лишь незначительная мелочь, обычная злободневность, и их «маленькие интересы» попросту невесомы перед законом движения «множества». Здесь не спасает софистическая увертка Мирона: дело, дескать, не в «личности», — она растет, дело в «личном», — оно уничтожается. Личность без личного — пустая абстракция. Речь может идти лишь о характере интересов «отдельных людей». Социализм делается живыми людьми, в их интересах, в личности растут потребности, то-есть «личное», и разве же в наших днях существует — как в «Энергии» — неразрешимый конфликт между личностью и массой, между «личным» и «количественной целью»? Разве не внимательнейшим отношением к «отдельным людям», к их интересам вызвана борьба партии и всего рабочего класса с бюрократизмом, с формальным подходом к этим «интересам»?

Вариации существеннейших черт образа Мирона видим мы и в образах Бочки и Байкалова (наш знакомец по «Цементу», Глеб Чумалов, к сожалению, появляется в первой книге «Энергии» лишь мельком). Перейдем теперь к тому, что противопоставлено рефлексиям Мирона.

Вот Феня, по замыслу романа, — новый человек. К образу Фени Гладков относится особенно любовно. Но очень жаль, что Гладков испортил своей философией этот привлекательный, удавав-

шийся ему вначале образ. Живая, энергичная и умная девушка превратилась в автомат, похожий на прораба Шепеля в представлении Балеева: «Он живет только ритмом двигателя, и слова его, и мысли — точное отражение психики машины». Феня «вся растворена в этих бесчисленных процессах гидро-технических работ». «Она ни о чем не задумывается и совершенно не замечает себя». «Она долго могла говорить о гранулометрическом составе инертных материалов... Об этом говорила, как о любви, которая захватила ее всю без остатка». И так далее.

Превращение Фени в фанатика «гранулометрического состава» тем более художественно-ложно, что ведь в других местах Феня выступает как конкретная личность, которая — вопреки автору — размышляет, вспоминает о себе и отнюдь не «растворяется» «без остатка» в «процессах гидро-технических работ», больше того, она именно потому является хорошим гидро-техником, что неплохо понимает связь отдельного участка своей работы со всем фронтом стройки в стране.

Читая «Энергию», мы видим, какую большую работу проделал автор, какой огромный и ответственный участок действительности изучил он, но мы видим также, какие большие художественные искажения внесены в роман ложностью ряда его идейных установок.

Именно эти ложные идейные установки предопределили большой тон всего произведения, — именно они так усилили в романе элементы риторичности, вообще присущие творческому методу Гладкова, но особенно ярко сказывающиеся в «Энергии».

Нет, процесс социалистической переделки людей и образ строителя социализма не даны в «Энергии»!

По-другому думают и чувствуют, другими заботами волнуются подлинные Мироны Ватагины, Фени, Бочки...

И тем более серьезны ошибки «Энергии», что совершены они автором, удельный вес которого в послеоктябрьской советской литературе ясен для всех, ряд произведений которого пользуется за-

служенной популярностью и в нашей стране, и за рубежом.

Роман лишь начат. Мы сигнализируем об ошибках, имея в виду дальнейшее его развитие.

8

Несколько лет тому назад для значительной части советских писателей тема об интеллигенции и ее путях в революции была преобладающей. Вспомним про 1928—1929 годы, когда появились «Братья» К. Федины, «Пушторг» Сельвинского, «Седьмой спутник» Б. Лавринева и много других аналогичных произведений. Мы не будем воспроизводить здесь точку зрения марксистской критики тех лет, подвергнувшей подробному разбору ошибочность и двойственность большинства этих произведений. С тех пор кадры старой интеллигенции совершили поворот в сторону пролетариата. Выросли кадры молодой пролетарской интеллигенции. Прежняя тема попрежнему, хотя и не в такой мере, привлекает к себе внимание многих советских писателей, но разрешается она уже по-иному. В сущности, «Севастополь» А. Малышкина (1929—1931 гг.) в числе прочего знаменателен тем, что он исчерпывает прежнюю трактовку темы интеллигенции, ликвидируя ложное представление о мелкобуржуазной интеллигенции как о самостоятельной ведущей силе. Герой «Севастополя» — Шелехов — приходит к убеждению, что она не может быть такой силой, что ей предстоит выбор между революцией и контрреволюцией, — и волна революции уносит с собою в числе прочих и «крошечную жизнь некоего Шелехова», все еще однако таящего в себе «неистребимую хватающую за сердце Атлантиду», привязанность к старой культуре. Писать сейчас о прошлом интеллигенции — это значит совершать «прощание с прошлым», производить переоценку старых ценностей, разоблачать иллюзию индивидуалистического мессианства. Писать об ее настоящем — это значит художественно раскрывать пути интеллигенции к пролетариату, трудности, возникающие на этом пути, способы их преодоления.

В своем автобиографическом романе «Время, пространство, движение» Л. Никулин рассказывает историю молодого человека XX века, сквозь мелкобуржуазную романтику, сквозь анархизм и бегству приходящего к осознанному сотрудничеству с пролетариатом. Внутренне-фрагментарный, рассыпающийся на отдельные этюды, но написанный с мужественной честностью в пересмотре прошлого, роман Никулина представляет значительный интерес в качестве правдивого человеческого документа.

Разрыв с прошлым совершает и Н. Огнев в «Трех измерениях». Роман как бы подводит художественный итог общественно-литературной позиции автора, четко выраженной еще в «Дневнике Кости Рябцева» и «Исходе Никпетожа». Героиня романа, Калерия Липская, — пишет сам автор, — «индивидуалистка, она сама говорит об этом. Калерия Липская гибнет, она не может не погибнуть». Вместо среды общественной Липская все время пытается создать себе среду интимную, семейную, замкнутую. Но эта среда распадается звено за звеном, и Липская остается одна. Она не верит в коллектив, она не наша, она должна погибнуть».

Но гибель Липской лишена романтического ореола. Огневу можно скорее адресовать другой упрек — в том, что он чересчур измельчил образ своей героини, а поэтому ее трагический конец лишен необходимой поучительности. Как бы то ни было, роман значителен и своей темой, столь органической для Огнева в плане его идейно-творческой эволюции, и выпуклым фоном (годы перед войной, война, революция), и оптимизмом вновь обретенных ценностей.

Ценен также рассказ Б. Левина «Возвращение», посвященный мыслям вернувшегося в Москву инженера, бывшего вредителя, в ссылке пересмотревшего свои прежние позиции.

Однако есть два крупных произведения из области той же тематики, которые — по разным причинам — нуждаются в серьезной критике. Первое из них — роман Л. Леонова «Скутаревский».

В «Скутаревском» Леонов поднял огромной важности проблемы окончательного сближения лучших представителей старой интеллигенции с пролетариатом, характера работы по технической реконструкции страны, взаимоотношений старой и молодой, пролетарской интеллигенции, искусства и пр.

Мы не присоединяемся к тем критикам «Скутаревского», которые начисто зачеркивают новое произведение Леонова, отказывая ему в каком-либо положительном художественном значении. Нет, и в своих формально-художественных особенностях роман обладает многими достоинствами: в нем частично преодолена композиционная рыхлость, присутствующая еще «Соти». Язык романа, хотя и излишне отяжеленный орнаментальными узорами, перегруженный умствованиями, порою переходящий в манерность, все же отличается высоким мастерством обработки. Есть много верного, талантливо охваченного и в идейной конструкции романа. Ко многим явлениям действительности автор подходит проще и правильнее, чем он подходил в прежних своих произведениях. Поэтому мы при всей суровости нашей последующей критики ставим «Скутаревского» выше «Соти». Поэтому же мы резко оговариваем коренное отличие нашей критики от критики, которая выражает собою левовское или же — откровенно — буржуазно-упадочное отрицание большого искусства, выступая под лозунгом «распада большой формы», и которая замахивается не только на «Скутаревского» и не только на творчество Леонова вообще, но и на основы большого искусства социализма, используя для этого неудачи, постигшие Леонова в «Скутаревском».

Но мы не согласны и с критиками, которые свои панегирики «Скутаревскому» основывают преимущественно на сравнении романа с «Концом мелкого человека», ранним произведением Леонова. Конечно Леонов в «Скутаревском» — это не ранний Леонов. Но ценность романа нужно измерять, во-первых, с точки зрения его соответствия процессам, происходящим в объективной

действительности, во-вторых, сравнивая роман с общим уровнем советской литературы сегодняшнего дня, с глубиной поставленных в ней проблем, с умением передовых художников улавливать типичные характеры в типичных обстоятельствах и наконец с возможностями, заключенными в творчестве такого большого художника, как Леонов. Противоречия между единодушным положительным приемом, какой в свое время встретила «Соть» у нашей критики, и нашим критическим отношением к «Скутаревскому», хотя мы сказали о том, что «Скутаревский» выше «Соти», — такого противоречия по существу нет. Ибо значительно ответственным является тема «Скутаревского». Ибо после 1930 года, когда появилась «Соть», мы подходим к литературе со значительно более высокими критериями оценки. Ибо наконец роман Леонова крайне противоречив в своем замысле и выполнении, в нем автор идет зигзагами.

Скутаревский еще в первые годы революции начал работать с советской властью. Он — признанный ученый. Ему оказывается полнейшая поддержка, — в частности в его опытах по передаче энергии на расстояние без проводов. Скутаревский — из породы тех старых ученых, которые в течение ряда лет в Академии наук, в многочисленных научно-исследовательских институтах, в различных наркоматах производят величайшие открытия и изобретения, своим опытом оплодотворяя гигантскую работу по социалистической переделке страны.

Свойственны ли этой породе ученых колебания, сомнения, мучительные искания? Конечно. Весь вопрос заключается в характере этих исканий. Колебания и сомнения Скутаревского проходят через весь роман. Что же прежде всего мучит Скутаревского? Существующий, по его мнению, конфликт между «прометейством», то-есть эпохальными дерзаниями разума, на пути которых возможны огромные провалы, неудачи, ошибки, и необходимостью работать для удовлетворения текущих повседневных потребностей социалистического строительства. Этот ложный,

не существующий в объективной действительности конфликт кладет отпечаток надуманности на весь образ Скутаревского.

Скутаревскому противопоставлены практики: Черимов и Ханшин. Если мы внимательно разглядим образы Черимова и Ханшина, то мы придем к выводу, что здесь перед нами не плохие, но еще недостаточно опытные научные работники, по-вульгаризаторски подходящие к ряду проблем научной работы, склонные к узкому практицизму. Поэтому дилемма Скутаревский — Черимов предстает перед нами как дилемма «прометейства» в науке и научной повседневности, исключающей широкие исторические перспективы. А такая дилемма ничего общего не имеет с темой ликвидации пережитков кабинетного академизма, с темой научной теории и социалистической практики, с темой пути Скутаревского.

Скутаревскому не нужно было совершать поворот в сторону пролетариата, решать для себя вопрос об отношении к советской власти. Такой вопрос перед ним не стоял. Но перед ним стоял другой вопрос: о превращении из спутника революции, сотрудничающего с пролетариатом, в активного участника борьбы за социализм, находящегося уже в одних с пролетариатом рядах, а не по соседству с ними. Это — очень трудный путь, он не может не сопровождаться ломкой мировоззренческих устоев, он не может проходить без напряженной борьбы с самим собою. Здесь Леонов нащупал — пока еще стихийно — верную линию, важнейшую тему. Эта тема встанет и уже встает во весь рост перед многими и многими Скутаревскими как основная тема жизни. Но беда заключается в том, что Леонов не дал художественно-убедительного воплощения этой темы. Он начал развешивать образ Скутаревского по боковым и нехарактерным для данного типа интеллигенции путям. Многое он примыслил к образу Скутаревского. Нельзя в частности говорить о Скутаревском, идущем к пролетариату, к коммунизму, не поняв хорошо коммунизма и людей, его представляющих. Но как-раз ком-

мунист Черимов — одна из неудачнейших фигур романа.

Почему же Леонова постигла неудача именно здесь (мы допускаем за недостатком места критику романа по другим линиям)? Нам думается — потому, что Леонову еще не вполне ясны некоторые важнейшие тенденции социалистической действительности, что к своей теме он подошел в значительной мере по-книжному, не погрузив своего творческого внимания в гущу всей практики социалистического строительства. Поэтому-то так противоречив весь роман.

Совсем по другим причинам вынуждены мы критиковать «Тридцать ночей на винограднике» Ни к. З а р у д и н а — произведение большое, упадочное, идейно топчущееся на одном месте и как нельзя более характерное для сегодняшнего дня «Перевала». Тридцать ночей проводят чудаковатые интеллигенты из произведения Зарудина на виноградниках совхоза Абрау-Дюрсо, и эти тридцать ночей заполнены бесконечными разговорами о «вечных» проблемах, о стихийности и организованности, о лирике и рассудочности, о современности и истории, при чем все эти разговорчивые собеседники не замечают или плохо замечают протекающие вокруг них процессы живой жизни, — как будто перед нами возникло этакое убежище, в котором проспали все годы революции персонажи «Тридцати ночей».

Повесть Зарудина сплошь вопрошает, ничего не утверждая, — она замахивается на лирику во имя рассудка (оборотная сторона прежней реакционной постановки «Перевалом» этой же проблемы!), но так мила Зарудину старая, добротная лирика и весь мирок «тонких», интимных чувств, что удара не получается, — и снова тянется нить изысканных бесед, нескончаемая вязь отвлеченных, по старому интеллигентских надуманных силлогизмов.

Конечно, конечно, по сравнению с прежними выступлениями «Перевала» и с творчеством самого Зарудина в «Тридцати ночах» есть кое-какой несомненный... шагок вперед. Но ведь какая же дистанция отделяет наши дни от тех

дней, когда «Перевал» только развертывал знамя воронщины!..

Все та же боязнь живой жизни... Все то же книжно-интеллигентское отсиживание вдалеке от ее путей... Все та же фраза, фраза, фраза, мешающая творческому изображению нашей эпохи...

9

Нам осталось для окончания обзора продукции 1932 года рассмотреть важнейшие произведения, в которых советские писатели рисуют жизнь за рубежом СССР. Их не так много, и все они по своему значительны.

В «американском романе» «О-Кей», описывающем Америку 1931 года, ее технику, ее хозяйство, ее культуру и быт, в этих очерковых зарисовках Б. Пилляк обнаруживает себя талантливым публицистом, и публицистичность его дарования, освобожденная от элементов художественного вымысла, раскрывается в «О-Кей» особенно ярко. Но «О-Кей» — не только очерк. Это — очерковый памфлет, спорный в некоторых своих общих положениях, не охватывающий с достаточной полнотой многих важнейших областей жизни САСШ, например жизнь рабочего класса или условия работы компартии (не будем здесь винить автора, учтем условия его поездки), но всегда насыщенный сарказмом, направленным по адресу капитализма.

Продуктивна была и работа И. Эрнбурга — в 1932 году вышли его произведения «Испания», «Москва слезам не верит», «Хлеб наш насущный». Вот писатель, который, живя преимущественно за границей, лицом к лицу сталкивается с капиталистической действительностью, видит всю меру ее разложения, ее цинизм, опустошенность ее духовной жизни, утверждает СССР, противопоставляя его всему прочему миру, а в то же время сам в какой-то мере носит в себе начало универсального скептицизма, расслабленной созерцательности, попутничества в отношении к революции, а не органического слияния с нею. Ему кажется, что правильная, с его точки зрения, нужная, целесообразная социалистическая работа в СССР есть путь

жертвенности, что коммунисты—фанатики идеи (пусть единственно верной). сжигающие себя в горячке работы во имя будущего. Вот почему он не может и не хочет дать в своем творчестве образ радостного и полнокровного пульсирования жизни в СССР,—вот почему и советский художник в его «Москве», находящийся в Париже в командировке (галерея людей, развращаемых, деморализуемых и раздавливаемых кризисом, здесь дана мастерски), так скептически говорит о практической нужности искусства в СССР, переключаясь с соответствующими страницами из «Визы Времени».

Впервые от очерка к произведению больших обобщений перешел Б. Лапин в «Подвиге», и такой переход сразу выдвинул автора в первые ряды советской литературы. Коротко говоря, сюжет «Подвига» заключается в следующем: окончивший военную школу японский летчик Аратаки во время воздушного нападения на корейских восставших крестьян попадает в плен. Стечение случайностей позволяет ему спастись из плена, и перетрусивший офицер становится национальным героем,—это о нем пишут газеты, что он дал сигнал для воздушной бомбардировки восставших, указав то место, где он сам находился в плену, и спасшись лишь чудом (на самом деле он никакого сигнала не давал),—это его сравнивают с доблестными самураями и пр.

Сюжетная оболочка обманула многих критиков. Одни утверждали, что Лапин хотел прежде всего разоблачить «героизм» империалистического служаки. Другие утверждали, что Лапин совершает ошибку, преуменьшая реально существующую силу классового сопротивления врага, способного и на героизм. Сам Лапин заявил, что его задачей было показать, какова механика, при посредстве которой капитализм создает легенды о героизме. Однако не в этом главное.

Главное же заключено в уже приведенной нами выше песенке Пата Виллоутби:

Он готов любой подвиг совершить,
Он готов любую подлость показать,

Чтобы только грош счастья получить,
Чтобы ужин с бургундским заказать...

Аратаки—незнатный офицер, в японской армии у него нет крупных шансов на продвижение по лестнице военной иерархии, ему грозит судьба надолго остаться в самом низу офицерского сословия, но его грызет мелкобуржуазная зависть к верхушке капиталистического общества, он подражает ей и тянется к ней.

Не изображение механики рождения легенд, но изображение социальной механики, при помощи которой империализм вербует своих верных наемников из лагеря мелкой буржуазии,—вот в чем тема «Подвига».

Образ Аратаки Лапин раскрывает приемами, роднящими «Подвиг» с «42-й параллелью» Дос Пассоса. У Лапина есть способность имитации, перевоплощения в чужие национально-культурные облики и стили. В описаниях «Подвига», в стихотворениях, заканчивающих каждую главу повести, в деталях как бы стирается грань между произведением, переведенным с японского, и произведением русского советского писателя. «Подвиг» заслуживает очень большого внимания. Но пока он—больше обещание, чем результат. Лапин пока еще не нашел своего голоса, своего стиля, своего, особенного литературного дыхания.

Но все, о чем мы говорили до сих пор, имеет отношение к изображению империализма. Борьба рабочего класса за рубежом СССР еще не нашла своего отражения в советской прозе. Только В. Кнехт в своем интереснейшем произведении «Республика на замке», посвященном современной Финляндии, показывает узел классовой борьбы и лагерь рабочего движения.

Здесь драматургия имеет большие, чем литература, успехи. Я имею в виду последние пьесы В. Киршона, В. Вишневого, Н. Зархи («Улица радости»), заканчиваемую пьесу А. Афиногенова и пр.

10

Мы произвели разбор важнейших произведений советской прозы за 1932 год. О многих произведениях мы

лишь упомянули, о других говорили далеко не так полно, как они того заслуживают. Некоторых авторов и некоторые произведения мы не назвали даже. Из нашего обзора выпала драматургия (а ведь здесь, помимо названных пьес и пьес Н. Погодина, Л. Славина, Б. Вандурского, Прута и др., 1932 год дал нам «Егора Булычева» А. М. Горького) и поэзия (а ведь и в поэзии 1932 год был творчески переломным!). И все-таки обзор наш оказался перенасыщенным материалом. Таким уж богатым продукцией был тысяча девятьсот тридцать второй!

Мы видели, что достижения иной раз чередуются с провалами, нащупывание правильных путей — с ошибками. Мы видели, что на передовые литературные позиции выходят новые крупные писательские имена и что в литературе все более крепнут тенденции социалистического реализма. Мы установили, что литература наша действительно переживает такой подъем, который превзошел самые радужные предсказания начала 1932 года.

Но довольны ли мы успехами советской литературы? Мы спрашиваем так, имея в виду бесспорно лучшие произведения. И здесь нашему утверждению о подъеме литературы не будет противоречить следующий ответ, даваемый нами: нет, не довольны!

В самом деле, разве можно удивляться уровнем литературных достижений, если в решении основной задачи — создания образа человека, рожденного пятилеткой, — мы на-

блюдаем лишь первые, предварительные успехи, если — за редким исключением — написанное о социализме является лишь далеко не совершенным ответом, отбрасываемым действительностью в искусстве?

1932 год, как вероятно и наступающий 1933, войдет в историю литературы социализма как год поисков, овладения решающими подступами к созданию великих, соответствующих размаху социалистической революции на новом ее этапе произведений, появления первых таких произведений.

Они уже имеются, мы разобрали важнейшие из них, — и это есть та опорная база, на которой будут созданы произведения, знаменующие «новый шаг в художественном развитии всего человечества» (Ленин).

Они будут созданы в товарищеском соревновании, в борьбе с враждебными социализму тенденциями, в преодолении трудностей, в творческом процессе социалистического новаторства.

Они будут созданы, потому что растут потребности миллионов в области искусства, и этот рост стимулирует творческие поиски кадров советских писателей.

Они будут созданы, потому что кадры эти крепнут и качественно, и количественно, потому что мастерами искусства социализма становятся и вчера еще колебавшиеся попутчики пролетарской революции, и писатели, которых пролетариат выдвигает в искусство из фабрик, заводов, колхозов.

2. СТЕНДАЛЬ И ИСКУССТВО

(150 лет со дня рождения Анри Бейля)

А. Виноградов

Можно было бы не задерживать в процессе вечно сменяющихся событий внимание человека на чисто механических разрубаниях времени. В самом деле, самая десятичная система летоисчисления является условным овладением отдельным этапом процесса. Хронологиче-

ская разбивка на века так же условна и почти так же пропитана фетишизмом, как библейское летосчисление и установление периода нашей эры в тысячу девятьсот тридцать три года от неизвестного начала. Но, пока это не изменилось, предоставим возможность уче-

ным базироваться на этих шатких и хрупких фундаментах, расчлняющих процессы прошлого вне зависимости от большего или меньшего сжатия сгущенных и разреженных явлений человеческого мира. Хронология, действительно, есть «око истории», и техника овладения прошлым связана с этой неудобной, застарелой привычкой. Тем не менее празднование юбилеев все не есть сентиментальное потворство этой привычке, а глубокая, социально обусловленная задача, которую ставят перед собой люди новых поколений на рубеже, установленном историей, на рубеже, разделяющем разные этапы классовой борьбы. Если буржуазное празднование юбилеев иногда принимает прямо комические формы, осмеянные Марком Твеном, то лишь в силу того, что большинство этих юбилеев и чествований носит довольно пошловатый характер и относится за счет восхищения людьми, для которых еще не наступила настоящая историческая переоценка. Припомните, как старик Раблэ высмеивал римских пап и европейских государей вместе с воинственными героями древности, припомните длинный список тридцатой главы второй книги «В аду премного любопытных вещей, но с течением времени положение людей великих до странности меняется, — говорит Эпистемон, воскрешенный Панургом. — Я видел Александра Великого за починкой старых сапог, чем он и добывал себе средства на жизнь. Далее, Ксеркс торгует горчицей, Кир, царь персидский, служит скотником, знаменитый полководец Сципион Африканский бегаёт и орёт: «Дрожжи! дрожжи!», а что касается папы Сикста V, то увя, он сделался помощником лекаря в венерической лечебнице, а царица Семирамида, мировая красавица, вычесывает насекомых из косматой головы паромщика».

Так безжалостно история под пером великого Раблэ расправляется с людьми, которые ожидали вовсе не такого юбилея. С людьми нынешнего столетия еще хуже расправился Марк Твен в рассказе «Янки на небесах». Твен описывает двух юбиляров: один из них —

обращенный в христианскую веру на митинге в Нью-Йорке кабатчик; после своего обращения он ехал на пароме и утонул, и вот на том свете ему делают пышную встречу. Один из умерших говорит: «Я вообще заметил особенность покойных кабатчиков ожидать после смерти в воздаяние за предсмертное обращение к вере христовой, что все кинутся им навстречу и все человечество, умершее до них, будет их встречать на небесах факельным шествием». Собеседник глубокомысленно замечает, что история шутивла и всегда в последующих поколениях найдутся несколько миллионов или миллиардов исторических недоносков, для которых нет лучшего занятия, как таскаться с факелами по юбилеям и чествовать кабатчиков. Марк Твен беспощаден и к тому, кто насадил в Европе в качестве диктатора буржуазии это племя кабатчиков, рыцарей прилавка и героев наживы: «А Наполеона ты видел?» — спрашивает вновь прибывший на небеса покойник. «Еще бы, — отвечает прежде умерший: — Наполеон прыгает то в корсижанской секции, то во французской, он постоянно ищет заметных мест и огорчается тем, что его не считают великим полководцем и вообще ни в грош не ставят, спрашивая: «Это что за коротышка с подзорной трубой и в треуголке?» — «Ну, а кто же здесь празднует военный юбилей?» — «О, сколько угодно народу. Величайшим военным гением считается здесь кулачный драчун из Бостона, некий Абсалом Джонс. Целые кучи народа шляются за ним, куда бы он ни пошел, ибд всем известно: если бы у него был случай, то он показал бы себя гением военного искусства... Не его вина, что случая не было». После этого диалога наступил юбилей кабатчика. «В толпе целых легионов ангелов кабатчик весь расплывался в улыбках, а нимб был лихо надет набекрень. Появились два архангела. Они отвесили кабатчику сухой военный поклон. Появились два старца. Один из них произнес: «Моисей и Исав приветствуют тебя. Тут все, и архангелы, и патриархи, исчезли, а небесные кресла, на ко-

торых они сидели, мгновенно опустели. Юбиляр-кабатчик скорчил кислую, несколько разочарованную мину, вероятно он рассчитывал облапить старичков. А толпа миновала, она ведь видела Моисея и Исава патриархов».

Эта злая сатира на буржуазное захватывание великих и малых имен ради подогревания собственных мелких чувств оценена правильно. Иное дело, когда советская страна берет у истории то, что отсеяла суровая центрифуга исторического процесса, когда легковесные, пустые, дутые явления истории вышвыриваются из обихода советской памяти как ненужные, суммируются, прессыются, получают ярлык исторического утильсырья, и после этого большевистское человечество не возвращается к ним вовсе. Когда у нас празднуют юбилей, то это празднование глубоко осмысленно и необходимо. Оно необходимо и для воспитания нашей молодежи, оно необходимо и для освежения собственной памяти потому, что, оценивая результаты исторического отсева, мы берем суровые рубежи эпох, отделяющих разные общественные формации и разные этапы классовой борьбы. Железным костяком выступает суровая действительность прошлых столетий, и подлинные группы людей, подлинными титаны мысли выступают только под анализом историка, который, как химик в лаборатории, анализирует явления в реактивах материалистического понимания истории. Здесь и осадок, и добытый реактив в одинаковой степени интересуют поколение людей, строящих социализм.

Вот почему для нас не случайной является дата 23 января 1933 года, когда исполнилось 150 лет со дня рождения одного из величайших европейских писателей¹⁾, человека выдающегося

¹⁾ Чрезвычайно странным является то, что тов. Динамов не читает газеты, которая издается под его ответственностью и носит название «Литературной». В № 232 помещены давно напечатанные заметки с шапкой «Неизданный Стендаль к столетию со дня смерти». «Отрывки изданы в «Новым безреции», а Стендаль умер в 1842 году (III).

ума, Анри Бейля, писавшего под псевдонимом Стендаля. Два момента особенно заинтересовывают в его биографии и в его творчестве. Первый — это индивидуализированный момент, неповторимый, связанный со всем обликом этого большого писателя, второй — генерализирующий момент, связанный с проявлением в творчестве Стендаля того закона диалектического развития человеческих обществ, в которых мы можем наблюдать явления типического порядка, очень поучительные для нашего времени.

В самом деле, распад феодальных отношений в Европе и рождение молодого, сильного и крепкого буржуазного класса многих обманули после того, как оттремели громаы Великой французской революции и шесть миллионов солдатских сапог истоптали вдоль и поперек Европу от Атлантического океана почти до Урала. Типичным и особенным для Стендаля является то, что ему удалось, как никому, острым обонянием ощутить тлетворный запах, исходящий от новорожденного младенца — капитализма. Это не было растерянностью неприкаянного человека, который из мелкобуржуазной среды попал под колеса капиталистической машины и с переломанными ребрами вступил в жизнь. Стендаль испытал полочку той житейской кареты, которая везла его из армии Наполеона к богатству, славе и блестящей военной карьере. Но это внешнее превращение житейского этикета ни в коей мере не отразилось на его психике. Светлый, ясный, прозрачный, как серебряный ручей, очень трезвый холодный ум и эмоционально пресыщенное сердце сделали этого человека превосходным измерительным прибором своего времени. С точностью сейсмографа он отмечал колебания эпохи. Микрометрический винт его беллетристического анализа лучше всего говорит о том, что историю обмануть нельзя или, как формулировал эту мысль Белинский: «все рано или поздно станет на свою полочку». Пришло время определить, на какую полочку мы положим книги великого Стендаля и прежде все-

го с точки зрения его оценок искусств, что может дать он нам.

23 января 1783 года в Гренобле, маленьком городе Южной Франции, родился этот человек в семье довольно богатого нотариуса Керубина Бейля. Через 6 лет в Париже были созданы Генеральные Штаты королем Людовиком XVI для того, чтобы заслушать мнение французской буржуазии, дворянства и духовенства о том, как спасти дворянскую Францию, в которой 30 тысяч дворянских семей, потребляя две трети бюджета всей страны, не соразмерив своих appetitов, промотали свой семейный бюджет и вместе с тем разорили свои поместья. Общий государственный долг Франции возрос к этому времени колоссально, а торговый договор с Англией, выгодный только ей и французским дворянам, еще более ухудшил положение. Те же, кто считал себя солью земли, скромно богатейшие с каждым днем скопидомы, предприниматели молодой буржуазной Франции, только и ждали момента, когда им удастся столкнуться с феодальным строем, чтобы предъявить ему свои старые счета. Люди, безродные, своей ловкостью умевшие накопить франк на франк и червонец на червонец, решили, что настало время осуществить мечты философов о равенстве всех сословий перед законом. В год, когда из столкновения классовых сил возникла первая искра Великой французской революции, нашему писателю исполнилось всего шесть лет. Однако в его рано воспламененном мозгу твердо и отчетливо запечатлелось первое впечатление от революционных громов, так как депутаты от провинции Дофинэ, главным образом Барнав, бывали часто в гостинной его отца и сообщали потрясающие сведения о том, что происходит в революционном Париже, а на площади Грэнетт расстреливали сторонников короля. Под этими впечатлениями протекло все детство писателя, 150-летний юбилей которого сейчас очень разнообразно отмечают газеты, журналы и книжки всего мира. Национальное собрание, Конституанта, Легислатива и

Конвент поочередно сменяли друг друга. Будущий писатель Стендаль, тогда еще мальчик Анри Бейль, в Гренобле, в доме своего отца, получал впечатления и о революции, и о контрреволюции. Барнав был казнен в качестве организатора жирондистской контрреволюции, и многие другие были принесены в жертву «святой матери гильотине» в те годы, когда Французская революция все выше и выше восходила по ступеням Монтаньярской группы. Белые священники, уклонившиеся от революционной присяги, и якобинцы в роде члена Конвента геометра Гро были тайными и явными обитателями дома нотариуса Бейля. Одни по скользким лестницам с перилами, обитыми холодным железом, спускались в подвал, куда контрреволюционная прислуга доставляла им пропитание, другие по каменной лестнице свободно проходили в оранжерею старика Ганьона, деда нашего писателя, и в комнате, уставленной книгами Вольтера, Руссо, «Большим словарем наук, искусств и ремесл» Дидро и Даламбера, обучали мальчика секретам материалистической философии, математике, атеизму, вражде к католической религии и той замечательной науке человеческого счастья, которая овладевает сознанием всякого молодого класса, впервые отвоевывающего себе передовые позиции эпохи в истории. Так продолжалось до той поры, покада кандидатом политехнической школы Конвента имени великого математика Эйлера в Париже наш молодой автор не отправился в столицу Франции. По дороге его застало извещение о том, что молодой генерал, недавний комендант Парижа, Бонапарт, переломил хребет французской республике, сделался пожизненным консулом, и под этим впечатлением молодой Бейль появился в Париже. Первоначальное одиночество сменилось болезнью, покада родственники, бывшие аристократы, теперь ставшие в первом ряду бонапартистских сотрудников, Мартиал и Пьер Дарю, не вытащили молодого Бейля из его норы где-то в гуще закоулочных домов улицы Бак. Дальнейшие события развернулись быстро, легко и про-

сто. Наш писатель попадает в резервную армию Бонапарта, бросив политехническую школу. Начинаются полуфантастические походы в Северную Италию, где Наполеон, уже будучи в достаточной степени реакционным генералом, диктатором молодой озверевшей буржуазии, осмеливался провозглашать атеизм, свободу всех сословий, объединение североитальянской бедноты и в силу секретных инструкций Директории провозгласил такие опьяняющие молодежь лозунги, которые во Франции не могли появиться даже в годы секретного братства Гракха Бабефа с его «Заговором равных». Единство Италии, ниспровержение римского папы, а главное ниспровержение австрийского ига, угнетавшего Италию, водворение крестьян, обездоленных богатым помещиком, на их прежних землях, восстановление справедливости в судах, провозглашение «Объединенной Итальянской республики» — все это сопровождалось очень легко запоминающимися боевыми сценами, когда какой-нибудь барабанщик укачивал брошенного ребенка, сидя на барабане, какой-нибудь капрал возвращал крестьянину коров, уведенных австрийскими жандармами, — все это производило неизгладимое впечатление на итальянскую молодежь тогдашнего времени. И под этими впечатлениями созревало мироощущение нашего писателя в Северной Италии. Вместе с ними оживлялись его чувства, его благоговейное отношение к многовековой итальянской культуре, к замечательным памятникам итальянской живописи, к литературе, создавшей величайшие произведения эпохи Возрождения. Отсюда ощущение цельности эпохи, отсюда — то здоровое, бодрое, чистое материалистическое ощущение мира, которое было свойственно Стендалю до конца дней. В дальнейшем мы видим Стендаля в Милане, потом наступает его временный отход от активной деятельности Наполеоновских армий. В эпоху вторжения Наполеона в Германию, Австрию как будто наступает некоторое охлаждение будущего писателя к операциям любимого героя буржуазии. Он испытывает себя в разных

положениях, в разных слоях тогдашнего общества. Мы видим его то молодым приказчиком в Марселе, куда он тайком от отца переселяется для того, чтобы не расставаться с любимой женщиной, артисткой Мелани Гильбер, потом в 1812 году Бейль появляется в Орше, Смоленске, выдерживает дни московского пребывания Наполеона в Кремле, а потом вместе с великой армией, проявляя большую выдержку и самоотверженность ради спасения больших армейских частей, мы видим его на пути из Москвы в Париж через Вильну. На этой дороге Стендаль теряет и свои дневники, и свои наброски истории живописи в Италии, а его письма перехватываются вместе с французской штабной перепиской и доставляются в штаб тогдашнего военного министра Аракчеева. Вот, в сущности говоря, к чему сводились первые тридцать лет жизни нашего писателя.

С того момента, когда миновала пора расцвета буржуазии, когда по всей Европе наступила тягчайшая политическая реакция и когда вместе с тем экономически дозревала торгово-промышленная группа французских буржуа, хватавших жизнь за горло и утверждавших свое право на барыш, спокойную наживу, на свободную торговлю ради свободной эксплуатации трудящихся, — в это время военно-бюрократическая монархия Наполеона становилась уже некоторым архаизмом. Феодальная шелуха сваливалась с переболевшей Европы. Вырос крепкий, сильный, эгоистический класс буржуазии. Люди беззастенчивых, вышедших из числа тех «способных», которые сменили собою бесталанных, но «знатных». Вот эти «способные» показали свой звериный оскал зубов, когда дошла до них очередь присесть к общественному пирогу. Впервые после ликвидации военного периода, впервые после римского конкордата 1802 года, когда перед лицом Франции снова встала католическая церковь как реальная сила, необходимая и для большой городской буржуазии, и для крестьянства, отвалившегося от революционного стола после распродажи дворянских земель, ставших

собственностью национального фонда, — впервые перед лицом Европы стал новый человек новой Франции. И этот новый человек до такой степени казался нашему писателю отвратительным, что он поспешно ринулся вон из Франции в поисках настоящего, большого и крупного человеческого характера, способного устраивать свою жизнь не ради биржи и денежного мешка. Если в пору Французской революции безродная буржуазия, не числившая за собой никаких великих подвигов старых феодальных рыцарей, стремилась искать свой прообраз в героях древнего мира, то теперь за конторкой с бухгалтерской книгой в руках ей не нужны были эти образы героической классики. «Занявшись мирной конкурентной борьбой, тогдашние буржуа забыли, что у их колыбели стояли тени древнего Рима» — так формулировал это забвение предшествовавших десятилетий Карл Маркс в своей статье «18 брюмера». В среде этой буржуазии нашему писателю было очень трудно дышать, очень трудно жить, он чувствовал удушье и реально на себе переживал тот процесс, при котором, по выражению Бальзака, «понятия теряли своей вчерашний смысл». Но живое чувство действительности не оставляло Бейля даже в ту пору, когда случайные факты человеческих существований стремились заменить собою картину действительности. Гегель тогда был еще мальчиком, но, вступая и зрелый возраст, он имел уже все данные для заявления: «Действительность выше существующего. Случайное существование не есть действительное существование, ибо действительно только то, что необходимо». Вот это ощущение мирового процесса истории было основной чертой творчества писателя, возникшего в эти трудные дни, Анри Бейля, давшего свое первое произведение под тем псевдонимом, который за ним уцелел. В пору стремительного движения в почтовой карете по глухим и пустынным закоулкам Европы будущий писатель стремится запечатлеть тающие образы своего времени для того, чтобы, с одной стороны, дать характеристику случайных и пре-

ходящих явлений существующего, а с другой — запечатлеть своим изумительно четким и ясным пером железный костяк необходимой действительности, заложенной в тающих образах переходной поры. И это ему удалось с таким мастерством, с таким умным, запечатлевающим гением, что только разве многословный Бальзак мог сравниться с ним по силе впечатления действительности и по резкости той линии, которую в художественном творчестве и Бальзак, и Стендаль пролагали между случайными фактами существования и необходимыми явлениями действительности. Сущность, отпечатлевшаяся в явлениях тогдашней эпохи, закономерность в развертывании явлений тогдашнего мира, формация промышленного, финансового и банковского капитала тонко и отчетливо зарисованы Стендалем в его романах «Красное и черное» и особенно «Красное и белое» («Люсьен Левен»), а также в незаконченном отрывке «Федер или денежный брак»¹⁾ и наконец в маленькой вещице всего в несколько страниц «Филибер Лескаль». Короткое сообщение о молодом сыне крупного банкира, который вместе с друзьями ощущает жизнь, как страшный склеп, в котором борющиеся классы поставлены друг перед другом почти с той же безнадежностью, как в греко-римском мире, когда борющиеся классы вместе погибали во взаимной истребительной борьбе. «Кротовая работа всемирного духа подрывает существующий порядок, превращает его случайные формы в отдельные моменты существования, лишённые всякого действительного содержания, и делает необходимым появление нового порядка, роковым образом сталкивающегося со старым». Так формулировала идеалистическую часть философии Гегеля тогдашняя философия истории. Вот это ощущение процесса, при котором понятие теряет свой вчерашний смысл, легло в основу концепции всех романов Стендаля, но вместе с тем, подчеркивая значение процесса, он в мертвой динамике событий находил место для живой

¹⁾ См «Новеллы, хроники и эпизоды». Изд. 1923 года.

статистики своих образов. Он любил человека огромной силы воли, огромной энергии, человека с проверкой качества своих наслаждений, ощущений и удовольствий, качества, при котором сохраняется внутреннее уважение, основанное на общественной полезности данного индивидуума перед лицом огромной массы трудящегося человечества. Основную школу жизни Бейль провел в Италии в обществе людей одаренных, действительно колоссальной энергии, в Италии, которая разложилась не так, как разложилась буржуазная Франция эпохи реставрации Бурбоновской династии, когда крупнейшие буржуа, испугавшись пролетариата, кинулись в объятия католической религии и склонны были заключить предательский союз с целым рядом аристократических семей. В Италии тогодашнего времени развернулось подпольное движение карбонариев. Среди них большую роль играл Байрон как организатор революционной конспирации, положившей начало будущей «Молодой Италии», Гарибальди и Маццини. В этой среде работали карбонарии Уго Фосколо, Конфалоньери, Пепе, Сильвио Пеллико и сотни тысяч молодых людей, вожди которых были зарегистрированы в трехтомном большом доносе австрийским шпионом Триболяти. Судьба великого Байрона известна, Фосколо умер в изгнании, Конфалоньери, Пеллико и десятки тысяч других погибли в тюрьмах Австрии, Стендаль был приговорен к повешению. Но австрийская полиция не знала настоящего его имени. Ему удалось довольно быстро бежать из Италии, и, когда острый период миновал, он снова появился в этой стране, но уже не в австрийских владениях, ибо Меттерних и австрийские власти в Италии не давали ему возможности провести в североитальянских городах хотя бы один день. Вот в этой карбонарской среде, сменившей французских атеистов, материалистов и давшей новые формы революционного настроения, писатель Стендаль провел свои лучшие, незабываемые годы. После падения карбонарской волны, в период наступления глу-

первые новеллы Стендаля, посвященные итальянскому карбонаризму (Ванина Ванини, замечательные воспоминания о Байроне, наконец газетную статью «против идеалистической философии в этике и морали», напечатанную 18 декабря 1829 г. Это, в сущности, даже не статья, а брошюра «О судьбе лейтенанта Луо»). Лейтенант Луо видит утопающего и стремится оправдать свое нежелание броситься на помощь прошлогодней болезнью. Чрезвычайно интересен анализ мотивов за и против у этого самого стендалевского Луо. В эпоху наивысшего расцвета буржуазно-эгоистической морали Стендаль, материалист, атеист, для которого не существует никаких райских вознаграждений за подвиги и адских наказаний за земные преступления, человек строго утилитарный, любящий жизнь и ее счастье, вдруг заставляет своего героя, перенесшего только-что простуду, броситься в холодную воду и тащить безвестного лодочника. Рассказывая эту историю, Стендаль настаивает на том, что никакое чувство благодарности или выговор не родят этого естественного чувства коллективной солидарности людей трудящихся, кроме материалистического, простого, «социального» чувства великой поддержки против общего врага. Тут врагом выступает простая водяная стихия, поглощающая перевозчика, в другом месте — это человеческая стихия буржуазной эксплуатации, наживы, но и в том, и другом случае «подло оставлять человека на произвол стихий, если есть возможность ему помочь даже ценою собственной порванной шкуры». В этой статье чрезвычайно интересны взгляды Стендаля на свою эпоху. Он писал: «Сколько есть людей, которым выгодно хвалить новую философию. Пока иезуитам не удалось перевешать всех профессоров, самое лучшее, что могут сделать иезуиты, — это покровительствовать немецкой идеалистической философии, туманной и часто мистической. Можно подумать, что ее сторонники находят особое наслаждение в том, чтобы

здоровой и простой мысли. Добродетель — плохой аргумент. Бекон был негодяй, торговавший правосудием, и тем не менее это — один из величайших людей новейшего времени. Сколько есть сельских попов, обладающих всякими добродетелями, но, как только они начнут рассуждать, все хохочут, видя, что они дурачат население. Противники мои теперь в моде, я с этим согласен, эклектическая философия пользуется покровительством и поддержкой всего того, что греет руки около бюджета и парижского банка. «Сколько нужно иметь мужества для того, чтобы бороться: первое — с модой, второе — с мнениями или, лучше сказать, с пристрастиями всех французских банкиров, родившихся в 1810 г., третье — с пятьюдесятью тысячами попов, из которых многие бразовны, красно-речивы, добродетельны, что ухудшает их ядовитость, разлагающую наше общество».

Немного спустя после этой статьи вышел в свет прекрасный роман Стендаля «Красное и черное» (1831 г.), роман, который вместе с первым романом Стендаля «Арманс» (1827), дает классовую характеристику французского общества. Оба они в достаточной степени известны русскому читателю. Но 1930 год, когда Париж впервые покрылся баррикадами, когда в период дворянской реакции, пытавшейся повернуть назад колесо истории, была сломлена сила парижского пролетариата, а успехи его побед ловко захватила цепкими руками финансовая буржуазия Парижа, этот год застает нашего автора в новых сборах в Италию. Правительство крутых буржуа, министерство Луи-Филиппа Орлеанского, сменившего феодально-дворянскую власть Карла X, отпускает Стендаля, как «беспокойного человека», на консульскую должность в итальянское захолустье. Там начинается его огромная литературная работа, приведшая к созданию лучших в мире коротких повестей, новелл, хроник, к созданию «За-

писок эготиста», «Жизни Анри Брюляра», к созданию одного из лучших в мире романов «Пармская обитель» и наконец к зашифрованному роману, в котором с невероятной остротой, четкостью и тонкостью отмечены эти черты возникновения финансовой буржуазии у власти, — «Красное и белое», или «Люсьен Левен». Этот роман, вышедший недавно, представляет собою изумительную картину психологического состояния молодежи в эпоху расцвета финансовой и банковской буржуазии Франции. Умные и ясные глаза Стендаля усмотрели в тогдашней ура-патриотической Франции такие черты внутреннего распада, бытового разложения, избирательных шашней, министерских подкупов, при которых и королевская власть, и министры, и армия, и международные сношения, и захватническая политика в Алжире становятся проявлениями ненасытимой алчности капиталистических воротил Франции, биржевых ажиотеров, спекулянтов и презирающих общество матерых волков французского банка. Роман не был окончен — шифр в первом пяти написанных книгах был потерян автором. В состоянии крайнего утомления Бейль чередует итальянские темы и французские сюжеты, пишет заметки о своих путешествиях, ведет большие салонные беседы, маскируя свое подлинное лицо тысячами псевдонимов в переписке, и передает тайну своего большого, ясного и чистого мастерства любимому ученику Просперу Мери-ме. Бальзак восхищенным пером описывает впечатление, какое дали ему незабываемые страницы «Пармской обители». Пушкин, не отрываясь, читает «Красное и черное» и пишет об этом романе восторженные письма своим друзьям. Лев Толстой, создавая батальные картины «Войны и мира», строка за строкой с карандашом в руках прослеживает технику описания нелепых и бессмысленных сторон войны по главе Стендаля, описывающей битву при Ватерлоо в романе «Пармская обитель». Есть много еще неисследованных и нетронутых сторон лите-

ческого бытия этого замечательнейшего писателя прошлого века¹).

Буржуазная идеология века французского просвещения отразилась в художественной литературе яркими образами, богатством картин, прекрасными приемами художественного творчества только через три десятилетия после спада активной революционной волны. Отпечатлевшаяся в художественных созданиях Стендаля, а потом Проспера Мери́ме и Огюста Балзак, эта эпоха атеистов, материалистов, эпоха отважных революционных умов, державших на свободные искания великих путей для человеческой мысли, не встречала сочувствия в тех группах, которые, наевшись досыта, отвалились от стола и жаждали мертвенного покоя и застоя. Кипение и бурное горение новой эпохи шло одним путем, а буржуазная вражда к этому кипению и горению осаживала молодежь. Отсюда и та защита романтики как молодого, задорного и свежего литературного течения, которое защищал Стендаль против академического консерватизма своих современников. Его борьба на крайнем левом романтическом фланге отмечена памфлетами колоссальной силы и красоты: «Расин и Шекспир» (два издания), «Заговор романтиков против индустриальной буржуазии». Это все — замечательные этапы борьбы за романтизм. Стендаль в темные и глухие годы сумеречной Европы кончил свои дни, внезапно упав около дома, в котором началась его молодая карьера, и умер 23 марта 1842 года. Определение взглядов Стендаля на искусство в значительной части обусловлено его научными пристрастиями. Характерно, что Анри Бейль, будущий Стендаль, начал с математики и механики в специальном высшем учебном заведении. Отсюда своеобразная эстетика Стендаля. К нему в известной степени приложимы слова Тютчева, сказанные о другом военном инженере

тогдашнего времени. Характеризуя Наполеона, Тютчев дал красивые четыре строчки:

Ширококрылых вдохновений
Орлиный дерзостный полет,
И в самом буйстве дерзновенный
Змеиной мудрости расчет.

И «змеиной мудрости расчет» является типичным для Стендаля. Мы упоминаем о нем потому, что отсюда проистекают отрицания бессознательных факторов в искусстве, отсюда у Стендаля отрицание «вдохновения» как мистического элемента творчества. В своей автобиографии («Жизнь Анри Брюляра») Стендаль пишет: «Мой взгляд на изящную литературу, в сущности, тот же, что и в 1796 году, но каждые шесть месяцев он совершенствуется или, если угодно, видоизменяется в сторону точности». И далее, после закрепления этой революционной даты, он говорит: «Около 1794 года я глупейшим образом ждал приступа гениального вдохновения, чего-то в роде гласа божьего, обращенного к Моисею из неопалимой купины. Благодаря этой глупости я потерял много времени. Хорошо, что научился не удовлетворяться наполовину пошлым, как это делают немало заслуженных писателей. Когда я принимаюсь писать, то вовсе не думаю о своем литературном идеале, ибо меня осаждают мысли, которые я должен выразить. Вильмена осаждают форма прозы; Расина — форма стиха».

Постоянно повторяя, что случайность есть неосознанная закономерность, Стендаль во все моменты творчества сохранял ясное представление о значении и задачах своей литературной работы. Недаром он пользовался как методом предварительной проработки фразеологической продукции чтением «Гражданского кодекса» Наполеона. Эти сухие отчетливые формулировки гражданского бытового устройства новой Франции давали Стендалю уверенность в развертывании собственной беллетристической фразы. Вот почему язык его при всей трудности очень точен и ясен. Вот откуда любовь Стендаля к тому, что он вслед за Руссо считал «природной естественностью». Однако если мы возьмем десятилетия, в

¹ См. «Происхождение и смысл военных картин у Л. Н. Толстого». (Объяснения М. Горького) «Печать и революция». 1928 год, сентябрь.

которых протекала молодость Стендаля, то мы увидим в пригородах и предместьях Парижа, где Анри Бейль любил проводить время, не ту естественную природу, которую описывает Руссо, а подстриженные версальские деревья, куртины, искусственность фонтанов, гирлянды декоративной зелени, дорожки, посыпанные цветными песками. Это был еще век камзолов и пудренных париков, век дуэлей и ядомешательства. Одновременно с костюмами для колдуний накалялись тигли в лаборатории Лавуазье. Вещества выдавали человеку свои тайны, а церковь вела борьбу с демоном разума, когда был открыт закон сохранения материи, была разложена вода на составные элементы и Монгольфьеровский воздушный шар поднимался к облакам перед глазами возбужденного и напуганного Парижа. Еще через некоторое время Гальвани и Вольта произвели первые опыты с новооткрытой силой электричества. Совсем перед революцией великому шарлатану, любимцу королевы Марии-Антуанетты, Месмеру пришлось сложить голову убежать из Парижа, охваченного волной скептицизма и материалистического недоверия к тайным силам и чертовщине. Если Версаль старинных Людовиков со всем его населением в фижах, кринолинах, шестиярусных париках, мушках, румянах, камзолах, шелковых чулках, паркетных туфлях и брабантских кружевных манжетах еще напоминал давно минувшие годы рококо, то колоссальные сдвиги, достигнутые скептиками, материалистами и математиками времен энциклопедии, рассматривали эту природу не как искусственность, а как точку приключения разумных человеческих сил. И это — тоже воззрения XVIII века, века великих материалистов Англии и Франции.

Этими двумя вещами — отрицанием бессознательного в искусстве вместе с революционной напряженностью эстетической воли и материалистической философией — определяется единственный культ Стендаля-атеиста, культ искусства, и с этой точки зрения чрезвычай-

но интересным является его ощущение красоты. Ясный свет, чистый воздух, колорит ландшафта и колорит звуков природы, это — единственно допустимые моменты в классической литературе, возьмем ли мы Виргилия или Овидия. Стендаль говорил: «Красота есть обещание счастья и максимум полезности». Никто из римских и греческих классиков не давал длительных и эстетических описаний природы. Язык Кая-Юлия Цезаря в его «Записках о Галльской войне» был одним из предметов восхищения Стендаля. Вот почему Стендаль чрезвычайно скуп на слова, когда идет речь о каком-нибудь описании красоты природы. Но именно в силу этой скупости он достигает эффектов так же, как Цезарь во второй книге «Комментариев» вдруг неожиданно дает картину зеленых долин и горных склонов Шотландии, все это на десять строчек. Или какой-нибудь Катон, который внезапно среди описания военного пробега вдруг приводит читателя к берегу и говорит: «Тут мы увидели море, цветущее парусами». Образ спасения на кораблях в сухом рассказе так же потрясает, как потрясает Гомеровский образ, столь же необходимо рождающийся в неожиданности. Морские волны, налетая на скалы, дробят о камни «фиалковую влагу, и она отлетает от камней, превращенная в тысячи серебряных дротиков». Стендалевский образ, не менее неожиданный и также внутренне необходимый, всегда дается в тех случаях, когда эта неожиданность образа осуществляет завершение какой-нибудь идеи. Эта техника завершения мысли, эта система захлестывания узлов на концах заимствованная из книги Дестю де-Трасси, именуемой «Идеология». Но удержался ли Стендаль на этой позиции? Нет. Руссоизм тяготел над ним. И через руссоизм он перешел к той враждебной классицизму концепции, которая сделала его самого автором романтического манифеста и лучшего эстетического трактата начала прошлого столетия «Расин и Шекспир». Но трактовка природы остается чисто материалисти-

ческой, а самый момент гармонического слияния в понимании природы и ощущении ее красоты объясняются тем, что, помимо собственных свойств, большая уравновешенность Стендаля опиралась, как на рычаг, на великих материалистов предшествующего века. С его точки зрения революция тем хороша, что «дает нравам естественность, умам и характерам — серьезность». Тут началась у него тягчайшая борьба со своим временем и с самим собой. Хорошо узнав самого себя, точно определив свои силы, Стендаль раз навсегда узнал себе цену и остался себе верен, даже тогда, когда эту верность приходилось оплачивать довольно дорогой ценой. Верность себе, беспощадная честность перед самим собой обусловили то внутреннее спокойствие, веселость и достоинство в жизни, которые были всегда отличительными чертами Стендаля. А в области вторых явлений, о которых мы говорили в начале статьи, т.е. в области вековечных ценностей, добытых для человечества этим большим умом, эта же свойства дали ему возможность, не швыряясь в параксизмы переоценок собственной персоны, ясно и отчетливо определять в смене поверхностных форм существующего тяжелые и скрытые костяки необходимой действительности. Т.е. по существу в смене фомадий усматривать закономерность процессов борьбы хотя бы в форме «борьбы государств, возникающей от того, что противоположные общественные группы направляют волю враждующих», несмотря на то, что сущность никогда до конца не переходит в явление. Стендаль был первым «формировщиком» политического романа как такового, это было колоссальной дерзостью, этого не прощало буржуазное общество. И что еще хуже, Стендаль был создателем классового анализа в большом романе, а вместе с тем был автором революционных эстетических теорий, которые раскрепощали и расчищали дорогу формам искусства, настоятельно стучавшимся в двери истории. В этом отношении заслуга Стендаля непреходящая, — я говорю это не в по-

рядке юбилейного панегирика. И даже то, что Стендаль тотчас же делал оговорки, которые указывали на его глубокий эстетический пессимизм в отношении последующих поколений, делает его неизмеримо выше своих критиков. Один молодой марксист¹⁾ в своем анализе эстетики Стендаля берет чисто внешние его элементы, во что бы то ни стало желая запечатать Стендаля в коробочку буржуазности. Этот молодой критик трактует методический отрыв от банковской буржуазии (отрыв, который всегда жестоко и прямолинейно проводил Стендаль в своей жизни) как аристократизм. Этот молодой человек пишет: «Аристократизм Стендаля нигде не проявляется так решительно, как в его понимании искусства». Коренная ошибка! Затем далее, тот же молодой автор говорит: «По мнению Стендаля ни в коем случае не может быть благоприятной для искусства демократическая республика. Стендаль был глубоко неправ, когда рисовал будущее искусства в таких мрачных красках». Этот критик обвиняет Стендаля не больше, ни меньше, как в непонимании социализма. Писатель, умерший в 1842 году, за 6 лет до коммунистического манифеста и написавший потрясающий роман «Красное и белое» в годы самой дикой европейской реакции, в мрачные десятилетия короля плутов Луи-Филиппа, короля золотой середины, не заслуживает такого упрека уже потому, что сущность того явления, о котором можно говорить как о полном искусстве, до конца разовьется только в бесклассовом обществе. И каковы бы ни были пессимистические прогнозы Стендаля касательно развертывания искусства в буржуазном обществе, он всем своим существом, всем зовом своих эстетических эмоций открывал дорогу грядущему дню человеческого общества, не называя его, и в целом ряде мо-

¹⁾ Рейзов. — «Эстетика Стендаля». Ростов-Дон. 1928.

ментов доказывая неумение формулировать своих чаяний. Опять мы можем констатировать глубокую честность этого большого человека. Он не соглашался ни на какие подмены. Считая, что «великие люди будущего могут в дальнейшем рождаться только в среде городской бедноты, как любовь расцветает в подвалах и мансардах, т.-е. там, где девушка, выходя замуж за действительно любимого человека, обходится без нотариуса». Стендаль шел гораздо дальше, чем идут его простые политические высказывания, касающиеся тогдашнего времени. Чистая сущность социалистической формации, т.-е. прекрасная человеческая личность в коммунистическом обществе, осуществится только с умерщвлением капиталистического мира и наступлением бесклассового общества. Наличие классовый борьбы определяло собою пессимизм Стендаля, ибо он видел вспышку энергии молодого сословия, которое, становясь у руля истории, в пафосе, рождающем новый мир, обещало больше, чем могло и чем захотело исполнить. Буржуазия, рождающая революцию, рождала идеи «впрок», и потом сама же не только их забрала, но их испугалась. Правда Стендаля здесь приблизительно такова же, как правда Бальзака, о которой Энгельс писал: «То, что Бальзак принужден был идти против своих собственных классовых симпатий, то, что он видел настоящих людей будущего там, где их только можно было найти,—это я считаю одной из величайших побед реализма». До какой степени это же с большим правом можно сказать о Стендале. Его поиск сильного характера, его поиски прототипа будущего человека направлялись в сторону карбонариев, молодых революционных людей Италии, сохранивших весь пыл стремлений к переустройству мира, в то время как Франция уселась широко в банкирское кресло и, отсчитывая барыши, говорила: «От социализма может спасти только катехизис». И тот же человек, который сказал эту фразу, министр Тьер, ска-

зал не менее интересную вещь: «Знаем мы этих романтиков, сегодня это — романтики, а завтра — коммунизм». Кого он имел в виду? Конечно не Альфреда де-Виньи и не Виктора Гюго. Он имел в виду карбонария, приговоренного к повешению министром реакционной Австрии Меттернихом, он имел в виду Стендаля, автора романтического манифеста.

В 1818 году в Италии появился трактат неизвестного человека «Romanticismo», в котором автор описывает битву двух армий на противоположных берегах «Реки Общественного Удивления». Он сам при громких криках негодующих современников занял позицию на левом берегу. Книжка наделала много шума и причинила немало беспокойство австрийской полиции. Романтизм, проповедуемый ею, был атеистичен. В основе всех человеческих побуждений автор усматривал стремление к счастью человека, который всегда остается верным себе. «Любить что-нибудь с истинной страстью, ради которой можно положить даже самую свою жизнь», это в эпоху австрийской реакции в Италии, в эпоху расцвета «черного цвета» и иезуитской конгрегации, показалось неслыханной дерзостью. Во владениях его апостолического величества, императора австрийского, нелегально было печатать такие книжки. Три года разыскивали автора, скитавшегося по Италии под разными именами. А когда в 1821 году соединенные силы интервентов раздавили итальянское революционное движение карбонариев, то оказалось, что высланный миланской полицией французский гражданин Анри Бейль и есть тот самый барон Стендаль, перу которого принадлежит непозволительное и безбожное произведение «Promenades dans Rome», и даже хуже того, он оказался тем самым инженером Висмарой, который заочно приговорен был к повешению. В 1823 году, в самый разгар споров о романтизме и классицизме, ничем не выдавая своего первичного авторства, Стендаль печатал

гает трактат о «Расине и Шекспире», чередуя памфлет с диалогом; нападая, жая, издеваясь, он бросает блестящие «лозунги обновления материи и формы искусства». Он смеется над теми, кто «в полдень живет по часам, показывающим вчерашний вечер». И этот упрек, обращенный в сторону почитателей классического искусства, был обращен впоследствии против самого Стендаля. Один из заслуженных болванов французской публицистики Эмиль Фагэ пишет буквально: «Хотя Стендаль в 1822 году защищал «романтизм», но, во-первых, он хорошенько не понимал настоящего смысла этого слова, а во-вторых, он делал это в такую эпоху, когда романтизм не успел еще сложиться и определиться. Стендаль не только не был романтиком, но даже был чужд своему веку. По своим нравам, настроению, философии, литературному духу и стилю Стендаль был человеком XVIII столетия, абсолютно недоступным религиозному чувству, сенсуалист и сластолюбец, сухой и жалкий эпикуреец; и хуже всего: он с любовью описывает людей низших классов, а думал быть исследователем человеческих характеров». Трудно более отчетливо формулировать похвалу писателю, со дня рождения которого сегодня исполнилось 150 лет, чем это сделал французский мещанин своей попыткой дискредитировать юбиляра. В самом деле, был ли Стендаль атеистом? Да, горячим, убежденным и веселым, в отличие от тех представителей новой французской молодежи, для которых потеря религиозного чувства знаменует собой мрак и отчаяние, а возврат религиозного чувства равносителен самообману и безумию. Был ли Стендаль сенсуалистом? Да, он был последовательным сторонником Локковского закона, по которому «ничего нет в интеллекте такого, что предварительно не проходило бы через восприятие органами чувств». Был ли он последователем этических воззрений XVIII

века? Да, был, ибо он был твердо убежден, что интересы управляют волей отдельных людей и коллектива, именуемого «общественным слоем или правящим классом», и что только правильно понятый интерес с учетом интереса огромной массы основного человеческого слоя может регулировать общественные отношения. Был ли Стендаль враждебен своему обществу, принадлежал ли он к XVIII столетию, как пишет Фагэ? И то, и другое совершенно верно. Но в то время, как французский мещанин плавает, как рыба в воде, в обстановке нового французского века, Стендаль чувствует отвращение к банковской верхушке Парижа, он хочет не самообмана, не обмана массы людей, он твердо стоит на позиции философа Гельвеция, который в трактате «Об уме» говорит, что люди равны перед логическим законом, если не хотят обманывать сами себя. С этой стороны, если человек остается честен перед собою, придерживаясь чистого атеизма и материализма, создавшего революционный пафос, ниспровергшего монархию, церковь и французский феодализм, то Стендаль является больше человеком нового века, чем Фагэ, пошедший вспять в поисках нового религиозного сознания.

Переходим к основному моменту характеристики. Возмущение господина Фагэ — не случайное возмущение. В памфлете «18 брюмера Луи Бонапарта» Карл Маркс писал: «В то время, когда люди стараются, по видимому, радикально преобразовать себя и окружающий их мир, стараются создать нечто, никогда еще не существовавшее, — как раз в такие эпохи революционных кризисов они озабоченно вызывают на помощь духов прошлого, берут у них имена, боевые пароли, костюмы, чтобы в этом освещенном веками одеянии, этим заимствованным у предков языком разыграть новое действие на

всемирно-исторической сцене».

Впоследствии, «заявившись мирной конкурентной борьбой, буржуазия забыла, что у ее колыбели стояли тени древнего Рима». Против этого классического тяготения больше всего восставал Стендаль в своем романтическом манифесте, и это восставание против буржуазного классицизма в защиту романтизма имеет глубокий классовый смысл, с одной стороны, это — становление норм буржуазного искусства, а с другой, это — ликвидация буржуазности в искусстве с точки зрения определения характера людей будущего, а именно к этому сводились поиски Стендаля как беллетриста. Эстетика прекрасного есть для Стендаля прежде всего такая форма наслаждения, которая перерабатывает человеческий характер в высшие формы коллективного существования. Наша молодая критика опять проморгала это явление и в переверзевском пафосе разыскивания всевозможных межклассовых сил расставила рогатки и ширмы, за которые писатель не может выйти, оставаясь в сфере роковой классовой ограниченности. В самом деле, умы нашей критики зачастую напоминают кальвиновскую религиозную иступленную концепцию, в силу которой господь-вседержитель еще до рождения определил каждому из нас путь добра или путь зла, спасение в раю или вечную гибель в аду. «Роковое классовое тяготение» не позволяет Стендалю выйти за пределы этого прокрустова ложа, которое определили великому французскому писателю наши переверзианцы.

Приведу хорошую мысль Меринга. «Трудно представить себе более нелепую мысль, чем та, что падение привилегированных классов, неминуемо влечет за собою как свое следствие падение искусств. Искусство падает тогда не в качестве искусства, а лишь в качестве достоинства привилегированных классов. Оно скинет уродливую маску, чтобы обна-

ружить свой истинный лик исконного провожатого человечества». И когда Стендаль повторял слова замечательного скрипача Паганини, обращаемые к оркестру: «Siete tutti virtuosi» (будьте все артистами), то он подходил именно к этой мысли Меринга. Стендаль никогда не мечтал о кастовой ограниченности искусствоведов и людей, умеющих ценить искусство. Не будем разрывать Стендаля с нашей эпохой, лучше точно и отчетливо уразуметь: в своей борьбе против классицизма Стендаль дал своеобразную диалектику процесса и в конкретном примере поражения мертвой традиции показал живую диалектику процесса. Он не называет произведения раз навсегда романтическим или классическим; он говорит, что «обращенность к массе, составляющей театрального зрителя, может быть то классической, то романтической, в зависимости от того, дает ли автор людям живое волнение, изображение движения человеческого сердца, одним словом, ту форму наслаждения, которая одновременно является живительным лекарством». Буквально Стендаль говорит следующее: «Романтизм есть правильно избранное лекарство», которое, будучи дано своевременно и уместно обществу, сможет оказать ему помощь и доставить наслаждение. Классицизм напротив дает ему уственную пищу, которая доставляла наибольшее наслаждение предкам этого общества. Софокл и Эврипид были романтиками вполне: они давали грекам, сходявшимся в Афинском театре, впечатления, которые при нравственных свойствах этого народа, при его религии и предрассудках относительно человеческого достоинства должны были доставлять ему громадное наслаждение. Подражать теперь Софоклу и Эврипиду и верить, что эти подражания не заставят зевать французов XIX столетия, — это классицизм. Я несколько не колеблюсь утверждать, что Расин был романтиком: он давал маркизам двора

Людовика XIV изображение страсти, умеряемое чрезвычайным достоинством, которое тогда было в моде и вследствие которого какой-нибудь герцог 1670 года даже в нежнейших изливаниях отеческой любви ни когда не забывал называть своего сына «monsieur». Шекспир был романтиком, потому что он представлял англичан 1590 года — во-первых, кровавую катастрофу междоусобных войн и как контраст — тонкое изображение движений человеческого сердца, оттенки едва уловимых страстей. Сто лет гражданских войн и переговоров, бесчисленное множество измен, казней, самопожертвованной приготавили подданных Елизаветы к такого рода трагедии, которая держала зрителей в сфере высших возбуждений человеческой эмоции. И люди, и события, опоэтизированные Шекспиром имеют действительно колоссальные размеры. Эти люди и события возбудили бы страшное негодование сентиментальных и надушенных кукол, которые во время царствования Людовика XV не могли видеть паука без того, чтобы не падать в обморок...

Случайно новая французская трагедия похожа на трагедию Шекспира, но только потому, что наши события приблизительно те же, как и события в Англии 1590 года. У нас тоже есть партии, казни и разговоры. Один из тех, который хохочет, читая эту брошюру, через неделю попадает в тюрьму, другой, вторивший ему, будет его судить. Вскоре у нас будет новая французская трагедия, если у нас будет достаточно безопасности, чтобы заняться литературой; я говорю без опасности, потому что вся беда заключается в нашем напуганном воображении. Так как мы неизмеримо выше по уму англичан XVI столетия, то наша трагедия будет проще. Шекспир постоянно прибегал к риторике, потому что он нуждался в приспособлении к понятиям публики тех или других драматических положений, так как публика была невежественна и в ней было гораздо больше храбрости, чем сообразительности. Французский ум в особенности отвергнет немецкую галиматю, называемую мно-

гими немецким романтизмом. Шиллер копировал Шекспира, главным образом его риторику; у него не доставало ума предложить своим соотечественникам трагедию, соответствующую их нравам».

Таким образом, любая романтическая пьеса сегодняшнего дня через 50 лет может трактоваться как произведение «классиков романтизма». Вот чисто диалектическое понимание процесса. Вопросы, связанные с экспрессивностью, с техникой воздействия на зрителя, слушателя, читателя, не являются характерными для Стендаля, не в этом дело. И меньше всего нас может интересовать как называемый аристократизм Стендаля, потому что аристократизм Стендаля — это не больше, чем инженерное требование высококачественной стали или таких форм литья, которые дают особую прочность мотору. Вот интересное место из «Жизни Анри Бюляра»: «Единственный предмет, который по прошествии сорока лет я вижу ясно, — это то, что моим идеалом было жить в Париже на четвертом этаже и писать драмы и романы. Бесконечные пошлости и подловатость, сопровождающие проведение пьес в театральную постановку, удержали меня от писания драмы. Когда аббат Сийэс своим бесмертным памфлетом «Что такое третье сословие?» нанес первый удар политической аристократии, он, сам того не подозревая, заложил фундамент аристократии литературной». С этой точки зрения маленькая книжка Рейзова об «эстетике Стендаля» является большим заблуждением антиэстетического порядка. Эдакий аристократизм, который наш молодой критик находит в Стендале, может подойти к любой форме ударничества как поиску высокого качества напряжения и терпения со всеми коэффициентами воли и темпов. Важно то, что Стендаль в борьбе против классицизма является сторонником романтизма как революционной формы. И с этой сторо-

ны он проводит тенденцию Великой французской революции, которая в диалектическом процессе развертывала, быть может, и концепцию искусства бесклассового общества. Если мы возьмем аргументы «Нового комплота против индустриальной буржуазии», то увидим не только осмеяние традиции Аристотелевских «трех единств», как трех гвоздей, пришивающих в неподвижной позе всех драматургов современности, но и глубокое политическое осмысливание социальных очагов искусства. Определяя достоинства и качества той или иной мотивировки поведения Стендаля, сам «эгоист» с глубочайшим презрением относится к системе буржуазного эгоизма. Банкирский Париж усмотрел в этих эпиграммах Бейля дерзость. Банкиры, лавочники, чиновники, министр внутренних дел, организаторы притонов, в которые залавливали французскую молодежь в целях провоцирования крайностей, политических и моральных, — все это вызывало едкие выпады Бейля. Бейль зацепил не только индустриальную буржуазию, но крепко ударил сенсимонистов за их христианский тон и религиозные убеждения. Это поссорило его с либеральной буржуазией, а организатор подготовки июльской революции Арман Каррель, редактор периодического органа сенсимонистов «Продуктора», чистый буржуа и в то же время сенсимонист писал: «Мы не боимся казаться учениками Сен-Симона. Мы различали мнения сенсимонистов, применить которые становится возможным уже теперь, от тех мнений, осуществление которых принадлежит эпохе, гораздо более от нас отдаленной. И вот однако господин Стендаль всегда избирал оружием против нас идеалы нашего учителя. Мы отказываемся отвечать на остроумие, правда блестящее, господина Стендаля, ибо его шуточки направлены против человека, которого мы считаем благодетелем, даже в том случае, если бы он высказал одну истину, ту, ко-

торая послужила бы вам в качестве эпиграфа, избранного вами же, господин Стендаль, ибо вы, сражаясь против нас, пишете: «ЗОЛОТОЙ ВЕК, КОТОРОМУ ДО СИХ ПОР СЛЕПОЕ ПРЕДАНИЕ ОТВОДИЛО МЕСТО В ПРОШЛОМ, — ВПЕРЕДИ НАС».

Критика набросилась на Стендаля. Он отнесся к ней хладнокровно, ибо «если братья за перо, то не нужно удивляться, что дураки будут называть тебя сволочью». 31 марта 1831 года Стендаль писал в газете «Глоб»: «Нужно думать о критике еще меньше, чем молодой офицер, идущий в атаку со своей ротой, помышляет о военном госпитале и о ранах. Положительное отсутствие этого мужества обрекает всех наших бедных поэтов на вечную посредственность. Нужно писать без оглядки так же для собственного удовольствия, как я пишу вам это письмо. У нас нет художников только потому, что нет мужества».

Бейль спокойно относился к критике, так же спокойно, как Энгельс к ругани попугая¹⁾: «Научите попугая бранным словам так, чтобы он усвоил их значение, и вы скоро откроете, что он так же верно применяет ругань, как берлинская торговка». К сожалению, критика, повидимому, долго не отучится от этой «птичьей манеры».

Сенсуализмом определяется эстетика Стендаля в той части, которая говорит о рождении образа. В этом отношении колоссальное значение для нас имеет трактат Стендаля «О любви» с его удивительным описанием возникновения чувства и кристаллизации образа любимого человека. Здесь полная аналогия со всей эстетикой Стендаля. Этот человек, всю жизнь стремившийся казаться легкомысленным, маскировавший все свои чувства острыми словами, обладал колоссальным запасом прекрасных эмоций и тончайшим чувством своеобразно понимаемого прекрасного. Вот

¹⁾ См «Диалектику природы»

почему не случайно огромное количество его matrimониальных неудач,—он так и не соединил свою судьбу ни с одной подругой жизни. Но совершенно такой же порядок отношений, проникнутый горячей, напряженной страстью, характеризует его **О В Л А Д Е Н И Е Т В О Р Ч Е С К И М П Р О Ц Е С С О М**, творческим образом и наконец результаты сочетания того и другого, когда родились роман, новелла или хроника. Возьмите вы написанную для Герцля (сборник «Чорт в Париже») коротенькую в двух строчках характеристику «Филибера Лескали». Париж конца тридцатых годов с многоэтажными вновь выстроенными домами, с банкирскими конторами, с распутством и в особенности с каким-то склеповидным нависанием тяжестей жизни над человеком, при колоссальном богатстве не видящем в жизни смысла, этот образ родился недаром, и на нем видна практика применения эстетической системы Стендаля. Процесс оседания образа на дне сознания расчленен Стендалем чрезвычайно тонко и умно. Он указывает, как **Н Е С Р А З У** рождаются и слоятся впечатления. Он рассматривает и активный, и пассивный процесс освоения действительности, которая возникает из сложностей случайного существования. Вот это подыскивание закономерности, суммирование типических черт производится Стендалем как операция совершенно сознательного управления естественно-растущими эмоциональными насыщениями. Вот вам образ этой эстетической «кристаллизации» творческого образа: «В соляных копиях Галлейна шахтеры бросают эти сухие ветки грабины в перенасыщенные солью подземные озера и вынимают оттуда красивые ветки кристаллов, переливающихся на солнце цветными огнями» Так из взаимодействия внешнего впечатления с внутренним процессом рождается творческий образ. Под пером Стендаля сухие остоны итальянских протоколов XIV, XV и XVI веков, лишённые листьев и живых соков в зимние бури истории, погружившись в насыщенное воображение Стендаля, в огромное богатство его ума, переработанные в вол-

шебном напитке его чувств, кристаллизовались и наполнились снова живительными соками: возникла новая жизнь, на ветках появились небывалые листья и странные плоды. Мы уже печатали однажды подлинные материалы, найденные в бумагах Стендаля и опубликованные в 1908 году впервые. Проработать этот материал в высшей степени необходимо; он сразу обнаружит нам полное отсутствие напыщенности и риторики, но в то же время даст нам возможность сравнить чарующую ясность и живую последовательность изложения внутренних и внешних событий с фактической сбивчивостью сплетников истории, писавших хроники, казуистов римской юриспруденции, регистрировавших преступления протокольным порядком. Это сравнение подчеркивает все обаятельное значение стендалевского стиля. Это — гравюра на стали. Он не любит делиться авторскими впечатлениями. Он любит твердые, внутренне-значительные и необходимые штрихи без украшений. Этот стиль вызван требованием добросовестности. Чуткость ко всему красивому никогда не оставляла Стендаля. Но он боялся тяжеловесное, золотое содержание своей мысли обесценить прикрасами. Он считал, что данная мысль должна быть выражена с осторожной точностью, а этой точности может повредить риторика и слуховая проверка звучания фразы, вся напыщенная раздутость и омертвелость материала слов, не покрывающих полностью мыслей или прикрывающих бедность мыслей. В этой высшей естественности языка, вполне адекватного мысли, он был тем новым поэтом, который не желал обобщать читателя искусственными средствами. Его точка зрения на версификацию вполне соответствует общей совокупности его взглядов. Он не позволял себе писать стихов, оставаясь в то же время неизменно чутким ко всякому подлинно поэтическому явлению. Высшая добросовестность звучит в его словах: «Сочиняя «Пармскую обитель», я каждое утро, чтобы взять настоящий тон и всегда быть естественным в выражении, читал две или три страницы «Гражданского кодекса». Редко мож-

но встретить такое бережное отношение к слову и стилю. Ученик Стендаля Проспер Мериме еще более, быть может, усовершенствовал этот стиль, но в отличие от Бейля у Мериме нет никакого дела, в защиту которого он должен был бы выступать. Сухость и резкость чувства у Мериме создает угловатость и прямолинейность его характеров, даже женских. Бейль пишет, что «роману Мериме недостает полутонов и утонченной нежности в изображении сложных характеров».

В экономике человеческой воли искусство как точка приложения эстетических факторов имеет колоссальное значение не только в плоскости индивидуальной, но и социальной. Каковы были воззрения Стендаля на значение искусства? Искусство он рассматривает как обтачивание и огранку личности в моменты добровольного перевоспитания красивой и гармонически созданной волевой индивидуальности, качество поведения которой определяется высокой способностью к наслаждениям высокого порядка. Эти моменты творчества, эти моменты наслаждения объектами искусства имеют глубоко социальный смысл, они социально насыщают психику творца в его взаимодействии с людьми. Никто не писал с таким упоением о музыке, как Стендаль, хотя его произведения, ка сающиеся Гайдна, Моцарта и личного его друга Россини, его письма о Чимарозе являются той гениальной переработкой чужого словесного и фактического материала, которая делает усвоенный материал гораздо более интересным, блестящим и талантливым, чем первоначальные мертворожденные книги авторов, «обокраденных» Стендалем. Характерна фраза для Стендаля: «Дурной вкус порождает преступление». Отвержение к преступлению как к бессознательному полунстинктивному решению коллизии житейского порядка, «когда личность находится в состоянии аффекта или ложной идеи», — черты эстетического порядка, этика эпикурейца перекрещиваются с

эстетикой чрезвычайно гармоничного интеллекта. Таким образом, в отличие от последующего истолкования буржуазного искусства, как третьего блюда за столом богатого человека, мы видим, что здесь Стендаль далеко шагнул вперед. Оценивая музыку как высшую форму искусства, он усматривает в ней ту динамику постоянного воздействия, которая обогащает человека в отличие от статических форм прекрасного. С этой стороны, сюда же примыкает его истолкование живописи, которое он дает в порядке совершенно литературном. Для Стендаля живопись — это литература в красках прежде всего, и «История живописи в Италии» есть социологическая трактовка живописной проблемы, при этом для Стендаля никогда не было разницы между формой и содержанием в той мере, в какой он отчетливо представлял себе значение формы и материи в объектах искусства.

В завершение всего, нами сказанного, приведем воззрение Стендаля на социологию искусства. Это уже чистая революция во взглядах французской буржуазии, которая не могла простить того, что, ликвидировав политически на два десятилетия претензии четвертого сословия, она не может справиться с «духом истории», которая, как крот, роющий землю под фундаментами общества, подтачивает буржуазный мир и возвращает французское общество к временам Конвента. Протест против форм быта, против организации эстетики Парижа индустриальной буржуазией был попрежнему стуком в окна французских банкиров революционного вихря. Новые власти страны с ужасом смотрели на возрождение революционных идей в литературе и искусстве, там, где власть их была еще ограничена. Но, научившись немного, французская критика сделала все для того, чтобы извратить подлинный облик Стендаля. И если мы празднуем юбилей Стендаля, то делаем это только потому, что нашли его гораздо более созвучным нашей эпохе, нежели буржуазия Франции и мещанская критика, на долгие годы за-

морозившая самую память о Стендале. Атеизм, материализм вместе с огромным чувством действительности великого реалиста делают Стендаля чрезвычайно живым и интересным в наши дни. Приведем в качестве заключительной цитаты одно место из «Истории итальянской живописи». Стендаль писал: «Итальянское искусство упало с высоты вовсе не потому, что, как обычно полагают, его покинуло «великое дыхание средневековья, что ему недостает гениальных творцов», — это неверно, так как гений всегда живет в среде народа, как искра в кремне, — необходимо лишь стечение обстоятельств, чтобы эта искра вспыхнула из мертвого камня. Искусство пало потому, что нет в нем той широкой мировой концепции, которая толкала на путь творческой работы прежних художников. Детали формы и мелочи сюжета, как бы художественные, они ни были, еще не составляют искусства, подобно тому, как идеи, хотя бы и гениальные, еще не дают писателю права на титул гения или таланта. Чтобы ими стать, надо свести круг воззрений, который захватил бы и координировал весь мир современных идей и подчинил бы их одной живой господствующей мысли. Только тогда овладевает мыслителем фанатизм идеи, то есть та яркая определенная вера в свое дело, без которой ни в искусстве, ни в науке нет истинной жизни. У старых итальянских художников эта вера была, и потому они были действительными творцами, а не копировщиками, не жалкими подражателями уже отживших образцов. Кроме того, я никогда не отделял художника от мыслителя, как не могу отделить художественной формы от художественной мысли». И далее. «Я не могу представить себе искусства вне социальных условий, в которых находится данный народ. В них, и только в них он черпает свою силу и слабость, приобретает значение или становится пошлостью». Попытка вновь ограничиться схемой, которую я прочел в од-

ной из статей о Стендале, напечатанной в Ростове-на-Дону: «Монархия и богатство — праздность, — любовь — искусство» — это куда-то негодная попытка исказить Стендаля. Правда, Стендаль говорит: «В Италии установление прочных правительств около 1450 г. дало обществу громадное количество досуга». Критик, изобразивший так схему Стендаля, очевидно думает, что досуг человека в социалистическом обществе будет враждебен творчеству и искусству. С этой точки зрения, пожалуй, наш критик ругательно разругал бы Лафарга за его прекрасный, остроумный и слегка озорной памфлет «Право на леность». Для людей, не понимающих иронии, Лафарг становится «защитником прогульщика». А между тем речь идет о простой вещи. Лафарг прямо пишет: «Организация коммунистического производства в бесклассовом обществе одна может раскрыть все творческие способности личности». И не к тому ли создан человек, не к этой ли выработке гармонического мирозерцания и мироощущения стремится Лафарг. Стендаль не говорит о социализме. Социалистические учения его времени не внушали ему никаких симпатий, а мещанин-ремесленник, сделавшийся богачом, не вдохновлял его, как вдохновлял Бальзака. «Вчерашний сапожник господин Гизо, сделавшийся богачом, ничуть не лучше самого господина Гизо» — так приблизительно выражал Стендаль свое отношение к буржуазной демократии своего времени. Нельзя в этом отношении итти вразрез основному пониманию Стендаля. Социологический, а временами чисто классовый анализ, который он дает эпохам итальянского искусства, показывает нам, что он вовсе не присоединялся к тем воззрениям, характеристику которых ему приходилось давать.

Редакция { А. И. Безыменский
Ф. В. Гладков
В. В. Григоренко
И. М. Гронский
Л. М. Леонов
А. Г. Малышкин
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский

Издатель «Известия ЦИК СССР» в ВЦИК